

УДК 821.512.122=161.1
ББК 84(5Каз.Рус.)-44
Ж 89

ВЫПУЩЕНО ПО ПРОГРАММЕ
«ИЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ВАЖНЫХ ВИДОВ ЛИТЕРАТУРЫ»
КОМИТЕТА ИНФОРМАЦИИ И АРХИВОВ
МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Редакционная коллегия:

Каскабасов С.А. (*председатель*), Кул-Мухаммед М.А.,
Кирабаев С.С., Елеукенов Ш.Р., Исагулов Ж.И., Нургалиев Р.Н.,
Абдрахманов С.А., Исакова А.С., Бейсенгалиев З.Г., Абдезулы К.,
Майтанов Б.К., Шаймерденов Е.Ш., Болтанова Ж.К.

Составитель **Д. Газизкызы**

Жунусов Сакен

Ж89 Дом в степи. Роман; повесть; рассказы / Сакен Жунусов.
Перевод с казахского. Астана: Аударма, 2011. – 480 стр.

Список книг серии “Библиотека Казахской Литературы”
утвержден Ученым советом Института литературы и искусства
им. М.О. Ауэзова (протокол №9 от 26 июня 2009 г.).

В оформлении суперобложки использованы фрагменты картин
художников **Т. Абуова и Г. Тельгазиева.**

ISBN 9965-18-331-7

УДК 821.512.122=161.1
ББК 84(5Каз.Рус.)-44

ISBN 9965-18-331-7

© Издательство “Аударма”, 2011
© Иллюстр. “Музей современного
искусства”

Предисловие

Писатель, драматург, переводчик и общественный деятель Сакен Нурмакович Жунусов родился 11 ноября 1934 года в Кокчетавской области. За полувековой период творческой деятельности внес значительный вклад в развитие отечественной литературы.

В начале творческого пути адресатами художника слова были дети, которым он посвятил книги «На охоте» (1958), «Бабушка, лекарь и врач» (1961), «Чье жилье лучше?» (1962).

Жизнь акына, певца-композитора Ахана-сери художественно воссоздана писателем на фоне социального строя и нравов казахского общества второй половины XIX века в одноименном романе-дилогии (1979). Вслед за автором прослеживаем процесс личностной и творческой эволюции акына от беззаботного певца любви и молодости до уровня поэта-гражданина. Судьба женщины-соотечественницы наиболее ярко отражена в произведении «Заманай и Аманай» (1987).

Драматургия С. Жунусова представлена семнадцатью пьесами. На театральной сцене наибольший успех имели произведения «Сильнее смерти» (1967), «Пленники», «Доченька, тебе говорю...» (1973), «Равноденствие» (1986). Эстетика драматургии писателя носит жизнеутверждающий пафос.

Писатель перевел на казахский язык произведения русских и зарубежных писателей, в том числе Л. Толстого, О. Гончара, С. Цвейга и др.

С.Н. Жунусов никогда не стоял вне истории своего народа, поэтому закономерен его отклик «целинной» теме. В романе «Дом в степи» (1965) звучит мотив неприятия внешнего мира героем, который был из разряда «разумного» человека (себе на уме).

В основе сюжета произведения – реальные события, происходившие в одном из целинных совхозов северного Казахстана. По автору, дело освоения целины выдвигает свои специфические проблемы, приобретающие непредсказуемые масштабы, и, начиная со сферы экономической, хозяйственной, эти проблемы проникают в духовную, нравственную природу человека. «Наряду с героическим трудом в нем я

попытался показать и крушение идеалов частной собственности, его последнего символа в заброшенной степи – одинокого дома», – писал автор.

В монументальном образе антигероя Карасая показано, как разрушается личность человека. В «доме-крепости» стяжатель и спекулянт отгородился от полноценной жизни. Все его помыслы направлены на заполнение железного сундучка, закрытого в хлеву. К примеру, в жажде накопительства он теряет старшего сына, Жалела, отрывает от учебы младшего – Халела, заставляя заниматься спекуляцией. Превращает в своего работника беспризорника Дика (Турсун), пригласив его однажды под видом благодетеля: «Пусть поживет у меня. И братом будет и сыном... Надо же помочь человеку!»

Своими хищническими и частнособственническими интересами Агашка Япишкина не вписывается ни в традиции и обычаи местных жителей, ни в героику общего труда первоцелинников. Случайная на целине, она в осуществлении своей цели, «оказалась полезным человеком» Карасаю. Из-за нее жена Карасая Жамиш, в одночасье собралась и покинула очаг, оставив позади тридцать лет «добровольного одиночества в этом заброшенном доме».

Философии жизни Карасая и Агашки противостоит героиня романа Райхан Султанова. Это необыкновенная женщина степного края, эволюция взглядов и сложный путь жизни которой олицетворяет судьбу казахской девушки, на долю которой выпали испытания личной драмы и общественной.

Роман создан по канонам литературы социалистического реализма и проповедовал идеи толерантности, человечности (например, после смерти отца Райхан заботы о девочке берет на себя Кургерей (Григорий), бескорыстны отношения между Халелом и Тамарой, единство взглядов отличают Моргуна и Райхан).

Композиционный прием – ретроспекция, что позволило отразить основные этапы нашей истории: ликвидация кулачества, коллективизация, Великая Отечественная война, освоение целины.

В 2003 году – Год Казахстана в России – роман «Дом в степи» вышел, что знаменательно, в Санкт-Петербургском издательстве «Славия».

Маржан ЖАПАНОВА,

кандидат филологических наук

ДОМ В СТЕПИ

ПРОЛОГ

Когда-то здесь жили люди, – десяток жалких домишек, сложенных из дерна. Теперь от прежнего становища остались одни лысые бугры. Ветер, дождь и снег совершили свое разрушительное дело. Печальное это место заросло дремучим бурьяном, и лишь бугры, словно могильные холмики, напоминали о заброшенном жилье.

Приехавшие вылезли из машины и долго стояли в молчании и задумчивости.

Солнце над головами уже набирало весеннюю силу, и люди чувствовали это, ощущая тепло на своих лицах. Снега совсем не оставалось на земле, и степь, оживая, начинала куриться слабым, еле приметным паром будто множество согретых на огне казанов, надежно укрытых хозяйскими руками. Что-то унылое и загадочное было в заросших бурьяном буграх. Чья-то жизнь пролетела здесь, ничего не оставив о себе кроме этих жалких холмиков. Кто знает, счастливы ли были люди, когда-то устроившие здесь свое жилье, или же, наоборот, узнали горе, раз не прижились и ушли искать себе другие места. Молчит и зарастает, размывается водой забытое становище.

Мужчина, стоявший впереди, вздохнул и поднял к небу задумчивое лицо, наслаждаясь теплым прикос-

новением солнца. Он был здесь новым человеком, и места, не виданные им раньше, ничего не говорили его сердцу, кроме забот предстоящей весны, первой его весны на этой земле. Однако женщина выросла здесь, и все, что сейчас лежало перед ней, было знакомо и рождало боль воспоминаний.

С бьющимся сердцем смотрела она и не могла насмотреться на заглохшее жильё, и ей виделись не развалины, а тесно приткнувшиеся один к другому домишки и даже голос чей-то будто слышался, грустно произнесший, что все-таки привели ее обратно в родные места дороги, привели поседевшую, почти неузнаваемую, совсем не такую, какой привыкли ее видеть здесь в те далекие времена. Женщина сделала усилие, но все же не сдержала слез и, чтобы никто не заметил ее слабости, прошла вперед.

Она шла по земле, где бегала когда-то счастливой девчонкой с развевающимися косичками. Теперь, когда некого было стесняться, она плакала и не стыдилась слез. Ей хотелось припасть к этим оттаявшим под солнцем буграм, прижаться грудью, лицом и забыться, почувствовать на мгновение, что ничего не изменилось в жизни, все осталось прежним – детским, остро запомнившимся, неистребимо родным.

Раньше посреди аула было небольшое возвышение, по весне там быстрее всего просыхала земля и показывалась первая зелень. Женщина, ломая бурьян, прошла к знакомому месту. Все оставалось по-старому: земля уже подсохла, и робкая травка пробивалась к солнцу. Подвернув пальто, она села. Земля была тепла на ощупь и мягка как темечко ребенка. Для детворы сейчас наступали самые счастливые дни. После долгой и жестокой зимы хорошо выскочить из надоевшего дома и, разувшись, побежать босиком, чувствуя истосковавшимися ногами щекочущую податливость нагретой земли.

Задумавшись, женщина позже других заметила одинокого всадника. Надсадное карканье вороны

заставило ее поднять голову и взглянуться. Черный, почти квадратный человек на черной с уродливо раздутым животом кобылице неторопливо приближался, посматривая на стоявшие в стороне машины. Женщина разглядела на всаднике длинные, выше колен, теплые сапоги и нарядный лисий малахай с темным вельветовым верхом. Несколько собак сопровождали его, путаясь под самыми ногами лошади.

Всмотревшись в лицо верхового, женщина увидела большое родимое пятно. Сначала она не поверила своим глазам. Но нет, ошибки быть не могло: большое пятно отчетливо виднелось на лице всадника. Женщина в волнении поднялась на ноги и все смотрела, смотрела. Такая уродливая примета могла быть только у одного человека!..

Тем временем черный человек поравнялся с машинами и принялся успокаивать лошадь. Жирная кобылица с коротко подрубленным хвостом не стояла на месте. Косясь на машины, она беспокойно пяtilась, всхрапывала и пряла ушами. Беспокойство лошади передалось и собакам. Однако приехавший зычными хозяйским окриком успокоил их, затем грузно слез с седла и крепко замотал повод за высокую, похожую на утиную голову луку. Собаки притихли, улеглись на землю.

Здороваясь, приехавший неторопливо подал руку одному и другому и, коротко справившись о здоровье, высказал обиду хозяина: почему машины миновали его дом, а остановились у каких-то развалин?

Выбираясь из зарослей бурьяна, женщина по-прежнему не сводила с него глаз. Едва он заговорил, она ускорила шаги.

Один из ее спутников, представитель райкома, успокоил обиженного хозяина.

– Мы приехали осматривать земли. Вот, познакомьтесь, аксакал: это директор будущего совхоза Моргун. А это, Федор Трофимович, владыка здешних мест Карасай Талжанов. Прошу любить и жаловать. Видите,

с какой он сворой!– и райкомовец с улыбкой посмотрел на собак, лежавших у самых копыт пугливой кобылицы.

Черный человек сделал широкий приглашающий жест.

– Завет наших отцов – принять и уважать гостя. Говорят, для невесты дорог тот, кто первым откроет ей лицо. Идемте. Мой дом одинок, вы знаете, но всякого, кто в пути, он укроет в буран и даст отдых в жару.

– А что, очень кстати. Федор Трофимович, как вы смотрите? Время обедать, а в степи не часто встретишь столовую.

Медленно приблизилась женщина и остановилась за спиной черного человека.

– А вот это, аксакал, главный инженер совхоза. Родом она из здешних мест, может, вы даже знаете ее...

Взгляд черного человека оставался приветливым, когда он оборачивался, чтобы взглянуть на женщину. Ей было за сорок и она была крупна телом, но одежда – городское изящное пальто, темно-красные сапожки и кокетливая шапочка из выдры заметно молодили ее. Глаза Карасая мимоходом задержались на жидкой пряди волос, выбившихся из-под шапочки, и он успел мысленно осудить ее за одежду, за манеру держаться, еще за что-то, потому что она чем-то сразу не понравилась ему, однако он старался ничем не показать этого... как вдруг почувствовал, что и его разглядывают, рассматривают изучающе, все еще не веря в столь неожиданную встречу. Карасай взглянул в напряженные глаза женщины – и помертвел.

Куда что девалось! Карасая стало не узнать. Только что был крепкий, знающий себе цену человек, радушно, как и велит обычай, зазывающий в гости, и вдруг в один неуловимый миг от его уверенности, крепости плеч и осанки хозяина не осталось и следа. Карасай обмяк, сник, расплылся и теперь походил на затравленного зайчонка, услышавшего над собой свист крыльев падающего беркута.

Женщина и черный человек стояли лицом к лицу, стояли молча и взгляды их сцепились. На помертвевшем лице Карасая уродливо, похожее на печень, багровело огромное родимое пятно, и женщина, вглядываясь в это ненавистное лицо, рассмотрела главное, что забылось в ее памяти – три редких волосинки на родимом пятне, те самые, прежние, сохранившиеся до сих пор. Но они поблекли, эти волосинки, и словно бы пожухли, как осенняя травка в степи, и ей казалось, что только эти волоски и изменились в стоящем напротив человеке, а все остальное осталось без перемен. Как она узнала его, сразу же узнала по этому зловещему пятну! А он? Ну да, он, конечно, тоже узнал, – теперь узнал, хотя она совсем не та, что прежде, взять хотя бы обильную, как у старухи, седину в волосах.

Они все еще стояли друг против друга и смотрели глаза в глаза. Никто из них не проронил ни слова.

«Как, разве ты не умерла?» – испуганно метались зрачки черного человека с пятном на лице.

«А ты... Неужели ты еще жив?!»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Снег падал весь день и перестал лишь к вечеру. Ненадолго прояснилось, заголубело, однако мороза не ожидалось, и затишье в степи походило на коротенькую передышку в непогоде.

Степь лежала ровная, засыпанная чистым легким снегом, но чувствовалось, что где-то в необозримых ее пространствах уже начиналось движение ветра, который затаился еще до снегопада и лишь теперь дождался своего часа. Так оно и оказалось – ближе к закату появились первые признаки метели. Порывы ветра, налетавшего то с одной стороны, то с другой, завивали короткие вихри, и было похоже, что кто-то невидимый неуверенно трогает пушистое покрывало степи.

Скоро ветер окреп, установился с севера и задул, загудел, набирая силу.

Степь разом померкла от великого движения снега. Словно огромные змеи, потянулись по ветру шелестящие снежные потоки, то задирая узкие свои головы и выискивая что-то, то снова припадая к самой земле. Ярость, копившаяся в ветре, заставляла их бесноваться, и теперь все чаще и злее вскидывались над землей упругие змеиные тела. Вот уж они принялись сшибаться, сплетаясь и переклестывая друг через друга, и в ненастной злобе своей, казалось, достигли неба, потому что свет померк вокруг и все похоронилось в сплошном воющем месиве. Какое-то время еще угадывалось невысокое солнце, задержавшееся на исходе, оно малокровно помаячило сквозь бешеную мешанину снега и ветра и угасло, закатившись в безнадежную ненастную ночь.

Пара лошадей тащила сквозь снежную метель легкую кошевку. Круто изогнутый передок кошевки нырял, как в волнах. Дорога едва угадывалась в темноте, и лошадям приходилось тесно. Пристяжной донец с отвороченной на сторону головой то и дело срывался в сугробы, всхрапывал и, выбравшись, напирал запотевшим боком на оглоблю. Однако коренник, вороной статный конь с выющейся гривой, легко оттеснял его с дороги, и донец вновь оступался в рыхлый непримятый снег и принимался скакать, сильно выбрасывая копыта.

В сгустившейся мгле не стало видно даже лошадиных ушей. Измученный пристяжной все чаще проваливался в сугробы, и тогда опытный возница, не спускавший с коней глаз, натянул вожжи:

– Тр-р-р!..

Кошевка стала, глубоко зарывшись узкими полозьями, и только теперь путники почувствовали, насколько разыгралась непогода. Метель остервенело несла над степью целые тучи режущего снега. Дремавший

седок заворочался и высунул из волчьей шубы измятое лицо. Густо пахнуло водочным перегаром.

– Приехали, что ли? – слышалось из самой глубины нагретой шубы.

– Куда там. Километров еще пятнадцать, – отозвался возница, неуклюже спускаясь с козел.

Волчья шуба завозилась, трудно, по-медвежьи подалась вперед, рука стала шарить под слежавшейся соломой.

– Ты куда положил-то?

Возница топтался впереди, снимая сосульки с теплых конских ноздрей. Лошади утомленно мотали головами. Возница, не оборачиваясь на рассерженный окрик седока, буркнул:

– Куда, куда... В передке, под ковром.

Волчья шуба снова завозилась, слышался звон посуды.

– А-а, вот она!

Путаясь в длинных полах и утопая в снегу, возница отпряг пристяжного и привязал к кошевке сзади. Сбрую с нарядными серебряными бляшками он бросил под козлы. Ветер насекал человеку лицо. Он повернулся спиной и занес в сани ногу. Волчья шуба все еще возилась, неловко выпрастывая руку с бутылкой. Возница взял бутылку, коротко хлопнул огромной лапой по доньшку и, выбив пробку в ладонь, протянул бутылку обратно.

– О, дьявол! – ругался седок, совсем запутавшись в просторной шубе.

Тронулись. Статный широкогрудный конь легко подхватил кошевку. Оставшись в упряжке один, без помех, он уверенно и сильно устремился вперед. Метель обвивала вскинутую голову вороного.

В этих местах аулы редко разбросаны по степи, и путника, застигнутого в дороге непогодой, спасает лишь теплая одежда да умный выносливый конь. И люди здесь издавна умели растить и ценить хорошую

лошадь. Вороной не славился быстротой и резвостью, но тем не менее в местах, где от мороза застывает на лету плевков, а в буран человек гибнет между соседними домами, это был лучший конь, самый надежный и выносливый.

Привязав к задку кошевки пристяжного, возница совсем отпустил вожжи. В такую кромешную ночь лучше всего положиться на коня. «Бурт, бурт, бурт...» – слышалось хрупанье снега под сильными копытами вороного. Высоко вскидывая колени, конь мощно взрывал наметанные сугробы. Возница по-прежнему не различал дороги, но конь, едва оступался на обочину, тут же возвращался на твердое и не сбавлял уверенного бега.

Волчья шуба, отхлебнув из бутылки, совсем завалилась в задок. Жуткая ночь неслась над одинокой кошевкой. Унылой степной дороге казалось не будет конца и края. Но вот сквозь завыванье метели послышался близкий лай собак, вороной встрепенулся, поддал ходу и скоро уперся головой в занесенные снегом ворота.

Во дворе, обнесенном забором, угадывалось желанное затишье, и возница, кулем свалившийся с козел, разглядел небольшой домик со стогом сена на плоской крыше и, кажется, коновязь, потому что едва кошевка стала у ворот, со двора послышалось призывное ржанье нескольких лошадей. Колотясь в ворота, возница всматривался, что там на дворе, и видел лишь белую пену, но вот раздался громкий лай, и старая длиннотелая сука показалась из-за копны сена. На крыльце засветился огонь, какой-то человек с фонарем в руке пошел к воротам. Собаки, смолкнув, прыгали вокруг хозяина, ожидая подачки. Человек с фонарем подошел к воротам, и возница разглядел безбородого парня с плоским как блин лицом.

Кошевка въехала в тихий заснеженный двор, парень с фонарем снова запер ворота. Волчья шуба завози-

лась, пытаясь подняться на ноги. Из саней послышался недовольный голос:

– Ты что, Дика, решил нас совсем заморозить?

Парень наклонился, поднес фонарь к самому лицу приезжего и тотчас отпрянул, показав в улыбке зубы. Помогая гостю стянуть шубу, он бормотал:

– Откуда я знал? Я думал, кто-нибудь другой.

Наконец шуба была сброшена, и гости, разминая ноги, направились в помещение.

Во дворе, огороженном высоким забором, стояли два дома. Только теперь, совсем вблизи, стало возможно различить их за пеленой метели. В самом большом жил хозяин – Карасай, в другом, поменьше, его старший сын Жалил. Этот дом состоял из просторной кухни и одной чистой комнаты. Здесь обычно останавливались приезжающие. «Роца Малжана», так назывался постоялый двор, была единственным жильем на десятки километров в округе.

Приезжие неторопливо направились к хозяйскому крыльцу. Парень с фонарем остался убирать лошадей.

Был еще не слишком поздний час, и в заезжем доме никто не спал. Ненастье захватило в дороге многих, и сейчас в единственной комнате негде упасть яблоку. Долгий зимний вечер проходил в шумных оживленных разговорах.

Отворилась дверь и напустив белое облако морозного пара, вернулся парень с фонарем. Спертое тепло натопленной комнаты ударило ему в лицо.

Разговор оборвался и все повернулись к вошедшему.

– Ну, кто там приехал?

– Откуда?

Парень, шмыгая талым носом, словно не слышал расспросов. Он несколько раз сильно дунул на фонарь и погасил его. Посреди комнаты стояла изрезанная ножами рогатина. Парень повесил коптящий фонарь и так же молча улегся на кошму в ногах сидящих. Лицо его было загадочным, он чему-то тихо улыбался и иногда неуверенно покачивал головой.

– Ты скажешь, нет – кто там приехал?– прикрикнул на него сидевший на самом почетном месте жигит с густыми бровями и богатырского сложения.

– Начальник!– проговорил наконец выходявший встречать, все еще продолжая загадочно улыбаться и не давая заглянуть в глаза.

– Наверно, Косиманов. Приехал к тестю погостить,– высказал кто-то догадку, и молчаливого парня оставили в покое.

Разговор продолжался, все вновь обернулись к сидевшему на почетном месте богатырю. Крепкое смуглое лицо жигита было сильно обморожено. Белые пятна на щеках, когда он улыбался, растягивались, и тогда казалось, что на одном лице улыбаются несколько ртов.

Рассказывая, жигит то и дело обращался к старику с остренькой бородкой, который лежал рядом с ним, опираясь на локоть.

– Это где-то километрах в пятнадцати от совхоза «Бестерек?»– и он трудно повернулся к старику всем своим крупным, налитым телом.

– Да, примерно,– подтвердил старик, качнув бородкой.– Как раз напротив зарослей чилика.

– Вот, вот. И уж темнеть стало, буранчик начинался. Ну, едем и едем. Подводы у нас растянулись далеко-далеко. И тут вдруг грохот! Что такое? На машину вроде не похоже. А грохочет... Ждем, остановились все. Потом смотрим – трактор. Да такой, что сроду не видал! У нас «НАТИ», так того сразу узнаешь. А этот... Ревет как чудовище какое-то,– на всю степь.

– Аж земля дрожит!– добавил старик.

Слушатели сидели молча, с широко открытыми глазами.

– И поверите,– продолжал, входя в азарт, парень.– Фары у него – вот! Светло как днем.

– Точно, точно. Иголку можно найти.

– И не один, оказывается, а целый караван. Друг за дружкой. Вот грохоту было!

– Степь пригнулась, – снова вставил старик. – Никогда не видел таких машин, и так много сразу.

– Да кто же это такие? Откуда? – не утерпел кто-то из слушателей.

На него тотчас зашикали:

– Постой, сейчас узнаешь!

– Зачем торопишь?

Рассказчик выдержал небольшую паузу и продолжал:

– Ну, делать нам нечего – свернули мы с дороги. Стоим, пропускаем мимо. А они гуськом, гуськом. И огромные – с избу! У каждого на прицепе двое большущих саней с домишками...

– Ах, что за домишки! – не вытерпел старик, проворно поднялся и сел. Глаза его заблестели. – Как наперсточки – аккуратненькие, чистенькие. Окна настоящие, все настоящее. Из труб дым валит. Просто глазам не верится. В таком доме никакой буран нипочем. Езжай себе хоть на край света. Играют в них на гармошках, поют – веселый народ едет, а мы стоим сбоку и смотрим, смотрим. Закоченели до слез. Куда нам до таких домов!

Старику было лет шестьдесят, но в бороде его не виднелось ни одного седого волоса. Весь крепкий, подтянутый, он казался куда моложе своих лет, а оживление, с каким он принялся рассказывать, молодило его еще больше. Жигит с густыми бровями, у которого старик перехватил нить рассказа, покорно умолк и лишь посматривал на загоревшееся лицо аксакала, на его блестящие глаза.

Слушатели смотрели на старика во все глаза, боясь пропустить хоть слово, и он увлекся, совсем забыв, что перебил рассказчика, – слишком уж интересно и необычно было то, что довелось ему увидеть. Но вот он спохватился, виновато оглянулся на молчавшего рядом жигита.

– Ничего, ничего, рассказывай, – поспешил подбодрить его тот без всякой обиды. Однако старик

окончательно смешался, умолк и снова прилег на локоть. Больше из него не удалось вытянуть ни слова.

Наступило неловкое молчание, и слушатели огорчились, что интересный рассказ так досадно оборвался. Во всем, что происходило нынешней зимой, чувствовалось приближение великих перемен. Но каких? Ведь неспроста уже с ранней зимы в степь понаехало множество пришлого народа.

– Так у них что – выходит, в домишках-то настоящие печки установлены? – высказал кто-то неуверенную догадку в надежде, что рассказ все же возобновится.

– Конечно, все так следует. И дом и печка.

– Вот жизнь! А мы на верблюдах маемся. Купил бы каждый колхоз по такому вот домику, прицепил бы к трактору – ездай куда хочешь. А то поезди-ка на верблюдах, да зимой, да по таким дорогам.

– Э, чего захотел! До нас всегда позже всех доходит.

– Это точно. Нашим бы только лошадь да верблюд, – вновь подал голос парень богатырского сложения. Густые брови на его задубленном лице угрюмо сошлись на переносице.

Все, кто был в комнате, умолкли и обратились к богатырю, как бы приглашая его высказаться. В готовности, с которой все замолчали, чувствовалось не только желание услышать важные новости, но и уважение к рассказчику, и он, похоже, знал это и понимал. Оспан или «шофер Оспан», как называли его повсюду, был заметным человеком в районе. Работал он в самом отсталом и захудалом колхозе «Жана Талап». Звучное и гордое название артели никак не соответствовало действительности. Во всем колхозном поселке, бедном и убогом, среди дедовских саманных домишек, которые с каждым годом все глубже уходили в землю, выделялось лишь несколько строений, и прежде всего новый дом Оспана под нарядной железной крышей. «О, Оспан хозяйственный человек. Что хочешь – все достанет», – хвалили его одни, а другие

отзывались о нем с завистью и даже со злобой: «Ха, была бы у меня в распоряжении машина!» Однако завистники не видели, а может быть, и не хотели видеть, что в разбитую колхозную полуторку Оспан вкладывал всю свою душу. Изношенной машине давным-давно пришел бы конец, если бы не умелые руки шофера. Оспан сам без чьей-либо помощи изготавливал в кузнице недостающие детали, подолгу ковырялся в моторе и, глядишь, там подмажет, там подвяжет – машина снова на ходу, снова тащится по разбитым степным дорогам ее облезлый старенький кузов. Постепенно Оспан настолько изучил свою полуторку, что по одному звуку, не заглядывая в мотор, мог сказать где что не в порядке и нуждается в ремонте. У иной матери ребенок не знает такого ухода, каким окружил машину Оспан.

С наступлением осенней распутицы, а затем и зимы, полуторка надолго запиралась в гараж: много раз латанной машине ни за что не выдержать трудных дорог в заснеженной степи.

Но не привыкший бездельничать Оспан садится на верблюда и подрягается делать то же, что и летом на машине: возить товары из областного центра для сельпо. Зимние дороги – трудные дороги, и верблюд – не машина, с которой за многие годы сроднился шофер, поэтому зимой Оспан зол, недоволен, и если представляется случай, он выговаривает свои обиды любому, кто попадается на глаза: начальник, простой ли человек – все равно. Вот и теперь он уже пятый день в пути, устал, а тут еще невиданный санный поезд встретился на дороге, в таких домиках можно всю жизнь ездить – не надоест.

– Терпеливый мы народ, что ни говори, – ворчит Оспан, выговаривая накопившееся недовольство. – Что нам сунут, тем и довольно. Нет, чтобы... Вот хоть наш колхоз взять. Ведь сколько земли зря пропадает, а нет, отдать не можем. Свое, мое! Куда там поделиться!

– От жадности, – уточнил кто-то. – Такие председатели, как наш Салык, держатся за землю по-байски. У других бы она пользу дала, а у нас... Забывают, что шубу надо шить по росту.

Оспан все больше мрачнел и жадно затягивался папиросой. Разговор зашел о наболевшем. Несколько лет назад, когда принялись заново делить колхозные земли, было мнение передать урочище «Жаман туз» овцесовхозам Зерендинского района. Но председатель Салык и слушать не захотел. «С ума сошли! Эти земли нам самим вот как нужны. Зимой там снегу мало, для тебеневки самое раздолье». Оспан и еще несколько колхозников пытались уговорить председателя, но Салык уперся как бык – не свернешь. А земли те следовало давно отдать соседям, все равно пропадают.

– Ничего, теперь наши Салыки поймут, как надо с землей обращаться. Я видел кто едет – одна молодежь. Эти научат.

– Точно, точно, – опять не выдержал и встрял в разговор старик. – Ребята едут один к одному. Мы где их встретили, Оспан? Возле «Нового пути», кажется? Ну да, за районным центром. Говорят, что за Кароем новый совхоз будет. Совсем новый, на пустой земле. Боевые едут парни – куда там!

– В будущем году... – раздельно и четко проговорил Оспан, осаживая разговорившегося старика сердитым взглядом, – в будущем году в одном только нашем районе будет организовано четырнадцать новых совхозов. Четырнадцать! Народу понаедет – тысячи!

И, выложив главную новость, он обвел слушателей медленным и таким значительным взглядом, будто во всех этих переменах была и его, Оспана, неоспоримая заслуга. Служатели, пораженные, затаили дыхание и еще теснее придвинулись к рассказчику. Радио в этих местах не было, газеты попадали редко, и о надвигающихся событиях обычно узнавали от сведущих людей. Новость, которую они только что услышали, была

поистине оглушительной. Столько совхозов, столько людей! Совсем изменится родная степь – не узнать будет.

На несколько минут в комнате воцарилось молчание. А когда миновал первый испуг удивления, все зашевелились, и возгласы одобрения слились в один неясный дружный гул:

– Да, да. Вот это хорошо.

– Тамаша... Тамаша...¹

– Дика! Эй, Дика, – негромко позвал раскинувшийся на подушках Косиманов, и на его голос тотчас вошел услужливый парень с плоским лицом, выходявший встречать приехавших.

– Садись, – распорядился гость и взял с низенького круглого стола начатую бутылку.

Парень, застенчиво улыбаясь, приблизился к столу и опустил на стол.

– Давай выпьем, Дика, за благополучие этого дома. Приехавший отогрелся в тепле, выпил, в теперь его тяготило одиночество. Дика был испытанный собутыльник, молчаливый и покорный. Когда-то Косиманов тайком от старого хозяина налил парню стакан водки, и с тех пор Дика настолько втянулся в эти выпивки, что с нетерпением ждал наездов щедрого на угощение гостя.

В комнате появилась молодая женщина и, присев у накрытого стола, принялась разливать чай. Косиманов лениво лежал на подушках. Он подмигнул парню на налитый стакан и чуть приподнял свой. Дика выпил с плохо скрытой жадностью.

Водка ударила парню в голову, он повеселел, расселся свободнее. Он знал, что гость ждет от него песен, – это было установившейся платой за угощение. Дика запел, слегка раскачиваясь и негромко выговаривая давно знакомые слова. Косиманов слушал,

¹Тамаша – хорошо, замечательно.

украдкой наблюдая за движениями молодой женщины. Глаза гостя жмурились, он удобнее подбирал под бок подушки. Голос парня крепчал, – хмель все больше туманил ему голову. Дика пел все, что придется. Память его хранила множество песен, и гость, слушая, время от времени нахваливал певца.

– Молодец! Какой молодец! Голос-то, а? – он пытался осторожно втянуть в разговор женщину. – Честное слово, голос у него, как у девчонки. Нет, Дика, был бы ты девушкой, хоть женись на тебе.

Молодая женщина, разливая горячий чай, без смущения взглянула в хмельные глаза гостя.

– По-моему, на одном тое двух невест не выдают. Разве вам мало нашей сестренки, что вы заритесь еще и на Дику?

Косиманов повеселел – женщина настроена благожелательно и за словом в карман не лезет. Продолжение разговора напрашивалось само собой.

– Так ты что же, – игриво заметил он, – считаешь меня таким немощным, что мне хватит одной вашей сестренки?

Женщина вспыхнула и на секунду опустила затрепетавшие ресницы.

– Недаром говорят, – усмехнулась она, – что бык, хоть и старый, а не теряет нюха.

Гость захохотал и схватил со стола бутылку.

– Ну, Дика, – бодро проговорил он, наливая в стаканы, – выпьем за таких вот женщин, как наша Акбопе.

Комплимент гостя дошел до сердца молодой хозяйки. Она встряхнула аккуратно убранной головкой и продолжала хлопотать за столом. Косиманов не сводил с нее глаз. Полуприкрыв набрякшие веки, он следил как ловко мелькают ее маленькие руки. Женщина наклонялась над столом, и тогда толстая накрепко заплетенная коса падала, выбиваясь из-под платочка, на высокую грудь и нежно щекотала открытую шею.

Женщина часто ловила на себе напряженный взгляд гостя и тотчас опускала глаза. Один захмелевший Дика сидел раскачиваясь, пел и ничего не замечал. Его позвали и угостили, чтобы заставить петь, и он добросовестно исполнял свои привычные обязанности.

– Может, мне по-русски спеть?– предложил он, изо всех сил желая угодить щедрому гостю.

– Пой, пой,– согласился Косиманов.– Что хочешь, то и пой.

Ему становилось не до песен. Однако, когда в комнате зазвучал необычайно высокий голос певца, Косиманов невольно перевел на парня взгляд. Этой песни он никогда не слышал. Откуда она? Где он их только берет, этот неугомонный Дика? Парень самозабвенно пел незнакомую песню, которой его выучили несколько дней назад ночевавшие на заезжем дворе русские шоферы.

Косиманов задумчиво уставился на безбородого певца. Казалось, за все время, что они знакомы, он только сейчас внимательно пригляделся к этому человеку, которого привык совсем не замечать.

– Слушай-ка, а сколько же тебе лет?– проговорил он едва певец умолк.

Дика в смущении опустил глаза.

– Да скажи, скажи,– подбодрила его женщина, не переставая что-то переставлять на столе, наливать, подавать.– Скажи, чего застеснялся.

– Говорят,– неохотно промолвил Дика,– я родился в год коровы... Сколько это?

– В год коро-о-вы!– протянул Косиманов.– То-то как теленочек любишь присосаться к стаканчику. Пожалуй, лет сорок тебе стукнуло. А?

– Наверно,– грустно согласился безбородый.

Косиманов с сожалением покачал головой. Затем спросил, украдкой бросая игривый взгляд на притихшую за столом женщину:

– А скажи-ка: ты хоть молодостью-то попользовался как следует? Или нет?

Парень промолчал, напряженно улыбаясь и разглядывая собственные ладони. Вмешалась женщина и сделала бесцеремонному гостю мягкий укор.

– Не надо, жезде, допытываться, чего не следует. Зачем?

Она вздохнула и стала убирать со стола.

От Косиманова не ускользнула перемена в настроении женщины.

– А что же я плохого спросил?– воскликнул он, пытаясь загладить собственный промах.– Просто хотел узнать, была ли у человека радость в жизни. Ведь когда и порадоваться, как не в молодости, пока еще есть силенки? А то жизнь пролетит, не заметишь, как и состаришься. Не до радости будет... Разве не так?– последний вопрос Косиманов задал едва слышно, наклонившись над столом и близко заглядывая хозяйке в глаза.

Женщина не ответила, даже не взглянула.

Косиманов сильно потянул носом и раздраженно откинулся на подушки. Взгляд его настойчиво караулил каждое движение молодой женщины. Ах, не военное сейчас время! Тогда в аулах совсем не оставалось парней, и Косиманов, отправляясь в поездки по району, испытывал азарт настоящего охотника. В те времена добыча легко давалась в руки, и Косиманов до сих пор вспоминал, сколько красных лисиц вывалял он на белом снегу. Тогда все было куда проще. Теперь же приходится ловчить и хитрить, заманивая осторожную лисичку в капкан. Одно лишнее слово, одно неудачное движение – и все пропало: как говорится, не только меха, но даже смеха не получишь.

Косиманов знал, что Акбопе уже год как вдова. Муж ее Жалил замерз прошлой зимой в буран, и совсем недавно, в годовщину смерти, старый Карасай справил по сыну поминки. Народу наехало на поминки – не

протолкаться, особенно стариков. Их не испугали ни холод, ни дальняя дорога. Словно изголодавшиеся волки набросились они на угощение, и скоро от пятилетнего, откормленного к поминкам жеребчика не осталось ни кусочка. Иные уж одной ногой в могиле стоят, но все равно, беззубые их рты не знают устали. Смотреть даже стыдно было – словно на свадьбу приехали.

Больше всех в выгоде оказался тогда мулла Ташим. Как ворон падали, не пропустит он ни одних поминок, и не успели еще съехаться все приглашенные, как рыжая кобылица муллы остановилась у ворот Карасая. Старикам давно не доводилось собираться вместе, и теперь они отвели душу, день и ночь напролет слушая гнусавый голос Ташима, читавшего священную книгу пророка. Отправляясь с поминок домой, мулла украдкой щупал спрятанный на груди сверток и всякий раз с удовольствием слышал негромкий бумажный хруст. Деньги были добыты «божьим путем», и это составляло законную добычу муллы.

Разъезд гостей омрачило маленькое происшествие, однако находчивость муллы, человека опытного и никогда не терявшего головы, выручила и на этот раз. Провожаемый стариками, мулла одевался в дорогу, напяливая поверх теплого чапана подарок хозяина – новенькое пальто с каракулевым воротником. Пальто оказалось тесновато и рукава его с треском разошлись по швам. Маленький сынишка покойного, Булат, с плачем бросился к мулле:

– Это пальто моего папы! Сними папино пальто!

В наступившем замешательстве первым нашелся Ташим. Он ласково погладил плачущего мальчика и проговорил:

– О, ты уже стал настоящим азаматом. Постой-ка, я как-нибудь заеду и сделаю тебе сундет¹.

¹Сундет – процесс обрезания, принятый у мусульман.

Тихие ласковые слова муллы оказали обратное действие: мальчуган, много наслышанный от взрослых о мулле и сундете, с громким воплем бросился к матери.

После шумных поминок одинокий дом у рощи Малжана зажил размеренной и тихой жизнью. Рано утром в теплом сарае громко хлопал крыльями и кричал молоденький петушок. Старый красный петух с обмороженными лапами тут же хрипло подхватывал крик, и день наступал. Дика поднявшись раньше других, снимал с изрезанного рогача фонарь и отправлялся в конюшню. После конюшни наступала очередь коровника, затем еще что-нибудь, — так целый день, поскрипывая снегом, парень возился по хозяйству на дворе.

В доме не следили за временем и поэтому не имели часов. Правда, в самой большой и чистой комнате на неровно вымазанной стенке висели тяжелые древние часы, но маятник их остановился давным-давно, а ржавая цепь с привязанным для груза болтом напоминала вывалившиеся бараньи кишки. Никому в доме до них не было дела. Дика, тот встает с петухами, а остальные спят сколько вздумается, до головной боли, потом не спеша поднимаются и долго, неторопливо пьют чай. Торопиться некуда. Когда еще был жив Жалил, так у него имелись наручные часы, но за год до смерти он колол дрова и разбил на часах стекло. С тех пор часы засунули на дно сундука и забыли о них.

После утреннего чая женщины принимаются растапливать печь. Старая Жамиш и Акбопе накладывают кизяку под огромный, остывший за ночь, казан. В казане день-деньской варится корм для поставленной на откорм скотины. Этот казан остался еще со времен бая Малжана, его большое медное брюхо, источенное на постоянном жарком огне, несколько раз давало течь, но старый Карасай упрямо накладывает новенькие заплатки и не позволяет его выбросить. С этим казаном связана память о счастливых когда-то временах.

К огню, пылавшему под казаном, приходит со двора замерзший и усталый Дика. В комнате, где кипит котел, огня не зажигают, и у Дики есть давно облюбованное место – в сумрачном уголке, куда почти не попадает света. Управившись со скотиной, Дика приходит в свой уголок и, поджав кривые короткие ноги, усаживается за ручную мельницу. Это дело тоже привычно ему, и он машинально подсыпает зерно, крутит тяжелый каменный жернов, крутит равнодушно, как вол, наблюдая за тоненькой струйкой свежей крупы. Так сидит он допоздна, чуть раскачиваясь и вполголоса напевая под шум жерновов свои привычные унылые песни.

Так, бесшумно и незаметно, проходят здесь долгие однообразные дни. Собственно, их никто и не замечает: ни Дика у своей мельницы, ни женщины у казана. «Солнце заходит, не успев взойти», – говорит о такой беспросветной жизни народная пословица.

Впервые попав в этот дом и присмотревшись, Акбопе ужаснулась тому, что ее ожидало. «Да тут позеленеешь с тоски! Ни одной живой души вокруг...» Однако потянулись дни, похожие один на другой, и молодая женщина втянулась, привыкла, и скоро даже скорбь по оставленным родным стала забываться в ее сердце. Постепенно она настолько смирилась, что только отъезды мужа по делам выбивали ее из привычной колеи. Тогда ей казалось, что в доме чего-то не хватает, она целыми днями не находила себе места, и тоска подступала к ней столь неодолимо, что она едва могла дожидаться возвращения мужа. С приездом Жалила все становилось на свои места.

В доме родителей ее с малых лет воспитывали в традициях старины, и она оставалась верна им. На поминках мужа, как того и требовал обычай, она вела себя скорбно, тихо плача и причитая, и ни у кого из собравшихся не зародилось и тени подозрения в искренности ее горя. Однако именно в эти печальные

дни в душе молодой женщины произошел окончательный перелом. Проводив последних гостей, Акбопе замкнулась, затихла и целые дни лежала в томительном одиночестве. Она забросила даже работу по дому.

Целый год со дня нелепой гибели Жалила она еще на что-то надеялась и ждала. Какие-то неясные надежды поддерживали ее уверенность, давая силы жить по-старому, хотя она своими руками обрядила покойного в последний путь, своими глазами видела, как вырос холм на его могиле. И лишь теперь, справив поминки, раздав всю оставшуюся после мужа одежду, Акбопе почувствовала, что порвалась та тоненькая нить, которая поддерживала в ее душе слабую надежду. Теперь образ Жалила сохранился лишь на увеличенной фотографии, висевшей в их доме на стене. И в сердце ее осталась одна жалость безвременной утраты самого близкого человека.

Поэтому-то так растревожили ее откровенные намеки подвыпившего и настойчивого Косиманова.

На ночь гостю постелили в хозяйской горнице. Акбопе взбила пуховую постель и отвернула угол атласного одеяла. Из комнаты, где шумели заезжие, вышел Оспан и тоже стал укладываться. Потушив свет, Акбопе прошла к себе за занавеску.

Сейчас, когда в доме все затихло, отчетливо слышно стало насколько разыгралась непогода. Ветер тонко и тоскливо завывал в печной трубе, выдувая последнее тепло. Жесткие крупинки снега твердо барабанили в оконное стекло. Буран, разгулявшись по степи, накидывается на одинокий двор и рвет, беснуется у ограды, насыпая целые сугробы высушенного морозом снега.

Во всем притихшем доме не спят лишь Косиманов и Акбопе. Едва потух свет и женщина скрылась за занавеской, гость насторожился и приподнялся на локте. Ему было жарко, он откинул одеяло. За белевшей в темноте занавеской раздавался едва слышимый

шорох одежды. Женщина раздевалась, и насторожившийся Косиманов походил на беркута, готового к броску за лисицей. Занавеска манит его, приковывает все внимание и, чтобы еще больше распалить себя, он представляет, как раздевается молодая женщина, вот уже год не знавшая мужчины. Косиманов осторожно приподнялся, стал на колени. Как кот, карауливший у норки, он ловит каждый звук. «Разделась?.. Кажется, легла».

Акбопе с головой закрылась одеялом. В такие ненастные выюжные ночи она тоскливей всего ощущает свое одиночество, свою неудавшуюся горькую жизнь. Всякий раз, прислушиваясь к завыванию метели, она представляет себе несчастного Жалила, потерявшего в степи дорогу. Буран отнял у нее мужа, и теперь, едва разыгрывается непогода, только о нем мысли Акбопе, она постоянно видит его, бредущего в ненастной степи, без сил и надежд увидеть спасительные огоньки родного дома. Она видит заблудившегося мужа в смертной тоске и отчаянии, он тянет к небу руки, кричит о помощи и не слышит ответа. Страшная, неотвратимая смерть в открытом пространстве степи, где свищет и беснуется осатаневшая метель, хороня все живое под толстым покровом сухого сыпучего снега.

Тягучий тяжкий вздох из-за занавески заставил Косиманова забыть об осторожности.

– Акбопеш...– шепотом позвал он и прислушался. Тишина, лишь воеет в трубе, да из угла, где постелили шоферу Оспану, доносится богатырский храп.

– Акбопеш, ты еще не спишь?

Молодая женщина сжалась под одеялом и крепко зажмурила глаза. Задумавшись о своем, она совсем забыла о настойчивых ухаживаниях сегодняшнего гостя.

Молчание женщины Косиманов истолковал по-своему: ждет, только стесняется позвать. Хотя почему стесняется! Вздохнула же! Чего еще надо!

И он, неслышно спрыгнув с кровати, метнулся к белевшей в темноте занавеске.

Шофер Оспан, как ни уставал в дороге, всегда спал чутко, по-степному. Он проснулся от резкого испуганного крика женщины.

Возились и разговаривали за занавеской.

– Это я, Акбопеш. Тише...– узнал шофер приглушенный шепот Косиманова.

– Что вы ищете? Дверь не здесь.

– Тише. Я не дверь...

– Что вам надо?

– Тише! Проснутся же... Акбопеш, можно мне сесть возле тебя? Вот тут.

Молодая женщина вся подобралась под одеялом. Руки гостя лихорадочно шарили, пытаясь добраться до нее.

– Уходите!

– Акбопеш, я хотел тебе сказать одно слово.

– Какое может быть слово ночью?

– Ну... сама понимаешь. Только тише, тише.

– Уходите! Завтра скажете.

– Акбопеш, ну почему ты так? Ты же не ребенок... Дай хоть к руке притронуться.

Косиманову удалось наконец запустить под одеяло руку. Акбопе вскочила, но гость успел схватить ее.

– Пустите! Как вам не стыдно!

Она вырвалась и бросилась в переднюю комнату. Косиманов выскочил следом за ней.

Неожиданно в дверях комнаты показалась богатырская фигура шофера Оспана.

– Что тут за скандал?– проговорил он хриплым со сна голосом.

Косиманов разом отрезвел. Стараясь не столкнуться с маячившей на пороге фигурой шофера, он проскользнул обратно в горницу и проворно нырнул под одеяло.

– Честь, совесть у тебя где? – возмущенно проговорил Оспан.

Косиманов, забившись на кровать, не подавал голоса.

Акбопе в слезах бросилась на грудь шофера. Рыдания сотрясали все ее тело.

– Думает, раз вдова, так и нахальничать можно. А ведь не чужие... Или Жалила не стало, так можно. Какой позор!

– Ну, ну, не плачь, – бормотал Оспан, неловко обнимая женщину за горячие покатые плечи. В горе и отчаянии она прижимались к нему изо всех сил, и он, смущенный всем этим, сбивчиво говорил какие-то ласковые нежные слова и даже поцеловал ее, наклонившись, в голову. На какой-то миг Акбопе забылась, где она и что с ней происходит, ей показалось что не заезжему шоферу, а Жалилу, живому и как всегда ласковому, выкладывает она свои накопившиеся обиды, и слезы женщины, крупные, горячие, как свинец, падали на могучую, словно наковальня, грудь шофера.

Утром Косиманов поднялся ни свет ни заря и, не позавтракав, не попрощавшись, убрался со двора. Он понимал, что после ночного происшествия возвращение в дом тестя ему будет заказано.

С этой ночи Акбопе окончательно замкнулась в себе. Как этот одинокий дом сторонился от всего, что было в степи, так и Акбопе отдалилась от своих домашних. Дом, где она была когда-то счастлива с Жалилом, теперь казался ей постылым и чужим. Она чувствовала себя в нем гостьей, временным человеком на постоянном дворе.

Состояние невестки не укрылось от стариков. И чем дальше, тем больше назревал разрыв. Свекор и свекровь, исподтишка наблюдая за Акбопе, не считали себя вправе укорять ее.

Целый год со дня смерти Жалила она вела себя так, словно он был жив и должен вот-вот вернуться. Но сколько же можно ждать покойного?

Старая Жамиш несколько раз порывалась поговорить с мужем, но, зная его строгий и крутой нрав, оставляла эту затею. А сам Карасай, давно уже заметив в невестке перемену, считал позором советоваться с женой, с бабой, которая, конечно, ничего путного не может подсказать мужчине. Так, каждый в одиночку, они носили в себе нарастающую тревогу, и эта тревога особенно давала знать в долгие зимние ночи, когда нет сна и в голову лезут всякие тяжелые предчувствия, – как вдруг случилось событие, поставившее все на свои места.

Таким событием было письмо Акбопе.

С той памятной ночи, когда в доме ночевал Косиманов, молодая женщина ходила сама не своя. Занятая мыслями, она совсем не замечала настороженного внимания домашних. Через несколько дней она решилась и уселась писать письмо своим родным.

«Аке, апа¹, – вывела она на самом верху чистой страницы. – Сколько раз вы говорили мне, и я до сих пор помню это: что суждено богом, от того не уйти. Да, так оно и получилось. Похоронив Жалила, я осталась одна, вся в слезах и с двумя малыми сиротами. Что же мне теперь делать? И я решила: буду в доме, чтоб не пустовало его место. Я думала, что если не сам Жалил, то уж его дух, его душа будут спокойны... Однако живой должен думать о жизни. У меня на руках двое детей, и я хочу, чтобы они выросли, стали людьми и не чувствовали себя сиротами. Дед и бабушка, конечно, не чают в них души и делают все, чтобы внуки были счастливы. И все же Жалила нет, и отца им никто не заменит. Я это понимаю, особенно сейчас, когда уже прошел целый год. Мало-помалу я начинаю чувствовать себя чужой в этом доме, хотя все относятся ко мне, как к родной. Но... я-то вижу, и с этим уж ничего не поделаешь. Я здесь становлюсь чужой, на меня смотрят как на обиженную судьбой, как на вдову,

¹Аке – отец, апа – мать.

вынужденную жить на старом, заброшенном пепелище. Я думаю, что мне, как ни тяжело это, надо уехать и вернуться туда, где я родилась и выросла. Руки у меня есть, работу я найду, буду жить и растить ребятишек. Мне кажется, ничего позорного нет ни для вас, ни для меня, если я вернусь домой. Прошу вас, как только получите письмо, приезжайте и заберите меня. Я соскучилась по вас, по аулу, по своей земле. Не могу я больше оставаться здесь... Жду вас как можно скорей. Не забывайте, ведь я все же живой человек...»

Акбопе не закончила письма. В комнату с мороза вошла старая Жамиш и удивилась, как холодно в доме.

– Акбопеш, ты же детей застудишь. Смотри, сейчас самое опасное время. Заболеют, что делать будем?

Печь в доме не топилась с самого утра, и маленькое окошко совсем затянуло инеем. Булат, игравший на разосланном домотканом коврике, посинел и сидел взъерошенный, как галчонок. От окошка сильно несло холодом.

Отложив письмо, Акбопе влезла на крышу домика и сняла с трубы войлочную подушку с песком. Чтобы поставить у трубы заслон, надо было определить, откуда дует ветер, но Акбопе, сколько ни поворачивала лицо, не ощутила ни малейшего дуновения. Мороз упал, сияло солнце, и в степи было тихо. Приставив руку к глазам, молодая женщина засмотрелась на ровные заснеженные увалы, уходящие к далекому горизонту. Кое-где на косогорах начинал сходить снег, и в тех местах чернела обнажаемая земля. Акбопе вспомнила старикивскую примету: если в эти предвесенние дни овечий помет протаивает в снег, значит, зима пошла на убыль и скоро наступит тепло. Далеко по горизонту степь была затянута легкой, едва заметной дымкой, и может быть, поэтому солнце особенно ярко сверкало на слежавшемся за зиму снегу. Да, зиме подходил конец, и вот уж солнце, обычно тускло и безжизненно висевшее над степью, стало забираться

все выше, и уже сейчас можно было разглядеть в просевшем снегу головки прошлогоднего курая.

В стороне от рощи Малжана отчетливо виднелся высокий холм, и Акбопе прищуренными глазами долго смотрела на него. На холме была могила Жалила. Ограда могилы, всю зиму занесенная снегом, теперь темнела, особенно с солнечной стороны.

Стаявший снег обнажил мокрую глиняную стену, однако с северной стороны все еще возвышался плотно слежавшийся сугроб.

С крыши видно было, как по могильной ограде озабоченно скачет суетливая сорока, подрагивая плоским, как лопаточка, хвостом. Акбопе показалось даже, что она слышит сорочий беспокойный стрекот. Та явно чем-то растревожена, и Акбопе пыталась разглядеть, что там происходит у могилы. Неожиданно со стороны ограды, там, где снег, начиная сходить, обнажал темный склон холма, показалась красная степная лисица. Сорока заскакала и затрещала еще беспокойней, и Акбопе увидела, что лисица забавляется пойманным тушканчиком. Хищница то отпускала свою жертву и замирала на снегу, ожидая малейшего движения, то принималась подкидывать тушканчика, катать его лапой по земле, ловко поворачивая туда и сюда. Иногда она словно забывала о своей добыче и начинала играть собственным хвостом, кружась на одном месте и пытаясь схватить его зубами.словно ребенок, она кувыркалась через голову, и мех ее, еще крепкий, очищенный на снегу, пламенел на солнце. Акбопе отчетливо видны были смешные забавы лисицы.

Молодая женщина еще долго стояла на крыше, всматриваясь в сияющую под ярким солнцем степь. Но пусто, безжизненно было вокруг, только скакала и стрекотала на могильной ограде сорока, да лиса играла с несчастным тушканчиком.

Акбопе спустилась с крыши и набрала в сарае охапку сухих березовых поленьев. На крыльце дома, когда она

поднималась, ей встретился свекор. Карасай не поднял головы, даже не взглянул на невестку и прошел к себе. Встреча со свекром и особенно его неприветливость заставили Акбопе насторожиться. Не слишком-то часто старик навещал опустевший дом сына, но вот заглянул и, видно, сразу чем-то расстроился. Акбопе вошла в настывшую комнату и с грохотом сбросила поленья у печи. Недоброе предчувствие заставило ее кинуться к столу. Так и есть, – незаконченное письмо валялось на полу.

– Это ты сбросил? – крикнула Акбопе сынишке.

Тихо игравший на полу ребенок поднял на мать удивленные глаза.

– Не-ет... Не знаю...

– Кто же тогда? Черт, что ли? – допытывалась Акбопе.

– Дедушка сейчас читал.

Сердце Акбопе упало. «Стыд какой... Надо же было мне оставить его на столе! Ах, растяпа. Такой позор!..»

Карасай, прочитав письмо, ни слова не сказал невестке, но на другой же день собрался и уехал в район. Пробыл он там три дня и вернулся с Халилом, забрав его из дома Косиманова. Халил заканчивал среднюю школу и собирался поступать в институт, но Карасай настоял, чтобы сын поехал с ним. «Мать что-то прихварывает, хочет тебя видеть. Может, легче станет, когда тебя увидит...»

Для Халила поездка к родителям всегда была настоящим праздником. В прежние годы он приглашал к себе на каникулы друзей, но ребятам скоро надоедал унылый одинокий дом и они стремились поскорее вырваться к людям, для Халила же роща Малжана была самым любимым местом.

Живя в доме Косиманова, Халил постоянно тосковал о родителях, по Дике и Акбопе. С женой старшего брата у него с первых же дней установились

чисто дружеские отношения, как с ровесницей. Они постоянно подшучивали друг над другом, часто ссорились, но тут же мирились. Поводом для ссор бывал язычок невестки, острый и не знавший пощады. Парень вспыхивал и долго не мог прийти в себя от смущения. Но вот обида проходила, Халил отправлялся разыскивать невестку, и снова на дворе одинокого дома раздавался веселый смех.

Молчаливый Дика с приходом Халила преображался неузнаваемо. В эти дни улыбка не сходила с его плоского лица, и одно появление Халила во дворе вызывало у него радость. Как ни уставал Дика по хозяйству, но стоило Халилу задеть его, как они оба вцеплялись в пояса друг другу и подолгу барахтались где-нибудь под стогом или, если это бывало летом, под деревом. Разнимал их кто-нибудь из взрослых, чаще всего бабушка, не сводившая с любимца глаз. «Эй, непутевый, – кричала она на Дику, – ты что прыгаешь с ребенком, как верблюжья попона? Тебе что, делать нечего?» И Дика поднимался, мрачно подтягивал вечно спадающие залатанные штаны и принимался за работу. Если же их заставал сам Карасай, то одного вида хозяина было достаточно, чтобы Дика забывал о забаве и испуганно вскакивал на ноги. Карасай никогда не выдавит ни слова, ни улыбки, – но и под взглядом его Дика сметается, заторопится и убежит по делам.

...В гостях у Косиманова Карасай не стал задерживаться. Погода портилась, и надо было трогаться в обратный путь.

Широкие розвальни, набитые сухим душистым сеном, выехали со двора. Карасай, не оглядываясь, заторопил лошадей. Третий день, как установился с юга резкий пронзительный ветер и степь потемнела, придавленная черными тяжелыми тучами. Они ползли низко, почти задевая землю набрякшими животами, и время от времени косой холодный дождь принимался рябить темные лужи талого снега.

Карасай, зябко зарываясь поглубже в сено, за всю дорогу не проронил ни слова. Изредка он испытующе поглядывал на счастливое, безмятежное лицо сына, словно искал подтверждения каким-то тайным своим мыслям, но встречал ответный взгляд и тут же опускал глаза. В последние дни тревожно на душе у старика и, как ни ломай головы, выхода пока не находилось.

Неожиданная смерть Жалила сильно подкосила старика, и он долго не мог оправиться от удара. Теперь вдруг новое несчастье – уходит Акбопе. Невестка, конечно, заберет и малышей, и Карасаю больно сознавать, что через год двое ребятишек совсем забудут его и станут чужими. Но даже не это самое неприятное. Самая большая потеря для хозяйственного старика – Капыш, отец невестки. Крупнейший торговец в омской округе, Капыш пробил дорогу в город и Карасаю. И если до сегодняшнего дня хозяйство одинокого двора в степи процветало, то большая заслуга в этом богатого и влиятельного родственника, знающего где в городе бьют неиссякаемые родники добычи. Теперь всему этому благополучию придет конец, потому что уйдет Акбопе, и Капыш даже не посмотрит в сторону бывшего родственника.

Думая о судьбе невестки, Карасай понимает, что женщина она молодая – не век же ей сидеть во вдовах. Она еще может найти человека, отца своим ребятишкам. Прощай тогда не только внуки, но и часть хозяйства, положенная им после смерти Жалила, и тут уж ничего не поделаешь, придется отдать – закон на их стороне. Жалко, невыносимо больно расставаться старику с накопленным добром. Вся жизнь его в этом хозяйстве, которое он берег пуще собственного глаза. Что за проклятое время настало: одна беда за другой!..

После смерти Жалила последней надеждой старика оставался младший Халил. Но что-то не похоже было, чтобы Халил мечтал остаться под отцовским кровом. Вот кончит школу, поступит в институт. Жизнь в

большом городе заставит его забыть родные места. А кому же передаст Карасай свое хозяйство, кто заменит его в этом крепком дворе? Нет, пока еще есть возможность, надо повернуть сына на правильную дорогу. В городе он выучится, женится на какой-нибудь пустой вертлявой девчонке, и ему уж будет не до хозяйства. Надо сейчас, пока не поздно, надеть на ноги молодого Халила надежные путы и удержать его возле отцовского дома. Тогда и Акбопе никуда не уйдет, соображал расчетливый старик, и Капыш ничего не сможет сделать. И овцы целы и волки сыты. Так оно и будет.

Собираясь в район за Халилом, старик украдкой дал жене наставление: «Обработай-ка невестку. Да не сразу, а постепенно. Так, слово по слову вливай в ухо. А то как бы не вспугнуть...» И заторопился в дорогу. В невестке он почему-то был уверен – согласится. А вот Халил... Что если начнет артачиться? Но тут в душе старика поднялась волна гнева. Он никогда не терпел возражений, не потерпит и теперь. Ноздри его тонкого с горбинкой носа раздулись. Пусть только попробует! Но что-то удерживало его от прямого, откровенного разговора с сыном. В гостях у Косиманова и сейчас, возвращаясь домой, он незаметно наблюдал и приглядывался к Халилу. Неужели пойдет против воли отца?

А Халил, нисколько не догадываясь об отцовских намерениях, радовался поездке и был счастлив, что несколько дней проведет в родных местах.

Письмо родителям Акбопе дописала, но переслать его не смогла. Пока она ждала попутного человека, в гости неожиданно нагрянул сам Капыш. Приезд отца, да еще в отсутствие свекра, когда в доме все притихло в ожидании каких-то надвигающихся тревог, развеселил Акбопе. Она выскочила из дома и повисла у отца на шее.

Вместе с отцом приехал маленький братишка Марат, и счастливая Акбопе ни на шаг не отпускала его

от себя, поминутно целуя и сжимая в объятиях. До замужества она понятия не имела о тоске по родным местам и людям, и теперь давала волю своему изболевшему сердцу.

Но недолгой была радость молодой женщины. В сумерках она вышла закрыть на ночь трубу и уже ступила на лестницу, чтобы подняться на крышу, как вдруг воронье, ночевавшее на голых сучьях берез, загалдело, сорвалось с мест и поднялось над рощей крикливой растрепанной тучей. Акбопе взгляделась и заметила подводу свекра, показавшуюся из-за рощи. Лошади бежали бойко, и скоро собаки подняли неистовый лай и заскакали у запертых ворот.

Выскочивший Дика побежал встречать, а Акбопе, так, и не закрыв трубы, юркнула обратно в дом. Неожиданный приезд отца, намеки свекрови и особенно это быстрое возвращение свекра, — предсказывали близкие и нелегкие перемены. От радости Акбопе не осталось и следа.

Не успела подвода въехать во двор, как соскочивший с розвальней Халил, толстый, в длинной тяжелой шубе, бросился к Дике. Густой курчавый ворот бараньей шубы мешал им дотянуться друг до друга и поцеловаться.

Собаки, узнав хозяина, поднимались на дыбы и царапали передними лапами черный полушубок Карасая.

— Кто это? — отрывисто спросил Карасай, не сводя глаз с пары гнедых, привязанных голова к голове. Он узнал лошадей Капыша, но боялся верить глазам.

Дика, не расслышав вопроса, сунулся поближе, но переспросить не посмел. Карасай глянул на его напряженно улыбавшееся лицо и выругался.

— Оглох совсем? Лошадей распряги!

Парень с готовностью бросился к розвальням и стал суетливо хвататься то за дугу, то за хомут, затянутый крепкой рукой старика.

– Ты что, дурак!– рявкнул на него Карасай.– Вожжи сначала отстегни, чересседельник отпусти. Когда ты только научишься?

– Агатай,– робко позвал Дика,– в доме гости. Сват сидит. Только сегодня приехал.

Карасай, хоть и узнал лошадей свата, при словах Дика вздрогнул. Все складывалось не так, как он задумал. У крыльца он помедлил, глядя себе под ноги. Старая сука, ласкаясь, приблизилась к хозяину и потерлась боком о его ноги. Карасай размахнулся и пнул ее по отвисшим сосцам. Собака с воем отлетела в сторону.

– А это чья кляча?– крикнул Карасай, разглядев у привязи брюхатую низкорослую кобылицу, жующую прямо из ямки в снегу хрустящий овес.– Это ты ей овса насыпал, дуралей?

– Нет, я не давал,– замотал головой перепуганный Дика.– Овес хозяйский. Это мулла Ташим. Булату сундет сделал.

– Ну вот еще...– только и проговорил Карасай, совсем изменяясь в лице.– Ладно, лошадей покрепче привяжи, да смотри чтоб снегу не нахватались.

И он направился в дом.

Капыш, уже отдохнувший с дороги, лежал в переднем углу, подбив под локоть пуховую подушку. Карасай с радостным видом устремился к дорожному гостю, и сваты крепко обнялись. Никто и не заподозрил бы, что на душе у хозяина скребут кошки,– настолько сердечно заключил он Капыша в широкие объятия. Едва кивнув мулле, Карасай высвободился из объятий свата и бросился к кровати, где под белой задернутой занавеской лежал больной внучонок. Булат был напуган операцией.

Особенно страшно ему стало, когда мулла, словно мясник на барана, навалился на него всем телом и крепко ухватил своей жилистой рукой за колено. При воспоминании об острой боли мальчик вновь залился слезами и принялся жаловаться деду.

– Светик мой,– неумело запричитал Карасаи, вытягивая губы и боясь притронуться к внуку.– Ну, не плачь, не плачь... Побей деда, побей, это он виноват... Маленький мой, зато теперь ты стал настоящим азаматом.

Необычная говорливость и ласка Карасая, за всю жизнь ни разу не обнявшего даже родного сына, насторожили старую Жамиш. Она перестала возиться у казана и удивленно повернулась к мужу.

В это время в дом вбежал счастливый и радостный Халил, успевший сбросить шубу. Первой он увидел Акбопе, сидевшую спиной к двери, и с разбегу обнял ее. Смеясь, он пытался повернуть невестку к себе лицом, но Акбопе не только не выказывала радости, как прежде, а даже сопротивлялась ласке, упрямо отталкивая его. Халил, думая что это нарочно, рассмеялся еще громче и больно ущипнул ее. Молодая женщина вздрогнула и повернулась, и Халил увидел ее тревожные и печальные глаза. Сердце его упало, он невольно опустил руки. Акбопе снова отвернулась. Халил стоял в растерянности. Он не узнавал невестки,– так она изменилась. Куда девалась ее смешливость, отчего она так похудела? Халил всматривался в ее бледное потускневшее лицо и ему казалось, что крохотная родинка под самым глазом Акбопе похожа теперь на перевернутый казан на забытом людьми пепелище.

– Акбопе, а я тебе что-то привез...– неуверенно проговорил он, надеясь, хоть как-то расшевелить невестку. Он достал из-за пазухи подарок и тотчас прикрыл его, ожидая, что Акбопе вскочит и станет обнимать. Но молодая женщина словно не слышала.

– Не веришь?– спросил Халил.– Смотри!

И снова Акбопе даже не пошевелилась.

Халил вконец расстроился и стал разворачивать сверток. Еще в районе, собираясь в обратную дорогу, отец завел Халила в магазин и сказал, указывая на яркий кусок панбархата:

– У Акбопе что-то настроение неважное. Возьми-ка ей на платье, бабам нравятся такие штуки.

Халил вез подарок и представлял себе, как обрадуется Акбопе. Однако молодая женщина даже не взглянула на отрез, она еще ниже опустила голову, и Халил увидел, как из глаз ее покатались слезы.

Двор у Карасая, как заячья нора – коровники, конюшни, сараи и сарайчики без конца. Незнакомый человек заблудится в этих пристройках.

Ожидая, пока готовится угощение, Карасай позвал свата пройтись по хозяйству. Так уж повелось у обоих: кто бы ни приезжал, хозяин обязательно ведет гостя похвалиться своим богатством. Люди пожилые и бывалые, они понимают, что количеством накопленного добра и крепка их дружба и уважение друг к другу.

В переднем сарае мулла Ташим разделявал подвешенного за ноги барана. Жилистые измазанные в крови руки муллы ловко орудуют острым складным ножом с деревянной ручкой. Иногда Ташим откладывает нож и сжатым кулаком отделяет шкуру от мяса. Черная овчина сползает все ниже, свешиваясь на обе стороны и обнажая тушу. Рядом с муллой возятся две старухи. Когда в сарай вошел Карасай со сватом, одна из старух разогнулась и, словно вдевая нитку в иголку, всмотрелась, сощутив глаз, в белевшую тушу мяса.

– У-у, святая скотина, – пропела она, ущипнув подвешенную тушу. – Смотрите, как снег белая. А шея так совсем жиром заросла.

Довольный Карасай полюбовался, как ловко управляется мулла и, кивнув свату, направился дальше.

Старая Жамиш принялась готовить угощение еще до приезда мужа. Карасай, едва осмотрелся в доме, принялся и подозрительно спросил жену:

– Ты что это варишь, старуха? Чем это пахнет?

Жамиш, догадываясь, что муж приехал недовольный и теперь лишь ищет предлог, чтобы сорвать

злость, тем не менее ответила задиристо, без всякой боязни:

– Мясо варится, что же еще. Свинины, кажется, ты не привозил...

Ответ жены обескуражил Карасая. Несколько мгновений он сердито глядел на возившуюся у казана Жамиш, но та, занятая своим делом, не обращала на него никакого внимания. Карасай усмехнулся.

– Слышал, сват? Нашей старухе пальца в рот не клади. Оттяпает разом... Но ты же конину варишь, Жамиш, а где у нас голова для свата?

– Перестань,– вмешался Капыш.– Не надо больше ничего. Брось, брось, не беспокойся.

– Ну, нет,– запротестовал Карасай,– когда мы к вам приезжаем, так вы нас одним маслом кормите. Сегодня вы у нас в гостях!

И Карасай, поманив Ташима, отправился выбирать барана для угощения.

...Карасай не спеша вел свата по всем дворам и сараям. Они вошли в коровник и остановились. В чисто убранном помещении было тепло и сухо, коровы, лениво вздыхая, лежали на свежей подстилке, уродливо выпятив огромные животы. Наверху, на подвешенном насесте, завозились куры. Карасай окинул коровник придирчивым хозяйским взглядом.

– Ты посмотри, сват, что этот дуралей натворил. Я же сколько раз говорил, чтобы сено на подстилку не бросал. Так нет: что корове, то и под корову. Половину сена изводит на подстилку.

Капыш миролюбиво заметил свату:

– Не ругайся, Кареке. Сено каждую весну остается, а навоз все равно вернется в твое же хозяйство.

– Это верно,– согласился Карасай и повел гостя в конюшню.

Для коней, чтобы не лягались, хозяин устроил отдельные стойла. Плотный пар стоял в конюшне, и Карасай со сватом остановились на пороге, при-

слушиваясь как хрустит на конских зубах ядреный овес. Обычно лошади беспокоятся при появлении человека, но ухоженные, накормленные до отвала кони Карасая даже не посмотрели на вошедших. Карасай прошелся по стойлам, любовно похлопывая лошадей по лоснящимся крутым бокам.

– Ах, лошади, – все-таки ни с чем их не сравнишь. Смотри, как жуют. Четыре машины овса привез осенью, и уж к концу подходит.

– А это что за конь? – заинтересовался Капыш, подходя ближе и всматриваясь.

– Это? А помнишь серую клячу, которую я купил у Малтая?

– Неужели та? Вот не подумал бы. Смотри, как поправилась. Даже мастью вроде другая стала.

– Ага! А ведь тогда никто не верил, что из нее что-нибудь получится. Нет, корм – святое дело. Жрет так, что не напасешься. И воды по пять-шесть ведер. Зато смотри какая стала!

– Сколько за нее дал, сват?

– Сколько? Просил он полторы. Но я посулил магарыч, и он сбавил до одной. Насчет водки с ним хоть не заикайся – ни за что не устоит. Да и один разве он? – Карасай, любуясь раскормленной лошастью, с удовольствием потер широкими, как лопата, ладонями. – Зато теперь за нее мне без всяких четыре с половиной отвалит. А то и все пять. Мясо у людей кончается – весна подходит. А у кого сейчас скотина на откорме стоит? Да ни у кого. Слава богу, что живой после зимы осталась... Недавно пять голов сплавил. На эту тоже скоро найдутся.

Капыш, слушая разглагольствования хозяина, с интересом рассматривал лошадей.

– Пай, пай, – неожиданно воскликнул он. – Вот это саврасый! Да он же лопнет у тебя, сват!

И чтобы не обидеть Карасая, боявшегося сглаза, гость сплюнул три раза, затем с любовью запустил пальцы в густую шелковистую гриву коня. Высокий

статный конь, стукнув копытом, переступил точеными ногами. Гость опытной рукой прошелся по гладкому загривку саврасого, огладил шею, – везде плотно и крепко, не ущипнешь.

Карасай наклонился к яслям, зачерпнул из колоды нетронутый овес.

– Что-то есть перестал он последнее время. Застоялся, что ли?

И они перешли в овчарню, просторный амбар с новой крышей. Возле овчарни стоял плотно уложенный стог сена, придавленный со всех сторон жердями.

Стог уже был начат, и из сена торчало несколько деревянных ручек граблей, которыми Дика, не залезая наверх, дергает скоту корм.

Овчарню старики смотреть не стали. Не сговариваясь, они опустили на перевернутую колоду. Здесь было их излюбленное место для бесед.

Капыш молчал, кутаясь в теплое меховое пальто с каракулевым воротником. Ему было далеко за пятьдесят, однако лицо выглядело удивительно молодым, почти без морщин и складок. Белолицый, моложавый, он даже теперь очень напоминал свою мать, знаменитую когда-то красавицу Салиму, дочь богатого омского торговца Габидуллы, имевшего просторный дом в двенадцать комнат. Поглядывая на свата, Капыш выжидал и тонко усмехался, чуть показывая золотые зубы, блестящие при тусклом свете керосинового фонаря. Он знал, что Карасай не зря привел его сюда, на обычное для серьезных разговоров место.

– Ну, что нового в Омске? – прокашлявшись, спросил Карасай.

– А что нового? Все по-старому. Я только недавно вернулся оттуда, – в Казачьем был два дня. С мясом плохо в городе, вот что. Колбаса еще есть, а мяса почти не бывает. Приезжих полно, на целину едут. Аж в глазах рябит. Может, потому и мяса в магазины мало попадает, столовые да рестораны забирают.

– То-то, видно, на базаре цены поднялись!– осторожно поинтересовался Карасай.

– Еще как! Цены такие, что обожжешься. Баранина жирная – тридцать, тридцать пять. Сейчас самое время продавать. Только вот дорога начинает портиться...

Разговор долго крутится вокруг да около, но никто из стариков не заговаривает о главном. Капыш, посмеиваясь в душе, ждет, когда не выдержит Карасай, однако тому, хотя не терпится завести речь о судьбе невестки, не хочется ронять достоинства в глазах хитрого свата и повести дело так, чтобы тот сам подал повод вспомнить об Акбопе.

Приезд свата, да еще в такую погоду, уже сам по себе говорил о многом, и Карасай догадывался, что он пожаловал совсем не затем, чтобы справиться о здоровье и поговорить о ценах на мясо. Акбопе соблюла обычай и выдержала год траура после смерти мужа. Как она теперь думает устроить свою судьбу? И, главное, что скажет об этом сам Капыш? Договариваться обо всем надо сегодня, сейчас, иначе завтра он засобирается домой и уедет.

Капыш и в самом деле не думал задерживаться в доме свата. Он первым не выдержал загадочных недомолвок и откровенно заявил Карасаю:

– Ну, Кареке, завтра, даст бог, надо трогаться обратно. Дела, некогда. Но к вам у меня большая просьба.

Он сказал и умолк. Карасай затаил дыхание. В нем все насторожилось в ожидании. Словно замороженный смотрел он, как сват полез в карман и достал изящный золотой портсигар. Выдержать напряженное молчание у Карасая не хватило сил:

– Говори, сват, я слушаю. У нас тоже есть одно желание, мы тоже будем тебя просить.

– А разве я когда-нибудь не исполнял ваших желаний, Кареке? Но на этот раз у меня действительно серьезный разговор.

Карасай, волнуясь, кивнул. Капыш как бы в глубоком раздумье неторопливо разгладил свои красивые, словно подбритые брови.

– Видите ли, Кареке, в наше время, если только задуматься, все стремления человека сводятся к тому, чтобы прожить как можно интереснее. Вспомните, что говорили раньше. «Крылья жигита – конь». И ведь каких коней держали! А что конь нынче? Нынче машины появились. Купит человек машину – и весь мир перед ним. Я на своей знаете сколько поездил? Да и для хозяйства лучше вещи не сыщешь. Куда захотел – раз-два – и там.

– Конечно, какой может быть разговор! – ввернул Карасай. – Я вот тоже хочу купить Халилу машину. Пускай себе катаются с Акбопеш. Молодые же, им все интересно.

Однако сват не подал и вида, что понял осторожный намек. Он по-прежнему гнул свое.

– У меня с машиной сейчас немного не того... Состарилась, поизносилась. Да и дельце одно удачное подворачивается. Так что... – Капыш не договорил и принялся старательно раскуривать потухшую папиросу. Карасай терпеливо ждал.

– На машины сейчас, сами знаете, Кареке, очереди большие. У нас в Омске, например, нечего и думать дожидаться. В прошлом году мы с братом Жумабаем записались в Куломзино. Там меньше народу, и теперь очередь подошла. Старую машину я хочу продать. Только скажи, с руками оторвут. И за прежнюю цену. Желающих хоть пруд пруди...

«К чему это он?» – никак не мог понять Карасай. Он все ждал, что сват заговорит о дочери, и уже давно приготовился к этому, но тот все тянул и мямлил, пока наконец не набрался решимости.

– И вот, Кареке... мне нужны деньги. На несколько месяцев. За этим я и приехал к вам в такую даль.

У Карасая отлегло от сердца. «Только-то?» От радости он чуть не рассмеялся.

– Сколько вам?– спросил он.

– Около двадцати тысяч... Но я скоро отдам!

– Да ну, что за разговор!– запротестовал Карасай.– Мало ли у нас переходит из рук в руки... Найдем. Потрясем свои карманы.

– Вот и хорошо,– с облегчением произнес Капыш.– Ай, Кареке, до смерти не забуду! С таким сватом ни за что не пропадешь.

– О чем вы говорите, сват! Я же для вас... Вот не поверите, хоть и нет моего Жалила на свете, но для вас я хоть сейчас душу отдам.

– Ой бай-ау!– укоризненно пропел Капыш, покачивая головой.– О чем вы говорите? «Нет Жалила...» Да разве наше сватовство не на тысячу лет?

– Правда, истинная правда,– подхватил обрадованный Карасай.– Акбопе для нас сейчас не меньше Жалила. Как родная стала.

– Ну вот, а вы говорите...

Капыш никак не ожидал, что дело его уладится так быстро, и был доволен, что сумел ловко обработать прижимистого свата. Карасай же, без ума от радости, благодарил судьбу, что она сама послала ему Капыша в руки. Другой более удобный случай, чтобы завершить задуманное, едва ли представится. Поэтому, когда Капыш, весьма довольный собой, поднялся, чтобы вернуться в дом, Карасай потянул его за полу и снова усадил рядом.

– Погоди-ка, сват. Теперь ты послушай меня. Как говорится, на ловца и зверь бежит, так и ты пожаловал в тот момент, когда я сам собирался к тебе.

«Наверно, опять что-нибудь о торговле»,– с легким сердцем подумал Капыш и закурил.

– Правду говорят, сват, что от судьбы не убежишь,– продолжал Карасай.– В прошлом году, когда случилось с Жалилом, я нисколько не надеялся, что долго протяну. Думал, отправлюсь следом же за ним. Но, видно, не зря говорят: за мертвым не умирают.

Капыш утвердительно кивнул головой:

– Конечно. Живой ищет жизнь, а смерть идет своей дорогой.

– Так вот, сейчас у нас со старухой новая боль и, пожалуй, ничуть не легче, чем прошлогодняя. Это – Акбопе. Да, да. Как подумаем, что она покинет нас, на душе черно. Но теперь, слава богу, ты успокоил нас.

Капыш, соображая, поднял голову, тонкая бровь его полезла вверх. Но Карасай, словно не замечая, что происходит со сватом, продолжал как ни в чем не бывало.

– Что мы, старики, знаем, хоть и сидим день-деньской дома? Это мне Жамиш сказала, она узнала. Видно, детки наши решили не сиротить двух малышей, не отдавать в чужие руки. И ведь как правильно, как хорошо решили! Да только почему-то боятся нам сказать об этом. А разве мы враги им, разве мы станем разнимать их руки? Пусть живут и будут счастливы. Халил у меня уже совсем взрослый парень, поучился, набрался ума-разума, пора и на хозяйство становиться, своим отдельным домом жить. И я только рад, что у них с Акбопе так хорошо все получилось. Пусть будут счастливы! И ты, сват, дай им свое благословение. Илляхи аминь!

Карасай медленно, священнодействуя, провел ладонями по лицу и краем глаза успел заметить растерянность свата. В душе Капыш не был против замужества дочери, но он не ожидал, что согласится Халил. Взять жену старшего брата с детьми... Ведь это же аменгерство, старый дедовский обычай. А Халил... Видя замешательство свата, Карасай решил не давать ему времени опомниться и завершил разговор:

– Теперь, сват, как только степь подсохнет, приезжайте к нам со старухой, порадуем детей, устроим той. Только прошу вас – как будете уезжать, благословите их, а то они не знают, как им быть. Успокойте их, скажите, что вы согласны.

Капыш молча кивнул и первым направился в дом.

Довольный успехом, Карасай решил не терять времени и принялся за сына. Он вызвал его из дома, привел и посадил рядом с собой на место свата. Халил, привыкший к суровому нелюдимому нраву отца, был удивлен всем этим и терялся в догадках. Может быть, он на самом деле становится взрослым человеком, если отец приглашает его для серьезного разговора?

– Как ты думаешь, – спросил Карасай, – отчего это сват приехал к нам в такую распутицу?

Халил, недоумевая, к чему весь этот разговор, осторожно пожал плечами:

– Не знаю, коке... Наверно, просто так, навестить.

– Как бы не так! Навестить... Он приехал, чтобы добить меня! Понял? Мало мне, что я потерял Жалила. Так теперь он хочет совсем опустошить мой дом.

Раздраженный голос Карасая глухо раздавался в мрачном, еле освещенном сарае. Огромная тень старика металась по грязной стене овчарни. Халилу становилось страшно от слов отца.

– Как это... опустошить?

– А вот так. Капыш приехал, чтобы забрать Акбопе вместе с детьми.

– Забрать?.. Насовсем?.. – невольно вырвалось у Халила.

Он был поражен. Никогда раньше он не задумывался над тем, кто для него жена погибшего старшего брата. Он относился к ней, как к родному близкому человеку, постоянно живущему в доме отца, и был уверен, что Акбопе всегда будет рядом. Оказывается, Акбопе может уехать и уехать навсегда. Халил перевел дух. Он даже не подозревал, что эта женщина так ему дорога. Теперь Халилу казалось, что и приезжал-то он в дом отца лишь только потому, что надеялся увидеть Акбопе, услышать ее шутки, смех, испытать счастье нескольких проведенных вместе дней. Одиноко станет ему в отцовском доме без Акбопе. Сердце

юноши сжала острая тревога. Словно спрашивая совета, он поднял на отца глаза.

Карасай говорил:

– Я чувствовал, зачем он приехал. В прошлом году, еще земля на могиле не высохла, к Акбопе уже приезжали свататься. Я тебе не хотел говорить, чтобы зря не переживал. А теперь... Сам знаешь, кто не позарится на Акбопе. Такую женщину не часто встретишь. Тут до меня слух дошел, что ее собираются выдать за единственного сына омского торговца Молдабая. Я поспрашивал кое у кого: оказалось, правда. Так что вот зачем и приехал Капыш. Везет этому Молдабаю, даже зло берет. У таких даже камень в гору катится – и Карасай в досаде сплюнул.

– Может, нам хоть детей у себя оставить?– робко высказался Халил и тут же почувствовал, что нет, не дети дороги ему, сама Акбопе, без которой совсем опустеет отцовский дом.

– Ты что, сынок! Кто же теперь оставляет своих детей? Без Жалила для нее роднее отец и мать, чем свекор и свекровь. Тут и говорить нечего. Нет, надо что-то другое придумать.

– А что теперь придумаешь?– грустно проговорил Халил. Он совсем потерял голову, представив, что завтра утром Капыш насовсем увезет Акбопе. Если бы найти способ задержать ее хоть на несколько дней! За это время нашелся бы какой-нибудь выход. Неужели отец ничего не может придумать?

Карасай будто только и ждал этого мгновения.

– Есть способ,– сказал он, твердо глядя в растерянные глаза сына.– Есть, и он у тебя в руках. Если ты начнешь действовать, то Капыша я возьму на себя. Он у меня и не пикнет.

– А что я могу?– залепетал Халил.– Какой способ?

Карасай в сердцах хлопнул себя по коленям. Вот святая простота! Ну в кого он такой уродился? Ведь, кажется, ясней же ясного... И все же Карасай сдержал

раздражение и принялся ласково, терпеливо втолковывать сыну:

– Халил-жан, я уж давно хотел с тобой поговорить. Это и мое желание и твоей матери. Оба мы хотим этого...– Карасай на минуту замялся, поднял грабли и принялся царапать ими по земле.– В общем, так. Жалил был наш сын, а твой брат. И вы оба росли на наших глазах, как близнецы-ягнята... Что поделаешь, Жалила не стало. Но у него остались дети, живые сиротки. Неужели мы отдадим их в чужие руки? Да ведь нам прощения не будет, и душа Жалила изведется вся на том свете. Сынок, замени им Жалила. Возьми сироток под свое крыло, согрей. Ты же видишь – такую, как Акбопе, редко встретишь. И в этом нет ничего плохого. Обычай этот достался нам от отцов, и не нам его отвергать. Послушай нас с матерью, сынок.

Так вот куда клонит отец! Халил отшатнулся и страшными глазами посмотрел на Карасая. Он отказывался верить собственным ушам. Сердце его билось резко и гулко.

Карасай как ни в чем не бывало продолжал царапать, граблями землю. Он даже не взглянул на сына, но его тягостное молчание принял желанное согласие.

– Сынок, если ты хочешь учиться – учись. Разве кто против? Но не отдавай бедную Акбопе чужим людям. Она же от слез изведется... А что касается Капыша – не беспокойся. Согласится – хорошо, скажет против – я сам Акбопеш никуда не выпущу из дома. Теперь это твой человек.

– Нет, нет!– прорвалось наконец у Халила.– Нет! Это же позор, коке! Позор! Даже не говорите мне!

Крик Халила прозвучал так громко, что напуганные овцы перестали жевать и забеспокоились. Во мраке овчарни их глаза светились яркими зеленоватыми огоньками.

Карасай грозно взглянул на сына:

– Какой позор? О каком позоре ты говоришь мне? Я тебя что, с обрыва толкаю? Откуда ты взялся, чтобы

учить отца? Или ты умнее остальных? Вон, люди пожилые женятся и переженятся. А ты что, лучше их? Или, может, тебе Акбопе не подходит? А ты знаешь, что сын Молдабая в золоте купается, а всю зиму обивает пороги у Капыша? И не дотянется до Акбопе. Так что перестань-ка упрямиться. Цени золото, пока оно у тебя в руках.– Он перевел дух и продолжал спокойнее и тише:– Акбопе терять нам никак нельзя. Можешь ехать учиться хоть завтра. Потом, если что, отпустишь ее, за это никто с тебя не спросит. Да и бабы – не зараза, навечно не пристанут. Но сейчас ты должен заменить Жалила. Что будет потом – посмотрим. А сегодня бросай мальчишество и делай так, как тебе говорят. Я сам все устрою.

И не желая больше тратить попусту слов, Карасай легко поднялся и зашагал прочь, уверенно и твердо ставя ноги. Халил остался сидеть, сжимая ладонями горящие щеки. Наставления отца смутно доходили до сознания. Было такое ощущение, будто он, легкий и радостный, бежал, ничего не подозревая, по тропинке, как вдруг невзначай наступил на валявшиеся грабли и получил крепкий и неожиданный удар по лбу... Что же происходит на белом свете?

На другой день Акбопе поднялась рано утром и долго, неохотно одевалась. Жамиш хлопотала, у печки разогревая вчерашний ужин и кипятя чай. Она с состраданием посмотрела на невестку, но ничего не сказала и только ниже нагнулась к печке, ожесточенно орудуя в углях кочергой.

– Апа!– позвала невестка.– Отец, наверно, сегодня уедет.

– Да, милая,– отозвалась свекровь.– Сейчас позавтракает и поедет. Надо торопиться, а то развезет и не проедешь.

Акбопе в нерешительности остановилась возле копошившейся свекрови.

– Апа, вы только не огорчайтесь. Я тоже хочу ехать...

Жамиш вскочила и, бледная, едва не плача, уставилась на невестку. Кочерга, загремев по полу, выпала из ее руки.

– Душа моя, что ты говоришь? Как же я могу отпустить тебя? Неужели ты на самом деле хочешь бросить нас?

Она жалела невестку и хотела ей добра, но в тоже время ей было невыносимо горько расставаться. Акбопе бросилась к старухе и крепко обняла ее за шею.

– Апа, – шептала она в самое ухо, – я же вернусь, ужели вы думаете, что я брошу вас? Никуда я не уйду. Я только съезжу, поживу у своих и опять приеду. Правда, правда!

Жамиш долгим грустным взглядом посмотрела в белое лицо невестки, потом поцеловала ее в большие черные глаза, – в один и другой.

– Приготовь тогда завтрак. Я пойду, положу свату подарки. Ты не видела, где мешочек?

Когда расстроенная старуха отправилась в кладовку, следом за ней неслышно скользнул Карасай, подслушавший за дверями весь ее разговор с невесткой. Не успела Жамиш вставить ключ в замок, как он подскочил и грубо схватил ее за руку.

– Безмозглая дура! Ты что, совсем ума лишилась? Куда ты собираешься?

– А что я могу? Домой она хочет.

– Никуда не поедет! И сиди, не бегай.

– Да пусть съездит, – Жамиш решительно отворил кладовку. – Сколько ей сидеть в трауре? Хоть развеется немного.

– Опять за свое! А разве здесь ее кто-нибудь держит взаперти? Я же тебе только вчера вдалбливал, безмозглой!? Только свели их с Халилом, а ты хочешь ее отправить. Пусть хоть привыкнут как следует.

– Потом привыкнут. Если нравятся друг дружке – сама вернется. Ты что – силой хочешь их свести?

– Ты чего болтаешь? Ты чего болтаешь, дура? – загремел было Карасай, наступая на жену, но на крыльце послышался кашель проснувшегося Капыша, и старик утих.

– Ну! – яростно пригрозил он жене. – Если только мы потеряем Акбопе, – я тебя!

Однако задержать невестку в доме так и не удалось. Акбопе одела потеплее дочку и уселась в сани. Отговорить ее пробовал сам Капыш, но балованная, выросшая на всем готовом, Акбопе не стала и слушать отца. Удрученный Капыш укладкой шепнул свату:

– Кареке, она такая же моя дочь, как и твоя. Не думай, что я увожу ее насовсем. Сама просится, видно, по матери соскучилась. А насчет Халила... мы же договорились. Других желаний у меня нет.

Карасай все еще пытался повернуть по-своему.

– Пусть едет, сват, и Халил поедет с вами. Если в санях тесно, я его верхом отправлю. Побудут у вас вместе, поживут, а уж той потом устроим.

Он послал жену сказать сыну, чтобы собирался в дорогу, но Халил даже не открыл комнаты и проговорил из-за закрытой двери слабым голосом: «Не могу, апа. Заболел что-то».

Мягкая кошевка, запряженная парой гнедых, выехала со двора. Когда хруст копыт и визг полозьев раздались под окнами дома, Халил в одном белье вскочил с постели. Тонкий слой инея на стекле мешал глядеть, и Халил, лихорадочно дыша, растопил крохотный глазок. Белела подмороженная ночью степь, кошевка уже заворачивала к роще. Переступая босыми ногами на холодном полу, Халил долго смотрел вслед уезжавшим. На сердце было тоскливо и горько, как никогда, и он отошел от окна только тогда, когда сани совсем скрылись из виду.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Зима была снежной, вьюжной, и с наступлением первого тепла степь затопило половодье. Южный ветер быстро согнал снег, и зябкие холмы оголились, словно верблюжьи горбы. Весна вступила в свои права. Солнце, еще вчера закрытое плотными низкими тучами, сияло над пробудившейся, мирно парившей землей. Снег оставался лишь в глубине оврагов да на северных склонах крутых холмов.

По раскисшим дорогам еще не было проезда, но тракторный поезд, волоча по грязи тяжелые сани с аккуратными зелеными домиками, тронулся в степь. Гул машин заполнил окрестности. Елозя по жидкой вязкой грязи, могучие трактора упрямо одолевали степное бездорожье. Полозья громоздких деревянных саней глубоко врезались в податливую землю, обнажая сырую и стылую, как у распластанного легкого, изнанку.

Трактора уходили все дальше, скоро заглох и совсем пропал надсадный гул моторов, и теперь казалось, будто зеленые домики сами собой плывут в оживающую под солнцем степь.

Два проворных «газика», разбрызгивая комья грязи, поравнялись с колонной и некоторое время шли рядом. Но вот трактора, оглушительно застреляв, стали одолевать крутой косогор, и машины легко ушли вперед.

– Вы еще не застали наших морозов, – говорил уполномоченный райкома, повернувшись к сидевшим сзади Моргуну и Райхан. – Спросите-ка, каково досталось тем, кто в «Ленинградском» или «Черниговском». Вам что – приехали весной, тепло. А тем пришлось испытать. Обмороженных много, а было, что и замерзали. Всего народ хватил.

– Да, холода здесь страшные, – сказала Райхан.

– Так вы считаете, что нам повезло? – запротестовал Моргун, щура смеющимися глазами. – Ну, насчет тепла я еще

согласен. Но зато те хоть что-то успели сделать зимой. А нам, как птичкам весенним, приходится браться за дело только теперь. У меня сейчас вот что из головы не выходит, – и директор совхоза постучал цветным карандашом по схеме угодий, разложенной на коленях.

Шофер, напряженно карауливший каждую колдобину на размытой дороге, мельком глянул на директора.

– Федор Трофимович, а ведь тут действительно как птичкам придется – и гнезда вить и кормежку добывать.

– Ну вот, а товарищ говорит, что нам повезло!

В машине засмеялись. Уполномоченный райкома миролюбиво заключил:

– Повезло – потому что приехали в самое тепло, ну, а не повезло – потому что припозднились...

С полей, тянувшихся по обе стороны дороги, уже сходила вода, и земля подсыхала. Вдали в копившихся волнах зноя возникали и пропадали недолгие причудливые видения – миражи. Ветер, напоенный сыростью, пролетал над степью, и в затопленных низинах рябилась синеватая гладь воды. Уполномоченный говорил, что новоселы, приехавшие зимой, уже подвезли стройматериалы и у них все готово для строительства. У тех же, кто прибыл весной, сейчас самое напряженное время: совпали все кампании – и строить надо и за пахоту приниматься:

– Завтра надо трактористов разбить по бригадам, – сказала Райхан, озабоченно глядя по сторонам.

– Кстати, прошу вас не забыть вот о чем, – проговорил уполномоченный, оборачиваясь с переднего сиденья. – У нас тут уже кое-какой опыт накопился, и я хочу обратить ваше внимание... Самое необходимое для людей – столовые. Не улыбайтесь, это не шуточки. У казахов есть хорошая поговорка: «Как человек поест, так он и работает». А вам туговато придется нынешней весной. Смотрите, чтоб люди не жаловались.

Директор совхоза, соглашаясь, покивал головой. Об условиях жизни на новых землях он был наслышан еще раньше, поэтому в последнем вагончике тракторного поезда ехало все необходимое оборудование для рабочей столовой. Больше того – перед самым отъездом председатель рабкоопа будущего совхоза познакомил его с представительной красивой женщиной – заведующей совхозной столовой.

– Работала завзалом в ресторане, в городе. Прошу любить и жаловать, – аттестовал ее председатель.

Женщина манерно протянула полную белую руку.

– Агафья Никаноровна, – нараспев представилась она, пристально глядя на директора четко подведенными глазами.

Она была старше Моргуна, но держалась с ним, как с ровесником, и с первых же минут попыталась установить легкие дружеские отношения. Федор Трофимович поморщился – все не нравилось ему в этой женщине: ее гладкое лицо без единой морщинки, манера настойчиво заглядывать в глаза, и даже какая-то вызывающая полнота, подчеркнутая тугой юбкой. Агафья Никаноровна, конечно, знала, что нравится мужчинам, и всячески старалась это подчеркнуть. Директор с первого взгляда отметил, насколько умело и экономно пользовалась она косметикой.

Впоследствии Федор Трофимович упрекнул себя за сдержанность и подчеркнуто холодный тон: нельзя же, подумал он, составлять мнение о человеке столь скоропалительно. Но, вспоминая потом людей, с которыми он успел познакомиться за последние дни, Моргун невольно поражался их непохожести одного на другого, их нескончаемому разнообразию. Ну, заведующая столовой – это, положим, одно. А вот главный инженер Райхан. Он увидел ее только вчера в кабинете секретаря райкома. Познакомились, пожали руки. Правда, часа два говорили о будущем совхозе. Но разве можно узнать человека за каких-то два часа?

Машина, мотаясь из стороны в сторону, продолжала, упрямо одолевая неровную дорогу. Федор Трофимович поглядывая на свою соседку, размышлял о том, что поразило его еще вчера во время разговора.

Он удивился, что Райхан так чисто, без малейшего акцента говорит по-русски. Его покорила ее манера излагать свои мысли кратко, сдержанно, с мужской логикой. Он никогда раньше не бывал в этих местах, как и вообще на Востоке, и представление о здешних людях было чисто книжным. Мужчины казались ему какими-то джигитующими молодцами, чем-то похожими на его любимого Хаджи Мурата, а женщины – покорными и робкими созданиями, всецело занятыми своими мелкими домашними заботами. Встреча с Райхан была первым открытием для молодого аспиранта Киевской сельскохозяйственной академии, и он еще вчера сказал себе, что мало, слишком мало интересовался он родной страной и так же непростительно мало знал ее. А вообще, если быть откровенным, то он еще ничего не знал и не сделал настоящего. Прежде, занимаясь акробатикой, даже добившись звания мастера, он был сухим и гибким, как резина, но теперь раздобрел, погрузнел и хоть в походке его, в манерах, в развороте широких плеч угадывался еще бывалый спортсмен, однако на деле спорт для него ушел в безвозвратное прошлое. Но что он знал об этих республиках? Сейчас жизнь как бы начиналась заново, на новом месте, с новыми самыми разнообразными людьми. Земля, куда он приехал, оказывается, полна самых неожиданных открытий, и он только теперь начинал всерьез задумываться, что мало, совсем недостаточно знать, где что находится и добывается. Настоящее знание жизни, ее опыт и мудрость приходят наравне со всеми этими людьми, которые приехали сюда с разных концов страны, и жизнь, судьба которых теперь в его руках, в руках его ближайших помощников.

Приглядываясь к Райхан, как к своей первой помощнице, Федор Трофимович был доволен, что судьба послала ему именно такого человека. Вчера он убедился, что главный инженер превосходно знает земли будущего хозяйства. Секретарь райкома лишь поддакивал ей, как школьник, когда они взялись составлять карту посевов и пастбищ совхоза. Моргун сам в свое время работал агрономом и считал, что к его знаниям не хватает лишь ученой степени. Вчера же он убедился, что край, куда он приехал, предстал перед ним мудреной, никогда еще не читаной книгой, и все его прежние знания не значат ничего по сравнению с тем, что знает об этих местах эта немолодая усталая женщина.

Из окна машины по обе стороны дороги видна просыхающая бескрайняя степь. Нигде ни кустика, ни горки. Изредка глаз останавливается на небольших, поросших камышами озерах. Не тронутый человеком камыш разросся здесь настолько буйно, что порой совсем не видно воды, – лишь посередине едва проблескивает крохотное блюдце.

Райхан, пригнувшись к окну, оглядывает знакомые места.

– Вон видите, – обращается она к Моргуну, – озеро Камысты-коль. А там, дальше – озера Саржан. Говорят, когда-то там было джайляу Саржана. Богатый человек... А вон – видите, чернеет? Там тальник. А возле него брошенная зимовка Есдаулета. А там, правее на холме – зимовка Салима. Были когда-то братья, богатые люди, Салим и Малим.

Федор Трофимович, всматриваясь и запоминая все, что ему показывали, заметил, что с тех пор, как они выехали из райцентра, им попалось всего два колхоза, а старых заброшенных зимовок вот уже десять или двенадцать. Похоже, раньше аулов было больше.

– Вы хотите сказать: не стало ли меньше людей? – уточнила Райхан. – Нет, население не уменьшилось.

Правда, в тридцатые годы народу сильно подсократилось, ну, а в войну – сами понимаете... И все же не поэтому так редко сейчас жилье. Казахи всегда вели кочевую жизнь. Зиму они проводили на зимовках, а лето – на джайляу. И вот в тридцатых годах, в коллективизацию, народ стал переходить к оседлости. Так что все эти зимовки – это как памятники прошлой жизни. Ну, а для народа теперь – ориентиры в степи. Здесь так и считают: от зимовки такого-то до следующей столько-то километров. Луговину Есдаулета знают, лощину Салима. То же самое и с дорогами. Приметы надежные. И вам, Федор Трофимович, все это запомнить не худо. На первых порах ориентироваться только так придется. Кстати, запомните: от зимовки Есдаулета начинаются земли нашего совхоза. Вот отсюда.

Диковинные, непривычные названия здешних мест запали в память Моргуну еще вчера, когда секретарь райкома вместе с Райхан рассматривали карту земель Березовского совхоза. Переговариваясь, они то и дело упоминали какие-то зимовки, овраги, озеро и ставили на карте отметки. Федор Трофимович прислушивался и запоминал, и когда его спросили о чем-то, он свободно заговорил о тех же ее местах, называя их по-местному, и Райхан, если судить по ее удивленному взгляду, была приятно поражена.

«Газик» натужно полез на крутой осклизлый холм. Шофер, не отрывая глаз от узкой дорожки, уходящей вверх, быстро, лихорадочно, орудовал баранкой. Чем выше взбиралась машина, тем дальше открывались глазам окрестности. В мареве солнечного дня осколками зеркала сверкали разбросанные по степи озера. Старинные заброшенные зимовки, которые проехали и потеряли из виду вновь стали видны с голой вершины холма. С задранный радиатором машина из последних сил вскарабкалась на самый верх и тут же, словно бодливый бычок, пригнувшись устремилась вниз в лощину, напоминавшую дно огромного казана.

– Далеко же тут колхоз от колхоза,– проговорил Моргун, держась за спинку переднего сиденья и взглядывая на спидометр.– Километров тридцать, пожалуй, проехали... А это что там впереди – не колхоз?

– Нет,– замотал головой райкомовец.– Это постоянный двор. Мы его называем «Роцей Малжана». Ваша будущая резиденция, Федор Трофимович.

Скоро машина миновала рощу и пролетела мимо одинокого дома с широкой плоской крышей. Целая свора собак вырвалась со двора и бросилась следом. Собаки неслись за «газиком» словно за убегающим зверем, заливаясь остервенелым лаем и чуть не бросаясь под колеса. Потом они отстали и с видом исполненного долга поплелись обратно.

Было уже за полдень, когда приехавшие выбрали место для будущей усадьбы совхоза. Недалеко от рощи Моргун вбил в талую, никем еще не тронутую землю небольшой яблоневый колышек, которым благословил его в дальнюю дорогу отец. Начало новому хозяйству, таким образом, было положено. После этого, осматривая окрестности, приехавшие наткнулись на развалины забытого становища, и Райхан, чтобы мужчины не заметили ее слез, прошла вперед. Здесь, возле этих развалин, Райхан неожиданно-негаданно встретила Карасая, и они онемели, застыв друг против друга, и лишь одна ненависть была в их глазах...

«Как, разве ты не умерла?»– испуганно метались зрочки Карасая.

«А ты, еще жив?!»

Но никто из них не проронил ни слова.

В полном молчании приехавшие расселись по местам, и машины одна за другой укатили обратно. Карасай и его черная кобыла смотрели им вслед до тех пор, пока они не скрылись.

На обратном пути уже не было разговоров. Райхан сидела в глубокой задумчивости, и все понимали, что

произошло что-то важное, и не навязывались к ней с расспросами.

Первым нарушил молчание уполномоченный райкома, когда машины остановились на развилке степной дороги.

– Ну, товарищи, будьте здоровы. До завтра. По этой дороге вы попадете прямо в «Жана талап»... Я думаю, тракторы завтра доберутся до рощи Малжана. Вы их встретите, а к полудню я тоже буду у вас. До свиданья.– И он пересел во вторую машину.

Они разъехались, уполномоченный отправился в сторону совхоза «Верный».

Федор Трофимович, посматривая по обе стороны дороги, обратил внимание, что снега здесь давно уже нет, а кое-где ветер задувает красноватую пыль. Где-то неподалеку начинались солончаки – окрестности озера «Жаман туз». Зимой и летом в этих местах всю хозяйничает ветер, иссушая землю. Снег задерживается только в камышах, и на солончаках приживаются одни колючки да кое-где метелочки неприхотливого седого ковыля.

– Федор Трофимович,– как бы нехотя позвала Райхан, и директор, всю дорогу тяготившийся напряженным молчанием, с готовностью повернулся к ней.– Наши земли вот до этих мест. Смотрите, снега совсем не осталось. И земля готова,– я знаю, проверяла. Если через неделю не начнем пахоту, почва пересохнет. И по-моему, начинать, надо именно отсюда. Или вы считаете иначе?

– Что вы, Райхан Султановна, тут только вам карты в руки. Я думаю больше,– добавил Моргун,– пока не освоюсь, так вы уж командуйте мной без стеснения. Ладно?

– Командуйте...– усмехнулась Райхан.– Здесь командовать нечего. Слышали, что колхоз «Жана талап» присоединяют к нам? Так я этот колхоз знаю. У них много земли у озера «Жаман туз». Солончаки, пахать

нечего и думать. А в райкоме нам, кажется, запланировали их распахать. Чувствуете, чем пахнет? Вот тут уж нами накомандуют. Ну, да посмотрим, что получится...

– Райхан приехала!.. Райхан!..

Это известие взбаламутило весь поселок, и скоро у маленького домика на самой окраине стало не протолкнуться. А народ все прибывал, тащились старики и старухи, хорошо помнившие прежнюю Райхан, с улюлюканьем бежали по улицам мальчишки. Каждому хотелось своими глазами взглянуть на человека, давным-давно считавшегося пропавшим.

У калитки, сдерживая напор любопытных, стоял шофер Оспан и никого не пускал во двор.

– Ну куда, куда?– гудел он недовольным басом.– Успеете еще. Завтра придете. Сейчас нельзя.

– Да ты с ума сошел!– пробовали пристыдить шофера.– Столько лет о человеке не было ни слуху ни духу... Давай, пропускай хоть по одному. Зайдем, отдадим салем и уйдем.

– Вам что, каждому объяснять надо?– выходил из себя Оспан.– Райхан не до вас сейчас. У ней мать без памяти лежит. И так старухе плохо было, а тут еще... Давайте заворачивайте.

Но уходить никому не хотелось. Старухи, собираясь в кучки, живо обсуждали событие.

– Матери-то какво, а? Бедная, бедная. Я сама, как только услышала, совсем потеряла голову. Видите, калоши как попало надела.

– Но еще молодец Лиза-то. У другой бы сердце из груди выскочило.

– А все-таки дождалась. Сколько она, голубушка, твердила: увидеть бы Райхан и помирать можно. Дождалась вот.

– Э, чего говорить... Что уж написано на роду, того не миновать. Но сама я не думала, не гадала увидеть ее живой. Никак не думала!.. Это когда же было-то? Да

зимой, кажись, зимой. Увидела я Райхан во сне. Будто подходит она ко мне, подходит близко-близко и говорит, чтобы я помянула ее в божьей молитве. Проснулась я и подумала, что мается где-то душенька нашей Райхан. Пятница как раз была, ходила я к мулле Ташиму, чтоб прочитал он за нее молитву...

Старухи, совсем забыв про гомон и толчею на узкой улочке, переговаривались, вздыхали и скорбно кивали сморщенными высохшими лицами.

А шофер Оспан продолжал отбиваться от любопытных.

– Ты хоть сам-то разглядел ее как следует? Как она – постарела?

Но Оспан, закрывший своим богатырским торсом калитку, словно не слышал надоевших расспросов. В толпе переговаривались:

– А была-то она огонь! Теперь, поди-ка, совсем не та...

– А ведь мы росли с ней вместе. Как сейчас помню – косы черные, как уголь, высокая, красивая. Ох, и красивая же была!

– Где-то ведь жила до этих пор. И ни весточки, ни слова. Эй, шофер, может, ты что слышал?

– Идите, идите, – отмахивался усталый Оспан. – Какое вам дело? Где была – там и была...

Тем временем в домике, к которому прикованы взгляды всего поселка, отхаживали мать Райхан. Узнав о дочери, старушка влетела в дом, словно подхваченное ветром перекаати-поле, и с криком, стоном, слезами повисла у нее на шее. Радость лишила мать последних сил. Райхан вдруг почувствовала, как ослабло и обвисло сухонькое тело матери, и она едва успела подхватить ее на руки. Старушку уложили в постель, засуетились, взбрызнули водой. Мальчишка-шофер, кротившийся во дворе, полетел за фельдшером.

Райхан не отходила от постели и, глядя в помертвевшее лицо, гладила, гладила седые волосы. Она не

узнавала родного лица. Бескровные щеки ввалились настолько, что остро обозначились скулы и словно у неживой разлилась синева под глазами. Райхан притронулась к рукам и со страхом почувствовала, как они холодеют.

– Апа!.. Мама!..– закричала она.– Да ведь она... Что же делать?

Бессилие, страх, отчаяние охватили ее. Горячие слезы падали на безжизненное лицо матери. Вдруг веки старушки затрепетали, разлепились, и на Райхан глянули знакомые голубые глаза. Но как они выцвели за все эти годы!

– Мама, это я! – без конца повторяла Райхан.– Я насовсем...

Мать, все еще не веря своему счастью, устало смежила ресницы, но тут же глаза распахнулись вновь и на лице старушки появились признаки жизни: ожили и окрасились щеки, уверенней и тверже определился взгляд. И лишь тогда огромный и молчаливый человек, все это время тихо стоявший в сторонке и не подававший голоса, подступил к Райхан и заключил ее в крепкие объятия. Это был отец – Григорий Матвеевич Федоров.

Великану было тесно в маленьком домишке, голова его почти подпирала потолок. Окладистая борода, когда-то огненно-рыжая, а теперь изрядно тронутая сединой, росла у него чуть ли не от висков и сильно старила хозяина,– не то, глядя на яркие крупные губы и здоровые щеки, ему ни за что не дать бы его семидесяти лет.

«Ох и мужичище же, видать, был!– залюбовался великаном Моргун.– Но какие же они ей отец и мать? Ведь ни капли сходства!»

– Жеребеночек мой!– ласково выговаривал показавшись Григорий Матвеевич, целуя дочь в поседевшие волосы и крепко прижимая к груди.– Единственный мой!

Райхан, закрыв глаза, как ребенок замерла на широкой груди отца.

Силы постепенно возвращались к счастливой матери, и когда пришло время зажигать в доме свет, Лиза-шешей окончательно пришла в себя.

– Чуть сердце не разорвалось, – призналась она и снова потянулась к Райхан. – Верблюжонок мой! Неужели это на самом деле ты?

Подбородок ее задрожал, в глазах заблестели слезы.

Вечером в дом набилось полно гостей, пелись песни, играла музыка, но за весь вечер никто не спросил Райхан, где она была эти долгие годы, почему не давала о себе весточки. Слишком велика была радость встречи, чтобы омрачать ее неприятными расспросами.

Посидев до полночи, гости стали расходиться.

Приехавшим постелили кому где. Шофер, еще совсем подросток, выскочил во двор, чтобы спустить воду из радиатора. Был поздний час, поселок спал. Думая о Райхан и ее родителях, шофер так же как и Моргун подозревал, что тут кроется какая-то загадка. Но какая? Ни у кого из гостей узнать не довелось, а спрашивать у хозяина неловко. Но история, должно быть, очень загадочная...

Когда шофер вернулся, Григорий Матвеевич сидел уже босой. Сапоги хозяина высокие, с широкими голенищами и из толстой кожи, поразили подростка. В одном таком сапоге он, пожалуй, уместился бы весь, с головой и руками. Григорий Матвеевич отбросил сапоги в сторону, и они упали с таким тяжелым стуком, будто две лошадиных головы, отрубленных с шеей и грудью.

– Вот это сапоги у вас! – сказал по-русски шофер. – Какой, интересно, размер?

Григорий Матвеевич лег, набросил одеяло.

– Ты, сынок, вот что. Тебя, кажется, Жантасом звать? Давай-ка мы будем говорить по-казахски. И зови

меня так, как я привык: Кургерей. Значит, для тебя я Кургерей-ата.– Старик, укладываясь поудобнее, закутался в одеяло и повернулся на бок, лицом к Жантасу.– А с сапогами у меня одно наказание. Всю жизнь шью только на заказ. Ничего подходящего в магазинах нет. Лет пять я заказывал в Караганде прямо на фабрике, но вот эти сшил тут, в ауле. Вот попробуй-ка отгадать, какого они размера? Жантас неуверенно сказал:

– Размера вроде сорок четвертого, сорок пятого...

– Сорок восьмого! И вот представляешь, каково мне было раньше? Два барана отдавал, чтоб только сшили.

Старик оказался словоохотливым, и Жантас ломал голову – как бы подобраться к загадочной истории Райхан и ее родителей.

– Кургерей-ата,– осторожно позвал он,– а показавши вы говорите совсем чисто. Что, видно, давно живете здесь?

– Ну, сынок, когда я пришел сюда, тебя еще и на свете не было. Повидал всякого – плохого и хорошего. Да что я, у меня вон уж Райхан седая совсем...

Старик зевнул, откидываясь на спину. Жантас насторожился, поднял заблестевшие глаза. Ничто не мешало сейчас в затихшем на ночь доме. Лишь слегка потрескивала на карнизе большой русской печи лампа с убавленным фитилем да из гостиной доносилось сонное посапывание уставшего за день Моргуна. Не спали в доме женщины, но они заперлись в самой дальней комнате и не могли наговориться, наглядеться друг на друга.

Жантас поднялся, достал из пиджака, висевшего у изголовья, пачку сигарет. Завозился и хозяин – откинул одеяло, взял большую горбатую трубку и принялся набивать табаком.

– Не спишь, сынок? Чего не спится-то?

Жантас в волнении проглотил слюну.

– Ата,– вкрадчиво заговорил он,– я хочу у вас спросить... Но вы не обидитесь?

– Да спрашивай. Чего обижаться-то?

– Тут видите что... Тетушка Райхан, когда мы выехали из района, была веселой, очень веселой. А тут вот, недалеко, возле развалин, мы встретили одного человека. Не знаете, – с таким вот, в ладошку, родимым пятном? И тетушку Райхан как подменили. Я вот и все думаю и соображаю. Теперь-то мне ясно, что она из этих мест, только давно уехала. Но что с этим человеком?

Жантас тянул и мямлил, никак не решаясь спросить напрямик: «Скажите, а Райхан на самом деле ваша дочь?»

Ему казалось, что он и без того забыл положенные приличия и расспросы его могут обидеть хозяина. Он умолк и выжидающе уставился на старика. Огромная тень хозяина закрывала всю стену.

– Ну, что ж, – проговорил наконец старый Кургерей после долгого раздумья, – если ты все равно не спишь... Только ведь начинать надо с самого начала. Столько было всего, столько прожито. Это все равно как песня, долгая старинная песня. А из песни, сам знаешь, слова не выбросишь... Так вот, – и старик сделал несколько быстрых, жадных затяжек.

Первая песнь старого Кургерей

– В молодости я был вором. И не просто вором, мелким там каким-нибудь воришкой, а самым настоящим разбойником с большой дороги. Точно, точно, так все оно и было...

В возрасте я был как раз твоим – самое такое переменчивое время. Ну и в Омске пристал к одной шайке. Десять человек нас тогда подобралось, все здоровенные – один в одного. Что было делать? Учиться – денег нет, работать – пойдика, найди ее, эту работу. И вот когда уж все, кажись, было испробовано, когда и стыда, и сраму набрались, и лиха, – принялись мы за это самое свое ремесло.

Омск в ту пору был совсем не такой, как теперь. Сейчас, я смотрю, улицы – будто их по линейке вытянули. А тогда разбросаны были домишки как попало. И народу наезжало – просто табуны. Суется, толкуются, бродят из конца в конец. Ну уж нам тут раздолье. Кто заденет – кровью умоется. Никакой управы не было. Что хотели, то и делали.

Самое главное наше место – базар. Там мы и околачивались. Слышал поди о Казачьем базаре?.. Правильно, он и сейчас уцелел. Но только тогда было побольше, чем теперь. Что ты, гораздо больше! Народу съезжалось – видимо-невидимо, со всех городов. Тут и купчишки, тут и спекулянты, тут и... Ну и нашего брата отиралось достаточно. И вот мы за день высмотрим, вынюхаем кто деньжонок наторговал, узнаем где остановился – и ночью налетаем. А если человек домой едет, так по дороге встречаем.

В этом деле – узнать, разнюхать, выведать – нам хорошую помощь один парнишка оказывал, татарчонок Халауддин. Отец у него купец, и знаменитый в Омске: большую мануфактурную лавку держал. И знакомых у него – все, кто хоть мало-мальски торговал. Халауддину это как раз на руку. Никто его и не подозревал, что он с нами в компании.

Помню, воскресенье было, зимой, в самые лютые морозы. Мы тогда глаз не спускали с одного человека. Но ходим не скопом, чтобы не обратить внимания, а по одному. Народу на базар съехалось – не протолкаться, поди-ка заметь нас в такой толчее.

Я в тот день орудовал на самом людном месте – где лошадей продают. Вот уже где народу так народу! Сейчас такого и не увидишь... С краю, как только войти, верблюды лежат. Потом бараны – кучами прямо, один на другом. И жирные, круглые. Тут же мясники. Орут, заывают, ножами сверкают. А потом лошади. Знаешь, как тогда было? Столбы вкопаны и у каждого столба по паре лошадей привязано. Ах, что были за лошади!

И вот тут уж кого только не встретишь. Тут и казахи-богатеи понаехали из степи; идет и полушубок, а то и волчью шубу за собой по снегу волочит. Омских купцов тоже немало, и татар. Толчея целый день. Самых красивых лошадей тогда цыгане приводили. Просто невиданные были кони! У тех, кто хоть мало-мальски разбирался в них, глаза разбегались.

И вот хожу я, толкаюсь, приглядываюсь. Вдруг – Халауддин. Прошел мимо, чуть задел и подмигнул. Это значит знак подал. Я тут же за ним. Иду поодаль, но из виду его не отпускаю. А Халауддин, хоть и молодой, а уж тертый-перетертый калач был. Хоть бы оглянулся! Идет себе с улыбочкой, со знакомыми раскланивается... Завел меня в самый заброшенный угол, где мучные лавчонки лепились. В лавчонках этих русские мельники из Малтая, из Шарбаккуля торговали, – все белые, словно айраном облитые, ни глаз, ни рожи под мукой не разобрать, и каждый под хмельком от самогона, – это уж обязательно. Шум и гам у них тоже как у цыган. Но это нам только на руку.

Халауддин, смотрю, свернул за лавку и остановился. Я к нему. Стоит, ждет, оскалился – зубы золотые блестят. «Ну, говорит, кажется, удача. В городе его накрыть трудно, – слишком много народу вокруг него крутится. Но ему нужна мануфактура, сам сказал. Сестра его друга выходит замуж, он торопится на свадьбу. Я сказал ему, чтоб зашел попозже. Значит, я задержу его, как только смогу. Едет он один. Пошлите-ка своих на дорогу. Он в аул Балта едет...» – «Балта?!» – у меня даже сердце оборвалось. – «Да, говорит. А что? Знакомое место?» – «Конечно, отвечаю...» И я тут же чуть не ляпнул этому мальчишке, чтобы он никому ничего не говорил. Не надо нам было грабить этого человека. Но потом спохватился – ведь ненадежный парень этот Халауддин, как есть продаст меня всей нашей шайке. Промолчал я, хоть на сердце и скребли кошки.

Халауддин засобира́лся уходить. «Вот и хорошо, говорит, что знакомое место. Сообщи побыстрее Кабану». И опять меня словно в сердце что толкнуло. Этот Кабан нашим атаманом был. Вот уж действительно кабан! Никогда больше мне не приходилось видеть такого человека. Да и человеком-то его как-то язык не поворачивается называть... Но, кстати, из всех, кто у нас был, только я мог с ним говорить на равных. Где-то он немного побаивался меня. Может быть, силу во мне чувствовал, что ли? Но если бы надо было прикончить меня – он и глазом не моргнул. Это уж точно...

И вот как мне теперь было идти к нему, говорить такое?

А человек, за которым мы охотились, был богатырь и красавец – просто загляденье. В народе его так и звали: Сулу-Мурт – красавец-усач. Так его и мы между собой называли. Лошади у него были пара гнедых – просто ветер. Омские богачи умирали от зависти. Сколько золота ему предлагали, сколько скота – он и слушать не хотел. И Кабан наш решил заполучить этих коней. Он уже и с цыганами сталкивался и магарыч с ними распил. Как только лошади попадают к нам в руки, цыгане выкладывают деньги и угоняют их в другой какой-нибудь город подальше. Дело привычное.

И вдруг я узнаю, что Сулу-Мурт из аула Балта. А этот аул – это же мой аул. Мой отчим, Дмитрий Павлович, там кузницу держал. Аулишко бедный, юрт пятьдесят. Вокруг русских много, из России еще в девятьсот седьмом году переселились. Отчим от своих русских как-то откололся и все время в ауле жил. Кузнечил, казахских ребятишек грамоте учил. Люди к нему очень хорошо относились. А я как поссорился с ним, так и сбежал и больше дома не показывался. Несколько лет уж прошло, даже забываться многое стало.

И вот на тебе – Сулу-Мурт, оказывается, из аула Балта!

Но делать нечего. В воровском деле жалости не должно быть. Предупредил я Кабана.

Рожа, помню, у Кабана так и расплылась от радости. Толстомордый был мужик, с редкими волосенками. Губу ему где-то рассекли, и ее с угла стянуло кверху. Вечно от него водкой и луком несло.

«Гриша, сказал он, пойдешь сам. Только возьми кого-нибудь с собой».

Взял я Василька, ловкого и складного парнишку. Опрокинули мы с ним по паре стаканов самогона и пошли искать попутную подводу.

Добраться нам надо было до развилки, откуда дорога поворачивала к аулу. Мы приехали где-то после полдня, спрыгнули с саней и пошли пешком.

Лес стоял вокруг дремучий и густой. Прошли мы километра два или три и облюбовали себе такое место: такая непролазная чащоба, что собака морды не просунет. В степи задувало немного, а здесь ни одна ветка ни шелохнется. И тишина, глушь, даже в ушах ломит.

Ждем, и чтобы согреться, распили еще одну бутылку. Холодно на одном-то месте.

«Василек, говорю, где твой нож?» – «Да вот, – отвечает. – Всегда наготове».

И финку вынимает из-за голенища, – длинная, наточенная. Я взял ее у него и забросил в кусты. Тот только рот разинул.

«Нас, говорю, здесь двое. Давай так – убивать его не будем, а лишь заберем коней. Ты оставайся здесь, а я пройду немного вперед. Налетай неожиданно. Тебе надо только задержать его, а остальное я уж сам все сделаю. Понял? Но смотри – не попадись под камчу...»

Сулу-Мурт, я слышал, искусный камчигер. Рассказывали, что однажды в Омске он на спор разрубил ударом камчи сложенную вчетверо сырую воловью шкуру. Представляешь себе?

Ну вот, значит, сидим мы, ждем. А мороз пробирает – аж кости стынют. И время тут как на зло тянется еле-еле. Но все же завечерело, и в эту минуту я забыл, зачем

я здесь и кого жду: так все стало чисто и красиво. Притихший лес стоял весь засыпанный снегом, и в багровом свете медленного заката деревья окрасились густым кровавым цветом. Солнца уже не было видно, оно томилось где-то за лесом, и по снегу протянулись длинные холодные тени. Чем ближе к ночи, тем сумрачней и глуше становился лес, пропадали краски, а из глубин, из самой чащобы потянуло ночным морозным мраком. Жутко и одиноко становится человеку в зимнем засыпающем лесу.

Но вот с отдаленной березки, стоявшей у самой дороги, сорвалась и полетела к лесу сорока. С потревоженной ветки просыпалась легкая кисея сухого снега. На беспокойное стрекотание сороки в глубине засыпанного затихшего леса отозвалось неясное перебивчивое эхо. И скоро снова все затаилось в ожидании ночи.

Но я уже глаз не сводил с дороги. Сорока предупредила не напрасно – скоро послышался далекий скрип полозьев. В звонком морозном воздухе отчетливо слышится каждый звук. Не знаю, отчего это тогда со мной было, но чем ближе раздавалось тонкое пенье полозьев по крепкой накатанной дороге, тем больше отдавалось оно в моем сердце.

Сулу-Мурт беспечно летел на своих гнедых по притихшему ночному лесу. Слышно было всхрапыванье лошадей, потом показалась на повороте черная точка и тотчас исчезла за деревьями. Потом мелькнула снова, и вот уж можно разглядеть коней и легкие сани.

Со своего места я хорошо видел, как из густой чащи, подступавшей к самой дороге, кошкой метнулся Василек. Он прыгнул и повис у коренника на узде. Конь испуганно шарахнулся в сторону, но сани так и не остановились, потому что Сулу-Мурт, чуть свесившись на сторону, изо всех сил ударил Василька своей тяжелой толстой камчой. Василек вскрикнул и рухнул на дорогу.

Я выскочил из засады, когда сани еще не успели набрать ходу. Мне удалось схватиться за узду, разгоряченные кони с громким ржанием взвились на дыбы. Сулу-Мурт успел лишь скинуть тулуп, как я, прячась за конями, прыгнул к нему в сани. Мы сцепились с ним, и я почувствовал, что кони, словно обрадовавшись, подхватили и понесли. Может быть, они испугались наших криков и возни в санях.

Вначале мы били кулаками по чему попало, не глядя и не сознавая что делаем. Потом сцепились, впились один в другого намертво, и я до сих пор помню как мы смотрели в глаза, молчаливые и полные лютой ненависти. Летели сани, мелькал по сторонам темный безмолвный лес, и я начал чувствовать, что у меня немеют руки. Вдруг Сулу-Мурт схватил меня за горло и опрокинул. Я дернулся, мы оба упали к самому краю саней. Видимо, рычанье наше только поддавало коням страху, они прямо рвались из упряжек. И вот на самом краешке, головами уже за санями, мы лежим и держим друг друга. Близко, у самого лица, несется, как бешеная, дорога, и стоит только кому-нибудь из нас сделать движение, как оба на полном скаку вывалимся из саней.

Не знаю, сколько так продолжалось, но только помню, что вроде небо стало все темнее. А лес, как ни откроешь глаза, кружится, кружится, – пока не слился вместе с небом. Я уж ничего не мог разобрать. Пальцы Сулу-Мурта все крепче сжимали мое горло, все труднее становится дышать. Потом я почувствовал, что совсем не в силах удерживать его, и тут в глазах моих что-то вспыхнуло, и я будто полетел с высокой-высокой кручи. Визгнули возле самого уха полозья и смолкли, лицом я почувствовал холодный снег и стало тихо-тихо, будто я совсем оглох...

Очнулся я на обочине, в снегу, сильно заочевнейший. Ничего еще не соображаю, но попробовал пошевелить руками, ногами. Вроде бы ничего. Только холодно – даже двигаться больно. Попытался я подняться и не смог – закружилось все, поплыло перед

глазами. «Помял он, думаю, меня изрядно...» И тут только почувствовал, что во рту у меня нехорошо – и больно, и что-то набито: выплюнуть хочется. А это зубы, оказывается, мои же собственные. Все передние зубы он мне выкрошил.

Что было делать? Поднялся я все-таки и побрел через силу. Соображаю еще плохо, но помню, что тишина кругом – ни звука и мороз. А ночь, темень, лес вокруг и холодище – никакого спасения нет. Деревья стоят мохнатые, не шелохнутся, и я лицом, щеками чувствую, что изморозь аж в воздухе висит. И дышать нечем – до того наморозило... И вот брежу я, снег подо мной скрипит, а вверху, как гляну, рожок месяца закатывается за лес. И оттого, что я вижу, что и месяца сейчас не будет над дорогой, мне совсем худо: и страшно и одиноко... и прямо не знаю как и сказать. А пуговицы на мне ни одной, даже застегнуться не могу, и продувает меня и в грудь и в бока. Пойти бы поскорее, чтоб на ходу согреться, так ноги еле-еле волоку. Совсем, думаю, гибель...

Но ведь вот что интересно: пропадаю вроде, – и сил нету и без зубов, а путь держу не в Омск к своим друзьям-товарищам, а к аулу. Из головы у меня не выходит эта пара гнедых. Достану, думаю, как бы там ни было...

И кто знает, чем бы закончилась для меня эта морозная ночь, скорее всего замерз бы я где-нибудь на дороге, только слышу будто меня догоняет подвода. Шел я к тому времени долго, месяца уж не стало, и за спиной у меня во все небо разгорелись Стожары. Остановился я, жду. Подводы идут, и не одна. Оттуда, видно, тоже разглядели меня и остановились – испугались. Сошлись, вижу, о чем-то шепчутся между собой. Потом крикнули:

– Эй, кто там?

Молчу я. Что им ответишь? Не говорить же кто я и что со мной. А они пугаются еще больше и начинают, слышу, между собой.

– Эй, – тормозат своих, – вставайте!

– Топоры где? У кого ружье?

А расстояние между нами вот как до двери, и мне хорошо все видно и слышно. Их всего трое или четверо было, а кричат они как только могут – пугают, значит, чтоб тем, если кто в засаде сидит, показалось, будто их много.

– Ладно вам, – говорю я им по-казахски и сам пошел навстречу. Они умолкли, только между собой шипят: «Да постой... подожди...» А тот, что меня окликал, опять орет.

– Кто ты такой? Что тут делаешь?

– Григорий я, – говорю. – Сын Митрия.

– Какого еще Митрия.

– Да кузнеца. Из аула Балта.

– А-а... Знаем такого. И с сыном у него что-то вышло – удрал тот в Омск.

Кто-то из переводчиков шепчет своим:

– Похоже, пьяный он. Двух слов связать не может.

– Так мороз-то! – отвечают ему. – Тут не то что говорить, а и...

Но испуга уже нет, и на меня они поглядывают с интересом. Один даже посочувствовал от всего сердца:

– Матушка его, я слышал, больная лежит. Вот, видно, и добирается. Как же, родная мать...

Посадили они меня на вторые сани к какому-то старичку. В санях мешки с мукой лежали, по два, по три мешка. Я уж понял, что ничего они обо мне не знали и не слышали. Никаких, значит, вестей до аула не доходило.

Сел я в сани, а рот свой разбитый все ладошкой прикрываю. Смотрю, старичок завозился, тулуп с себя потянул.

– Что ж ты, говорит, сынок, в одежке-то такой тонкой? Как еще не околел!

И подает мне тулуп. Сначала я отказывался и не хотел брать, но старик рассердился и накинул мне тулуп на плечи. Тут уж я сдался, потому что мороз совсем осатанел. И как только я напялил на себя тулупчик, так

согреваться начал, согреваться и засыпать. Дорога долгая оказалась и нудная.

Короче, мы тогда не сразу добрались до дома, а сначала заночевали и дали коням и себе передышку. И только на другое утро попали к себе.

Меня подвезли прямо к дому. В нашей части аула ютилась одна беднота. Землянки низенькие, – одна крыша наверху, и бывало, что в одном таком закутке жило две-три семьи. Но наш дом был приметный и совсем не похожий на землянку. Еще в первый год отец устроил «помочь» и поднял стены. Потом он сам, собственными руками сделал окна, двери, обшил углы досками, обмазал со всех сторон. Дом, когда я уезжал, был ухоженный и чистенький, как яичко.

Теперь, гляжу, совсем ничего не осталось от прежнего. Стены облупились, как-то невесело, запущено кругом. Сено разбросано, солома.

Я как соскочил с саней, так сразу бросился к окну, Светало уж, и в горнице теплился огонь. Я стукнул. Тихо. Подождал и пошел к крылечку..

В доме было холодно, неприбрано. Смотрю, на полу лежат аульные старухи. Увидели меня, стали подниматься.

– Тише, – говорят, – только что уснула. Увидит тебя – плохо станет.

Мать лежала на большой деревянной кровати, лежала совсем как покойница. Я подошел ближе и не узнал ее. Меня напугали ее ввалившиеся глаза и слипшиеся ресницы. Я стоял, смотрел и не мог понять – куда что девалось у матери? Когда я уезжал из дому, она была совсем здоровой. А это...

Старухи шепчут:

– Никак не может подняться. Что будет, что будет!..

– Может, хоть от радости встанет?

Мать, словно только и ждала этой минуты, медленно раскрыла глаза и долго, молча смотрела на меня. Видимо, она не сразу узнала меня, а может, просто не поверила.

– Пришел?– наконец еле слышно проговорила она. Подбородок ее задрожал, мне показалось, что она заплачет, но глаза матери оставались сухими.

Я ничего тогда не сказал, только брякнулся на железную койку, упал вниз лицом и целый день пролежал, не поднимая головы. Отвык я от дома и все здесь казалось мне чужим. Где был отец? Долго ли болеет мать? Но спросить у соседей я почему-то стеснялся.

Так прошел день. Чья-то рука зажгла подслеповатую лампу и поставила на печной карниз. Я слышал, как тихо сидели за столом мои братишки, слышал, как трещал фитиль и понимал, что лампа коптит. Надо было бы встать, но не хватало сил поднять голову.

Вдруг ребяшня, резавшая что-то ножницами из бумаги, вскочила из-за стола и загалдела, запрыгала от радости:

– Дядя Султан!

– Дядя Султан пришел!

Приподнявшись на кровати, я увидел, что в дом вошел огромного роста крепкий человек, он вошел, низко пригнувшись в нашей маленькой двери, и детвора повисла у него на шее, на руках, обхватила за ноги. Я снова накрылся с головой. При моем появлении такой радости не было. Что же за человек, кем он приходится, что его встречают с таким восторгом?

Большой человек уселся, спросил о здоровье матери. Потом стал раздавать ребятишкам гостинцы. Наверно, это были конфеты, потому что они кричали, перебивая друг друга: «Петушок, петушок!» А Дуняша, сестренка моя, вдруг завизжала от радости:

– Мама, а мне на платье! Посмотри!.. Спасибо, дядя Султан!

Мне уже неудобно становилось лежать, будто в доме никого не было, и я откинул с головы одеяло. Гость негромко спросил у детей:

– А это кто?

– Это? Гриша.

– Вчера из Омска приехал.

– Ах, вон кто!– удивился гость.– Гриша... Ну, у вас большая радость. Разбудите-ка. Я ведь его еще не видел.

Ребятишки кинулись стаскивать с меня одеяло, затормошили, потянули с кровати.

У меня все еще болел разбитый рот, я поморщился и приподнялся, часто моргая от света лампы. Дядя Султан оказался совсем молодым парнем, он сидел на табуретке и, не отрываясь, смотрел на меня. Сначала я ничего не понял, разглядывая гостя, но потом увидел знакомые усы и – поверишь?– сердце у меня остановилось. Передо мной сидел Сулу-Мурт.

Мы долго разглядывали друг друга, не отводя глаз. Детишки притихли, зажав в руках гостинцы. Я был готов провалиться сквозь землю.

Сулу-Мурт поднялся, накинул на голову красный лисий малахай.

– В сарае мешок муки. Занесете потом,– сказал он и вышел.

Я не мог опомниться, не в силах был пошевелиться, а детишки снова принялись скакать, радуясь гостинцам. Особенно без ума была Дуняша. Сулу-Мурт подарил ей отрез яркого сатина с зелеными цветочками.

В тот вечер я долго сидел возле матери, и она, то и дело заливаясь слезами, рассказывала, что отца вот уж второй год как арестовала омская полиция. После этого она слегла и с тех пор не поднималась. Была у нее надежда, что отыщется сын, но от меня не было никаких вестей. Соседи не оставляли брошенную семью и помогали кто чем мог. Мать поминала добрым словом Султана и молила бога, чтобы он дал ему счастья и долгих лет. Без Султана ребятишки поумирали бы с голоду... Мать молила меня, чтобы я не оставлял теперь сирот и вывел их в люди. Да мне и самому нужно было начинать жить сначала.

С тех пор я окончательно покончил с воровством. А с Султаном мы вскоре подружились и так уж получилось, что стали с ним заступниками нашего аула...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ветер мотал на столбах фонари, и от палаток, выстроенных в ряд, в степь тянулись качающиеся, словно живые, тени. Иногда ветер задувал особенно сильно, и тогда казалось, что качаются не тени, а сама земля.

За палатками на небольшой вытоптанной площадке толкались, поднимая пыль, пары, и рыжий парень лениво и широко растягивал мехи баяна. При неровном свете фонарей, скрипящих на ветру, веснушчатое безучастное лицо парня походило на пестрое воронье яйцо.

Вечер только начался, и танцы в разгаре, но на кругу почти не видно женских юбок, – девчат в совхозе пока маловато. Парни, обнявшись попарно, неловко толкуются под удалую музыку баяна и задевают плечами тех, кому достались партнерши.

Халил, стоя в сторонке, наблюдал за танцующими.

Дома, в Кызыл-Жалау, среди своих сверстников и знакомых он чувствовал себя свободно и непринужденно, а здесь еще не освоился и почти никого не знал. И все же сидеть дома одному было тоскливо, едва заиграл баян, он вслед за всеми потянулся к площадке.

Из вагончика, поставленного на бревна, прыгнула девушка и направилась к танцующим. Халилу показалось, что мотающиеся по земле тени качают девушку, и ей с трудом, как лодке в бурю, удастся с этим бороться. Наблюдая за танцующими, она остановилась рядом с Халилом, и ему удалось как следует ее разглядеть. Лицо девушки как будто показалось ему знакомым, но он никак не мог припомнить, где ее видел. Волнистые светлые волосы свободно падали на плечи, и это заставило Халила смотреть не отрываясь. «Нет, другой цвет волос ей не подошел бы...» Черная куртка с открытым воротом сидела на девушке плотно

и ладно, как бы подчеркивая ее невысокую крепкую фигурку. Обута она была в туфли на низком каблучке.

Девушка заметила пристальное разглядывание Халила. Ей стало не по себе, и она несколько раз мельком взглянула на него, но в ее взгляде он не уловил ничего кроме откровенного дружелюбия и снова подумал, что они где-то виделись раньше. В это время от толпы ребят, стоявших возле баяниста, отделился совсем молоденький парнишка в невероятно широких клешах и с напوماженной головой. Подойдя к девушке, он развязно поклонился:

– Мадам, прошу вас.

Тусклый свет блестел на его прилизанных волосах, и Халилу, молча наблюдавшему за всем, подумалось, что развязный этот парнишка похож на только что родившегося теленка, еще не успевшего обсохнуть.

Дружелюбное выражение в глазах девушки пропало, и она ответила сухо, совсем не глядя на парнишку:

– Во-первых, я тебе не мадам. А во-вторых, Жора, запомни навсегда: как бы ни была тебе девушка знакома, никогда не бывай с ней развязен. Понял? Иначе никто с тобой танцевать не станет.

Девушка говорила громко и отчетливо, словно рассчитывая, что ее услышат, и Халил обратил внимание на то, что громадный детина, стоявший в сторонке, на самом деле внимательно прислушивается к разговору. Халил знал этого парня, и теперь ему стало ясно, кто подослал к девушке напوماженного парнишку. Видя, что его посланец получил отказ, детина двинулся сам.

– Ласточка моя, пойдем потанцуем.

От него исходил густой запах бензина и водочного перегара.

Девушка отвернулась.

– Нет. Не пойду.

Детина потянулся было к ней, но девушка неожиданно сказала Халилу:

– Пойдемте танцевать!– и, схватив его за руку, увлекла за собой на круг.

Тут только Халил вспомнил, где он видел девушку: это было в день, когда в совхозе прокладывали первую борозду. Она вела трактор, и плуг резал маслянистый плотный пласт, оставляя за собой перевитый, словно девичья коса, разбуженный след перепаханной земли. Халил тогда не приглядывался к девушке,– весь совхоз в тот день бежал за трактором, радуясь и празднуя начало больших работ. Так, значит, эта решительная красавица и есть та самая трактористка? Тогда она не показалась ему такой красивой, скорее наоборот – толстая, неуклюжая, какая-то мужиковатая...

– Как вас зовут?– неожиданно спросила девушка.

– Халил,– пробормотал он и тут же уточнил: – Халил.

– А меня Тамара.

От нее исходил тонкий запах духов, и Халил, разглядывая ее совсем близко, удивился тому, что жесткий степной ветер и солнца вообще не тронули ее нежного лица. Нет, она совсем не походила на ту неповоротливую девушку на тракторе. Эта была легкой, подвижной, чутко улавливающей малейшее движение партнера.

Застенчивый и замкнутый, Халил всегда робел при знакомствах, и требовалось немало времени, чтобы он освоился и разговорился. Потом он становился весел и доверчив, и не было в компании человека более веселого, чем он.

Тамара, разговорившись, чем-то напомнила ему уехавшую Акбопе, и он, становясь с каждой минутой проще и непринужденней, уже спрашивал ее, кто она и откуда и каково ей живется на далекой от родины казахской земле.

Сильный толчок едва не сбил их с ног. Держась друг за друга, они отлетели в сторону. Чьи-то руки поддерживали их, не дали упасть. Верзила-тракторист, обняв

какую-то плотную женщину с широкой спиной, нацеливался толкнуть с другой стороны.

Тамара сняла с плеча Халила руку и сузившимися глазами долго смотрела на верзилу. Он, не переставая танцевать, оскалился:

– Что, не узнаешь?

– Узнаю, – вздохнула девушка и увела Халила с круга.

Неприятное происшествие на площадке окончательно испортило настроение обоим. Халил видел, что девушка удручена еще больше, чем он, и, чтобы как-то разрядить тягостное молчание, спросил:

– Тамара, вы не ушибли ногу?

Девушка грустно усмехнулась:

– Вы удивлены, что я прихрамываю? Это у меня с детства.

Простой безыскусный ответ заставил Халила побагроветь. «Как же я во время танцев-то не заметил?!» Он смешался от своей оплошности и до самого вагончика, где жила девушка, не проронил ни слова. Теперь на самом деле заметно бросилось в глаза, что девушка при каждом шаге невольно припадает на одну ногу.

Они остановились и стали прощаться.

– Ты расстроился? – спросила Тамара, вспомнив происшествие на танцах. – Не огорчайся. Это он, видишь ли, характер показывает. Непутевый парень. Остальные ребята у нас совсем не такие. Вот увидишь, когда сойдешься поближе.

Халил медленно побрел домой. Шум голосов на площадке, звук баяна становились все тише. Дома еще не ложились, – в окнах еле заметно теплился свет керосиновых ламп.

Что-то чернело возле запертых ворот, и Халил вначале подумал, что это поленница кизяка, но, подойдя ближе, увидел целый табунчик привязанных лошадей. В доме были приезжие.

Лошади звякали уздечками, всхрапывали, отгоняли, резвившихся рядом жеребят.

Из ворот вышли двое – отец и еще кто-то. Халил поспешил спрятаться, тесно прижавшись к забору, и они прошли мимо, не заметив его. Поздний гость, как заметил Халил, был одет по-зимнему: в толстых кожаных шароварах и теплом малахае.

– Так, значит, я поехал, Кареке, – сказал гость, подходя к лошадям.

– Счастливого пути. А зря едешь на ночь глядя. Заночевал бы.

– Кареке, разве сейчас время разлеживаться? Поеду к лошадям.

– Ну, смотри, – отвечал отец. – Где сейчас лошади? На Жаман тузе? Самое лучшее, что нам осталось. Всю степь распахали.

– Да ну. Для пастьбы еще найдутся места. Вокруг «Жана Талапа» не шибко-то распашешься. Недавно там Райхан была, говорила с людьми. Есть слух, что совхоз наш превратят в животноводческий. Только вот места у нас не для скотины. Ну да Райхан-то знает. Она же местная, здешняя. Здесь родилась и выросла.

Гость отвязал жеребца и стал подтягивать подпругу.

– Что ж, правильно решили, – проговорил Карасай, доставая из-за пазухи широкий теплый кошелек. Он порывлся в кошельке и вынул несколько новеньких хрустящих бумажек. Приблизившись к гостю, Карасай сунул ему деньги за пазуху. – Вот, спасибо тебе за все. В долгу я никогда не останусь. Как говорится, гора с горой не сходится, а человек с человеком... Станет ваш колхоз животноводческим, заберешь коней назад. У меня самого силы теперь, знаешь какие, – кроме тебя пасти их некому. Да и зять твой, думаю, тоже доволен.

Гость с усилием затыгивал подпругу и не очень внимательно слушал, что говорит ему хозяин. А говорил Карасай больше намеками, недомолвками, и гостю это не нравилось. В сердцах он так сильно дернул подпругу, что жеребец завертелся на месте.

– Тпру, стой проклятый!– и табунщик рванул за узду. Жеребец, беспокойно мотая головой, присмирел.

Затянув ремень, гость поправил седло, затем достал из-за пазухи деньги Карасая. С минуту он молча вертел их в руках.

– Кареке, я еще не нищий без куска хлеба. Слава богу, есть-пить у меня найдется и, может быть, даже не хуже, чем у кого другого. И не дай бог, чтобы мне пришлось когда-нибудь побираться.

С этими словами он вернул деньги хозяину.

– О чем ты говоришь?– запротестовал Карасай.– Да спасет тебя аллах...

– Кареке, я прошу от вас только за свой труд. Пять лет я пасу ваш скот, и еще ни одна голова не пропала. Стадо растет и все прибавляется, и я думаю, что моей вины перед вами никакой нет.

– И все же вы мне когда-то пообещали, и это обещание длится до сих пор... А это вы заберите. Этого не только пять лет, а даже пять моих ночей бессонных в буране, не стоят. Чем так, я лучше ничего не возьму.

Табунщик неуклюже задрал толстую ногу в стремя, но едва коснулся, как легким быстрым движением оказался в седле. Жеребец под ним затанцевал. Карасай порылся в кошельке и достал еще одну бумажку. Но гость разбирая поводья, даже не взглянул на деньги.

– Кареке, если хотите держать своих лошадей в совхозном табуне, поговорите с новым директором. Или с Райхан. Теперь вся власть у нее. Скажет – возьми, возьму. А так... хватит, я достаточно ждал вашей платы.

Карасай медленно сложил деньги обратно в кошелек.

– Воля твоя. Не хочешь – не надо. Ты думаешь, этот скот весь мой? Как бы не так! А зятя твоего, председателя! Или забыл?

Табунщик резко дернул поводья, и жеребец закружился, ударил копытом в землю.

– Кареке, вы с Косимановым совсем нас запугали. Но ничего. Пусть-ка он еще раз попробует! Вы знаете,

дважды обрезание не делают...– и он поскакал прочь, волоча за собой по земле длинный курук.

Карасай постоял, глядя ему вслед, и куда слышен был добрый топот копыт, старику чудилось в нем грозное предостережение табунщика: «Пусть-ка еще раз попробует!»

– Пес!– сквозь зубы процедил Карасай.– С жиру бесишься?

Он заметил подошедшего Халила и быстро обернулся.

– Ты, что ли? Где это тебя носит в полночь?

– Так, бродил...– проямлил Халил и хотел проскользнуть мимо отца в ворота, но тот остановил его.

– Постой-ка... Иди, поговорить надо. Они обошли притихший табунчик лошадей и присели на разбитую тележку, снятую с колес.

– Слышал, как он разговаривал со мной?– спросил Карасай.– Как скоро собачий помет станет лекарством!

Халил чувствовал, что отец весь дрожит от гнева. Старик трясущимися руками насыпал на ладонь табаку, быстрым заученным движением отправил за губу и, сморщившись, звонко сплюнул. Он все не мог успокоиться после разговора с табунщиком.

– Коке, чьи это лошади?– спросил Халил, чтобы переменить разговор.

– погоди,– отмахнулся сердитый Карасай.– Сейчас узнаешь.

Молоденький стригунок уже несколько раз порывался подойти к сидевшим людям, но никак не осмеливался. Наконец он робко приблизился к Карасаю и, вытянув шею, стал обнюхивать его плечи, грудь. Старик осторожно, чтобы не вспугнуть, поднял руку и запустил пальцы в мягкую шелковистую гриву жеребенка. Он долго гладил его, расчесывал, трепал, и от сердца постепенно отлегло.

– Эх, святая душа – вся эта скотина. Недаром говорят, сынок: скот – радость для глаз.

Рука старика продолжала ласково почесывать присмирившего жеребенка по шее, по узкой, не окрепшей еще грудке.

– Вот смотри, сынок, тебе уж пора разбираться, где хорошее, а где плохое. Времена-то какие настают, – замечаешь? С целиной этой... Скоро вообще нам негде повернуться будет. Ты думаешь, почему это пригнали мне сегодня скотину, которая несколько лет паслась в колхозном табуне? Все оттого. Да еще Райхан. Откуда она взялась на мою голову? Никогда мы с ней не ладили, а уж теперь... Чует мое сердце. Всегда она была никудышным человеком... Так вот, сынок... Нас еще старшие учили. «Если время – лиса, то будь гончим». Хватит нам лежать, как пенькам. Придется тебе до осени попасть здесь скот. С овцами и коровами Дика один управится. А как только «Жана Талап» станет животноводческим совхозом, устроишься туда табунщиком. Устроишься, будешь числиться – и довольно. Кому пасти, без тебя найдется. Тут важно то, что табунщик имеет право держать в табуне своих лошадей...

– Коке, какой же из меня табунщик?

– Ничего. Год-два поработаешь, лошадей пристроишь, а там что-нибудь придумаем.

– Из-за лошадей становится табунщиком... Уж лучше шофером. Зачем нам столько лошадей? Неужели не хватит двух-трех?

Карасай вновь начал тихо закипать от ярости.

– Нет, вы послушайте, что он болтает! «Зачем столько лошадей?» Да они кормят меня, эти лошади, они меня в люди вывели. И то, что ты рос без забот и до сих пор не держал в руках лопаты, – это тоже благодаря им. У степного народа нет жизни без коня! Конь – это деньги, это мясо, это – все! Запомни, и чтоб я больше не слышал такого. Хватит болтаться с этими ветрогонками! – он мотнул головой в сторону палаток приезжих. – Бараньей головы они тебе не поднесут, не жди. Пора за дело приниматься!

В том году тепло наступило рано и уже в середине мая установились тихие бархатные ночи. Пустив лошадей пастись, Халил укладывался на разостланный кафтан из домотканой шерсти и подолгу бездумно глядел в высокое степное небо.

Стояла пора полнолуния, и огромный диск, словно золотое блюдо, незаметно плыл над степью. Жеребята, целый день томившиеся в загоне, радовались свободе и теперь прыгали, резвились возле маток. Жирные, заботливо откормленные кобылицы осторожно обнюхивали незнакомую землю и шаг за шагом отправлялись искать знакомый табун, от которого они никак не могли отвыкнуть. Изредка лошади останавливались, чтобы пощипать травы, и Халил, приподнявшись, видел их неясные силуэты под холодным, рассеянным светом.

Изредка в степи меркло и темнело, – это на круглый лик луны набегало легкое, будто из теребленой шерсти облачко, и тогда размечтавшемся Халилу казалось, что это румяная кокетливая красавица игриво прячется за неплотной занавеской.

Низко над землей мерцали крупные и редкие звезды перевернутого ковша, а мутная беспорядочная россыпь Млечного Пути напоминала переливающиеся издалека огни большого аула.

Извечная тайна ночного неба давно питала воображение Халила. Еще в детские годы, ночуя на крыше, он подолгу не мог уснуть, заглядевшись на острый недосыгаемый блеск созвездий. Постепенно он выделил и запомнил свою звезду, как называл он, и с тех пор, просыпаясь поутру от раннего степного ветерка, он первым делом находил ее на том месте, куда она скатывалась за ночь, находил и с легким сердцем заворачивался в одеяло и засыпал вновь до восхода жаркого солнца. И сон тогда приходил быстрый и крепкий...

Нынешней весной в степи прибавилось огней, и, может быть, оттого, привычное небо стало меньше привлекать Халила. Спутав лошадей и пустив их пастись, он часто и подолгу смотрел в густую черноту степи, где далеко и неясно, сходясь и разъезжаясь, переливалось множество светлячков. Трактора вели ночную пахоту, и он знал, что в этом беспорядочном множестве огней есть один, который ему хотелось бы узнать и отличить от всех, узнать и запомнить, потому что на том тракторе работала Тамара.

С той первой встречи на танцах Халил больше не видел ее, но чем-то запомнилась она и не выходила из головы. Уж не приветливостью ли и дружелюбием, столь необычными при первом знакомстве? Во всяком случае, сейчас, вспоминая тот вечер, Халил ругал себя за проклятую застенчивость, помешавшую ему разговориться и найти обычные легкие слова, которые закрепили бы их мимолетное знакомство и, кто знает, дали бы повод увидиться вновь.

Заглядевшись на огоньки и размечтавшись, Халил забыл о лошадях. Не слышно стало знакомого ржання, лишь издали еле уловимо доносится гул работающих тракторов да время от времени со стороны дороги послышится шум проезжающей машины. Машины теперь шли часто, и, если смотреть на дорогу, то в одном и том же месте можно было, видеть, как ярко и неукротимо горели два упорных набегающих огня, потом они вдруг смещались в сторону и пропадали, а на прежнем месте снова показывались такие же приближающиеся огни.

Осматриваясь по сторонам, Халил плохо различал, что вокруг, луна к тому часу опустилась совсем низко и запуталась в густом и плотном облаке. Лошадей не видно было и не слышно, и он пошел в ту сторону, куда они обычно направлялись в поисках родного табуна. Иногда он оступался в темноте, и тогда связка уздечек в его руке издавала мелодичный звук, единственный звук, нарушавший глубокую тишину поздней ночи.

Чтобы лучше видеть, Халил присаживался на корточки и высматривал – не зачернеет ли что-нибудь впереди, и однажды ему показалось, что есть, но когда он подошел и взгляделся, оказалось – кустарник, маленький островок зарослей таволги.

Время шло, и Халил уж исходил окрестности, где обычно находил лошадей. Куда они могли забрести? Может, пути разорвались? Да нет, не должно бы... Лишь бы не напали волки!

А ночь становилась глуше, темнее, и уж надолго померкло небо, заволакиваясь медленной тучей. Халил услышал ленивый рокот, тут же сверкнуло где-то далеко и пока не ярко, будто предостерегая. Халил ускорил шаги. Из-под ног стали чаще взлетать перепуганные птицы, ночевавшие в густой, как овечья шерсть, траве, и всякий раз Халил останавливался и с опаской слушал тишину.

Теперь, даже не присаживаясь, можно было разглядеть впереди темную, уходящую ввысь громаду – склон угрюмого отрога горы Кыз-Емшек. Черная мрачная туча сидела на плече горы, зацепившись словно войлок. А там, где угадывалась седловина, копилась гроза, и Халил всякий раз прикрывался рукой, когда ярко и все чаще, все ожесточеннее вспыхивали молнии. Будто кто-то невидимый скрывался между вершинами и быстро, резко бил и бил в кремь, высекая острые искры. Гром прокатывался в низком невидимом небе, и горы, казалось, содрогались в этом требовательном и грозном гуле.

Халил неожиданно ступил в мягкую пахоту и остановился. Дальше идти не имело смысла. Перед глазами была сплошная чернота, и небо теперь совсем слилось с землей. Пользуясь минутным предгрозовым затишьем, Халил прислушался и вновь различил размеренный рабочий рокот трактора, ползавшего где-то неподалеку, возле склона горы. Потом перепел прокричал одиноко и сонно: «Быт-лдак, быт-лдак». И снова тихо.

Впереди быстро и ядовито перечеркнула черноту молния.

Похлопывая уздечками себя по ноге, Халил раздумывал, как быть. И вдруг близкий душераздирающий крик заставил его вздрогнуть. Это было так неожиданно и так близко, что, сжалось сердце. Кричала женщина и кричала в беде, она боролась и отчаянно звала на помощь. Сорвалась откуда-то из куста испуганная сова и едва не задела Халила по лицу. Он опомнился и со всех ног бросился на крик...

Той же ночью по гладкой степной дороге летел тяжело груженный ЗИС. Изредка машину встряхивало на твердых выбоинах, но верзила-шофер, сидевший согнувшись за баранкой, не сбавлял хода.

Рейс был долгий, и, чтобы снять усталость, шофер перед самым вечером остановился у дорожной, столовой, зашел и один за другим вытянул два стакана светлой. Садилось солнце, утихал ветер, ежедневно с самого утра задувавший из далеких сибирских степей. Дерягин кинул взгляд на привычную картину закатной степи и привычно запустил мотор. Теперь хмель проходил, но близился и конец пути, и Дерягин гнал машину, остро поглядывая на дорогу красными воспаленными глазами и по привычке перекидывая во рту изжеванную потухшую папиросу.

Его большое уставшее тело едва помещалось в кабине; пригнувшийся, он походил на старого орла, уже подавшегося вперед, чтобы сняться и взлететь.

Несмотря на скандальный задиристый характер, Дерягин пользовался репутацией дельного, добро-совестного шофера, и это признавали и ценили в нем не только ребята-сверстники, но и начальство, потому что редко кто в состоянии был изо дня в день выдерживать такие долгие изматывающие рейсы по степным дорогам и к тому же в образцовом порядке содержать свою машину. Его выделял даже строгий и

неласковый к людям завгар Морозов, и Дерягин знал все это, он хорошо знал себе цену, поэтому жил и вел себя как хотел, нисколько не задумываясь над тем, что товарищи постоянно побаиваются его и сторонятся и что кроме преданного Володи Котенка у него нет и, похоже, не будет здесь настоящих друзей.

Он заявил о себе в первый же день на новом месте, вернее, в первую ночь, когда новоселы только обосновались у рощи Малжана. Вечером, дождавшись тишины, Дерягин установил посреди вагончика перевернутый ящик, спустил пониже лампу и достал колоду карт. Играть уселись вчетвером. Володя Котенок сидел сбоку и тоже просил карту, но проигрывал раз за разом, как проигрывали и двое остальных партнеров, и стопка денег перед банкометом все росла и росла. Наконец он объявил:

– Стук. В банке четыреста.

Карты были розданы снова, и партнеры стали пытаться последнее счастье.

– На тридцать.

– На сорок...

– На сто!

Дерягин, сдавая карты и открывая свои, уверенно забирал ставки. Остался последний, четвертый, еще совсем молоденький парнишка с рыжими вихрами. Он волновался и прятал в потных горячих ладонях карту. Проигравшие соседи склонились к нему. У парнишки был туз, и это давало надежду на счастье.

– На все, – вдруг произнес он и тут же испугался, забормотав что-то совсем не подходящее: – А вообще-то... Смотри сам.

Но партнеры уже придвинулись и горячо подержали его угасающий азарт:

– Иди! Мы проиграли – ты должен взять.

– Дави, не бойся!

– Ну, на все так на все.

И нервно зевнул, захватывая полную грудь спертого прокуренного воздуха.

Теперь внимание всех было приковано к большим волосатым лапам Дерягина. Парнишка сжимал в руке заветный туз.

Банкомет сбросил карту, и парнишка взял ее, но открывать не торопился. Он сложил ее с тузом, еще не видя, и принялся осторожно выдвигать, чувствуя, что сердце мечется, как жеребенок. Из-за туза показалась девятка, и парнишка сказал радостно и нетерпеливо:

– Бери себе!

С сонным равнодушным лицом Дерягин перевернул свою карту и тут же каким-то неуловимым движением выбросил вторую. Десятка и десятка. Двадцать очков! Парнишка задохнулся.

Но тут раздался голос со стороны:

– Постой, а ты откуда это карту вытащил?

Дерягин вздрогнул.

– Ид-ди ты...– он схватил стакан и бросил в голову сказавшего. Тот успел присесть, и стакан разлетелся о стенку.

Верзила вскочил, страшно озираясь, и все, кто были в вагончике и наблюдали за игрой, попятились. Злой, оскалившийся Дерягин напоминал зверя перед прыжком.

Больше в вагончике никто не проронил ни слова, каждый старался отвести глаза от разъяренного взгляда Дерягина. И мало-помалу верзила успокоился, его вздымавшаяся, как кузнечные мехи, грудь опала.

Игра прекратилась, Дерягин сгреб с ящика деньги и, не считая, сунул в карман. Напряжение спало, ребята разбрелись по нарам и затихли. Дерягин остался сидеть посреди вагончика под висячей лампой. Где-то в глубине души он не рад был этому дурацкому выигрышу. Даже Котенок, преданный человек и давнишний закадычный друг, ничего не сказал ему сегодня, молча забрался на свое место, и, прежде чем он успел нырнуть под одеяло, Дерягин поймал его быстрый отчужденный взгляд. Жалел он его, что ли? А может, презирал?

Человек несдержанный, способный на самые крайние поступки, Дерягин в то же время умел замечать свои ошибки и раскаиваться, однако переживал он глубоко в душе, ни за что на свете не соглашаясь признаться товарищам. То, что творилось у него на сердце, было заперто от других на семь замков.

Так получилось и после злополучного выигрыша в карты. Даже друг осудил его, и молчаливое осуждение всегда преданного Котенка не осталось незамеченным, однако Дерягин никому не сказал ни слова, он не подал и вида и, как ни в чем не бывало, отправился в долгий утомительный рейс. Работа, дальняя дорога всегда возвращали ему душевное равновесие.

На степь опустились сумерки, потом настала ночь, но тяжелый ЗИС не сбавлял хода, бросая впереди себя два сильных пучка света. Дорога просматривалась далеко, и вдруг Дерягин разглядел на пути зайчишку, врасплох захваченного ярким светом. Гул набегающей машины был страшен, и зайчишка, мелькнув куцым хвостом, пустился наутек, никак не в силах выскочить из напряженного пучка света. Узкий яркий коридор как бы направлял бег зверька, он был уже недалеко, и Дерягин, загораясь азартом погони, все прибавлял скорости. Силы беглеца стали убывать, и теперь можно было разглядеть, что это толстая брюхатая зайчиха. Дерягин даже привстал, ожидая, что жертва сейчас окажется под колесом, но в самый последний миг зайчиха сделала отчаянный прыжок в сторону и пропала из глаз. Не сразу, но довольно круто тяжелая машина тоже вильнула с дороги, и в нашаривающем свете фар тотчас стала видна улепетывающая зайчиха. ЗИС вновь понесся по целине, на этот раз совсем не разбирая дороги. Возникали и тут же пропадали снова в темень чахлые кустики чия, машину подбрасывало на кочках, но Дерягин гнал и гнал, видя перед собой лишь взлетающий пушистый комочек. У зайчихи уж не оставалось сил, и Дерягин однажды совсем потерял

ее, но, развернув машину и пустив далеко вперед полный свет, он увидел ее под кустиком чия, припавшую к земле и судорожно водящую боками. С тех пор зайчиха уж не убегала со всех ног, а лишь отпрыгивала от набегающей машины в сторону и, пока Дерягин разворачивался, она отдыхала. Потом попался участок густой нетронутой травы, и зайчиха схоронилась от назойливого и страшного света, но Дерягин принялся утюжить этот участок взад и вперед, и зайчиха, выпорхнув из-под самых колес, опять попала на глаза. Но теперь она отдохнула и набралась сил и снова ударилась в бег. Азарт охоты целиком завладел человеком и он, не раздумывая, сильно погнал машину по сухим колдобинам и кочкам. И он настиг бы жертву на своей не знающей усталости машине, она была совсем уж рядом, вновь теряющая последние силы, но тут на пути встала непреодолимая преграда – чернота недавно распаханной степи. Машина разом оборвала свой сумасшедший бег, и Дерягин в далеком слабеющем свете фар видел, как зайчиха несколько раз кувыркнулась на кочках пахоты, запрыгала и исчезла в темноте.

Дерягин вышел из машины и огляделся. Луна безнадежно увязла в густеющих неторопливых тучах. В степи стояла глубокая тишина. Даже трактора утихомирились к этому позднему часу, их огоньки виднелись далеко один от другого, и еле слышный рокот как бы напоминал о великой усталости. Погоня завела Дерягина в совсем не знакомые места, и он, осматриваясь, гадал – не в совхозных ли домиках горят вон там, в стороне, огни.

Пахота, в которую уткнулась машина, уходила вдаль, и чернота надвигающейся грозы оттого становилась еще гуще. Разъятая земля пахла влажно и нежно, и порой казалось, что это чье-то мерное и спокойное дыхание доносится из непроглядной тьмы.

Дерягин развернул машину и поехал вдоль кромки вспаханного поля. Не доезжая середины гона, он

заметил трактор, замерший прямо в борозде. Фары погашены, лемеха так и остались глубоко в земле. Похоже трактор заглох в самый разгар работы.

А тракторист-то где?

Помигав светом, Дерягин увидел, что кто-то бежит к машине. Ага, вот он! Дерягин полез из кабины навстречу.

Чем быстрее приближался заброшенный в степи тракторист, тем недоуменней всматривался в него пораженный Дерягин. Он отказывался верить глазам. Бывают же встречи! Вот не думал, не гадал... К машине подбежала Тамара.

Оказывается, у нее кончилась солярка, и прицепщик отправился в далекую бригаду. Девушке было страшно одной, и она обрадовалась, увидев остановившуюся машину. Однако радость ее была недолгой – она тоже узнала Дерягина.

– А ведь я к тебе специально, – сказал Дерягин, выключив мотор. – Может, поговорим вчистую?

– Зря трудился, на ночь-то глядя, – сухо ответила девушка. – Поговорить и днем можно, да только... О чем вам говорить? Наш разговор давно закончен.

Она повернулась, чтобы уйти, но Дерягин крепко схватил ее за руку.

– Нет, дорогуша. Разговор только начинается. И учти – от меня ты не убежишь. Поняла? Я тебя не отпущу – хоть голову на плаху!

– Перестань, Василий! Девчат в совхозе и без меня хватает. А меня оставь в покое.

– Да я на целину только из-за тебя приехал, – неужели ты не понимаешь? Для меня жизни больше нет! Ты пойми...

Девушка попыталась высвободиться, но Дерягин еще крепче сжал ее руку и потянул к себе.

– Ну, прости, если что... Я ж не просто... А, Тамара? Я ни у кого еще не просил прощенья! Ты ж сама знаешь...

– Нашел чем хвастать!.. И пусти меня,– слышишь? Да пусти же!..

– А вот не пущу! Не пущу,– и все! Ты моя теперь,– понимаешь? Моя! Так и жить будем вдвоем. Ты не знаешь... Ты мне скажи чего-нибудь, ты только прикажи! Я все, что захочешь...

– Пусти! Не о чем нам...

– А-а... Так ты вот как! Ты, видно, все уже забыла. Ну, смотри, ты меня знаешь. Найдут как-нибудь в степи твое красивое тело...

– Запугал!.. Пусти, говорю!

Дерягин рванул девушку к себе и, схватив в охапку, повалился в траву. Силясь вырваться, Тамара закричала что было мочи...

Подбежавший Халил увидел двух барахтающихся на земле людей. «Тамара?!» Дерягин от неожиданности растерялся. Девушка вскочила на ноги и с плачем бросилась к Халилу. Ее всю трясло от страха.

Дерягин лениво поднялся на ноги. Отстранив девушку, Халил удобнее перехватил связку уздечек.

– Не подходи!– закричал он.

– А если подойти?– сквозь зубы проговорил Дерягин, медленно приближаясь.– Заразный, что ли?

Он подошел и небрежно, одним пальцем хотел приподнять подбородок Халила. Тамара решительно стала между ними.

– Убери руки! Ты же только что клялся: «человеком стал...»

– Теперь это не твоего ума дело, кем я стал: человеком ли, чертом... я-то думал, она тут пашет, а она, оказывается, вон кому свиданья назначает. Весело, гляжу, проводишь время!

– Не тронь его. На меня говори, что хочешь, а на него...

– Ну-ну...– Дерягин отступил.– А ты, сопляк, гляжу, храбрый. Ладно, как-нибудь встретимся.

– Не пугай, не пугай. Смотри, сам попадешься.

– Ну, разве что так,– недобро рассмеялся Дерягин.– Посмотрим.

Он залез в кабину, включил мотор и с места сильно погнал машину. Халил долго смотрел, как она подпрыгивает и громыкает на кочках. Только теперь, когда опасность миновала, он ощутил противный страх, прокатившийся от сердца к коленям. Минуту раньше он никакого страха не чувствовал.

– Ты откуда взялся?– первой нарушила молчание Тамара.– С неба, что ли, свалился?

В голосе ее звучало удивление и радость благополучно минувшей опасности. Халил молча усмехнулся, пожал плечами.

– Нет, правда, что ты тут делал среди ночи?– допытывалась она.

– Лошадей пас.

– Лошадей? Да какие же тут лошади?

– Какие... Наши лошади.

Девушка перевела дух.

– Ладно, идем. Посиди со мной. Где-то прицепщика черти носят!

Тамара опрокинулась в траву, устало завела под голову руки. Халил присел рядом, положив в сторонку уздечки.

– Слушай,– немного погодя спросила Тамара,– а у тебя много лошадей?

– Много.

– Ну, сколько?

– Около десятка, пожалуй. И еще жеребята.

– Ого!– она подняла голову.– И все твои?

– Конечно.

– И ты один пасешь их? А почему их не привязать на ночь?

– Нельзя. Лошадь только ночью и пасется. Днем, в жару, она отдыхает, где-нибудь стоит в тенечке...– Халил пригнулся к самой земле, все еще надеясь разглядеть: не покажутся ли знакомые силуэты пасу-

щихся коней.– Ночью, если за лошадьми не следить, они могут забрести далеко. И потом волки...

– Да, да. Знаешь, я совсем недавно видела волка. самого настоящего! Никогда раньше не приходилось... Наши трактористы четверых волчат поймали. Хорошенькие такие, прямо как овчарки.

– Волк? Здесь?– переспросил обеспокоенный Халил. Он снова пригнулся к земле, высматривая в темноте лошадей.

– Халил, а ты не боишься один в степи?– спросила Тамара.– И тебе не скучно?

– Что делать... А тебе разве не скучно? Ты же день и ночь одна.

– Да ну, о чем ты говоришь. Если бы ты хоть один день побыл на моем месте!– она обхватила руками согнутые колени и, чуть откинув голову, мечтательно загляделась в ту сторону, где грузная медлительная туча совсем слилась с черной полосой распаханной степи. На лицо девушки упала первая крупная капля и тотчас еле слышно зашелестело кругом в сухой притаившейся траве.– Ты знаешь, какое это чувство, когда трактор будит утром степь, а за тобой, за твоей спиной, вырастают валы перевернутой земли. Как волны,– честное слово! Не знаю, как у других, но мне иногда не хочется даже на обед останавливаться. Правда, правда! Я ведь иногда даже сплю здесь, в степи. Заглушишь мотор – и сразу тишина, тишина, как будто сразу все остановилось в мире. Бросишь в траву фуфайку и – сразу намертво. А иногда наоборот – раздумаешься. И чего только тогда не пойдет в голову!

Она умолкла и с минуту сидела, чуть покачиваясь, не разжимая рук. Потом будто что-то вспомнила:

– Я иногда думаю: каждый человек живет по-своему. В самом деле, вот жила я в городе. Вечер подходит: танцы. Домой приходишь: ужин холодный. Что-нибудь похватаешь – и спать. И ведь тоже устаешь за день, иногда ног под собой не чувствуешь. А что сделала? Да

ничего. Ты не думай, я той жизни нисколько не жалею. У меня сейчас какой-то смысл появился, я сейчас понимать стала, зачем я живу. Точно, точно! Может, кому-нибудь это покажется наивным, но я, например, когда вижу, сколько я за день распахала, я думаю, что день этот прожила не зря. И завтрашний день будет такой же. И от этого чувства спится так, что даже дождь не разбудит.

– Значит, кто не пашет землю, тот не спит?– усмехнулся Халил.– А ученики, а студенты? Или, по-твоему, они бездельники?

– Да ну, я же тоже училась в школе механизации! Но и там... Смотри, это ж тоже надо понимать и чувствовать – как прожит день? Я, например, если не прочитала ничего, ничего не сделала, то чувствовала, что день потерян. Правда, правда!.. Ну, а вот тебя возьмем. Ты когда школу окончил?

– Я? В прошлом году.

– Ага. И что ты с тех пор делаешь? Или ты ничего не делаешь? Неужели ты не сожалеешь, что время уходит зря? Или ты нисколько не думаешь, что будет с тобой завтра, послезавтра? Ведь думаешь же?

Халил опустил глаза и ничего не ответил. На самом деле он никогда не задумывался о завтрашнем дне. Зачем?..

Редкие тяжеловесные капли стали падать чаще, дождь расходился. Тамара поднялась и засмотрелась на одинокий приближающийся огонек.

– Ну вот, идет мой прицепщик. Пошли в кабину, чего под дождем мокнуть...

Дождь, зарядивший ночью, под утро прекратился, небо очистилось и к восходу солнца над степью установился свежий аромат умытых трав.

В одних белых исподниках Карасай стоял на плоской сырой крыше избушки и смотрел вперед, пытаясь разглядеть, не покажется ли Халил с табуном. Но ни Халила, ни кобылиц с жеребятами не было видно, хотя

в это время они обычно возвращались с ночной пастьбы. Медленно вставало солнце, согревая воздух и напоенную землю, и Карасаю казалось, что трактора, застрекотавшие далеко впереди, у самого подножья Кыз-Емшек, были похожи на баурсаки, разбросанные редко на широком раскинутом дастархане.

Не понимая, что могло случиться с сыном, Карасай не спеша оделся и пошел ловить спутанного коня, пасшегося недалеко от дома. Он не испытывал ни малейшей тревоги и поэтому неторопливо трусил на отдохнувшем и сытом коне. Он видел, как ползают, стреляя дымом, разбросанные в степи трактора, и невесело думал, что на его глазах меняется не только обжитая земля, но и весь уклад станинной привычной жизни. Скоро совсем не останется выпасов, а там, где они сохраняются, будет пастись лишь колхозный скот, и хозяйство одинокого домика в степи постепенно придет в запустение. Скот Карасая станет, как бельмо на глазу, и если даже Халил устроится табунщиком, то и тогда спрятать в общественном табуне все свое поголовье, окажется делом нелегким. Выхода, как ни хитри, не оставалось: лучше всего часть скота обратить в деньги. Но в то же время Карасай понимал, что сейчас, в начале лета, только дурак станет продавать скотину. Овец, тех еще, пожалуй, можно, на них всегда хороший спрос, но остальных... И старик, не слишком торопя коня, ломал голову над заботами, которых день ото дня не убывало, а только прибавлялось. Его беспокоил Халил, совсем не приспособленный к жизни парень. «На базар его, что ли, послать одного, пусть привыкает». Заставляла задумываться Акбопе, почему-то долго засидевшаяся в гостях у отца. Думать приходилось много, и хитрый расчетливый старик прекрасно видел, что прошлого уже не воротить, значит, надо находить какие-то новые пути, надо приспособливаться. «Если время – лиса...»

Задумавшись, Карасай не заметил, как наткнулся на пахоту. Конь всхрапнул и, словно напугавшись крутого яра, попятился назад. Вздохнул и Карасай, глядя на обезображенную степь. Родимое пятно на его лице сморщилось, словно от боли. «Смотри ты, даже залежь вспахали. А ведь это место, где раньше Сулу-Мурт и Кургерей хлеб сеяли. Все прошло, ничего не осталось, – думал старик, горько глядя на длинные, бесконечно уходящие к краю земли черные полосы. – А ведь целый аул был. Богатый ли, бедный, а был... Вот время что делает!..»

Он медленно ехал вдоль вспаханной залежи и думал о том, что знал и помнил о жизни, когда-то шумевшей здесь, на пустых и заброшенных ныне местах. Он вспомнил Сулу-Мурта и Кургерей, потом и весь аул, его тяжелую надсадную жизнь, добывавшего себе пропитание лишь жалкой сохой...

И о том же самом рассказывал Жантасу великан-старик, вспоминая прошлое, как слова полузабытой песни.

Вторая песнь старого Кургерей

...– Да, а уж богатырь был Сулу-Мурт и красавец – другого такого не сыскать. Лоб – две четверти, глаза, как у ястреба, а на каждое плечо можно по двое садиться.

Я его и в ауле продолжал называть Сулу-Муртом, постепенно это прозвище так и прицепилось к нему...

О том, что у нас было в дороге, ни он, ни я до поры до времени не заговаривали. Как будто забыли оба. И лишь потом, когда мы подружились и сошлись как следует, Султан однажды расхохотался: «Как говорится, враги – до первого разговора, а кони – до ржания... Ведь чуть мы тогда с тобой из-за какого-то дерьма друг друга не погубили. А?.. Но ты-то! В жизни я такого богатыря не встречал. Ох, и напугал же ты меня!»

Так смехом этот разговор и закончился. Больше мы и не поминали того случая.

Султану, как я увидел, жилось в ауле совсем не сладко. Ну, то что беден он был – так там все такие. Но Султан был очень одинок. Ни братьев, ни родных – ни кого. И даже детей бог не давал. Родится парнишка, а через год-другой, глядишь, помирает. Только одна-единственная дочка сумела выжить. Выжила, выросла, стала человеком... Это вот она, наша Райхан...

И еще одна беда была у Султана – жена болела. С малых лет у нее что-то было с глазами. А потом, при мне уж, она совсем ослепла.

Но Султан, как ни гнула его судьба, все же не поддался. И оставался таким, каким был, – бывало, все, что есть в доме, раздаст вдовам, сиротам, каждого приласкает, скажет хорошее слово. Золото был человек и парень настоящий.

А время тогда было, как вспомнишь, – хуже не придумаешь. Год змеи выдался, и народ еле таскал ноги. Весны уж не думали и дождаться. Многие порезали последнюю скотину и к весне оказались совсем голенькие. Куда народу было подаваться? Мужчины пошли пасти скот Малжана, а бабы... Что уж говорить, – бабы тоже нанимались у него батрачить, но что они зарабатывают? Войдут с огнем, как говорится, а выйдут с золой... Тяжелое время.

Как-то Султан позвал меня, и мы долго рассуждали о совместном хозяйстве. Вроде придумывалось что-то... Позвали стариков, молодые пришли. Султан прямо к делу приступил.

– У меня, говорит, есть одно соображение... Вот дожили мы до весны, и очень хорошо, что дожили. Но как нам далось? Скот-то, который остался, к концу зимы уже углы сараев и кизяк грыз, а дети все мешки перетрясли, где курт был и иримшик, все крошки подобрали. Я, говорит, подсчитал: за зиму в нашем ауле умерло больше десяти ребятишек. И это не считая

стариков и больных, которые умерли, можно сказать, своей смертью! Так дети-то разве от болезни умерли? От голода! И вот я говорю – если мы не избавимся от этого проклятого голода, нам вообще всем конец придет. Всем! И напрасно вы радуетесь весне. Думаете, зиму пережили – и все хорошо? Опять к баю собираетесь наниматься?

– А что нам делать?– говорит тут старый Боташ.– Что нам еще остается? Или как это в пословице: гонит двух коз, а свистит на всю степь. За душой у нас ни крошки хлеба, а мы будем сидеть сложа руки! Ничего этим рукам не сделается, пускай поработают.

Болтливый был этот старикашка Боташ и вечно с мокрым носом. Хлюпает, шмыгает, как раскаленное шило в воду сует. И вот сказал он это Султану, снял свою драную шапчонку, отвернул уши и снова натянул.

– Кто глотает,– говорит,– тот не голодает. И если мы до осени на малжановском молоке доживем, то беды, думаю, от этого не будет. С поганой овцы хоть шерсти клок.

Тут его еще кто-то поддержал из стариков.

– Что ж, говорят,– нам теперь и умирать сложа руки?

Султан аж задрожал, закипел весь.

– Сложа руки умирать, говорите? А надолго ли вам хватит объедков с байского стола? Зима-то подойдет, так бай оставит только тех, кто коней сможет пасти. А все остальные куда денутся?

– Так что нам делать?– не унимается гундосый Боташ.

– Иди под зад Малжана ляг, если тебе нечего делать. Или мы уж совсем не мужчины? На что мы годимся? Неужели только для того, чтобы выбивать у бая вшей?

Тут подтянулись наши парни и уже не сводят с Султана глаз. Один, чахоточный такой, измученный, даже темнеть начал от злости. А другой, пришедший погреться на солнышке и даже штаны свои овчинные расстегнувший, так тот чесаться бросил и рубаху опустил, Султан все на него смотрел...

– Сурок, говорит, и тот на зиму запасает. А мы у байского стола объедки собираем. Или вы опять надеетесь, что поедете в Омск и мешок муки привезете? Но только надолго ли вам хватит этого мешка? Да и на что вы его теперь выменяете? Скота-то совсем не осталось... Давайте лучше сделаем так. Вот после Митрия остался кусок распаханной земли. Надо его хоть ногтями, да расцарапать и посеять хлеба. А соберем урожай – тогда хоть ребятишки не будут голодными сидеть.

Султан умолк и посмотрел на собравшихся. Старый Жусуп вздохнул и опустил голову.

– Что ж, сынок, это было бы хорошо. У Митрия, помнится, пшеница хорошо росла. Только вот скотина Малжана все вытоптала. Разве уследишь за его табунами! Как бы опять беда не повторилась.

– Бояться нечего, – сказал Султан. – Если надо – все лето будем караулить. Пусть только сунется!

– Так то это так... – тянул Жусуп. – А как сохи? Где взять?

– Все будет хорошо, отец. Вот сидит Кургерей, сын Митрия. Он нагяделся у отца. Обещает сам ковать плуги. Ну, и я ему помогу...

– Кургерей... А если ему вдруг опять все надоест, и он возьмет да и удерет в Омск? Ищи его потом, свищи! Тут уж я не выдержал.

– Жок! – кричу по-казахски. – Ты, асакал, неправильно говоришь. Ты умрешь, и я умру. Руки есть, работа есть. Беспокоиться не надо.

Говорил я тогда еще плохо, и все, кто были, рассмеялись.

– Ай, молодец! Совсем хорошо научился говорить.

– Конечно, говорю. Уши есть, язык есть. Научишься.

Снова рассмеялись и после этого перешли сразу к делу. Султан говорил:

– Значит, мы с Кургереем беремся за инвентарь. Ничего страшного: глаза бояться, а руки делают. И о

тягле не надо беспокоиться. Коней не хватит, коровы есть. Запряжем, если что...

Но Боташ опять загундосил, замотал шапкой:

– О чем он говорит! Единственную кормилицу – в соху? Да мы лучше сами запряжемся!

– А что, если надо, и запряжемся! – твердо проговорил старый Жусуп и поднялся, как бы давая понять, что обо всем переговорено и надо браться за дело.

Ну, принялись мы тогда и на первых порах хлебнули горя. С одной стороны – народу мало. Семей пять с Боташем все-таки не решились и нанялись к Малжану пасти скот на джайляу. А тут еще троих человек Султан отправил к Жаман Тузу, возить в город соль – зарабатывать всем на пропитание. И хорошо сделал, что отправил. Они потом приехали и привезли два мешка ячменя... А с другой стороны – тягло. Лошади, те, что сохранились, отощали настолько, что останавливались в борозде. Той весной даже пара гнедых Султана совсем выбилась из сил. И пришлось нам запрягать коров. И тоже – и смех и грех. Они, оказывается, норовистые, особенно молодые. Приучи-ка их к сохе! А приучили – молоко пропало...

Словом, досталось нам. А тут еще лизоблюды байские – смеются, грозят, когда понаедут. «Вы, говорят, теперь только суньтесь на порог. Ишь, клячи, решили жиром обрасти. Посмотрим, посмотрим, что вы запоете, когда с голоду начнете пухнуть...»

Прискакал как-то с дружками малжановский парень, Карабет. Правильно-то не Карабет его звали, а Карасай. Карабетом мы его за большое родимое пятно прозвали. И он самому Малжану племянником приходился, сын его брата Талжана. У этого Талжана полон дом голопузой детворы, и он всю жизнь батрачил на брата. Так и замерз в стужу с его табуном... Ну, а Карабет остался у дяди и в ту пору уже потягкивал на всех, как сурок. Ему тогда лет шестнадцать-семнадцать было.

Значит, прискакал он с дружками и разорался:

– А ну, кричит, убирайтесь! Земля тут наша, и нечего всяким попрошайкам нищим пастбища портить!

Разошелся и давай камчой хлестать по коровам, по лошадям. Лупит прямо по глазам. А Султан как раз за плугом шел. Увидел он это и не стерпел: подскочил, сдернул его с седла, и сам вскочил на лошадь. Дружки Карабета как увидели его верхом, да еще с камчой в руке, сыпанули кто куда. Не стал он за ними гоняться, а подъехал к Карабету и отдал ему коня. Так тот, вместо того, чтобы тихонько убраться, взял да и огрел Султана камчой по лицу. Злой был, завистливый – настоящий байский выкормыш.

Что тут с Султаном сделалось! Карабет от него отлетел, как мячик. Думаю, что если бы я не подоспел, Султан задушил бы его, как котенка. Когда я подбежал, Султан душил его камчой. У того уж язык вываливался... Бросился я, разнял. Коня мы тогда прогнали камчой, а мальчишка, когда отдышался, ушел пешком. И ведь тоже, только отошел подальше, орать начал: «Отомщу, – кричит. – Убью!» И долго он так орал, пока из байского аула не подъехали люди и не увезли его. К нам они сунуться не посмели, и правильно сделали: Султан в ту минуту разорвал бы любого. Да и у меня тоже все кипело...

С того дня оставили они нас в покое.

Пахать залежь, как ты знаешь, куда легче, чем целину. Отцовский клин нам дался вроде бы легко. Но вот как за целину взялись – тут мы натерпелись мук. Соха не лезет в землю, хоть плачь, а тут еще коровенки крутятся. Ох, и вредная же в упряжке скотина! Когда мы с Султаном, так еще вроде бы пашется, а только поставишь кого-нибудь вместо себя – все, конец. Еле-еле ковыряет землю, – не пашет, а только портит.

Вымотались мы с ним – ног под собой не чуем. Руки сбиты, в костях ломота. Ночь подойдет, а мы и уснуть не можем. Одна кожа да кости остались.

Но все-таки вспахали, посеяли. Где-то во второй половине мая отсеялись. Пшеница у нас еще с зимы

оставалась, берегли ее пуще глаза. И полмешка еще после сева осталось. Так мы эти полмешка поджарили и ребятишкам раздали. Каждому вот по такой деревянной чашке пришлось. Радости было – давно не помнили! Несколько дней вся ребятня как с ума посходила. По зернышку жевали, будто лакомство какое. А мы смотрели на них и чуть не плакали. «Что же, думалось, они осенью станут вытворять, когда мы настоящий урожай соберем!» У многих ведь и молока не стало в доме с этой пахотой, бросили коровы доиться. А с козы, если у кого была, много ли возьмешь?

Так что надежды наши теперь были на осень. И, надо сказать, все поначалу складывалось как нельзя лучше. Отсеялись мы в срок, а дня через два или три, то есть тоже в самый раз, пошли хорошие дожди. Бабы в ауле чуть лбы не расколотили в молитвах: до того все удачно получалось. И дождь лил, как на заказ. Польет несколько дней, потом солнышко. Только подсушит землю – опять дождь. Лучше и не придумаешь.

И вот как-то кузнечим мы с Султаном в отцовской кузне, шину натягиваем на колесо, и вдруг слышим – бегут с поля ребятишки и кричат, вопят от радости. А у нас в кузне старики сидели, Жусуп тоже был... Выскочили мы, понять ничего не можем. А крик стоит, как на пожаре. И бегут все, бегут в поле. Мы повскакали на лошадей и тоже туда. Я уж думал что случилось с посевами... Но нет, прискакали мы, обогнали всех баб, ребятишек, и видим – зазеленело наше поле.

Еще вчера лежало оно черное и все в буграх, а сегодня после ночного дождика проклюнулись ростки, и стало оно как бархатный ковер. Люди топчутся вокруг, с ума чуть не сходят от радости. Свое же все, своими руками заложено!.. И так чуть не до вечера проторчали мы на поле. Вернулись, как с праздника.

И с того дня мы ни на минуту не забывали о своем поле. Ходили, любовались и тут же плевали через плечо, чтобы, не дай бог, сглазить.

А поле все зеленело, и ростки, едва появившись, стали быстро, будто молодая осока, набирать рост и силу.

В том же году, в это, примерно, время, мы и с Лизой сошлись. После смерти матери дом совсем осиротел, – ведь что за дом без женщины? Ну, придут когда соседки, постирают, уберут, – все это не то. Дому нужна настоящая хозяйка... А с другой стороны, смотри, что получается: где мне взять невесту в ауле? Хоть меня и любили, и уважали, но девку отдать за меня никто не соглашался. Чужой человек, другой веры. Уж на что Султан пользовался у всех авторитетом, а и тот ничего не мог поделывать. «Хороший, говорят, он парень, но – русский...» Вот и пришлось мне брать жену со стороны, дочь одного переселенца, осевшего в Шарбак-Куле. Правда, там я долго порога не обивал. Мы с Лизой как-то сразу друг другу понравились, и дело было сделано скоро и без всяких там...

И вот женился я, и сразу в моем доме будто просветлело. Ребятишки сытые, умытые, одетые, скачут, как жеребята. Пошла жизнь! Видно, правду говорят старые люди, что женись не на богатой, а на ловкой. А Лизу, как я уж потом узнал, отец школил и спуску не давал. Суровый был мужчина мой тесть и человек обстоятельный... Не помню уж на который день, но он приехал к нам погостить, и мы с Султаном повели его на поле. «Смотрите, дескать...» Иван Максимович долго ходил по полю, глядел на пшеницу и только кричал. Что-то не нравилось старику, и мы с Султаном в толк не могли взять: что такое? А выходит, что я, хоть и русский, а ни черта в хлебопашцы не гожусь.

– Вы только посмотрите, – принялся за нас Иван Максимович. – Вот тут вы по залежи сеяли, а тут по целине. Так кто же так поднимает свежую землю? Кто это пахал? Руки ему оторвать надо. Комья-то почему не разборонили?.. А тут... смотрите, смотрите. То густо, то редко. Эх вы! И цветник развели. Вот эти

желтые цветы – их к чертовой матери надо? Это ж сорняк, они хлебу метают. Или вы цветы собираетесь молотить, а не пшеницу?

Долго еще отчитывал нас старик, мы слушали и на ус мотали. А потом он отошел маленько и подобрел.

– Хорошая, говорит, земля тут, были бы руки. Вот вы, – коров тут замучили, людей без молока оставили, а что получилось?.. Давайте-ка так: завтра же соберите всех баб, ребятню всю и пусть они прополют как следует. Эти цветочки можете себе на голову надеть, а тут не оставляйте. Вот увидите, как пшеница сразу у вас пойдет...

Два раза нам говорить не надо было. На другой же день, все, кто держался на ногах, вышли в поле. Даже старый Жусуп притащился.

Женщины только на ребяташек покрикивают:

– Эй, чего остановился? Давай, давай. Да не топчи, смотри!

– Ты под ноги смотри, а не крутись. Куда ты уставился? Это хлеб у тебя под ногами, а не трава для коровы...

Какому-то ребятенку затрещина перепала, и он залился на всю степь.

– Тетушка, – заступился Султан, – за что вы его? Ведь маленький же еще. Хорошо, что пришел с вами...

– Головы у него нет, вот за что! – кричит мать, а ребенок уж слезами умылся и присмирел у Султана под рукой. – Сколько раз ему, дураку, говорила, ничего не понимает. Смотри! – и показывает несколько пшеничных стебельков, которые парнишка вырвал вместе с травой.

Что тут ей скажешь? Бедные люди всю жизнь жили впроголодь, а тут вдруг появилась надежда. Так они над этим пшеничным клочком аж тряслись все, как над собственным гнездом...

Иван Максимович оказался прав – после прополки пшеница у нас сильно пошла в рост и к осени вымахала по грудь коню. И литое такое зерно, тяжелое. А тут

как раз дожди утихли, жара настала, и пшеница золотиться начала, желтеть и сваливаться от тяжести на сторону. Все поле полегло, будто куга на болоте.

Ребятишки вокруг поля так целыми днями и торчали. Не то что скотину какую, – воробьев камнями гоняли. А в том году сусликов что-то у нас развелось, – ну прямо кишмя кишели. Так ребятня натаскает ведрами воды, наставит капканы и давай заливать норы. Наловили их бог знает сколько... Словом, осень была уже вот – рукой достать, и каждый ждет, не дождется дня, когда можно начинать уборку.

Я опять съездил к Ивану Максимовичу и позвал его, чтобы он приехал, подучил нас – что и к чему. Никто же никогда серпа в руках не держал! Согласился старик, а на другой день после его приезда суховея задул – ну прямо как из печки. Иван Максимович походил, посмотрел и говорит, что хлеб сохнет и скоро осыпаться начнет. Надо приступать.

Назавтра решили выходить, а вечером у Султана собрались. Старый Жусуп заставил барана заколоть, самого что ни есть жирного – в жертву, чтоб все было благополучно. И вот весь вечер и даже чуть ли не ночь напролет просидели мы у Султана, ожидая утра. Мы сюда серпы приволокли, и тесть показывал как с ними управляться, потом какие-то случаи рассказывал. Хохотали, помню, даже песни пели.

Перед самым утром, когда все разошлись, Иван Максимович говорит мне:

– Ну, ветер сегодня – прямо какой-то шальной. Не помню я что-то такого... Счастье ваше, если уцелеет хлеб.

– Ничего, – пробормотал я, а у самого что-то заскребло на душе. «Неужели, думаю... Ведь какие-то часы остались!»

Спать я в ту ночь не спал, а так, задремал вполглаза. Не до сна что-то было.

И вот странное дело. Был я когда-то вором, причинял людям горе и немало порой горя, но никогда до

той ночи не думал я и не знал, что человек может настолько быть жестоким. Это даже мне, вору, удивительно стало.

Проснулся я от испуга. Ночь жаркая, и окна, двери в доме настезь. Я вскочил и ничего не могу понять. Крик, плач, куда-то бегут. Выскочил и я. Бабы бегут, ребятишки. Небо все в огне и к огню этому с криком, как верблюды, несутся раздетые люди. Словно обезумели все, я, как сообразил, окостенел весь.

Горел хлеб. Подбежали мы, бросились тушить. Да только что сделаешь? Огонь выше человека полыхает, а мы, как вскочили, так и прибежали ни с чем. Ну, сорвали что на ком было: кто рубашку, кто чапан. Я, например, так штаны снял и штанами принялся хлестать. Только чего уж там... Хлеб-то сухой весь был, так огонь будто расплясался на поле. Гул стоит, треск – как он шел стеной. Народ кричит:

– Воды!

– Кошмой надо...

Да разве огонь будет ждать! И потом – на него теперь целое озеро можно вылить: не уймешь. Сушь, а тут еще ветер проклятый. Искры летят, дым завивается куда-то по ветру, люди мельтешатся, и уж не понять – не люди ли горят вместе с хлебом?

Мальчишка, помню, закричал, закричал как зарезанный. Я все штанами своими орудовал, а тут выскочил из дыма на крик и вижу: бежит парнишка, а рубашка на нем вся огнем взялась. И так разгорелась, будто охапка огня бежит, а не живой человек. И хлеб за ним так струйкой и загорается. Бросились мы ловить его да тушить, а мальчишка уж по земле катается и никак огня унять не может.

Много было страху. Всего и не расскажешь.

Спасли мы тогда только крохотный клочок – переплюнуть можно. Остальное все слизнуло. Потрещал еще немного огонь и в степь ушел. Слабее стал, ниже и где-то унялся. А у нас пусто стало, темно, кто-то плакать

принялся. Я смотрю – в саже все, подпалились, а у Султана один ус совсем сгорел. Постояли мы, помолчали и медленно потащились домой. И никто ни слова, ни голоса – будто с похорон идем.

Но все уже тогда понимали, что это не так просто занялось, а чья-то злая рука. Однако говорить той ночью никто не говорил...

Я все мальчишку того вспоминаю. Сирота был, отец умер, а мать одна осталась. Мы с Султаном прямо с поля к ней пошли. Кричит, бедный, ножонками стучит – места живого не найдешь. Мать, конечно, убивается. Один-единственный оставался он у нее, и вот... Посидели мы. Ну что можно сделать? И ведь кричит, как жеребенок. На весь аул слышно. А только к рассвету стал затихать. Откроет когда глазенки, что-то поищет, поищет и губами зашевелит. «Нан,– скажет,– нан¹!...» и снова затихнет.

Схоронили мы его. Как мать убивалась – до сих пор в ушах стоит.

– Чтоб ты ослеп!– кричала.– Чтоб ты... Возьми же меня, если ребенка забрал!

По земле каталась, еле увели мы ее домой...

Вот так все и пошло прахом. Надеялись, растили, а какая-то змея взяла да и смахнула. И ведь до сих пор никто не знает, кто эта змея. Хотя у нас несколько не сомневались, что беда пришла из байского аула...

«Да, никто не сомневался,– думал Карасай, тихо покачиваясь в седле.– Но доказательств не было. Да и что они тогда могли сделать, эти голодранцы?»

Много лет прошло с той памятной ночи, но за все время Карасай ни разу не проговорился о своей жестокой мести Сулу-Мурту. Даже сам Малжан не знал, как ему удалось, выбрав момент, запалить бедняцкий хлеб. Карасай упрямо хранил свою страшную тайну, не доверяя никому. Таков уж характер,– все, что ни

¹Нан – хлеб.

сделано, остается в его душе. И от этого правила Карасай не отступал всю жизнь.

Несчастье бедняцкого аула оказалось на руку Малжану. Это был жестокий урок тем, кто начал перекидываться на сторону русских переселенцев, учивших казахов сеять хлеб. Многие уж начинали роптать, возмущаясь тем, что не век же им ходить за хвостом байского скота...

Карасай не побоялся в одиночку выступить против целого аула, и теперь, вспоминая, он ехал и вновь чувствовал, как и тогда, легкое онемение от собственной смелости, удачи и сноровки.

«В наше время говорили, – раздумывал Карасай, – что человек уже в тридцать лет настоящий хозяин дома. Сколько мне тогда было? Пятнадцать. И ведь не побоялся же!.. А Халил? Совсем мужчина, а никакой твердости. Или это у меня сердце с молодости каменное было?»

Старик еще долго размышлял бы о переменчивости времени и никудышности нынешней молодежи, то и дело недобрым словом поминая своего совсем не приспособленного к жизни сына, как вдруг на том месте, где когда-то на бедняцком созревшем поле вспыхнул пожар, он увидел Халила. Карасай даже коня остановил, не веря своим глазам.

Сотрясал землю, полз мимо трактор, тяжело протаскивал зарывшиеся в землю плуги. Поравнявшись с всадником, трактор остановился и из кабины выпрыгнул радостный Халил. Какая-то желтоволосая улыбающаяся девка высунулась за ним и, смеясь, крикнула: «Приходи, все равно тебе делать нечего. Поболтаем!» И Халил замахал рукой. «Ладно, приду. До свиданья!»

Карасай, наливаясь гневом, молча смотрел, как счастливый сын, спотыкаясь на кочках, бежит к нему навстречу.

– Ты что тут делал? – накинулся он на Халила. – Я думал, ты человеком станешь, а ты... Где лошади?

Халил опустил голову. Карасай дернул повод и поехал прочь. Молчаливый сын шагал за ним следом.

– Ладно, – проговорил наконец Карасай, слезая с седла. – Отправляйся домой и возьми мотоцикл. Пока тут тебя черти носили, лошади, поди, до табуна уж добрались. Только бы не случилось ничего... Да поторапливайся, поторапливайся! – крикнул он вслед.

В самой глухой части болота, там, где кончаются северные отроги Кыз-Емшек, в зарослях таволги волчья пара давно облюбовала нору, и однажды темной ненастной ночью в норе запищали волчата. Место было дикое, здесь никогда не ступало копыто коня, и чтобы пробраться в нору, приходилось лезть сквозь плотные заросли. На сучьях кустарника висела линиялая волчья шерсть, прошлогодние клочья смерзлись, свалялись и трепыхались на ветру, словно куски недокатанной кошмы.

С появлением волчат в норе стало тесно и самцу прибавилось хлопот. Каждую ночь он обшаривал окрестности в поисках добычи и однажды наткнулся на целый выводок еликов – самку с детенышами, лежащими под кустом чилика. Вскочив на тоненькие трепетные ножки, елики заозирались влажными пугливыми глазами и застригли ушами. Но было поздно, – сильный матерый волк, ростом с хорошего телка, быстро прикончил всех, с хрустом ломая слабенькие позвонки своими каменными челюстями. Самку елика он приволок в нору, и вместе с волчицей они жадно разорвали ее на куски. В яме терпко запахло кровью. Пока волчица насыщалась, самец лежал на боку и, сыто отрыгиваясь, жмурил сонные глаза.

Наступал день, и солнце поднялось на длину аркана, когда самец услышал непонятный drobный гул. Волчица спала, положив голову на бедро старого самца и во сне пускала слюни. Однако непривычный звук приближающейся опасности заставил вскочить и ее.

Волчата, лежавшие мордами к соскам возле теплого материнского живота, рассыпались по земле.

Гул надвигался и скоро оказался так близко, что посыпался песок со стенок ямы. Какое-то чудовище, скрежеща и сотрясая землю, грозило размолоть большие камни, прикрывающие лаз в нору. Волчата, только недавно оторвавшие от земли животы, сбились в угол, и остро поблескивали глазенками. Старый волк, кося горящими глазами, медленно сжимал свое большое тело в пружинящий комок и готовился к прыжку. Но враг не появился перед норой, он прополз мимо, очень близко, и вскоре его пугающий лягг и грохот стали затихать. Волк разогнулся, шерсть на его загривке опустилась.

Однако чудовище не думало уходить, скоро оно снова загрохотало рядом, еще ближе, чем прежде, и снова не тронуло норы, но волки уже не знали покоя, со злобным страхом прислушиваясь к опасности, надвигающейся неумолимо, медленными, сужающимися к норе кругами. И настала минута, когда грохот раздался над самыми головами, в нору посыпалась земля, — железная машина, задравшись на бугре, поросшем таволгой, нависла над ямой. Волчата с визгом бросились к лазу, но самец успел схватить одного в зубы и вырвался из-под самого носа чудовища. Следом за ним, тоже с детенышем в зубах, устремилась волчица.

Когда звери, сокрушая заросли, достигли другой стороны болота, сзади, на оставленном месте, раздались громкие человеческие голоса. Бросив детенышей в густую траву, волки повернули назад. Грузная, с длинными висящими сосками волчица совсем забыла о страхе. Она ринулась прямо на людские голоса, но самец вцепился ей клыками в загривок и не пустил, и она смирилась, тяжело поводя отощавшими боками, утихла и отошла к брошенным в траву волчатам, накрыла их теплым животом.

Затаившись в камышах, самец не отрывал своих горящих ненавистью глаз от людей, беснующихся у

обнаруженной норы. Большой железный дом замер на пригорке, пугая сверкающими клыками. Внутри его что-то стучит и клокочет, выбрасывая хлопьями густой и едкий дым. Волк видел такие железные дома в степи, но видел лишь издалека, не рискуя приближаться, а вот так, рядом, он разглядывал его впервые. Чудовище сверкало выпученными глазищами и совсем не жалело степи, – после него остались на земле крутые борозды и комья.

Люди, слазившие в нору, выволокли четверых волчат, притихших от яркого света и гама. Волчата висели в их руках и не подавали голоса. Потом люди бросили их в раскрытую дверь своего железного дома и один из них забрался внутрь. Волк смотрел и видел, что второй человек пошел к плугам. Тотчас огромный дом затрясло, он отворотил от норы и пополз, перебирая сверкающими клыками. Следом за ним пластами переворачивалась черная земля. Видимо, чудовище отправилось на поиски новой ямы.

Волки лежали в зарослях до самой темноты. Весь день они наблюдали за степью и не узнавали тихого давно обжитого угла. Повсюду, где только можно было видеть, ползали по земле большие железные дома, переворачивая землю. Остаться здесь дальше было невозможно.

Когда шум в степи утих, волки взяли спасенных детенышей в зубы и отправились искать повое логово. Не останавливаясь, они трусили всю ночь и наконец очутились на солончаках возле Жаман Туза. Там они облюбовали бугор и весь остаток ночи рыли яму. Вокруг было тихо, и сколько самец ни поднимал голову и ни принюхивался, опасности не ожидалось. Посвистывал на голой ровной земле ветер, и сухой курай легонько покачивал головкой. С наступлением дня волки разглядели высоко в небе парящего ястреба, и это первое живое существо на новом месте напоминало им не об опасности, а о голоде. Самец, задрав голову, загляделся

на далекую птицу. От задранной вчера самки елика остался лишь вкус крови и память прошедшей сытости. Брюхо зверей подводило от голода, и надо было подумать о новой добыче.

Миновал долгий день, и с вечера самец тронулся на охоту. Всю ночь он рыскал по скудным окрестностям, нюхая налетающий издалека ветер, но не находил поживы его чуткий, всегда влажнеющий нос. Только под утро, на самом рассвете, он заметил на низеньком кустике чья нахохленную сову; незаметно подкрался и схватил. Полетели перья, волк разорвал птицу пополам и проглотил в два приема. Маленький комочек теплого вонючего мяса лишь раздражил аппетит огромного зверя.

Двое суток кряду гонял волк по степи. Несколько раз он осторожно приближался к аулу, преодолевая ненавистный запах человека. Но в ауле все было заперто и тихо. Обшаривая степь, он то и дело наткался на грохочущие железные дома, и ночью они ему казались еще страшнее, чем днем.

Злой, измученный, голодный возвратился волк в логово. Волчица, карауля оставшихся детенышей, не могла уйти далеко и целыми днями охотилась поблизости на мышей. Заметив самца, она выбежала ему навстречу, с надеждой и радостью повилывая хвостом. Но самец ничего не добыл, и волчица уныло поджала хвост. Раньше, когда он возвращался сытым и с добычей, он обычно ласково обнюхивал подругу, игриво покусывал ее за загривок, но сегодня он только зыркнул на нее злыми глазами, проскользнул в логово и лег, свернулся клубком.

Возле норы на холмике из желто-белой глины играли и грелись волчата. Из шестерых детенышей остались лишь они двое, и теперь им было вдоволь молока. Они окрепли, поднялись и отвердели кончики их серых ушей. Волчата барахтались, радуясь жизни, и подкатились к дремавшему самцу. Сначала они попытались

взобратся на волка, но скатились, потом принялись теревить его за ухо и за хвост. Не открывая глаз, волк грозно и негромко прорычал, однако волчата продолжали забавляться, дергая и кусая его. И тут злость отощавшего, отчаявшегося зверя нашла себе выход. С налитыми глазами, с шерстью, вставшей дыбом, он вскочил и сбросил с шеи игравшего волчонка. Одним разом он перекусил ему хребтишко и тут же хватанул за морду бросившуюся к нему волчицу. Он был страшен, и волчица отступила в глубь норы, забилась и прикрыла собой единственного детеныша. Так пролежала она весь день, ни на шаг не отпуская от себя волчонка.

Наступила третья голодная ночь, и в предрасветный тихий час, когда стала бледнеть и скатываться луна, два зверя рядышком вышли на поиски добычи. Никогда раньше не давалось им пропитание с таким трудом. Они забыли время, когда каждая ночь приносила легкую добычу, и тогда день они проводили в прохладной яме, скрываясь от глаз и отдыхая.

Теперь они совсем лишились сна, потому что жестокий голод допекал их и гнал на поиски пищи.

Место, где волки облюбовали себе логово, было богато озерами. На рассвете над уснувшими водами потянул свежий ветерок, зашумели камыши, и в час восхода загоготали гуси, закричали утки, раздались звонкие протяжные клики лебедей. Слушая эти смешавшиеся голоса занимающегося дня, волки различали и знакомые, так напугавшие их грубые звуки ползающих по степи громадных железных домов. Трактора в тот ранний час также завели свою нескончаемую песню.

Держась по привычке подветренной стороны, волки обошли озеро и углубились дальше в степь. Но на пути пока попадались одни пересохшие кизяки, настолько давние, что черви вконец источили их. Неожиданно изголодавшееся чутье зверей обнаружило близкий теплый запах, и волк первым, роняя слюну, бросился вперед. Сильно отталкиваясь своими

железными лапами, он взлетел на пригорок и сразу увидел пасущихся лошадей. Он не поверил удаче, – возле коней не было ни одного человека, хотя сегодня его не остановил бы и человек.

Оба, волк и волчица, нырнули в широкую балку и, проскакав недолго, так же стремительно вынеслись наверх. Голод гнал их, и они были в неукротимом азарте охоты. Несколько ласточек с испуганным писком пронеслись над лошадьми, но животные, не чуя опасности, продолжали мирно пастись.

И лишь когда волки выскочили из балки, лошади захрапели и в ужасе попятились.

Не сбавляя хода, волк бросился к жеребенку и одним рывком свалил его. Рыжая кобылица, в диком страхе взвившись на дыбы, разорвала путы и пустилась вскачь. За ней понеслись остальные лошади. Волки, длинными бросками догоняя свои жертвы, скакали чуть в стороне. Самец, принаравливаясь к бегу, несколько раз пытался наскочить на черную спутанную кобылицу, но всякий раз встречал грозные копыта. Тогда он обогнал ее и забежал спереди. Неловко прыгая, кобылица прынула в сторону, однако волк успел вцепиться ей прямо в губы и, как ни металась несчастная жертва, он крепко держал ее, упираясь всеми лапами в землю. Он был стар, силен и опытен, и этот давнишний прием перешел к нему от далеких предков. Лошадь теперь была обречена, потому что от боли и страха она стала вырываться и сильно тянуть назад; только этого и надо было волку, – он вдруг резко разжал клыки, и лошадь опрокинулась, подставив беззащитное жирное брюхо. Метнувшись, как кошка, зверь распорол лошади живот. Он даже не стал приканчивать свою жертву. Задыхаясь от голода и жадности, он рвал теплое мясо, глотал горячую кровь и наконец добрался до лакомых мест, сплошь заросших толстым слоем жира. Глухое урчание послышалось из самой утробы зверя. Он дал себе волю, насыщаясь за все эти голодные дни.

Рядом, свалив резвого стригунка, урчала и давилась кусками отощавшая волчица.

В это время со стороны синевшей вдалеке рощи Малжана показался прыгающий на кочках мотоцикл. Карасай издали почуял несчастье и крикнул Халилу, чтобы прибавил хода. Мотоцикл вихрем полетел по бездорожью.

Волки подпустили людей почти вплотную. Задрав худые зады и упираясь всеми лапами, звери рвали мясо и торопливо глотали. Мотоцикл подлетел и остановился. Волк и волчица, озираясь на ходу, тяжело потрусили к балке.

– Проклятые!– отчаянным голосом закричал Карасай, в бессилии глядя, как уходят звери и, не отрывая глаз от растерзанной скотины.– Только этого мне не хватало... Боже, какую ты еще беду пошлешь!

Чалый жеребец с разорванным пахом подошел совсем близко и, словно жалуясь, уставился на хозяина влажными кроткими глазами. Карасай, не переставая ругаться, сжимал кулаки. Внезапно ноги жеребца подкосились и он рухнул на землю.

Смотреть на такое разорение не было сил. Халил не выдержал и отвернулся.

Женщину, вступившую в калитку, Карасай встретил настороженно,– он не любил чужих в доме. Мало того, что весь этот сброд, съехавшийся за каким-то дьяволом в тихую степь, перевернул всю его жизнь, так нет, им этого мало,– они еще и во двор лезут!.. Однако нелюдимость старика нисколько не обескуражила гостью.

– Хозяин,– певучим голосом завела женщина, быстро оглядываясь по сторонам,– какая у вас благодать. А что творится у нас в палатках! Грязь, сырость, холод. Забыла уж, когда и спала по-человечески. И со здоровьем,– слышите? Насморк, кашель,– ужас! Что хотите заплачу,– только уступите комнату. Не могу я больше в таких условиях...

Жалуясь, она не отпускала его взгляда, и Карасай надменно шевельнул ноздрями. Чем собирается прельстить его эта гладкая, как раскормленная кобылица, баба? Платой? Да он плевал на ее жалкие гроши! Подумаешь, доход...

– Этот дом ставился для себя, – сдержанно ответил он, избегая смотреть в ее светлые настойчивые глаза. – И не знаю, как у вас, а у нас нет обычая жить за счет квартирантов.

С этими словами он бесцеремонно выпроводил ее за ворота. Нахальный народ! После ухода женщины Карасай даже след ее окурил, чтобы заказать дорогу обратно.

Теперь, глядя на изорванных подыхающих лошадей, Карасай вспомнил о недавней просительнице и заторопился в поселок. Он знал где искать ее и, заявившись в рабочую столовую, попросил вызвать заведующую.

– Маржа, – вежливо поклонился он, прикладывая руку к сердцу, – не стоит обижаться на старика. Такая жизнь пошла, – разве удержишься...

– Что вы, какие пустяки, – рассмеялась Япишкина. – Я человек незлопамятный.

Она не понимала, что вдруг привело к ней этого нелюдимого сурового человека. Вчера он не захотел даже выслушать ее и попросту выгнал со двора.

– Грязно вы живете, – сам видел. Разве можно? Комната у меня свободная, можно договориться... Только никаких денег мне не надо! – тут же предупредил старик.

Медленным изучающим взглядом посмотрела она в его глаза.

– Ну-ну, хорошо... я думаю – договоримся.

Карасай обрадовался.

– Конечно! Зачем считать от кого кому перешло? Выставив белый пухлый подбородок, Япишкина с легким сердцем рассмеялась.

– Кому, как не торговому работнику лучше знать прибыли и убытки?

В тот же день в доме Карасая явилось несколько женщин-поварих и быстро, дружно побелили комнату. К вечеру с небольшим багажом пожаловала и квартирантка.

А на другой день все мясо подошедших лошадей Карасай отвез на склад совхозной столовой. Квартирантка оказалась нужным, незаменимым для дел человеком.

Однако, радуясь удаче и заранее подсчитывая всю будущую прибыль, Карасай и подумать не мог какую роль суждено сыграть в его судьбе этому, казалось бы, выгодному знакомству и какой оборот примут события в течение самого недалекого времени.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Воскресную базарную толчею не разогнал и полуденный зной.

Раньше на маленький базарчик в Кызыл-Талау съезжались лишь старики и старухи из окрестных колхозов, привозившие на продажу разную мелочь с огородов: семечки, огурцы, морковь. Торговля была копеечной, и к полудню базар закрывался. Теперь же, с приездом новоселов, на вытоптанной пыльной площади народ толчется до самого вечера. Приезжие, запасаясь в дорогу, забегают в магазины и лавки, плотно обступают столы, на которых чего только не навалено. Даже краснобокий душистый апорт не исчезает с районного базарчика, а прежде местные видели его лишь раз в году по случаю приезда какого-либо столичного родственника. Вокруг столов с яблоками день-деньской вьются ребяташки, не в силах оторвать блестящих глазенок от соблазнительного лакомства.

Халилу досталось место рядом со стариком, продававшим кумыс из черной грязной сабы. Собираясь на базар, парень оделся будто на гулянье: новенький костюм, поверх пиджака выпущен ворот белой

рубашки. Изнывая за столом, на котором разложена белая, как снег, жирная баранина, он меньше всего походил на горластого засаленного мясника – касапчи. Никогда раньше ему не приходилось торчать за прилавком, и от стыда он не знает куда девать глаза.

– Эй, паренек, почему мясо? – то и дело окликают покупатели. Халил вздрагивает, растерянно озирается и еле слышно бурчит что-то под нос. Пропади она пропадом эта торговля! Как назло, часто подходят знакомые, и тогда Халил готов провалиться сквозь землю.

Кучка стариков, сидевших неподалеку в тени, принялась высмеивать соседа Халила, растрепанного торговца кумысом.

– Эй, Машрап, что это заставило тебя притащиться на базар?

– Чем драть деньги за священное питье, лучше бы угостил нас!

– Ну да, он, видно, разбогатеть надумал.

– Вот человек, одной ногой в могиле стоит, а чем занялся.

Пощады от стариков не было, и сосед Халила сдался: тряся реденькой бороденкой на крохотном подбородке и повторял, что хотел выручить лишь на чай и сахар для старухи, он налил насмешникам по чашке кумыса. Старики, потягивая взбитый желтый напиток, оставили его в покое и взялись за Халила.

– Эй, а ты никак сын Карабета?

Халил настороженно кивнул.

– Ну вот, мало ему омского базара. Он еще и на наш базар разинул пасть.

– Видно, правду говорят, что ни одна денежка не минует кармана Карабета!

– А скажи-ка, сынок, дома-то, наверное, уже целый сундук. Вы что, гноить их собираетесь?

Халил, затравленный вконец, не знал что и отвечать. Он вспомнил, что дома действительно имелся

небольшой обитый медными полосами сундучок, в который отец всякий раз прятал базарную выручку. Уж не на этот ли сундук намекают ядовитые старики?.. К счастью, напившись кумыса и пообдев, старики забыли о Халиле и разговорились между собой. Но разговор их все равно о Карасае, и Халил, молчаливо присутствуя, вынужден слушать, что говорят об его отце.

– Денег у Карабета – счет потерял! И полон двор скота. Только и знает, что продавать да деньги загрэбать.

– Однако в такую жару его никогда из дома не вытянешь. А тут... Видно, что-то поджигает его.

– Что поджигает? Ясно что. Рядом с ним совхоз образуется. А «Жана Талап», говорят, присоединяется к совхозу. Где ему теперь пасти свой скот?

Старики еще долго рассуждали, на разные лады перемывая косточки Карасаю. Халила удивило, что все, кто принимал участие в разговоре, отзывались об отце с ненавистью. За что они так ненавидят его? Сам Халил никогда не задумывался ни о характере отца, ни о его поступках. Он любил его как мог и всю жизнь был уверен, что отец пользуется у окружающих непрекаемым и заслуженным уважением. И вдруг... Даже неприятное прозвище отца Карабет, которое часто повторяли старики, принимало сейчас какое-то иное, двусмысленное значение: черноликий, человек с черной душой. Все это было ново для Халила, неожиданно и западало глубоко в душу.

После полудня, когда зной пошел на убыль, Халил плюнул на торговлю, накрыл тряпкой мясо и ушел, попросив старика-соседа присмотреть. Он направился в шашлычную. Прежде в здешних краях не знали и не видели, что это за невидаль такая – шашлык. Но вот весной, едва в степь потянулись новоселы, в самом углу базара задымила жаровня. В низеньком саманном домишке, где раньше продавали книги и учебники,

обосновались двое шустрых армян. Над дверью появилась вывеска на двух языках, в самом помещении стало тесно от больших бочек с вином. Расторопные продавцы в измазанных халатах бойко наливали стаканы и пучками снимали с огня палочки прожаренного мяса. Заведение понравилось, и там до самого закрытия базара стал толпиться народ.

Войдя в шашлычную, Халил хотел было протолкаться вперед, но его окликнули и грубо схватили за плечо.

– А ну в очередь! Куда прешь?

Халил, высматривая кого-нибудь из продавцов, отступил к двери.

Один из армян сегодня подходил к Халилу и долго прохаживался возле стола, на котором лежали четыре освежеванные бараньи туши.

– Послушай, дорогой, сегодня жара и мясо испортится. Давай-ка я заберу у тебя все оптом.

Но Халил побоялся продешевить и отказал покупателю, а сейчас пришел просить сам.

Шашлычник, приходивший утром, сразу заметил Халила, однако не подал и вида. Пришлось проглотить обиду и подождать. Лишь через некоторое время армянин улыбнулся, показав целый ряд золотых зубов, и поманил Халила.

– Проходи, проходи, дорогой. Садись сюда, на бочку. Пить захотел? На, выпей, – и протянул стакан с вином. – Бери, бери, платить не надо. Я угощаю.

Халил не успел опомниться, как в руке у него оказался липкий стакан с бурым, цвета таволги, вином. Пока он осматривался, не зная, куда отставить стакан, армянин протянул ему палочку горячего душистого шашлыка.

– Пей, пей, не задерживай, – поторопил продавец! – Стаканов не хватает.

Тут же из разных углов закричали нетерпеливые голоса:

– Товарищи, давайте поскорее!

– Тут вам не ресторан, расслаживаться!

– Разговоры потом. Эй, там, в углу. Вы скоро?

Пить вино Халилу доводилось лишь однажды – на вечеринке в честь окончания школы. Но он тогда не то чтобы опьянел, а и вкуса вина не почувствовал. На этот раз ему совсем не хотелось пить, но кругом было столько пьющих, к тому же его торопили с посудой, – он поднес вино к губам и неторопливо, маленькими глотками вытянул стакан до дна.

От посетителей, уже побывавших в шашлычной, Халил слышал, что вино тут неважное, почти одна вода, однако выпив стакан, он облизнул губы и утерся, – вино показалось ему сладким, будто чай с сахаром, и слегка терпким. «Кажется, в самом деле слабовато, – подумал он. – А может, оно и должно быть таким...»

Шашлычники были заняты своим делом и, казалось, совсем не обращали на Халила внимания, однако стоило ему допить стакан, как в руках у него оказывался новый, полный до краев, и армянин, угощая, дружески подмигивал ему и улыбался. Так, со стаканом в руках, Халил просидел на громадной прохладной бочке до самого вечера.

Кончив торговлю, шашлычники заперли дверь, вывалили кучу измятых денег и принялись считать выручку. Ловко раскладывая деньги, армянин, угощавший Халила вином, то и дело посматривал на него и весело скалил золотые зубы. Халил тоже улыбался, и мало-помалу ему стало казаться, что золотых зубов у шашлычника гораздо больше, чем на самом деле, и все они какого-то зловещего красноватого, оттенка. Потом ему стали мерещиться не один, а несколько улыбающихся ртов, набитых золотом, и Халилу это показалось настолько забавным, что он принялся хохотать. Шашлычники, тот и другой, представлялись ему веселыми ребятами, у которых ни на минуту не закрываются рты. С такими чудесными людьми хотелось говорить по-дружески, они поймут и помогут в

любом деле, в любой беде. И Халил, еле подыскивая нужные слова, рассказал зачем он явился в шашлычную.

– Дорогой, – сказал, прикладывая руку к сердцу, торговец, – ты пришел слишком поздно. Почему не отдал, когда я просил? Я же просил тебя! А теперь взять не могу, не обижайся. Я договорился с другим человеком. В такую жару нельзя много брать, хранить негде. Извини, помочь не могу... Ты расстроился? Э, зачем так? На, лучше выпей! Пей, пей, дорогой. Кавказское вино, хорошее вино. Пей! – И он протянул расстроенному парню стакан.

Скоро перед глазами Халила вновь замаячили, запереливались красноватым светом золотые зубы шашлычника. Что было дальше, он плохо помнил... Кажется, ему удалось все же упротить своих друзей принять оставшееся мясо за полцены.

– Эх, ладно, помогу хорошему парню! – в конце концов согласился армянин, не переставая улыбаться. – Но только учти – никому ни слова, что продал мясо мне. И дома не говори. Понимаешь, дорогой, я не имею права покупать с рук. А вдруг потребсоюз узнает?..

Сплавив все, что оставалось от дневной торговли, Халил с легким сердцем вышел с притихшего базара. Поселок спал, лишь кое-где светились огни. Напевая что-то под нос, побрел качаясь к районному клубу. Там еще должны были быть люди. В голове шумело, и Халил впервые в жизни испытывал обманчивое счастье опьянения...

В отсутствие Халила, уехавшего на воскресный базар, вернулась от родителей Акбопе, и Карасай, начинавший беспокоиться долгим молчанием невестки, был очень доволен. Возвращение Акбопе принесло в одинокий дом желанное спокойствие и затишье.

День прошел тихо и счастливо, а к вечеру вдруг свалилось несчастье, снова перевернувшее все в доме вверх дном.

Перед самым закатом в степи потемнело и стал накрапывать дождь. Карасай, управившись с делами, отправился загнать с поля овец. Днем, в ясную погоду, овцы паслись недалеко от дома, и Карасай видел их со двора. Теперь же овец словно след простыл. Старик поискал глазами, но не нашел и Дики, который обычно не уходил от стада. Начиная злиться, он приложил руки ко рту и принялся зычно звать Дику. Куда он пропал? Карасай вернулся домой и, с тревогой посматривая на приближающиеся ненастные сумерки, оседлал коня. Времени до наступления темноты оставалось немного, и Карасай, едва выехал со двора, погнал коня рысью. На душе у него было беспокойно, и он на чем свет стоит ругал неизвестно куда запропавшего Дику...

Отсутствие Дики не на шутку встревожило хозяина. Обычно парень никогда не отлучался из дому, все время хлопоча по хозяйству. Если ему и приходилось выбегать со двора, то только затем, чтобы завернуть к роще удалявшихся далеко в степь овец.

Карасай еще не знал, что Дика в этот день совсем отбился от дому. Выйдя со двора, парень загляделся на ровные ряды домов, строящихся из белого степного камня. Об этом камне новоселы рассказывали чудеса: прочный, легкий, куда легче самана, великолепный строительный материал. Нашла его и указала строителям Райхан, отлично знавшая все места в округе, и с ее легкой руки о камне скоро узнали повсюду. Дика сам слышал, что за камнем стали ездить даже из самых отдаленных совхозов.

Нерешительно приблизившись, Дика увидел десяток недостроенных домов, стоявших без крыш, и невысоко поднятые стены какого-то длинного барачного строения. Неподалеку навалена куча этого самого камня. Дика подошел и, нагнувшись, потрогал огромный, величиной с мельничный жернов валун. Глыба легко подалась под его рукой, и Дика, сильно заинтересованный, стал один за другим поднимать валяв-

шиеся вокруг камни. Все они оказались настолько легкими, что Дика осмелился подступить к необъятной глыбе, напоминавшей лежащего жеребенка-двухлетку. Камень был велик, и Дика, присев, кое-как подsunул руки под ребристый край. «Не подниму!» – подумалось ему, но глыба нехотя оторвалась от земли, и удовлетворенный Дика, подержав ее на весу, с облегчением бросил обратно на землю.

– Эй, молодец, – послышался чей-то голос, – ты что это, камни задумал воровать?

Дика испуганно обернулся и увидел чернявого парня с большим носом и щегольскими усиками. Парень сидел на стене, сложенной из плотно подогнанных камней, и держал в руке мастерок. Глаза парня смотрели дружелюбно, однако Дика, застигнутый врасплох, растерялся.

– Может, у тебя силы излишек? Тогда подай-ка мне вон тот камешек. Толик, – сказал чернявый своему помощнику, – ты отдохни пока. Посмотрим, что за силенка у малого.

Дика беспрекословно повиновался. Он стал подтаскивать и один за другим подавать наверх крупные каменные кирпичи.

– Э, стой, стой, зачем так быстро. Устанешь. Или ты думаешь: раз-два и – удрать. Нет, брат, теперь мы тебя до вечера не отпустим. Так что силенку побереги, зря не расходуй.

Парень оказался словоохотливым, но Дика плохо понимал его быструю веселую речь. Однако он видел, что рабочие настроены по-дружески, и ему было приятно хоть чем-то им помочь.

– Тебя как зовут-то? – спросил наконец носатый парень с усиками.

– Дика.

– Дика... Это что еще за имя? Дик – вот имя. Смотри, как красиво: Дик. Так вот, Дик, возьми вот это ведро и подай мне оттуда раствор. Вон-вон, перед тобой, в колоде. Да много не набирай, не поднимешь.

Но Дика навалил полное ведро крутой тяжелой смеси песка с цементом и легко подал наверх.

– Ого,– удивился чернявый,– а силенка у тебя – дай бог! Только подтяни да подвяжи покрепче штаны. Что они у тебя слезают?

С этими веселыми ребятами Дика проработал до самого вечера, пока их не погнал со стройки незаметно собравшийся дождь. Но даже тогда Дика не отправился домой. Вместе со всеми побежал и спрятался в одном из крытых домов. В доме было тесно, шумно, но работа не прекращалась: все, кто собрались, принялись штукатурить стены. Дика вновь ворочал за двоих, испытывая какое-то незнакомое раньше наслаждение своей полезностью всем этим людям.

Старание незнакомого диковатого парня не осталось незамеченным.

– Это он в первый день,– заметил кто-то.– Посмотрим, что завтра будет.

– А накопил на вольном воздухе силенок! Экономить только не умеет.

– А чего ему? Не курит... Видишь, одышки даже нет. Подошел бригадир, заинтересованно оглядел широкоплечего, сильно смущающегося парня.

– Ты оттуда, из того вон дома? А специальность какая-нибудь есть? Чем ты вообще занимаешься?

Дика, недоуменно озираясь, молчал, и за него ответили со стороны.

– Да чем ему здесь заниматься? Это же постоянный двор. Наверное, ухаживает за лошадьми, тем и кормится. А что другое еще придумаешь?.. Слушай, друг, жена у тебя есть?

Дика совсем смутился и мрачно опустил голову.

– Ну вот,– сказал чернявый парень с усиками, который заставил Дику подносить камни.– Какая жена? Тут сто верст скачи и ни одной девки не встретишь.

Бригадир спросил товарищей:

– Может, нам его к себе взять?

– А что? Если будет так работать, как сегодня, то многих за пояс заткнет. В передовики выйдет.

– Ну, вот что, Дик, – решил бригадир, – значит, договорились. За сегодняшний день я выпишу тебе полсотни. А вообще, если приживешься, тысячи две-три в месяц будешь выколачивать. Это самое малое. Одеться только тебе не мешало бы. Уж больно одежда у тебя... Ну, согласен?

Дика, переминаясь, не поднимал головы.

– Да что тут раздумывать? – подбодрил его кто-то. – Живет рядом, значит, на работу – рукой подать.

Осторожно, боясь поверить, Дика поднял глаза и испытующе обвел всех, кто стоял рядом. Но нет, никто и не думал над ним смеяться, ему предлагали работу наравне со всеми и обещали платить регулярно и сполна. Впервые в жизни ему предлагалась оплачиваемая работа. Неужели и в самом деле его руки кому-то нужны, а труд его чего-то стоит?

Возвращаясь в сумерках домой, Дика от радости не чуял под собой ног. Все, что сегодня было пережито, просилось на язык, и Дика решил поделиться с тетушкой Жамиш. Она поймет его и не обругает, только ей он может открыть, что у него в голове и на сердце. Что, думалось парню, если он и впрямь устроится в бригаду строителей и станет каждый месяц приносить заработанные деньги?! Сегодня он хорошо показал себя, все видели, как он старался и в один голос хвалили его. И вот результат – за каких-то полдня он заработал целых пятьдесят рублей! Когда он зарабатывал такие деньги? И кто хвалил его когда-нибудь в жизни? Ни разу он не слышал ни одного ласкового слова. А сегодня... Нет, он поговорит с Жамиш и отпросится у ней на весь завтрашний день. Его звали, его будут ждать в бригаде. Пусть Жамиш поговорит с дядюшкой Карасаем. За скотиной он станет ухаживать по-прежнему, пусть не беспокоится. Он успеет, он все успеет сделать...

Так рассуждал он, добираясь в кромешной тьме до дома. Ноги Дики разъезжались в грязи, дождь вымочил его до нитки, но на душе парня было светло, и он с легким сердцем вступил в знакомый двор.

Во дворе горела лампа, при зыбком неярком свете Карасай свеживал барана. Хозяину сегодня долго пришлось гонять по степи, прежде чем он нашел заблудившихся овец. Как он и боялся, волки напали на стадо и произвели настоящий погром. Крутясь на коне, Карасай еле собрал перепуганных овец и пригнал к дому. Двух голов он вообще недосчитался, многие были изорваны волчьими клыками и теперь годились только на мясо.

Дика, едва появившись во дворе, увидел испуганных овец, разглядел изуродованные курдюки, висящие как комья снега, перемешанные с кровью, и сразу догадался, что произошло в степи.

Боясь встретиться с хозяином, он хотел незаметно проскользнуть в дом, но Карасай увидел его, вскочил на ноги и отбросил испачканный в крови нож.

– А-а, явился в мать... в отца... – ярость распирала грудь Карасая. Он сорвал с рогатины тяжелую, туго витую камчу и грозно двинулся к парню.

– Зажрался! Да я тебя по свету пущу, да я тебе... На вот тебе, на, на!

От первого же удара лопнула мокрая выцветшая рубашонка Дики. Он закричал и закрылся руками, но тугая, заботливо смазанная жиром плеть плотно и хищно впивалась в его плечи, рвала сгнившую на теле рубаху. Один из ударов пришелся по шее, конец камчи обвился и больно хлестнул по глазу. Дика, не переставая кричать, свалился на землю. Карасай уже не помнил себя от ярости. Отшвырнув плеть, он подскочил к упавшему и принялся бить его ногами. Закрывая голову, Дика кричал:

– Агатай! Агатай!

– На тебе! Вот! Вот! – приговаривал задыхающийся Карасай, пиная тяжелыми подкованными сапогами в

бока корчившегося на земле Дику. Дворовые собаки, весь вечер умильно сидевшие недалеко от хозяина в ожидании поживы, поджали хвосты и трусливо забились кто куда, боясь показаться на глаза.

Услышав крики, из дома выскочила Акбопе и бросилась к свекру. От сильного толчка Карасай отлетел в сторону и чуть не упал. Затмение гнева медленно спадало с его глаз. Воспользовавшись неожиданной помощью, несчастный Дика вскочил с земли и, плача, закрывая руками обезображенное лицо, кинулся прочь со двора.

Ничего не видя и не слыша, Дика бежал под дождем до тех пор, пока не попал в рощу. Здесь он приткнулся к старой березе и, обняв толстый покачивающийся ствол, сполз на землю. После небольшого перерыва ливень забушевал с прежней силой, но под березой было тихо, лишь изредка с промытой густой листвы срывались и падали холодные крупные капли. Прижавшись лицом к дереву, Дика рыдал, не замечая ни ливня, ни грохота грозы, шумящей над степью. Разбитый плетью глаз горел как от ожога, но даже не от боли сотрясалось большое исполосованное тело Дики, – все обиды, все унижения припоминались ему сейчас разом, вся его горькая неудавшаяся жизнь, и у него не было сил удержать рыданий.

Настоящее имя Дики, которым нарекли его родители – Турсун. Отец и мать страстно желали сына, но как на беду все новорожденные умирали один за другим. Когда родился последний ребенок, они позвали муллу и тот дал мальчишке обнадеживающее имя: Турсун¹. И новорожденный выжил, стал подрастать к великой радости своих родителей. Но вот беда – через два года смерть унесла и отца, и мать, и едва поднявшийся на ноги парнишка остался круглым сиротой. Кто-то из родственников взял ребенка к себе, и с этих пор,

¹Турсун – означает «Да будет жить!»

начались мытарства несчастного. Не зная ухода и заботы, мальчишка тяжело заболел и до пяти лет не мог стоять на ногах. В школу Турсун попал лишь одиннадцати лет, намного отстав от сверстников, учился плохо и, чтобы не быть постоянной мишенью для насмешек, бросил учебу, едва закончив четвертый класс. К тому же и родственники, на чьем попечении находился Турсун, не соглашались больше кормить великовозрастного парня.

И пошел Турсун по домам, нанимаясь в работники, соглашаясь на любую работу, чтобы только добыть себе пропитание.

Когда началась война, парня вызвали в военкомат, но комиссия начисто забраковала его: еще с детства, после перенесенной болезни, у него сильно испортилось зрение. Турсун остался в ауле, всем лишний, никому не нужный, едва добывающий себе кусок хлеба.

С каждым годом жить становилось труднее, как-то в поисках работы он попал в районный центр. Здесь было больше возможностей устроиться, и Турсун стал ходить по домам, нанимаясь молотить зерно. В те трудные годы появилось множество самодельных ручных мельниц, здоровый, выносливый парень мог два-три дня, почти не разгибаясь, крутить тяжелый жернов, ни с кем не разговаривая, ничего не замечая, лишь мерно раскачиваясь и вполголоса напевая какие-то запомнившиеся песни. Платой за его работу были еда и ночлег.

Выросший среди чужих людей, парень становился тихим, замкнутым и незлобивым. Сколько бы ни ругали его, Турсун никогда не говорил слова наперекор, а лишь умолкал и опускал голову. Такая покорность нравилась тем, у кого он работал, парня жалели и старались ему помочь.

Гораздо хуже складывались у него отношения с подростками. Мальчишки, день-деньской гонявшие по улицам, не знали к Турсуну жалости и, пользуясь его

незлобивостью, часто издевались над ним, как над дурачком. Однажды они остановили его на улице, плотно окружили и увлекли в сторону.

– Эй, Турсун, а ты чего это не женишься?

– Ха-ха-ха, да он еще ребенок, у него вон и усы еще не растут.

– Ну да, пока у него вырастут усы, у всех женщин зубы выпадут!

– Ребята, а он, случайно, не кыз-теке¹? Давайте стянем с него штаны и посмотрим.

– Давайте, давайте!..

– Ой, ребята, глядите какой он здоровенный!

Мальчишки вцепились в него со всех сторон. Турсун нерешительно отбивался.

– Вот черт, смотрите, какой он жирный. Даже штаны, не держатся.

– А чего ему. Какие у него заботы? Лишь бы ручка у жернова была цела. Больше и беспокоиться не о чем. Живет, как дикарь.

– Это точно, точно. Дикий человек.

– Совсем дикий!..

С тех пор с легкой руки мальчишек к Турсуну приклеилось уличное прозвище – Дикий. О нем так и говорить стали: «А где этот дикий парень?» или «Давайте позовем этого дикого, пусть споет». В конце концов и сам Турсун привык и смирился с тем, что настоящее его имя забыли, и уже не обижался, когда все – и стар и млад называли его коротко и просто: Дика.

Тем временем кончилась война, домой стали возвращаться демобилизованные. Дика заметил, что его все реже приглашают на помощь, и тогда он сам отправился по домам, всюду, где только можно, предлагая свои не знавшие усталости руки. Благодаря тому, что у него была устоявшаяся репутация скромного, прилежного парня, ему перепадала кое-какая

¹Кыз-теке – двуполый (букв. девушка-козел).

работенка и значит он бывал накормлен и устроен на ночь. На большее он никогда и не рассчитывал. В домах, где ему приходилось бывать, его хорошо знали и любили, а детишки, стоило ему появиться, с радостными воплями повисали у него на шее. Дике доставляло огромное удовольствие часами возиться со своими маленькими друзьями. Он покорно становился на четвереньки, изображая из себя вьючного верблюда или верховую лошадь, забавлял детишек тем, что весьма искусно лаял по-собачьи.

Работящего, безответного парня уже давно заприметил Карасай. Как-то Дика работал у Косиманова, и вечером, когда зажгли в доме свет, женщины попросили его спеть. В разгар веселья работника позвали в другую комнату, где хозяин принимал приехавшего в гости Карасая.

В просторной чистой горнице сидело несколько человек. Гости ждали пока сварится бешбармак и откровенно скучали. Приход Дики внес заметное оживление.

– Что-то ты, – сказали парню, – частенько возле баб отираешься. Уж не задумал ли жениться?

– Пусть, пусть женится на здоровье. Кто за такого жигита не отдаст свою дочь? Золотые руки, да и поет так, что заслушаешься.

– Надо, надо его женить.

– А ты сам, Дика, никого не имеешь на примете? – спросил Косиманов, подмигивая гостям. – Или ты на замужних заризишься? То-то я смотрю, не вылезает из домов Камыса и Шарипа. Смотри, не вздумай украсить кого-нибудь из нас рогами. За такие вещи знаешь, что бывает?

Слушая шутки развлекающихся гостей, Дика смущенно улыбался и не смел поднять сконфуженного лица.

– Нет, вы посмотрите, как он улыбается! Заметили? Ох, этот молодец что-то затаил в душе.

– Да бросьте нападать на парня. Дика ни на кого и не смотрит. Зачем ему наши старухи, если вокруг девок полно?

Карасай, присматриваясь к парню, молча лежал, подложив под локоть подушку. Он не спускал с Дики оценивающего взгляда. Наконец подал голос и он.

– А что – парень он хороший. Только глаза, я гляжу, у него невеселые. Надо найти ему сейчас жену, пусть заживет своим домом. Сколько можно мотаться по чужим дворам? Так что вот – возьму-ка я его к себе. Пусть поживет у меня. И братом мне будет и сыном... Надо же помочь человеку!

Гости обрадованно зашумели:

– О Кареке, на здоровье. Такой опекун нашелся парню. О чем еще и мечтать Дике?

– Ну, Дика, радуйся, твое счастье!

Парень переминался с ноги на ногу, отказывался верить своим ушам. Неужели кончились для него скитания из дома в дом, и он заживет как настоящий человек? Свой дом, своя крыша над головой. Как это все неожиданно! И тепло. Волна горячей благодарности к Карасаю стеснила ему грудь. А Карасай, дотянувшись до кровати, взял большой бумажный сверток и принялся неторопливо разворачивать.

– Вот, – сказал он, бросая парню новые штаны из бумазеи и красную сатиновую рубашку, – взял сегодня в лавке. А то оборвался – страшно смотреть. Носи на здоровье, светик.

У Дики перехватило дыхание. Впервые в жизни вдохнул он соблазнительный запах обнов. И Карасай сейчас казался ему человеком великодушным, с добрым сердцем. Как его благодарить за все? На глазах Дики выступили слезы. Он не знал что сказать, куда ступить, что делать с обновлениями.

– Надень-ка, надень! – затормошили его гости. – Скидай свою рвань.

Облачившись в синие штаны и красную рубаху, Дика словно преобразился. Он оглядывал себя, ощупывал,

словно все еще не веря тому, что с ним происходит. Обновы были впору, только штаны оказались широкваты в поясе. Дика поднял свой старый тряпичный пояс и хотел подпоясаться, но Косиманов, увидев, горячо запротестовал:

– Брось, брось. Если уж обновляться, так с головы до ног.

Он сходил в соседнюю комнату, принес старый, потрескавшийся офицерский пояс и выгоревшую на солнце военную фуражку.

– На, носи.

Фуражка оказалась тесноватой, но Дика, напялив ее на свои нестриженные вихри, расплылся в улыбке, – всю жизнь он завидовал тем, кто носил военную форму.

– Ну, теперь берегись, девки, – сказал кто-то из гостей. – Увидят – в обморок попадают.

– То ли еще будет, – обещал разошедшийся Карасай. – Теперь и за сватовством дело не станет. А кто нам откажет? Слава богу, на калым как-нибудь наскребем.

Дика слушал, и ему, казалось, что для него и впрямь наступает счастливая жизнь, нисколько не похожая на прежнюю. Под этим впечатлением он находился все первые дни и в доме Карасая. Устраиваясь на новом месте, он ходил веселый, весь преобразившийся, совсем не замечая, что благодетельствовавший его старик сразу взвалил на него всю тяжелую домашнюю работу.

Постепенно Дика обжился, привык и уже не представлял себе никакой иной участи. Его заботой стала ежедневная работа по хозяйству, уход за многочисленной скотиной Карасая. Как говорит пословица, вошел огнем, а вышел холодной золой. И если кто-нибудь из наезжающих к хозяину гостей пробовал напомнить Карасаю о его давнем обещании женить парня, старик сердился и выходил из себя.

– Ну чего болтаете? Делать вам больше нечего. Сами бы подумали – какая дура пойдет за этого балбеса? Он

ноги-то еле таскает, а уж жениться... Тоже мне, нашли мужика!

И Дика, привыкший к постоянным насмешкам, старался не подавать повода к разговорам, которые раздражали бы Карасая. Не до жиру, быть бы живу, – думал задавленный работой парень и с раннего утра до позднего вечера, лето и зиму, знал лишь одно – ублажать хозяина, оставаться незаметным, бессловесным, иметь право на кусок хлеба и место под крышей.

...А вот теперь он лишился и крыши над головой. Куда ему было деваться в такую черную ненастную ночь, когда ливень все пуще расходится над страшно гудящей рощей?

Дика перестал плакать и, подняв голову, прислушался. Густел вокруг пугающий мрак, а в глубине рощи что-то постоянно стучало и барабанило, будто он находился не в лесу, а посреди открытой степи. В шуме грозы ему казалось, что какие-то скалы сталкиваются, грохоча вверху, и вот-вот обрушатся на голову. Внезапно вся роща вдруг осветилась ярким, каким-то неживым мерцающим светом, который пронизал рощу насквозь. Испуганный притихший Дика увидел вдруг темную фигуру, бредущую под дождем по ночному лесу. Напряжение было так велико, что Дика едва не закричал от ужаса.

– Дика! – вдруг услышал он знакомый женский голос – Дика, где ты?

Это была Акбопе. Она знала, что Дика не мог убежать далеко, накинула на голову чекмень, висевший в передней на гвозде, и отправилась в рощу. Не подавая голоса, молодая женщина обшаривала кусты, разыскивая беглеца. Она закричала, испугавшись яркой вспышки молнии.

Появление Акбопе снова растрогало избитого парня. Только что он думал, что нет у него на свете никого, кто подумал бы о нем, позаботился, сказал ласковое слово. Молодая женщина накинула на промокшего Диду теплый чекмень и присела рядом,

крепко обняв. Плечи парня, едва прикрытые изорванной в клочья рубахой, дрожали.

– Несчастные мы с тобой, несчастные,– говорила Акбопе, тоже заливаясь слезами.– Что с нами будет? Тебе хоть легче, ты ничем не связан. А я опутана по рукам и ногам. Уходи лучше отсюда куда глаза глядят. Пока старик жив, добра в этом доме не жди...

Дика пригрелся и затих, доверчиво уткнувшись Акбопе в грудь. А молодая женщина, закрыв глаза и всякий раз вздрагивая, когда раздавался грохот грозы, говорила и говорила, впервые за много лет изливая все, что накопилось у нее на сердце.

Дождь не переставал, и Халил едва добрался до дому. Тяжелый мотоцикл бросало на кочках, машина совсем не слушалась руля, то и дело проваливаясь в колдобины. Завидев огоньки родного дома, Халил перевел дух. Остановившись у ворот, он повернул и вынул ключ, спрыгнул с сиденья. Грязь, налипшая на колеса, комьями отваливалась на землю, когда Халил, сильно упираясь ногами, на руках вкатывал мотоцикл во двор.

В кухне, едва он переступил порог, к нему бросилась мать. Старая Жамиш возилась у топившейся печки, мешая щипцами раскаленные угли. Когда она вскочила, щипцы со звоном полетели на пол.

– Жеребеночек мой,– запричитала мать,– наконец-то вернулся! Ведь что делается на дворе... Я уж извелась вся. Раздевайся скорей, на тебе же нитки сухой нету. Я тебе сейчас принесу переодеться... У нас радость, сынок,– Акбопе вернулась,– прибавила она, понизив голос.

– Приехала!– невольно вырвалось у Халила, но он тотчас взял себя в руки и деловито сказал:– Апа, я там тебе цейлонского чаю привез.

– Сейлон?– удивилась Жамиш.– Какой еще сейлон? Разве и такой бывает чай?

– В районе все хватали этот чай. Говорят, он еще лучше индийского.

– О светик мой, не забыл о матери!

– Ребятишки где?– спрашивал Халил.– Я им яблок купил. Все здесь, в мешке. В район столько яблок навезли, люди по целому ящику берут.

– Теперь, если все будет хорошо, к нам чего только не навезут,– заметила старая Жамиш, развязывая мокрый мешок.

– Апа, а где отец?

Мать, уже запустившая руку в мешок, вздрогнула и прикусила губу. Говорить, нет? Потом подозвала сына поближе и шепотом, еле слышно, сказала, указывая глазами на дверь в соседнюю комнату:

– Лежит. Ох, сынок, что тут было!.. Все вверх дном перевернул.

– А в чем дело? Что случилось?

– Не спрашивай. Как помотришь, сколько горя из-за этой скотины... Овцы куда-то в дождь ушли, ну, а волки и напали. Двух совсем не нашли, а многих так порвали, что смотреть тошно. Вон, в сарае стоят. Хвосты как лохмотья висят... Дике, бедняге, сегодня так досталось, что из дому убежал.

Халил подскочил:

– Как убежал?

– Ну не убежал... куда ему, бедняге, бежать? Где-нибудь крутится возле дома.

– Так его найти надо, позвать! Дождь-то посмотри какой...

– Сиди, сиди, Акбопе уже привела его. Ей, бедняжке, сегодня тоже досталось от старика... Боже мой, что за жизнь пошла! Этот старик нас всех до гроба доведет.

Мать вспомнила погибшего Жалила, и слезы навернулись ей на глаза. Она отвернулась, чтоб не видел Халил, и снова захлопотала у печки.

Сам Карасай, в сапогах, одетый, лежал в соседней комнате на кровати. Он уткнулся лицом в стенку и зябко натягивал на себя тяжелый овчинный тулуп. Шумела за окном непогода. Расслышав, что вернулся с базара

Халил, старик нехотя поднялся, спустил с кровати ноги и долго, мрачно смотрел на тупые носки сапог. Он не решался окликнуть сына.

В конце концов старик достал из кармана рожок с табаком, постучал о подошву сапога и зычно крикнул в кухню:

– Эй, где моя плевательница?

Мелкий, тщательно перетертый табак неслышно высыпался из рожка на ладонь. Старик захватил огромную щепоть и ловким движением заправил за губу. Прямая языком, сплюнул и только после этого позвал сына:

– Ну, как базар? Как поторговал?

«Поторговал...» Халилу вспомнились ядовитые старики на базаре, их насмешки, и он нахмурился. «Провалилась бы эта торговля!» – подумал он, но, взглянув на грузного, мрачного отца, сдержался и не произнес ни слова.

Подождав ответа, Карасай тяжело съехал с высокой кровати и направился к большому сундуку, стоявшему в простенке под окном. Мелодично звякнул замок, крышка сундука поднялась, показав множество металлических зубов. Халилу, наблюдавшему за отцом, показалось, что это зубастый зверь лениво раскрыл свою страшную пасть. Засунув руку, Карасай достал еще один сундук, поменьше, окованный желтой медью. Сундучок блестел, как игрушечный, и всякий раз, когда отец вытаскивал его, Халилу казалось, что из него должны появиться какие-то необычные сказочные вещи. Так было с детства, и сундук постоянно манил Халила, скрывая в себе что-то загадочное. Однако теперь появление отцовской кубышки всякий раз напоминало о гибели старшего брата. Страшная нелепая смерть Жалила почему-то связывалась вот с этим игрушечным, но потерявшим всякую загадочность сундучком.

Пока отец возился с замком, Халил вынул из кармана горсть смятых десятирублевок и бросил на стол. Карасай крикнул и, поплевав на пальцы, стал терпеливо и заворуженно разглаживать и складывать. Когда деньги были разобраны и сложены аккуратной стопкой, старик не спеша пересчитал, что-то быстро прикинув в уме и вскинул на сына заблестевшие глаза.

– Где остальные?

Халил молчал, и огромное родимое пятно на отцовском лице стало наливаться кровью.

– Я спрашиваю, где остальные?

– Все здесь, – тихо ответил Халил.

– Что-о? Да ты в своем уме!

– Матери чаю купил. Ребятишкам яблок.

– Яблок... Я тебя разве за этим посылал?

– Сейчас тепло, отец. Чтоб не испортилось, пришлось отдать по дешевке.

– Ты что тут болтаешь? – грозно поднялся Карасай. – Ты не мясо по дешевке отдал, ты меня дешево продал! Слышишь? Этого только мне не хватало! Чтоб еще ты меня объедал! Вон отсюда! Катись со двора! Сгинь с моих глаз!

Старая Жамиш, с тревогой слушавшая весь разговор, поспешила на помощь сыну.

– Да ладно тебе. Он же еще ребенок. Откуда ему знать, как торговать?

– Не вмешивайся! – взорвался Карасай, пнув ногой плевательницу. Консервная банка, гремя, пролетела через комнату и ударилась в стенку. – Тебя кто сюда просил? Ты чего суешься куда не надо? Ребенок... Нашла ребеночка! Борода уж растет, а ума так и не нажил... Это все ты, твое воспитание. Носишься с ним, как гусыня. У людей вон посмотришь – не дети, а загляденье. А тут... Зажрались, жиром заплыли! Масло уж изо рта течет. Посмотрел бы я на вас, что бы вы стали делать, если бы не я...

– Ладно, ладно, – не утерпела Жамиш, – только ты и кормишь всех нас.

Такая дерзость обычно безответной жены окончательно вывела Карасая из себя. Он вскочил и схватил висевшую у двери плетью.

– Ты чего это... Ты чего это разболталась? А?

Сжимая в руке рукоять камчи, Карасай медленно двинулся к жене. Жамиш заплакала и спряталась за спину сына. Халил оказался грудь в грудь с рассерженным отцом. Они стояли друг против друга, Халил чувствовал за спиной испуганную мать. Он смело глянул в гневные глаза подступившего отца.

Вздымая грудь, Карасай презрительно смотрел на взбунтовавшегося сына, ломая его вызывающий взгляд. Тоненький, с блестящими глазами и загоревшимися щеками, Халил сейчас поразительно походил на мать, на когда-то бойкую, неумолимую Жамиш. Щелкнув плетью по сапогу, Карасай отступил, обрушив на голову сына поток бранных, оскорбительных слов.

– С жиру перебесились... Правду говорят, что от парня, который пошел в мать, добра не жди. Кто у нее путный в родне? Да никого. И ты таким же будешь, такое же... Это я тебе как отец говорю. И сгинь с моих глаз! Чтоб не видеть тебя и не слышать.

Халил с матерью выскользнули за дверь, оставив Карасая одного. Гнев еще долго бушевал в груди старика, и, не зная, на ком сорвать злость, он походил, потопал по горнице, потом пальцем выгреб из-за губы слипшийся комок табаку и в сердцах швырнул в притворенную дверь на кухню. Но это не принесло желанного облегчения. Тогда Карасай плюхнулся на измятую постель и задумался, сжав руками виски.

Затихло все в доме и, казалось, вымерло. В тяжелой угнетающей тишине Карасаю было лишь слышно, как бьются в окна крупные капли дождя. Стекло большой висячей лампы давно закоптилось, и оттого в комнате стало еще сумрачней и тоскливей. Старик вздыхал, ворочался и скрипел кроватью.

В кухне Жамиш вынула из кипящего казана сварившееся мясо, положила на большое деревянное блюдо. Хорошо изучив за годы совместной жизни характер мужа, она привыкла к его неукротимым вспышкам и теперь тихо, чтоб не слышно было, выговаривала надувшемуся сыну:

– Сынок, это же родной отец. Разве можно на него обижаться? Ведь он же только о вас заботится, – лишь бы вывести вас в люди. Из-за этого-то он и скандалит со всеми. Ну, а сегодня... Ведь его тоже понять надо. После смерти Жалила на наш дом беда за бедой. Словно нарочно. Еще хорошо, что он нашел этих проклятых овец. А не нашел бы – всех бы волки задрали. Вот он и сердится. А что тебя он ругает, так ты не обращай внимания. Он же добра тебе хочет, чтобы ты скорее на ноги становился. Кто же не любит родное-то дите?

Поворачивая над огнем сохнувшие брюки, Халил почти не слушал, что говорила ему мать. Перед глазами его так и стоял разбушевавшийся отец с плетью в руке. Жаркий огонь пылающих кизяков обвевал сумрачное лицо задумавшегося Халила.

Наступил час ужина, все молча уселись за стол. Карасай достал острый нож, быстро и ловко порезал на блюде дымящееся мясо. Не глядя на Жамиш, буркнул:

– А остальные где? Сквозь землю провалились?

Жамиш, остужая в деревянной чашке горячую сурпу, охотно откликнулась:

– Да где все? У Акбопе голова болит, спать легла. Дети уже спят. Я им недавно мясо носила.

– А Дика? – спросил Халил.

Жамиш метнула быстрый взгляд на мужа и ничего не ответила. Карасай медленно протянул руку и взял жирного мяса. Ужин продолжался, в напряженном, молчании. Жамиш и Халил ели неохотно, Карасай же, хоть и сидел мрачнее тучи, быстро одолел половину блюда.

– Ну как мотоцикл?– спросил он наконец у сына.– Хорош на ходу?

Халил нерешительно подняв глаза и увидел, что лицо отца смягчилось. Ничего не отвечая, он молча кивнул головой. Жамиш, радуясь тому, что скандал забывается, поддержала разговор:

– Бегаёт так, что глаза не успевают. Теперь у меня одна забота – не сбросил бы он тебя, как норовистый жеребец. Будь осторожен, Халил-жан, кто его знает, что может случиться. Свалишься, беды не оберешься. В прошлом году, рассказывают, один парень упал с мотоцикла, насмерть убился. Не дай бог такой смерти!

Слушая, как охотно разливается старуха, Карасай в душе был благодарен ей за поддержку.

– Мать дело говорит,– сказал он.– Хоть наш с коляской и поустойчивей остальных, но перевернуться все равно может. Говорят, если люлька попадет на обочину, проще простого опрокинет. Надо поосторожней ездить... До осени катайся, а осенью учиться поедешь. Ну, а если не поедешь и будешь жив-здоров,– машину куплю.

Карасай ждал, что его слова обрадуют сына, однако обещание отца лишь заставило Халила насторожиться. К чему бы такая щедрость? Халил уже успел привыкнуть, что так, за здорово живешь, отец никогда не раскошелится.

– Ну, Жамиш,– распоряжался повеселевший отец,– убирай со стола да стели постель. Халилу надо отоспаться.

А завтра чуть свет подними нас. Пока баранов заколем, времени много уйдет.

Халил поднял голову, но спрашивать, куда собирается ехать отец, не стал. Карасай продолжал:

– Хоть сейчас и полно машин, да связываться с ними не стоит. Шоферы совсем совесть потеряли. А в коляску мотоцикла мы туш пять свободно загрузим. Если выедем на рассвете, то в Омск к самому базару успеем.

– Помогай-то вам бог!– ввернула суеверная Жамиш.

– Вот-вот,– продолжал Карасай.– А в этот Кзыл-Жалау и ездить не стоило. Зря только мясо пропало, лучше бы собакам выбросили. Поедем в Омск, сынок. Заодно поучишься, как надо торговать. А научишься – сам будешь ездить. Сколько можно мне, старику, по базарам бегать? Кстати, Жамиш, ты постирала передники и полотенца? Не забудь, смотри. Надо все сегодня приготовить.

– Коке,– твердо сказал Халил,– я на базар не поеду.

– Что?!– негромко удивился Карасай. Он смотрел на сына, и Халил видел, как начинает темнеть родимое пятно на лице отца – верный признак приближающегося гнева. Однако Карасай нашел силы подавить в себе ярость, и когда Халил, поднявшись из-за стола, направился в комнату, он спокойно остановил его.

– Постой-ка. И поди сюда, сядь. Садись, садись. И послушай. Я как отец тебе скажу.

Напуганная Жамиш сделала знак, чтобы сын не артачился и сел.

Халил опустился рядом с отцом.

– Значит, отказываешься ехать? Так, так... Может, стесняешься? А ты думаешь, я сразу к базару привык? Да у нас в породе никого нет, кто бы торговлей занимался! Мать тебе скажет. А вот пришлось же. Время сейчас, сын, такое, что у кого деньги, у того и почет. Еще старики говорили: «Если время – лиса, то будь гончей и хватай ее». А старики знали, что говорили... Так вот, если хочешь быть с деньгами,– базаром не брезгуй. И я бы не трогал тебя, если бы жив был Жалил. Жил бы ты тогда, как тебе хочется. Но ты у меня один, а годы мои уходят. Тебе все останется после меня. Понимаешь? И я не о себе думаю, не о Жамиш. Мы свое прожили. Я о тебе забочусь,– пойми ты это! Ты уж взрослый человек, пора самому хозяином становиться.

– Но разве так уж обязательно с базара жить?– пробовал сопротивляться Халил.– Столько вокруг народу, кто не торгует. И ведь живут же ничуть не хуже

других. Все работают, заняты в артели или на стройке, – почему я должен копать в своем хозяйстве? Вон ребята, которые со мной кончали школу, в совхозе устроились. Или на целину сколько приехало... Мне же просто стыдно!

Карасай, терпеливо выслушивая сына, снисходительно усмехался. Едва Халил кончил, старик рассмехался коротким недобрый смехом.

– Ты сынок, уже привык и не замечаешь, как живешь. – С этими словами он широко повел рукой, указывая на стены горницы, сплошь завешанные коврами. – Ты у кого-нибудь в доме видел такое? А?.. Вот то-то. А ребят я знаю. Ты думаешь, они от хорошей жизни на работу пошли? Они тоже отродясь не ели досыта, им одеться не во что, у них же жилы рвутся от натуги, – пойми ты это! Иначе им и не прокормиться, не прожить. И тебе не на них надо равняться – ты сыт, одет, у тебя всего полно. Ты смотри на равных себе. А эти, что едут... Их голод гонит, нужда...

Теряя уверенность, Карасай сердито взглянул на жену, как бы прося у ней поддержки. Жамиш поняла его и с готовностью подхватила:

– Да, сынок, что с лопатой в руке, что с весами на базаре, – одни заботы у человека.

– Апа, – мягко и проникновенно произнес Халил, – я же не ребенок. Вот ты говоришь – у всех одна забота: лишь бы прожить. Но если бы все думали только об одном – поесть, одеться и больше ничего, то для чего же тогда быть человеком? Что это за жизнь?

– А по-твоему, в чем жизнь? – спросил, не повышая голоса, Карасай.

Халил даже не взглянул на него. Он продолжал говорить, по-прежнему глядя на мать, будто кроме них никого за столом не было.

– Позавчера у меня в степи лопнул баллон, и я долго сидел один. На мое счастье, ехал шофер Оспан. Мы с ним быстро залатали баллон и надели колесо. Он

увидел в люльке мясо и засмеялся: «Жалил, говорит, умер, так теперь Карекен тебя приручает. Смотри, говорит, парень, пропадешь ни за что». А мне даже сказать ему нечего!

– Сказать нечего!– воскликнул Карасай загораясь.– Сказал бы ему, что не его это собачье дело. Тоже мне, ведро мазутное! От зависти лопается.

– И еще,– продолжал Халил, все так же не замечая отца,– он мне кое о чем рассказал. «Мы, говорит, в твои годы за колхоз боролись, горели в огне, замерзали на холоде. Да и в войну тоже... А ты вон уж какой большой, и целый год без дела болтаешься. Никакой, говорит, от тебя никому пользы...» Разве он не прав?

Карасай, слушая, терпеливо перевел дух. Но лицо его багровело, на щеках обозначились желваки.

– ...Оспан, пока мы отдыхали, разглядел суслика. «Вон, говорит, видишь? Тоже ведь не знает ни минуты покоя. Таскает все к себе и таскает. А натаскает, на зиму завалится и будет себе грызть да поправляться. А что толку? Какая польза от него? Да никакой. Даже сусликам-соседям никакой пользы. И вот у вас, говорит, в доме тоже самое. Подумай, говорит, об этом...»

– Хватит!– рявкнул Карасай, потеряв последнее терпение.– Нашел кого слушать! Или правду говорят: кривой конь всегда найдет хромого. Хорошенькое время настало, если уж этот дурак Оспан начинает учить жить... Все, хватит болтать, ложись давай спать. Завтра ехать надо.

– Нет, коке, я никуда не поеду!

– Не поедешь?! Тогда пошел отсюда! Чтоб ноги твоей здесь не было, чтоб духу твоего...

Большая десятилинейная лампа с увернутым фитилем скудно освещала горницу. Приподнявшись на постели, Халил осторожно спустил ноги и потянулся к лампе, чтобы потушить, но вздрогнул от тихого голоса Акбопе:

– Не надо, пусть горит.

Он с удивлением обернулся к ней и увидел, что она не спит. Молодая женщина лежала с запрокинутыми руками и, напряженно о чем-то думая, неотрывно смотрела в потолок. На потолке обвалившийся кусок штукатурки обнажил почерневший брус матицы.

Халил неловко опустился обратно на кровать. Акбопе казалась чем-то расстроенной, и он не мог понять: может быть, она обижается, что он, вернувшись с базара, не бросился сразу же к ней, а может, она слышала о его ссоре с отцом и вообще удручена всем, что произошло сегодня в доме? Ему жалко Акбопе, но он не может найти подходящих слов, чтобы как-то утешить ее и ободрить, и вообще в сознании его до сих пор никак не укладывается, что она теперь жена, свой, близкий и родной человек.

– Халил, – неожиданно позвала она, и голос ее заставил тревожно забиться сердце. – Халил, ты не спишь?

– Нет... Не могу...

– И я.

Опять молчание, долгое, напряженное. Во всем доме давно уже тихо.

– Халил, слышал, что сегодня произошло?

– Да. И мне досталось... Отец какой-то странный стал. Заладил одно и то же: базар, базар.

– У моего то же самое. Будто их по одной мерке шили...

Лампа зачадилась, и в горнице запахло керосиновой гарью. Акбопе, приподнявшись, протянула руку и прибавила фитиль. Огонь вспыхнул ярче.

– Ругает он тебя?.. А за что?

– Да все одно и то же. Не умеешь, говорит, торговать, ни к чему не пригодный. А у меня душа не лежит к базару! Что я могу с собой поделывать?.. Завтра, говорит, поедет в Омск.

– Ты поедешь?

– Ни за что! Поэтому-то он на меня и... Не поедешь, говорит, уходи из дому!

– Уходи... А куда уйдешь?

Халил ничего не ответил. На языке у него вертелось: «Мало ли куда, земля большая», – но, подумав об Акбопе, он промолчал. Молодая женщина, казалось, угадала его мысли.

– Поступай как знаешь, Халил. От чужого ума еще никто богатства не накопил. А чем пропадать тебе, как Жалилу, лучше уж...

Халил плохо понимал, что говорит ему Акбопе, – он не сводил с нее глаз. У него никак не укладывалось в голове, что теперь она жена ему, и он не знал, как себя вести. А молодая женщина, продолжая говорить, поднялась в постели и, дотянувшись до лампы, потушила свет. Халил успел заметить полные белые икры, мелькнувшие под ночной рубашкой. Укладываясь под одеялом, Акбопе говорила в темноте:

– Может, ты меня боишься, что свяжу тебя по рукам и ногам? Поступай как хочешь. Ты свободный человек. Ну, а в остальном...

Рано утром, едва начало светать, Халил поднялся и, осторожно одевшись, вышел со двора. Он не стал дожидаться завтрака.

В совхозном поселке все уже были на ногах. В кабинете директора Халил застал множество народу. Федор Трофимович окруженный громко спорящими людьми, едва взглянул на вошедшего.

– А, заготовитель, – узнал он Халила. – У нас тут небольшое совещание. Зайди к заведующей столовой. О мясе с ней договаривайся.

И спор, утихший на мгновение, вновь закипел вокруг директорского стола. Как понял Халил, собравшиеся шумели о нехватке стройматериалов, о том, что давно пора бросить весь транспорт на вывоз камня из нового карьера в Тугур-Джап. Присутствия Халила никто из собравшихся не замечал.

Подождав в сторонке и видя, что спору не будет конца, Халил вновь пробился к директору. Федор Трофимович с раздражением поднял от бумаг голову.

– Дорогой, я же тебе ясно сказал: иди в столовую!
– Да не нужна мне ваша столовая!– выпалил Халил.
Директор удивился:

– А что же тебе нужно? Мясокомбината у нас пока нет.

Но взглянув на лицо Халила, Федор Трофимович мгновенно смягчился.

– Может, тебе что другое нужно? Так говори, не стесняйся.

– Я работы пришел просить.

– Ра-боты?..– удивился директор.

В кабинете установилась тишина. Моргун переглянулся с немолодой усталой женщиной, сидевшей у края стола.

– Ты ведь, кажется, сын Карасая?– спросила Райхан, внимательно разглядывая юношу. И тут же отметила про себя: «Вылитая Жамиш!»– Да,– продолжала она,– нам нужны люди. А какую бы ты работу хотел?

– Не знаю...– растерянно проговорил Халил.– Шофером бы хорошо.

– Права есть?– деловито спросила Райхан.

– Нет. Но в прошлом году я ходил в кружок водителей!

– Жаль... А шоферы нам необходимы. Получаем двадцать новых машин. Возможно, даже авторота у нас откроется.– Она обратилась к директору:– Федор Трофимович, если мы срочно не подготовим шоферов, придется туговато. Может, поставим парня к кому-нибудь из опытных на стажировку?

Получив согласие Моргуна, женщина придвинула к себе чистый лист бумаги и стала быстро писать.

– Приказ директор издаст потом... Вот, возьми эту записку и найди завгара Морозова. Пока поработаешь стажером. Будешь получать половину зарплаты. Ну, согласен?

– Конечно!– Халил и не ожидал, что вопрос о работе решится так скоро.

С запиской в руках он побежал разыскивать заведующего гаражом.

Морозов оказался человеком низенького роста, лысым, в очках. Он долго читал записку, затем глянул поверх очков на Халила.

– Вот там, за воротами, стоят машины. Видел? Найди там Дерягина. Кажется, он еще не ушел в рейс...

В гараже, как всегда перед началом долгого рабочего дня, стояла суета. Шоферы доливают радиаторы, запускают моторы. На расспросы Халила, где ему найти шофера по фамилии Дерягин, кто-то, не глядя, ткнул пальцем через плечо:

– Вон, тринадцатая...

Халил уже успел узнать, что в одном гараже номера всех машин начинаются одинаково, и водители называют лишь последние две цифры. Он медленно пошел вдоль ряда машин. Наконец на борту большого ЗИСа разглядел: 10-13.

Самого шофера ему не удалось увидеть, – из-под автомобиля торчали одни лишь ноги. Халил остановился и стал ждать. Судя по тому, как напряженно двигались ноги распластанного на спине шофера, ему приходилось трудно. Из-под машины доносился скрип ключа. Халил присел на корточки и заглянул. Он увидел богатыря в майке, волосатая грудь которого вздымалась как холм, поросший бурьяном. В огромных ручищах шофера, орудовавших ключом, угадывалась чудовищная сила.

Халил собрался было окликнуть своего нового шефа, но что-то знакомое показалось ему во всем богатырском облике водителя, а когда удалось разглядеть его лицо, язык как будто присох к гортани. Это был тот самый парень, с которым они не ладили на танцах, а затем столкнулись у трактора в ночном поле. В ушах Халила до сих пор стояла мрачная угроза раздосадованного богатыря: «Ну, сопляк, еще попадешься!» Радость, с которой Халил выскочил из директорского кабинета, разом померкла.

Он повернулся, чтобы незаметно, пока не увидел его парень, уйти, и ушел бы, если бы не вспомнились

слова Тамары: «Ты его не бойся, он совсем не такой, каким кажется». И Халил решился.

– Ты не Дерягин будешь? – позвал он, трогая богатыря за ногу.

– Допустим, – прогудело из-под машины.

– Тебя Морозов вызывает.

– Что он, соскучился? Пусть сам подойдет. Чего курьеров посылает?

«Не хочешь, не надо», – подумал Халил и повернулся уходить. – « Попрошу Морозова прикрепить меня к кому-нибудь другому».

– Эй, стой!

Дерягин вылез из-под машины и приближался, вытирая перепачканные руки ветошью. Он подошел, взглянул в лицо Халила – и заморгал, заморгал глазами.

– Слушай-ка, парень, а ведь я тебя где-то видел!.. Вот память-то...

– Может быть, – уклончиво согласился Халил. Они отправились к завару.

Получив распоряжение заведующего, Дерягин оскорбился.

– Этого мне не хватало! Да я что, один не справлюсь? До сих пор обходился и без помощников и без надзирателей.

– Не дури, Вася. Прикрепляю его к тебе, как к опытному шоферу. Месяц поучишь, а там он и сам поведет.

Низенький Морозов миролюбиво поглядывал на богатыря поверх припущенных очков. И все же Дерягин, не решаясь больше возражать, заносчиво вздернул подбородок.

– Пошли! – буркнул он Халилу, мгновенно окинув его неприязненным взглядом.

Вернувшись к машине, Дерягин порылся в ящичке, достал путевку и, уходя к диспетчеру, приказал:

– Под сиденьем шприц. Сходишь к заправщику, наберешь масла. Всю машину смажь.

И, не взглянув больше на помощника, ушел, помахивая путевкой.

Набрав в шприц масла, Халил в растерянности топтался возле машины. С мотоциклом было проще: там нужно прошприцевать в двух-трех местах – и делу конец. А с чего здесь начинать? Подыскивая, куда бы можно приткнуть носик шприца, он стал обшаривать машину, заглядывая в мотор и под колеса.

Вернувшись, Дерягин застал своего стажера под машиной. К тому времени Халила стало не узнать. Воротник белоснежной рубашки черен от грязи, пиджак в пыли и солидоле, а лицо вымазано так, словно его специально поливали из масленки. Дерягин про себя одобрительно отметил эти перемены, но вида не подал. Достав грязное измятое ведро, он бросил его Халилу, коротко приказав:

– Радиатор залей.

Халил бегом понесся к колодцу. Судя по тому, что Дерягин не делает ему никаких замечаний, все пока идет хорошо. Он зачерпнул ведро и быстро вернулся назад. Холодная вода с ласковым журчанием полилась в глубокую трубу радиатора. Халил все круче наклонял ведро. Вдруг вода хлынула через край.

Дерягин, заметив, выругался и схватил помощника за руку.

– Ты когда-нибудь водку, пил?

– Нет... Хотя да, пил, – не сразу нашелся Халил.

– А если пил, так какого черта! Когда пьешь, ты что делаешь? Глотаешь или льешь без удержу?

Халил с ополовиненным ведром в руках, мокрый и испачканный, не знал что и сказать.

– В трубу все равно что в глотку, – пояснил Дерягин. – Будешь лить – поперхнешься. Помаленечку заливай... Понял?

И в самом деле, – снова наклонив измятое ведро, Халил увидел, что тоненькая струйка с журчанием устремилась в темную утробу радиатора. Тихо улы-

баясь, Халил запомнил первый урок. Наконец в ведре не осталось ни капли, и Халил крепко завинтил пробку.

Отправляясь в поездку, Дерягин не счел нужным сказать помощнику, куда и зачем они едут. Он кивнул, чтобы тот занял свое место, залез в кабину сам и громко захлопнул дверцу.

Халил вспомнил, что уходя сегодня из дому, он так и не позавтракал, но сказать об этом суровому шефу не решился. Удивительным и необычным выдался сегодняшней день. Разве мог он подумать, что так все получится? И он поехал в первый свой рейс, не только не предупредив никого из домашних, но и сам еще плохо веря в столь быстрые и неожиданные перемены в судьбе...

Едва занимался день, далеко в степи среди унылых голых холмов Тугур-Джап начинали греметь частые взрывы. Фонтаны земли, взметываясь в небо, лениво оседали обратно. Глыбы белого рваного камня усеяли склоны холмов, изъезженные вдоль и поперек беспрерывно снующими машинами.

Натужно воя, тяжело груженная машина Дерягина выбралась из глубокого карьера. В просторной кабине кроме Халила пристроился на обратную дорогу могучий рослый старик, приехавший сегодня раскапывать одинокую забытую могилу. Он собрал в грубый крепкий мешок откопанные кости и бережно положил свою необычную ношу в кузов поверх нагруженного камня.

Халил, видевший, что за странный груз везет старик, сгорал от любопытства. К счастью, старик оказался человеком разговорчивым и первый приступил к расспросам.

– Из каких мест, сынок?– приветливо задал он традиционный в степи вопрос.

– Я сын Карасая, ата.

– Карасая?– старик вдруг посуровел и надолго умолк, сощурившись на бегущую под колеса дорогу.– Значит,

сын Карабета? – уточнил он, не глядя на Халила. – Младший, что ли, который после Жалила?

Халил кивнул.

– Как матушка твоя Жамиш – здорова?.. А ты что тут делаешь? Работаешь или приехал посмотреть?

– Работаю. Камень вот вывозим.

– Ага, смотри ты...

Халил посмотрел в окошечко на месте ли в кузове мешок и набрался смелости.

– Ата, а что это вы за кости везете? И почему тот человек один тут похоронен?

Старый Кургерей скорбно покачал головой.

– Всякий человек, сынок, остается там, где придется... Хороший был парень, мой родич. Я уж давно собирался перевезти его кости, да все боялся потревожить могилу. Грех все-таки, нельзя. Ну а уж теперь... Мне ведь тоже недолго осталось, вот и будем мы с ним лежать вместе. – Старик помолчал и добавил: – А я, как услышал, что рвут камень, испугался за могилку... Но хорошо все получилось. Удачно приехал...

Заинтересованный Халил не спускал со старика глаз. А Кургерей, покачиваясь на пружинистом сиденье, задумчиво смотрел на бегущие навстречу машины, безучастно глядя, как возникают они далеко впереди, сближаются и проносятся мимо. Смотрел на всю эту непривычную деловую суету в преображенной степи, видел живую заинтересованность своего молодого соседа и в памяти его невольно вставали поросшие быльем картины давно прошумевшей жизни, картины тревожной поры, которой нет и не будет забвения...

Третья песнь старого Кургерей

– ...Так вот, от всего нашего поля остался лишь маленький клочок, и это была беда, несчастье всего аула. На что было теперь надеяться? На коров? Так они, как я уже рассказывал, запрягались и от этого бросили доиться. Ни хлеба, ни молока. Сулу-Мурт стал прок-

лятым человеком, и никто в ауле не хотел больше верить ни одному его слову. Все отвернулись от нас.

Мы понимали, что хлеб подожгли чьи-то руки из аула Малжана. Но... не пойманный – не вор, и тут ничего не поделаешь. Нам оставалось одно – молчать, терпеть и ждать.

Наступила зима, и Сулу-Мурт отправился к Малжану просить работы. Он пришел к нему как человек, не имеющий ни капли зла, и может быть, поэтому удивленный Малжан не отказал ему, не прогнал его с насмешками, а нанял табунщиком. И Сулу-Мурт так впрягся в работу, так убивался за байское добро, что вошел в полное доверие к самому Малжану, вошел настолько, что на него не падало и капли подозрения... Я к чему это говорю? С некоторых пор у бая вдруг стали пропадать из косяков по две-три самых лучших лошади. Воров искали, караулили, но не находили. А получалось все очень просто. Сулу-Мурт пригонял лошадей ко мне, я седлал своего гнедого и отгонял их в Шарбак-Куль или в Малтай. Мы тогда немало выменяли и муки, и зерна, и других припасов.

Так я вновь принялся за старое ремесло.

Но задуманная нами месть Малжану продолжаться долго не могла. После нескольких пропаж бай все же заподозрил Сулу-Мурта. А после одного случая эти подозрения перешли в уверенность.

Как-то в затяжной снежный буран вместе со Сулу-Муртом потерялся целый косяк. Искали их долго и наконец нашли. Но нашли одного Сулу-Мурта. Лошадей и след простыл. Замерзающий Сулу-Мурт рассказал, что напуганные лошади забрались на болото и провалились в трясину. Все до одной. Бай не поверил, но доказать ничего не мог. Тоже: не пойманный – не вор... А тех лошадей мы с жигитами увели буранной ночью, пригнали в аул и потихоньку закололи. Мясо раздали по домам, а шкуры сожгли. И все – никаких следов.

Зиму мы прожили, и неплохо прожили, а летом грянула беда. Июньский приказ о мобилизации разорвался в степи как бомба. Сколько было слез, – стон стоял по аулам. Но отвести несчастье не было сил. В первый же мобилизационный список Малжан внес Сулу-Мурта. Так он рассчитался со своим врагом.

Уезжая, Сулу-Мурт наказал мне: оберегать и не давать в обиду Райхан. Ей тогда исполнилось десять лет, девочка знала грамоту, и моей заботой было устроить ее на учебу в городе.

Так оно потом все и получилось, и я когда-нибудь еще расскажу об этом, – сейчас же я вспоминаю Сулу-Мурта и нашу последнюю с ним встречу...

Долгое время от мобилизованных не было ни слуху ни духу, и мы, грешным делом, стали подумывать плохое. Мало ли что могло случиться... А время шло, и вот уже царя скинули, потом не стало Временного правительства, и у власти вроде бы укрепились большевики. Разгорелась гражданская война. Все эти события, хоть и с большим опозданием, но докатывались и до наших мест.

Как сейчас помню, в восемнадцатом году осенью, поздней уже порой, к нам в аул вдруг нагрянул из Омска большой отряд. Кто такие – белые, красные? Ничего не разберем. Солдаты как-то разбрелись кто куда, но большая часть осталась в байском ауле.

И вот приезжают за мной от Малжана, приезжает Карabet с двумя солдатами. Ему тогда лет уже девятнадцать исполнилось, и держался он важно, разговаривал свысока. На голове у него фуражка, сбоку сабля болтается. Вошел он ко мне в кузницу и орет:

– Эй, кончай-ка все. Там зовут тебя, – и ногой подрыгивает, усмехается. – Живого или мертвого приказано доставить. Хоть голову в мешке привезти.

Солдаты, что с ним приехали, посмеиваются, держатся вольно. Смекнул я, что дело плохо. Зачем я кому-то понадобился?

По дороге в аул Малжана я тихонько спросил у солдата – кто они. Оказалось – колчаковцы. Солдат так и заявил мне, что они воюют с большевиками, вот скоро уничтожат всех и восстановят прежнюю Российскую империю.

Совсем мне тревожно стало. На кой им черт эта Российская империя сдалась? Да и как они ее восстановят? У байского дома стоял часовой: он внимательно осмотрел нас и снял с Карабета саблю. Затем разрешающе мотнул головой.

– Заходите.

Меня провели в дальнюю горницу. Там за столом, развалясь на двух подушках, лежал грузный офицер. Когда меня ввели, он тут же подскочил на месте. Глаза у него чуть не вылезли от удивления. Теперь-то и я узнал его. Это был Кабан, давнишний атаман нашей разбойничьей ватаги.

– Гришка!– закричал он.– Это ты?

А сам красный, потный, в расстегнутом кителе, видно, немало уж высосал самогона с кумысом.

– Садись сюда!– приказывает и хлопает рукой рядом с собой.

Сам Малжан, сидевший тут же, сначала не хотел и смотреть на меня. Когда я вошел и поздоровался, он даже бровью не повел. Но теперь гляжу, и у него глаза на лоб полезли.

– Кургерей,– спрашивает,– ты, значит, знаешь этого начальника?

И залебезил перед Кабаном, заюлил, как собачонка, начал нахваливать меня:

– Хороший,– говорит,– человек, очень хороший. Наш аульный кузнец.

– Вот, вот,– сказал мне Кабан,– как раз ты-то нам и нужен. Мы тут мобилизуем кое-кого из ваших, так ты должен вооружить их. Придется тебе ковать сабли.

– Да я,– говорю,– никогда и не пробовал ковать сабли!

– Ну, хватит,– осадил меня Кабан.– Вот хозяин говорит, что в прошлом году ты ковал для аула серпы. Вот и для нас сможешь. Ничего хитрого нет. Понял? А отказываться не советую. Это по-дружески...

Потом он порылся в кармане и достал золотой браслет. Подмигнул мне и поманил ближе.

– Вот,– шепчет,– видишь? Ваши туземцы не умеют этого ценить. Ты думаешь, где я это взял? Здесь вот, с занавески снял... Ты вот что, Гриша, ты укажи на дома, где имеются такие вещицы. В обиде не останешься. Слово даю.

«Ну, думаю, как был бандит, так и остался бандитом. И это – колчаковский офицер! Что же тогда за солдаты у него?»

Не успел я ничего ответить, как в комнату вбежал солдат и испуганно закричал:

– Едут!

Кабан вскочил на ноги и, застегивая китель, побежал из дома.

В комнате никого не осталось, я подумал и тоже вышел на крыльцо. Вижу – подкатывает черная повозка, окруженная конвоем, останавливается и из нее вылезает какой-то толстый усач. Кабан, подтянутый, застегнутый на все пуговицы, бросается навстречу, щелкает каблуками, руку под козырек.

Гляжу, до меня никому дела нет, я тихонько отошел в сторонку, отвязал свою подводку и поехал домой.

В этот день я извелся весь, ожидая, что вот-вот за мной приедут опять. Чтобы хоть как-то успокоиться, я пошел в кузницу и принялся за работу. Дело у меня всегда находилось – то самовар починить, то ведро полудить, то к какой-нибудь кастрюле ручку приделать. Много приносили всего... Сижу, значит, я, стучу, названиваю. Вдруг скрипнула дверь, я обернулся: Райхан. Но не бойко влетела, как обычно, а прокралась, подошла и шепчет:

– Ага, идемте в дом дедушки Жусупа. Вас зовут.

А у самой слезы на глазах и голосишко дрожит от страха.

– Кто, – говорю, – зовет? Что случилось?

– Отец. Отец приехал.

Я даже ушам не поверил.

– Да что ты говоришь! Сулу-Мурт?! Когда он приехал? И побежали мы с ней вместе.

В доме Жусупа я действительно увидел своего пропавшего друга. Кроме них еще сидело человека два или три, – уже успели прибежать. Сулу-Мурт бросился обнимать меня. Я едва узнал его: в военной форме и на шинели нашиты две алые ленточки. Значит, наш, красный.

– Ну, Кургерей, говорить потом будем. Еще наговоримся. А сейчас просто нет времени. Попал я к вам, как говорится... Вот не думал, не гадал, что белые уже добрались и сюда! Надо мне как-то выбираться.

Он достал из-за пазухи большой сверток газет, обнял и погладил по головке притихшую счастливую Райхан.

– Здесь последние большевистские газеты. Райхан-жан вам потом прочитает. А я вам скажу только вот что. У нас, у казахов, еще многие толком не понимают: кто такие белые, кто такие красные. Запомните: от белых хорошего ждать нечего. Они пришли, чтобы восстановить прежние порядки. И вот передайте всем: пусть каждый как только может, мешает им. Надо помочь красным, они уже недалеко. А прогоним мы Колчака...

Но договорить ему не удалось. С улицы вбежал стоявший на карауле жигит.

– Ой-бай! Идут. И, кажется, сюда идут!

И такой испуганный, такой бледный, что мы вскочили на ноги. Опасность была одна – как бы не нашли Сулу-Мурта. И мы кое-как запрятали его, а сами уселись вокруг стола, будто тихо и спокойно пьем чай.

Вернулся со двора старик Жусуп, трясет от испуга головой. Рассказывает:

– Обыскивают все дома подряд, с обоих концов аула. Видно, донес кто-то.

Сулу-Мурт услышал и выбрался из своего укрытия.

– Отец, – сказал Жусупу, – позвольте мне взять вашего коня. Мой сильно устал в дороге. Была не была, попробую пробиться. Ну, а если... так лучше в бою пропасть, чем в чулане.

– Подожди! – остановил я его. – Постой... Снимай скорей шинель. Снимай, снимай! И на, надевай мой чекмень.

Он еще ничего не соображает, а я уже стащил с него шинель, надел на себя, нахлобучил на голову красноармейский шлем.

– Куда ты! – запротестовал Сулу-Мурт, догадавшись наконец о моей затее. – Брось, я сам. Будь что будет.

– Да тебе же шагу не дадут ступить, сразу же схватят. А если они бросятся за мной, вот тут ты не зевай и убирайся из аула. Понял?

И, не слушая больше Сулу-Мурта, я выскочил во двор и отвязал его усталого коня.

Солдаты были уже близко, в третьем или четвертом доме. Я насчитал их человек десять. Меня они пока не заметили.

Выехав на улицу, я пустил коня рысью и скоро услышал крики, а затем и выстрелы. Увидели! Конь подо мной, как ни устал, при звуках пальбы встрепенулся и пошел широким галопом. Оглядываясь, я с радостью разглядел погоню: солдаты беспорядочной кучей, все, кто ша-рили по домам, летели за мной, нахлестывая лошадей. Значит, Сулу-Мурту путь был открыт.

Вначале мне удалось оторваться и уйти далеко вперед, но потом разрыв стал сокращаться и я понял, что мне на усталой лошади не уйти. Догоняя меня, преследователи открыли частую стрельбу, и мой конь вдруг споткнулся, и на всем скаку грохнулся на землю. Одна мысль сидела у меня в голове, когда я летел из седла: жаль, что не удалось увести погоню подальше от аула...

Я сильно ударился о землю, в горячее вскочил на ноги, но тут же вновь слетел с ног, сбитый конской

грудью. Снова ударился и больше ничего не помнил. Очнулся я, когда четверо дюжих солдат волокли меня по ступенькам крыльца. Я узнал комнату, в которой был недавно, разглядел стол, бутылки, тарелки с мясом. За столом сидели усач, приехавший в повозке, Кабан и Карабет. Низко висевшая лампа горела плохо, в комнате было тускло, а может, это мне казалось – не знаю. Поднявшись на колени, со связанными руками, я быстро осмотрелся и с радостью убедился, что Сулу-Мурта в комнате нет. Значит, ушел, не поймали! Ну, теперь бояться нечего...

Усач стал задавать мне вопросы.

– Кто этот человек, который приезжал к тебе?

Тело мое болело, ломило челюсти, и говорить мне пришлось через великую силу.

– Какой... человек?

– Я говорю о хозяине шинели, которая на тебе!

– Моя... Купил у приезжего.

Усач рассердился и подал знак Кабану:

– А ну-ка!

С клинком в руке Кабан подошел совсем близко и склонился надо мной.

– Утром я тебя отпустил подобру-поздорову, – злорадно процедил он. – Но теперь... Говори, зачем приезжал красноармеец? Где остальные?

Чтобы не видеть пьяной рожи Кабана, я отвернулся.

– Не знаю.

– Хорошо, – вмешался усач, – приведите самого красноармейца. Пусть они посмотрят друг на друга.

«Неужели попался? – мелькнуло у меня в голове. – Бедный Сулу-Мурт. Молчать, молчать надо!»

Я с испугом уставился на дверь.

– Господин полковник, – возразил Кабан, – надо бы сперва этого как следует допросить.

Усач не стал возражать и разрешающе махнул рукой. У меня отлегло от сердца. «Врут. Никакого Сулу-Мурта у них нет. Нашли дурака!..»

Что было дальше, я помню плохо. Запомнилось лишь, что Кабан, придвинувшись к самому лицу, выспрашивал что-то, я молчал и отворачивался. Главное, чего я боялся, миновало. Вдруг Кабан размахнулся и железной своей лапой изо всех сил ударил меня по шее. Видно, совсем потерял терпение. Не успел я подняться, как пинком по челюсти он снова свалил меня на пол.

Видимо, допрос этот выглядел настолько страшно, что Жамиш, жена Карабета, убиравшая со стола, закричала во весь голос:

– Убили! Ой, убили!

– Цыц!– заорал на нее Карабет, затопав ногами.– Пошла отсюда! Подохнет – туда ему и дорога...

И вот что странно – обычно жалость расслабляет человека, лишает его последних сил. А у меня после слов Жамиш, наоборот, будто прибавилось. Я лежал на полу и чувствовал, что силы копятя во мне. Надо было лишь дождаться удобного момента... Кабан с топотом ходил вокруг и в голове моей больно отдавались его грузные пьяные шаги. Он схватил меня за шиворот и приподнял.

– Ладно,– сказал усач, сам устав от допроса,– пока довольно с него. Пусть до утра подумает. Но если не скажет утром... делать нечего, придется расстрелять.

Не успел он договорить, как я, собравшись с силами, вскочил на ноги и с разбегу ударил Кабана головой в живот. Я надеялся свалить его, выскочить на крыльцо и прыгнуть в темноту,– пускай бы тогда они меня поискали,– но страшный удар в живот лишил меня памяти. Я не разглядел даже, кто это меня ударил.

Поздно ночью я пришел в сознание и увидел, что лежу на земляном полу, на подстилке. Вокруг храпели одетые солдаты, лежавшие вповалку. Часовой с ружьем сидел рядом со мной и, склонив голову, дремал. Боль в онемевших скрученных руках заставила меня заворочаться, часовой открыл глаза и тупо уставился, моргая

спросонья глазами. Вдруг он что-то увидел и заорал благим матом. Это было так неожиданно, что даже я вздрогнул. Все остальное произошло в одно мгновение: какой-то человек как кошка прыгнул из-за моей спины на перепуганного часового и ударом в голову свалил его.

– Вставай!– услышал я.– Беги!.. Быстро!

Подгонять меня было лишне.

Пока разбуженные солдаты успели сообразить что к чему, мы уже были во дворе. Мой освободитель вскочил на коня и бросил меня впереди себя поперек седла. Конь с места взял карьером, и я, мотаясь на седле, успел разглядеть, что мы не одни.

Сзади скоро захлопали выстрелы. Тот, кто бросил меня к себе на седло, не сбавляя хода, теребил узлы на моих руках и наконец развязал. Погоня, видимо, отстала, потому что конь пошел тише, и всадник каким-то слабым обморочным голосом проговорил, протягивая мне повод:

– На... держи крепче...

Разогнувшись, сев как следует, я увидел, что это Сулу-Мурт. Как же я его сразу-то не узнал! Оказывается, он благополучно выбрался из аула, но убежать не стал, боясь, что меня поймают. Ночью он собрал несколько отчаянных ребят, и они напали на стражу.

Вот так все и произошло. Я счастливо избежал смерти и оказался на свободе. Сулу-Мурт, его мне надо благодарить всю жизнь... Ну, а дальше осталось самое печальное. Ехали мы весь остаток ночи, и когда добрались до холмов Тугур-Джап, а это километров двадцать, не меньше, Сулу-Мурт уже не мог сидеть в седле. Да и коню досталось,– легко ли тащить на себе двух таких парней. Пришлось остановиться. Я снял Сулу-Мурта с коня и положил на траву. Он был бледен и не открывал глаза. Шальная пуля попала ему в спину, он долго крепился и терпел, а теперь вот не выдержал: пуля, видать, серьезно задела его.

Усталый конь стоял рядом и не уходил.

Мы отхаживали раненого весь день, пытаюсь вернуть ему силы. Напрасно, – к вечеру ему стало еще хуже, а в сумерках он впал в забытие.

– Жалко, – бормотал он, облизывая запекшиеся губы, – жалко умирать. Еще бы годик-два...

Потом он стал поминать Райхан и просил меня заменить ей отца. Так, без конца повторяя имя осиротевшей дочки, он и скончался.

А поздно ночью, уже похоронив Сулу-Мурта, мы вдруг увидели далекое зарево. Полыхало в той стороне, откуда мы ускакали. Как потом узнали, горел наш аул Балта, подоженный отступившим отрядом колчаковцев. Говорят, что спасти что-либо было невозможно.

С тех пор на том месте, где когда-то стоял аул, никто не селился. Видал заброшенное поселение возле рощи Малжана? Развалины, бугры одни остались... Так вот, так все и произошло. Люди извели людей, оставив на земле одно лишь остывшее пепелище...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Прошедшие дожди вконец испортили дороги, и для шоферов наступили тяжелые дни. Машины с трудом одолевали степное бездорожье, и если случалось забуксовать, спасения не было: неповоротливые грузовики по самые борта увязали в раскисшей земле.

Застрав в поездке, Дерягин и Халил до глубокой ночи не оставляли надежды выбраться из трясины. Опытный шофер Дерягин умело бросал ЗИС вперед и назад, пытаясь пробить дорогу и выехать на твердое место. Но тщетно, – неистово воющая машина с каждой минутой зарывалась все глубже, липкая вязкая грязь крепко сковывала все четыре колеса.

Помогая водителю, Халил рвал колючую траву и охапками бросал под колеса. Трава моментально исчезала в хлюпающих, залитых жидкой грязью ямах.

Халил, не жалея рук, снова бросался дергать из земли колючие будылья, вырывая их с корнем.

Был момент, когда обоим показалось, что спасение близко. Одно из задних колес вдруг остановило свой бешеный бег, зацепившись за что-то, и машина заметно подалась вперед. Не снимая ноги с акселератора, Дерягин совсем высунулся из кабинки, наблюдая за колесом. Мотор выл, как диковинный зверь, попавшийся в крепкий капкан. Степь заволакивало едким вонючим дымом. Халил увидел, как Дерягин, не выключая мотора, выпрыгнул из кабины и скинул с себя старую промасленную телогрейку. Наступив ногой на рукав, он быстро разорвал ее на несколько частей и лопатой сильно вколотил под дрожащее от напряжения колесо. Снова бросился за руль. Халил, присев на корточки, не спускал с колеса глаз и суеверно бормотал старинное заклинание: «Сэт, сэт...»¹ Сейчас он готов был молиться любому богу, чтобы только не застрять здесь на всю ночь. Дерягин, так и держа дверь кабины открытой, осторожно, умело прибавлял газ. Казалось, колеса нашли надежную опору, и машина все сильнее подавалась из разболтанной колеи, как вдруг лоскутья телогрейки моментально слизнуло в грязь и колеса вновь неистово закрутились, зарываясь еще глубже.

Вырутавшись, Дерягин выключил мотор и спрыгнул на землю. Пропала последняя надежда. Теперь оставалось одно – ждать.

Ближе к ночи дождь разошелся еще пуще, и одинокая машина с потушенными огнями напоминала брошенный на мели корабль. Выбраться в одиночку нечего было и думать, а на дороге как назло ни одного огонька. Кто поедет в такую погоду?.. Скоро в кабине стало не продохнуть от табачного дыма, но Дерягин, злой как черт, не выпускает изо рта папиросы. Халил, боясь шелохнуться, сжался в комочек и забился в угол.

¹Сэт, сэт – удачи, удачи.

Машина влипла по его вине, и он ждал от шефа упреков, брани, может быть, даже чего похуже, однако замкнувшийся Дерягин словно не замечает его и лишь мрачно вытягивает папиросу за папиросой. Лучше бы он ругал его, – все было бы легче!

Сегодня пятый день, как Халила назначили стажером к молчаливому Дерягину, и все это время они в беспрепятственных рейсах: возят из карьера строительный камень. Работа выматывает все силы, и время от времени усталый Дерягин пускает помощника за руль, а сам, отвалившись к стенке, закрывает лицо кепкой и засыпает. В эти минуты Халил чувствует себя настоящим хозяином в кабине, уверенно держит руль и не спускает глаз с бесконечной дороги.

Так было и сегодня, когда возвращались из рейса. Едва забрызгал дождь, Дерягин раззевался и, уступив свое место Халилу, привычно завалился в угол. «Приедем, разбудишь», – только сказал он помощнику.

Перед самым совхозным поселком Халил увидел впереди подводу, на которой обычно доставляли в поле обед трактористам. Какой-то человек в комбинезоне прыгнул с телеги и подняв руку, прося, подвезти. Осторожно объехав подводу, Халил остановил машину.

Дождь лил как из ведра.

– Тамара?! – удивился Халил, разглядев подбежавшего человека в комбинезоне.

Девушка тоже была обрадована неожиданной встречей и, запрыгнув на подножку, всунула в кабину мокрую голову. Влажное лицо ее блестело.

– Я вижу, тебя можно поздравить! – сказала она. Польщенный Халил навалился на баранку, нажал клаксон и небрежно предложил:

– Садись, подвезу.

Завозился спавший Дерягин, снял с лица кепку. Спросонья он долго смотрел на залитую водой дорогу, на подводу, уехавшую далеко вперед, потом взгляд его

остановился на Тамаре. Он затряс головой, прогоняя сон.

– О, голубушка!– хриплым со сна голосом проговорил он, оживляясь.– Подвезти, что ли? Садись, садись... Халил, мотай-ка в кузов. Уступи место девушке.

Окончательно проснувшись, Дерягин отодвинул помощника плечом и сам сел за руль.

Халил растерянно подчинился.

– Садись, Тамара,– пробормотал он и полез в кузов. Повеселевший Дерягин широко распахнул дверцу:

– Прошу!

Однако все, что произошло дальше, сильно изумило Дерягина. Ничего не отвечая на приглашение в кабину, Тамара резко захлопнула дверцу и молча полезла за Халилом наверх. Они уселись рядышком на мокрые камни и прижались друг к другу.

Все еще отказываясь верить своим глазам, Дерягин встал на подножку и заглянул в кузов. Нет, Халил и Тамара сидели, тесно обнявшись, и дождь поливал их голые шеи. Дерягин выплюнул изжеванную папиросу и в бешенстве нажал на акселератор. Машина рванулась и полетела, запрыгала, не разбирая дороги, по кочкам и ямам.

Возвращаясь из рейса, Халил надеялся как следует отдохнуть и выспаться. Все эти напряженные дни было совсем не до отдыха. Однако едва машину разгрузили. Дерягин сквозь зубы, не глядя на помощника, проговорил, что они едут снова, в ночь. Возражать Халил не посмел. Он успел лишь сбегать домой, предупредить своих и поужинать. А отдохнуть, рассчитывал он, возможно, удастся в дороге, потому что очередь вести машину теперь была Дерягина.

Дождь не переставал, смеркаться должно было рано. Халил привалился в уголок и, повозившись, закрыл глаза. Однообразная дорога, дождь, зарядивший неизвестно на сколько, навевали дремоту. О сегодняшней встрече с Тамарой, случившейся так

неожиданно, он старался не думать. Внезапно машина остановилась, и Халил, открыв глаза, увидел, что Дерягин достал непечатую поллитровку и стакан; сердито посапывая, содрал пробку, налил доверху в стакан и, крупно, жадно глотая, выпил. Заметив, что помощник наблюдает за ним, Дерягин с отвращением сплюнул и сказал:

– Хватит дрыхнуть. Садись за руль. Как приедем – разбудишь.

Спорить с ним не имело смысла. Халил хорошо видел, что он еще не забыл сегодняшней встречи с Тамарой и теперь искал лишь повод, чтобы сорвать зло. Видимо, и в рейс, на ночь глядя, он отправился только затем, чтобы хоть как-то досадить сопернику! Ни слова не говоря, Халил пересел на место водителя.

Устраиваясь, Дерягин насмешливо проговорил:

– Не сможешь если или напугаешься, – сверни с дороги... Ну, газуй давай, воробушек.

И закрылся кепкой, затих, – похоже, сразу же заснул. День рано померк, и Халил включил свет. Рассекая пелену дождя, огни плясали на воде, залившей дорогу. Ехать приходилось наугад. Порожнюю машину то и дело бросало на кочках, и у Халила немели руки, сжимавшие непослушную баранку. Ему давно не приходилось высыпаться, и от постоянного напряжения начинало резать глаза. Дождь хлестал в смотровое стекло, ровно барабанил по крыше кабины, и весь этот монотонный шум, безлюдная мертвая дорога незаметно клонили в сон...

Халил отчетливо помнил, когда это все произошло. Устав бороться с дремотой, он сам не заметил, как закрыл глаза, забылся на одно единственное мгновение. Оставшись без управления, машина влетела в старую разъезженную колею, залитую дождем. Затрясло неожиданно на кочках, из-под колес полетели брызги, – очнувшийся Халил схватился за руль, пытаясь вывести грузовик на твердое, но было поздно. Колеса

с воем завертелись в податливой маслянистой грязи, кузов осел набок, и машина, зарываясь все глубже, загудела рассерженно и строптиво.

Все еще надеясь справиться своими силами, Халил не будил Дерягина и что было силы нажимал на акселератор. Сонливость сняло как рукой. Он хорошо отдавал себе отчет, что значило влипнуть ночью посреди степи... Но вот проснулся Дерягин, увидел что случилось и словно котенка смахнул Халила с места. Теперь уж не до сна. Чувствуя свою непоправимую вину, Халил несколько не обиделся и бросился рвать колючки. Не сидеть же было сложа руки! «Это все я, я!» – билось в его голове. Он лихорадочно рвал и подтаскивал охапки травы, но колеса мгновенно перемалывали все, что он ни бросал. В отчаянии Халил был готов сам лечь под колеса, чтобы только вытащить машину из этой проклятой трясины...

Поздно вечером, выкурив несметное количество папирос, Дерягин вдруг заворочался и небрежно турнул Халила с насиженного места:

– Встань-ка!

«Хоть бы заругался он, что ли!» – совсем извелся Халил.

Приподняв сиденье, Дерягин долго рылся в каком-то хламе и наконец достал топор. Опуская сиденье обратно, он задержался, задумался, потом, будто решившись, коротко и остро взглянул на замершего помощника, – впервые глянул прямо в глаза.

– Вот что, друг, – проговорил он трезво и жестко, – последний раз предупреждаю. Слышишь? Не встречай между нами, как человека прошу. Тамарка жена мне, и если что, не сносить тебе башки. Понял?

И, не дожидаясь, что скажет затаившийся Халил, прыгнул на землю, резко захлопнул за собой дверь.

Дерягин ушел, затихли в шуме дождя чавкающие по грязи шаги. Халил прижался лицом к запотевшему стеклу, всматриваясь в черноту ночи. Куда это он

направился, что задумал? Но разглядеть что-либо в крошечной тьме было невозможно. Лишь лил, не переставая, дождь, надоедливо барабанил по крыше кабины.

Отсутствие шофера стало беспокоить Халила. Через некоторое время он вылез наружу, опять прислушался, осматриваясь, затем, согнувшись под дождем, обошел вокруг машины. Никого. Вода затопила разбитую колею, и колес машины почти не видно.

– Василий!..– крикнул Халил в шумящую темноту и прислушался, отворачивая от дождя лицо. Он позвал еще раз и еще, чувствуя, что слабый его крик тонет в потоках дождя. Темно кругом, жутко, неудобно. Халил снова полез в кабину.

Дерягин не появлялся, словно пропал в ночи, и Халил, устав ждать и согрившись в теплой кабине, стал незаметно засыпать. Из головы не выходило зловещее предупреждение Дерягина, но больше всего мучило, что Тамара не была с ним откровенна. «Почему же она сразу не сказала, что жена ему?– раздумывал Халил.– Обманывала?..»

Заснул ли он, задремал,– Халил не помнил. Время текло мучительно медленно. Ненастной этой ночи, казалось, не будет конца. Мало-помалу пошел на убыль дождь, в степи устанавливалась чуткая, никем не тревожимая тишина глухой полночной поры. Дерягин так и не появлялся. Но вот до слуха Халила донесся отдаленный неясный стук. Сначала он не обратил на него никакого внимания, но стук не умолкал, будто добираясь до сознания, и сбросивший оцепение Халил заинтересованно высунулся из кабины. Дождь прекратился, в степи было влажно и темно, и теперь, даже не напрягая слуха, можно было отчетливо разобрать, что кто-то сильно и часто бьет топором по дереву. «Так, значит, вот он где»,– в первое мгновение подумал о Дерягине Халил, но потом, заинтересовавшись, что же может рубить человек в совершенно безлесной

степи, неожиданно подскочил от обжигающей догадки: «Березу!», и он окончательно проснулся.

Да, топор Дерягина крушил какое-то дерево, но Халил теперь прекрасно знал, что за дерево нашел в степи шофер, – вскочив из кабины, он побежал на стук, крича во все горло:

– Ва-ся!.. Василий! Не надо!

И бежал, бежал, что было сил, стараясь успеть и помешать, не дать произойти непоправимому несчастью.

Древнюю одинокую березу, сохранившуюся в этих местах с незапамятных времен, знали и почитали в округе как святыню. Еще ребенком Халил слышал суровые рассказы стариков, предупреждавших, что если тронуть священное дерево ножом, то брызнет кровь, и кровь эта падет на совесть и душу отступника, накажет его самого и всех его родственников, что местные жители пуще собственного глаза берегли одинокое, гордо вознесшееся в степи дерево.

Всякий раз, проезжая мимо, Халил издали подолгу любовался кроной березы, шумящей на вольном ветру, и в памяти его, в душе почему-то постоянно вставал печальный образ старшего брата, вот так же одиноко, как и это дерево, заблудившегося в степи и нашедшего здесь свою могилу. Может быть, оттого, что образ несчастного брата постоянно рождал в его сердце печальную и острую боль невозвратимой утраты, одинокое дерево в бескрайней степи становилось ему существом близким, как бы связанным с ним незримыми нитями родства. И, может быть, как раз сиротливое одиночество березы навевало грустные воспоминания о человеке, которого он так любил и неожиданно лишился...

Вот почему, скользя и спотыкаясь, он спешил изо всех сил, будто слышал из темноты ночи не просто стук топора, а крик близкого, родного существа о помощи. Дерево звало его, оно просило заступничества, и Халил бежал на этот крик боли и отчаяния.

Стук топора становился все громче, и скоро задыхающийся Халил различил в темноте величественную крону священного дерева и неясную фигуру человека, возившегося у его подножья.

Дерягин, сильно взмахивая топором, остервенело крушил у корней ствол. Новенький топор хищно впивался в сочную древесину, отбрасывая мелкие влажные щепки. Входя в азарт, Дерягин все глубже вгонял лезвие топора в открывающуюся рану. Он работал со злостью, с яростью, словно вымещая все обиды, накопленные за долгий и несчастливый для него сегодняшний день. С той встречи, когда Тамара, издевательски захлопнув дверцу, полезла к этому мальчишке в кузов, Дерягин искал лишь повода, чтобы дать вылиться гневу. Но Халил молчал и лишь посматривал на него виноватыми глазами, а Дерягину, чтобы взорваться, необходимо было возражение, неуступчивость, чья-то тоже бунтующая непокорная воля. И вот он схватился с деревом, чувствуя, как ликуют его неизрасходованные силы, как утешается скорой победой надменное запекшееся в злобе сердце.

– Стой! Перестань!..– еле выговорил Халил, подбегая и хватаясь за топориче.

Не ждавший никакой помехи Дерягин сначала опешил, и только потом неутоленный гнев радостно захлестнул его сознание. Сколько раз за сегодняшний день расправлялся он в душе с этим хилым, жидковатым соперником, которого почему-то предпочла Тамара! Но раньше он молчал и не подавал повода, а вот теперь сам, сам поднял на него руку!

Испытывая мстительное наслаждение, Дерягин притянул к себе запыхавшегося помощника и, глядя ему в самые глаза, проговорил, процедил сквозь зубы:

– Н-ну, сопляк! Уж теперь-то...

И кулачище его обрушился на голову ненавистного соперника. Удар был страшен, потому что Дерягин вложил в него всю силу, всю ярость истосковавшейся по расправе души.

Боль, обморочная слабость пронзила все тело Халила. Таким ударом можно было свалить быка. И все же он нашел силы вскочить на ноги. Первое, что увидел Халил, что бросилось ему в глаза, был брошенный на землю топор. Он словно звал к себе, так и просился в руку, но Дерягин опередил, успел первым и наступил на топорнице сапогом.

– А-а, да ты, оказывается, шустрый!..

Он схватил парнишку и, подняв на воздух, затряс с такой силой, словно старался вытряхнуть из него душу.

– Вася... – бормотал мотающийся в дюжих руках Халил, – прошу тебя... не руби.

Слабость, физическая немощь соперника только раздражали Дерягина. Ему хотелось битвы, чтобы пустить в дело всю силу своих литых мышц, но Халил не вынес и первого удара. Однако в просьбе теряющего сознание соперника, его жалком лепетании о пощаде дереву Дерягин увидел прекрасную возможность продолжить наслаждение расправы. И он, изо всей силы швырнув Халила на землю, вновь схватился за топор.

– Да я башку твою срублю, не то чтобы...

Слова застревали в его сухом от бешенства горле, гнев требовал выхода. Снова застучал в ночи топор, безжалостно и часто впиваясь в шатающееся дерево. Этот соперник был по силам Дерягину. Однако Халил, теряя сознание, уже ничего не видел, ничего не слышал. На глаза ему опустилась обморочная темнота, и скоро стук топора, шелест ветвей слабеющей березы слились в один неясный шум...

Утром Халил почувствовал, что кто-то сильно брызгает ему в лицо холодной водой. Он с трудом раскрыл глаза и узнал Акбопе, сидящую у его изголовья. С длинными распущенными волосами Акбопе наклонилась над спящим, и Халил, просыпаясь увидел в ее больших, как у верблюжонка, глазах глубоко затаенную жалость. В руках она держала мокрое полотенце.

– Вставать пора, – тихо проговорила она, заботливо прикладывая к подбитому глазу Халила холодное полотенце.

Едва подняв голову, Халил тотчас опустил ее на подушку. Разбитое лицо болело, глаза закрывались сами собой. Но время, как он успел определить, было уже позднее, – в комнате сияло солнце, показавшееся ему особенно ярким после нудной дождливой ночи. Надо было вставать и собираться на работу.

Послышались грузные шаги отца, и Халил снова раскрыл глаза. Старый Карасай остановился на пороге комнаты и долго смотрел на притихших сына и Акбопе. Лицо его было сумрачно. Наконец старик сплюнул в сторону остывшей печки и проговорил, процеживая слова сквозь зубы:

– Перепало, говоришь... – Поделом. – Он не ушел, все еще хмуро взглядывая на встревоженного сына, затем достал рожок и заправил за губу свежую порцию табака. – То ли еще будет. Говорил я тебе – не послушал. На кой черт сдалась эта желтоволосая чертовка? Ведь из-за нее попало...

Намек свекра заставил Акбопе насторожиться. Она медленно поднялась и отошла от постели. Халил, не зная, что ответить, лихорадочно раздумывал: откуда отец узнал о Дерягине? Ему было стыдно и неловко перед Акбопе, понявшей, что у Халила кто-то есть на стороне.

Карасай продолжал отчитывать сына:

– Прилепился к этой машине, будто пес к телеге! Да там за месяц не заработаешь столько, сколько за один день на базаре... И в кого только такой уродился, сам не пойму! – Он взглянул на Акбопе, будто раздумывая: говорить, нет? Махнул рукой. – Не хотел уж я, да... В тот раз скотину волкам стравил, – думаешь, я не знаю из-за кого? Да и в совхоз его тебя тянет... Все это она, растрепанная стерва. Нашел тоже! Чем тебе Акбопе хуже?.. Так что вот, слушай и запоминай: я тебе не дам

над ней издеваться. Если она тебе не нужна, так нам со старухой дорога. И выбирай, пока не поздно: если хочешь жить с ней – чтоб в совхозе больше ноги твоей не было. А пойдешь – можешь больше не возвращаться. И про Акбопе забудь!

Отец ушел, прогремели на крыльце его тяжелые шаги. Халил осторожно перевел взгляд на молчаливую Акбопе. Что ей сказать, как оправдаться? Да и стоит ли оправдываться? Ах, зря он тогда послушал отца и не уехал учиться! Как теперь было бы хорошо!

– Вставай, – ровным голосом, будто ничего не произошло, сказала Акбопе. – Умывайся, а я сейчас на стол приготовлю.

Она ничем не показывала, что слова Карасая хоть сколько-нибудь задели ее самолюбие.

Усаживаясь за стол и испытывая еще большую неловкость, Халил не выдержал и покаянно буркнул:

– Ладно, все. Больше я на эту работу не пойду.

Акбопе засмеялась:

– Что, стыдно с синяком показаться? Ничего, до свадьбы заживет. Собирайся скорей да иди. Поздно уже.

Отправляя его на работу, она, как обычно, положила в старенький портфельчик хлеб, масло и бутылку молока. Поставила портфель у порога.

– Что, сегодня опять будете камень возить?

Пряча глаза, Халил ответил:

– Да, теперь до самой осени придется.

Отчитав сына, Карасай отправился в контору совхоза. Он надеялся, что после сегодняшнего разговора Халил возьмется за ум. Да и вчерашние побои не должны пройти даром. Старик прошел прямо к директору.

– Слушайте, что у вас здесь творится? Я отдал вам сына на работу, а вы с ним что сделали... Ведь места живого на парне нет. Сегодня же давайте расчет! Ищите кого другого...

– Пойдите, пойдите!– взмолился Федор Трофимович не в состоянии что-либо понять из гневной речи старика.– Скажите толком – что случилось?

– А чего говорить? Вы что, не видите ничего? Парень еле домой добрался, еле ноги притащил... Хватит! Ни на какую работу он больше не пойдет. И не трогайте его!

Направляясь к двери, Карасай неожиданно столкнулся с входившей в директорский кабинет Райхан. Чтобы не задеть ее плечом, он посторонился, и Райхан, удивленно поглядывая то на одного, то на другого, спросила:

– Что за крик?

Взгляд ее остановился на Карасе.

Уходить теперь не имело смысла, и старик высказал ей то же, что и директору.

– Парень все в совхоз рвался, покоя никому не давал. А что с ним сделали? Сегодня он еле живой приполз, а завтра, глядишь, где-нибудь в яме как падаль будет валяться! Хороши тут порядки!

Постепенно до Райхан дошел смысл всего, что произошло.

– Что ж,– сдержанно сказала она,– хотите забрать сына – забирайте. Держать его никто не собирается. А что касается избиения – это мы узнаем. И накажем. В этом можете не сомневаться. У вас все?

...Халил отмывал от вчерашней грязи машину, когда в гараж ввалился Дерягин. Он постоял, наблюдая за работой помощника, потом заметил, что голова парня замотана бинтом. Криво усмехнулся:

– Ты вот что... Не думай, что у нас все кончено. Ездить со мной опасно. Попросись-ка лучше к кому-нибудь другому.

Лицо Халила вспыхнуло. Но он даже не взглянул на обидчика и только яростнее принялся тереть, промасленной тряпкой радиатор.

– Так слышишь?– повысив голос, спросил Дерягин. От ворот гаража послышался чей-то громкий голос:

– Дерягин, Талжанов! В контору...

– Еще чего...– проворчал Дерягин, роясь в кабине. Рабочий, вернувшийся из конторы, подошел ближе и, понизив голос, поинтересовался:

– Подрались, что ли?

Халил не ответил.

– Так значит вот зачем вызывают!– догадался Дерягин.– Начальству жаловаться вздумал!.. На, забирай все!– он выбросил из кабины портфель с едой и фуфайку.–И походи скажи, что мне некогда по конторам шляться. А что бил... Так еще буду бить, если попадешься.

Грохнув дверцей, он погнал машину, скрылся за воротами.

Халил поплелся в контору один.

– А Дерягин где?– спросил директор, с интересом рассматривая синяки на лице шофера.

– Не знаю... Вы вызывали меня?

Вмешалась Райхан:

– Что это с лицом у тебя, Талжанов? Подрался с кем-нибудь?

– Ни с кем я не дрался. Об машину стукнулся.

Моргун весело рассмеялся.

– Ну, ну... Так не об машину, а вот обо что стучаются,– и он показал свой сухой и крепкий кулак.– Чего не поделили? Места в кабине мало? Или Дерягин под мухой был? Он, кажется, любит заложить...

– Не знаю...– угрюмо отворачивался Халил от смеющихся глаз директора.– Мне можно идти?

– Постой,– сказала Райхан.– Сейчас уйдешь и, может быть, совсем... Ты знаешь, что родители у тебя против твоей работы в совхозе?

Халил нерешительно взглянул в ее испытующие глаза. Неужели отец уже успел побывать?

– Мне кажется, я имею право сам решать – работать мне или не работать.

Райхан вздохнула:

– Хорошо,– помолчав, сказала она.– Но с Дерягиным вас придется развести. За что он побил тебя?

– Какое это имеет отношение к работе?– возмутился Халил. Я вам жаловался?.. Нет. Мое это дело, ж нечего...

– Но-но!– прикрикнула на него Райхан.– «Твое дело»... Ладно, пойдй к Морозову и скажи, чтобы тебя перевели в мастерскую.

– Апай!– взмолился Халил.– Зачем в мастерскую? Оставьте меня с Дерягиным. За что вы меня снимаете с машины?.. Райхан-апай... Федор Трофимович... Хоть еще немного!

– Не дури!– строго сказала Райхан – Для твоей же пользы. Тебе просто необходимо поработать в мастерской. Пока ты не научишься ремонтировать машину, хорошего шофера из тебя не получится. Понял? Вот и иди. А с Дерягиным мы еще поговорим.

– Райхан-апай, если из-за меня, то, честное слово, не стоит!

– Ладно, иди, заступник,– засмеявшись, отмахнулась Райхан.

«Еще подумает, что я его испугался и пожаловался!»– уныло раздумывал Халил, шагая обратно в гараж.

Встреча в директорском кабинете вышла случайной, но Карасай понимал, что рано или поздно, а с Райхан придется столкнуться по какому-либо делу, и уж тогда не миновать долгого и обстоятельного разговора. С той поры, как колхоз «Жана Талап» стал отделением нового совхоза, Карасай ждал встречи со дня на день. И наконец главный инженер совхоза Райхан вызвала к себе своего давнишнего заклятого врага.

В кабинете Райхан сидело несколько человек, все русские, как отметил про себя Карасай, но он не стал дожидаться, пока они разойдутся, а ввалился сразу же, едва пришел, ввалился без стука, широко распахнув дверь.

– Ассалаум алейку-ум!..– протяжно и громко, по старинному обычаю, приветствовал он всех, картинно остановившись на пороге.

– Здравствуйте,– сдержанно ответила по-русски Райхан и кивком головы указала на стулья, поставленные в ряд у стены.– Присаживайтесь.

Против ожидания, она была совершенно спокойна, и Карасай отметил это. Мысленно он уже давно подготовился к предстоящему разговору, но он не ожидал, что разговаривать придется по-русски, и в том, что Райхан не откликнулась, как велит традиция, он понял, что ему предстоят тяжелые минуты.

Райхан быстро распределила задания среди сидевших, отдала последние распоряжения и отпустила всех. Затем, оставшись с глазу на глаз, обратилась к Карасаю по-казахски:

– Я вызвала вас и вот по какому делу...

Поднявшись из-за стола, она медленно подошла к окну. Настороженно выжидающему старику показалось, что Райхан собирается с духом заявить ему: «Ну вот что: или ты здесь, или я!»– и был готов к этому, потому что у нее было право поставить такое условие. Однако он снова ошибся: Райхан ни одним словом не обмолвилась о старом, хотя все в ней – ее речь, ее поведение – красноречиво показывало, что она ничего не забыла, все помнит, но не имеет пока желания ворошить обиды далеких лет.

– Вы видите, в наш край наехало множество народу и они не кому-нибудь, а нам, нам с вами, помогают в большом и общем деле. Вы, видимо, знаете, что «Жана Талап» стал отделением совхоза. Почему же вас не видно и не слышно, будто вы совсем не здешний человек? Вы что, так и намерены просидеть всю жизнь сложа руки?

– Сложа руки!..– осторожно усмехнулся Карасай.

– Ну, не сложа руки... Я знаю, вы много работаете по хозяйству. Однако же нельзя все время возиться со своей скотиной!

Готовясь к встрече с Райхан, старик много раз продумывал, о чем может пойти речь. Он не сомне-

вался, что она обязательно помянет о его разросшемся хозяйстве, и теперь, едва только зашла речь о скотине, он понял, что хотела сказать Райхан, и выложил ей давно заготовленный ответ.

– Да, это так. Скотина растет. Но что делать? Я давно не получал в колхозе ничего, что причиталось на трудодни. А ведь начислялось-то каждый год! Скот ходил в общем стаде, рос, плодился. Когда колхоз стали присоединять, я просил, чтобы мне выплатили деньгами. Правление не согласилось. И вот свалилось сразу столько, что рук не хватает. Что теперь делать? Или пусть уж звери растаскают, чтобы не было тревоги? Я бы, кажется, только спасибо сказал судьбе. – Карасай, разговорившись, настолько взял себя в руки, что при последних словах рассмеялся, как человек, уставший под непосильной и надоевшей ношей.

От Райхан, не спускавшей с него глаз, не укрылась, фальшивая наигранность его смеха. Скупой улыбкой она доказала, что понимает его положение, но возразила:

– Ну зачем же все зверям? Но ведь надо хоть какое-то участие и в общем деле принять!

– Конечно, – согласился старик и затеребил в руках шапку, – оно конечно, но ведь... понимаете...

– Говорите, говорите. Что еще?

– Да ведь как сказать... Говорят же, что язык до беды доведет...

– Ничего, я вас пойму правильно. Говорите смелее.

– Я вот что хотел сказать... Понимаете, дело тут кругом новое. Что я во всем смыслею? Какая от меня польза? Вот я и хотел... Уехать бы мне куда-нибудь в район, детей забрать. Много ли мне жить-то осталось?

Райхан удивилась.

– Вы хотите убежать? Вот интересно! Значит, раньше, когда тут никого не было, вы жили и отлично со всем справлялись, а теперь, когда появился народ, когда образовали совхоз, вы решили бросить все и

бежать с шубой и конем? Куда вы убегаете? И зачем? Разве здесь вам не найдется никакого занятия по силам?

Старик закричал, – Райхан прекрасно поняла, чего он боялся и чего просил у нее. Она с первых же слов раскусила его. И Карасай не стал больше таиться, отделываться недомолвками.

– А ты, оказывается, ничего не забыла, – вдруг сказал он, посмотрев ей прямо в глаза. – Я, конечно, понимаю... Но зачем ты переворачиваешь мои слова? Я не сбежать хочу, я ищу посильной работы. Сейчас ведь не война, когда не осталось мужчин. Это тогда приходилось собираться с силами, потому что было туго. Теперь-то зачем? Теперь и без меня хватает рук.

– Не беспокойтесь, мы найдем вам работу по силам. Вы же понимаете, – сказала она, как бы отвечая на его откровенность, – главное, была бы душа честна... В общем, сейчас мне некогда, еду в бригаду. Но вы подумайте и заходите. А насчет прошлого, – так давайте договоримся, что больше об этом не будет и речи...

Как ни готовился к встрече Карасай, как ни ловчил, – победа осталась на ее стороне. Это он признавал, не мог не признать и, возвращаясь из конторы домой, еле тащит ноги, глубоко задумавшись над тем, что недавно пережил.

Согнув плечи, опустив голову, он перебирал в памяти весь разговор и ругал себя последними словами. «Чего я напел ей, чего испугался? Черт меня дернул за язык брякнуть, что собираюсь переезжать!.. Но она-то!.. – «Не будем поминать о прошлом». Что это, хитрость, ловушка? Может, хочет изнутри меня вывернуть? Ну уж, голубушка, зубы сломаешь. Я-то пораньше тебя ухвачу!»

Однако опасаться в ближайшее время было нечего, – это он понял отчетливо. И настроение его стало подниматься.

Когда показался впереди дом, Карасай поднял голову и стряхнул задумчивость. Надо было жить и действовать. «Вот жизнь пошла!– сокрушался он.– А ведь что мне стоило раньше наложить на нее лапу. С грязью мог смешать. Посмотрел бы я на нее...»

И он вздыхал и продолжал ругать себя, испытывая запоздалое сожаление.

Четвертая песнь старого Кургеря

– ...В тот же год, когда мы схоронили Сулу-Мурта, я отвез Райхан в Шарбак-Куль. Мне думалось оставить ее у Ивана Максимовича, но у девочки неожиданно нашлись какие-то дальние родственники. Вместе с совсем ослепшей матерью она осталась жить у них.

Как того и хотел Сулу-Мурт, учиться Райхан стала в русской школе.

Время учения пролетело незаметно, и когда я увидел Райхан после школы, то поразился,– совсем невеста!.. Оказывается, родственники никак не хотели отпускать ее, сказав, что хватит им с матерью скитаться по чужим людям. В аул зачастили сваты, и девочке стоило большого труда вырваться из аула и снова вернуться к нам.

Зима в том году выдалась жестокая и небывалые морозы наделали немало горя. В бедных домах совсем не осталось мяса, а там, где что-то и имелось, люди растягивали по кусочку, надеясь дожить до весны. Весны ждали с нетерпением, во всех дворах ни на минуту не прекращалась работа,– хозяева заранее готовили инвентарь.

Зажиточым дворам той зимой пришлось особенно туго. Вышло распоряжение о конфискации излишнего имущества, и богатеи, вроде Малжана, ни дня не сидели спокойно,– все время в разъездах, несмотря на лютые морозы: рыщут по степи, по аулам, распахивая родственникам излишки. Чувствовалось по

всему, что в степи надвигаются великие перемены, а какие – сказать пока никто не мог. Но богатеи до поры до времени не вешали голов и вели себя так, словно все идет по-старому. Разве только злее стали, будто учуявшие близкий конец волки. На бедняков они смотреть спокойно не могли, понимая, что здесь их ждет окончательная расплата. А раз понимали, то и вымещали злобу как только могли. Видимо, пуще всего их злило то, что в бедняцком ауле совершенно спокойно ждали приближающихся перемен. Терять нам было нечего, и без того уже дошли до последнего, а вот лучшая пора могла наступить, на это все мы крепко надеялись.

Как-то ночью, поздно уж, когда весь аул давно спал, к нам в ставни негромко постучали. Я сначала не поверил – кто бы это мог в такую стужу и так поздно? Но домашние забеспокоились.

– Григорий, кто это там?

И собака, слышим, мечется по двору, лает, – заливаётся. Нет, значит, кто-то есть.

Вдруг послышался с улицы стон. Тут уж я не раздумывал больше и вскочил. Мороз, видно, совсем осатанел, – на окне в палец снегу, занесло все, затянуло льдом.

Я продышал дырку, выглядываю. Вижу – лежит кто-то свернувшись на снегу и не шевелится. Луна светит, снег блестит, и человек весь в белом.

Я как был в белье, так и выскочил из дома. Собака кинулась сначала ко мне, потом на улицу, – еле калитку успел отворить.

– Пошел! – кричу. Боюсь, как бы не набросилась да не искусила человека. Но собака, как подбежала к лежавшему, так и остановилась. Повизгивает, хвостом крутит и на меня оглядывается, будто торопит: дескать, скорей ты, чего топчешься!

Это была Райхан, босая, в одной изодранной рубашонке. Как только не замерзла в такой холод!

– Родная моя, да что с тобой?

Подхватил ее на руки, а она слова сказать же может: зуб на зуб не попадает. Я бегом в комнату. Но только успел подбежать к воротам, как из-за угла на улицу вылетели верховые. Скачут, кричат, лошадей нахлестывают. «Э, – смекнул я, – дело плохо!» Прыг во двор – и калитку на засов. Плохо, что собака за воротами осталась.

Верховые, слышу, остановились. Пес мой наскочи-вает, лает, потом вдруг завизжал, завизжал и умолк. Ударили, видно, чем-то...

Я отнес Райхан, отдал на руки домашним, а сам накинуд полушубок, шапку и снова к воротам. А те уж стучат, ломаются, доски трещат. Прихватил я по дороге тяжеленький такой ломик, как раз по руке.

– А ну, – сказал, – перестаньте. Что нужно?

За воротами умолкли. Потом говорят:

– Открой ворота. Все равно не спрячешь.

– Кто вы такие?

– Не твое собачье дело. Лучше открывай!

«Ах так!» – думаю. И распахнул калитку.

Шарахнулись мои герои, гляжу – к саням поближе держатся. Собака моя лежит на снегу, кровь из морды чернеет. Совсем меня зло взяло. Перешагнул я через собаку, ломик крепче обхватил.

– Ну, кто смелый? Подходи. Сейчас всех за собакой отправлю.

Боятся, совсем в кучу сбились. А я, как на грех, разглядеть никого не могу, – от ворот далеко отходить мне нельзя, со спины могут ударить.

Постояли мы, молчим. Потом те начинают уговаривать. Брось, дескать, заступаться, у казахов традиция – девушек воровать.

– Или ты, – крикнули, – вторую жену хочешь взять?

– Ах вы, собаки! – говорю. – Если девка без отца, так позорить можно? Не выйдет это у вас. Пока я жив, вы ее пальцем не тронете. Не дам я опозорить Сулу-Мурта.

И жалко мне, что их такая орда нагрязнула. Будь несколько человек, показал бы я им, как такими делами заниматься! А то от ворот отойти не могу...

А они смелеть начинают.

– Смотри ты, какой заботливый, учить нас будешь? Забыл, каким приплелся сюда? Ни рожи ни кожи...

– Болтайте, болтайте, – говорю. – Но Райхан вам не видать. Я лучше рядом с собакой лягу, чем дочку вам отдам.

– О, дочку! – зашумели. – Слыхали?

– Позор! У мусульман отец кафир. Ну, времена настали!

– Ладно, ладно, – говорю. – Нечего о временах причитать. Проваливайте-ка отсюда, пока...

– Окружай! – крикнул кто-то, и, как сейчас помню, голос этот показался мне знакомым. Но раздумывать было некогда. Я только успел прижаться спиной к воротам, как подскочил справа верховой и замахнулся соилом. Пригнув голову, я поднял лом и соил с треском переломился. Обломок упал к самым моим ногам. В это время еще один верховой налетел и ухитрился все-таки вытянуть меня плетью. Ударил и тут же отскочил в сторону.

Видимо, туго бы мне пришлось, если бы не проснулся аул. На улице показались люди, бегут к нам, кричат. Приехавшие пошли на попятный. Какой-то парень на полном скаку хотел, свесившись с седла, поднять лежавший у моих ног обломок соила, но я занес над головой тяжелый лом и жаль, что попал не по нему, а по лошади. Конь шарахнулся и понес, запрыгал, припадая на заднюю ногу.

Скрылись все, унеслись, будто и не было никого.

Тут наши подбежали.

– Что у вас тут?

– Что случилось?

А меня самого трясет так, что сказать ничего не могу. Потом подобрали мы обломок соила и направились в дом.

Райхан лежит, разметалась на постели. Бормочет что-то, стонет, плачет. Лиза моя гусиным жиром ноги ей трет. Пальцы на правой ноге совсем побелели.

– Мама!– кричит Райхан.– Где мама? Приведите маму!
«Действительно, как бы чего с матерью...» От этих подлецов всего можно ожидать.

Отошла понемногу Райхан, говорить стала. И нам удалось узнать, что произошло.

В самую полночь кто-то постучал к ним в окно. Ну кто мог ожидать, что заявится плохой человек? А ведь мороз-то: спасу нет. Свободно мог замерзнуть человек, если не открыть... Открыли. Вот тут и началось! Как только Райхан увидела всю эту ораву, бросилась со всех ног в сарай. Наверх,– там дверь была на крыше. Ободралась вся, пока пролезла, обувь где-то потеряла. И пока те крутились, орали что-то внизу, Райхан прыгнула в сугроб и, босиком, в рубашонке, побежала, прячась за домами, к нам...

– Все-таки что за люди? Это не издалека. Это наши кто-то, ближние.

Старик Жусуп долго вертел в руках обломок соила.

– А ведь я знаю чей это соил. Это Карабета. Он у них уж не одно поколение в семье. Видите, медное колечко и две черные шишки? Такого больше ни у кого нет.

Вскочил какой-то жигит, весь бледный, кулаки сжал.

– Это позор! Они не только над памятью Султана надругались, они весь наш аул опозорили. Сколько мы будем терпеть? Говорим: свобода, равенство, а что на деле получается? Не будет нам никакой свободы, пока мы всех этих баев...

Но тут вернулся человек, бегавший узнать, что с матерью Райхан, и в доме стало тихо.

– Ну, где она? Что с ней? Почему ты ее не привел?

– Не нашел,– мрачно ответил тот.

– Что значит «не нашел?...» Да говори, не тяни душу!

– Там открыто все. Двери и окна настежь. Все разбросано...

- Господи, неужели еще одна беда!
- Тише!.. Ну, что дальше?
- Я обыскал все... Нигде ее нет.
- Да как же ты искал? В сарае посмотрел бы!
- Смотрел. Нету... А одежда, и палка, и обувь, – все дома.
- Вот беда еще! Вот беда!..

Хорошо, что Райхан ничего этого не слыхала, – согрелась и уснула бедняжка.

Мать мы отыскиали уже под утро. Старушка, видимо, бросилась следом за дочерью, вышла за аул и там заблудилась, закоченела на снегу.

Аул гудел, как улей. Никто не сомневался, что налет был из аула Малжана. Старики грозили и слали проклятья: «Бог вас накажет, собак!». Молодежь горячилась и звала всех ехать чинить расправу. Найти виновного было не так-то уж трудно. А тем временем молва, что люди Малжана приезжали красть Райхан, разнеслась по всей округе. Заволновался народ...

Справив по покойнице семидневные поминки, я собрал нескольких жигитов, и мы поехали в аул Малжана. Парни теперь не боялись ни бога, ни черта. Кончилось проклятое время, когда перед баем надо было сгибаться в три погибели. Сейчас мы ехали, как равные и, видимо, у Малжана тоже поняли, что на нас не удастся прикрикнуть, как в старину. Мы все до одного ввалились в дом, и никто на нас не поднял голоса.

Карabet был дома. Увидев нас, забился в угол и только глазенками оттуда поблескивает, как нашкодивший щенок. Весь разговор с нами взял на себя сам Малжан.

- Спокойно, спокойно, светики мои, – заговорил он, едва мы приступили к делу. – Давайте сначала разберемся. Проходите, прошу, будьте гостями.

Вот ведь как запел! А раньше, бывало, рывкнет, вскочит на ноги, глаза кровью нальются.

Но из нас не сел никто, жигиты как вошли, так и остались стоять, у каждого в руках толстая, сложенная вдвое камча.

У Малжана душа совсем ушла в пятки, но он не теряет надежды, суетится, уговаривает.

– Родные мои, или вы уже не казахи? Да присядьте, как положено. Кургерей, свет мой, ты же постарше всех, умный человек. Это у них молодость играет, а мы с тобой... Проходи на тор, поговорим как следует.

От двери, сквозь строй моих жигитов пробралась байбише, жена Малжана. И тоже с уговорами.

– Дети мои, так не годится. Плохая примета, когда в доме стоят. Разве корова телится стоя?– и засмеялась через силу, надеясь все свести к шутке.

– Мы не в гости пришли. Нам нужен Карабет... А нука, выйди с нами. Пойдем, пойдем!

А возле дома уж местные собрались, еще сбегаются. Ясно, что стычки не избежать. Но нам море по колено, едва мы увидели забившегося в угол Карабета. Нам бы только до него добраться!

Заметив во дворе помощников, Карабет понемногу осмелел. Будто пес, дождавшись свору.

– Вы чего это,– говорит,– обнаглели? Еще вчера в дверь заглядывали, а сегодня... Ах вы, голь перекатная! А ну пошли отсюда! Сначала разберитесь, кто виноват, а уж потом морочьте голову. Пошли, пошли отсюда!..

Тут на него прикрикнул Малжан.

– Замолчи, я говорю! Вот язык, ядовитый!.. У людей горе, это же понимать надо. Неужели ты думаешь, что они, не разобравшись как следует, будут совать нож туда, где нет сустава?.. А вот тебе, как товарищу, как соседу, не мешало бы помочь им найти виноватого. Так нет... Сиди лучше и не прыгай!.. Ну, светики, надеюсь, вы не пришли как баба за угольком. Садитесь. Сейчас угощение будет, поговорим. Если, вы считаете, что мой сын виноват, так он вот, никуда не убежит. Да и закон есть,– куда от него денешься...

И ведь улестил, уговорил,– стали мы рассаживаться. Малжан все меня обхаживает.

– Кургерей, милый человек мы все понимаем что несчастье в доме Султана – это твое несчастье. Я сам,

как услышал, до сих пор успокоиться не могу. А уж что о тебе говорить!.. Конечно, между нами много чего бывало, но ведь мы же не чужие люди, мы же сородичи. Я хотел сразу прибежать, как только мне сказали, так ведь дела проклятые – то одно, то другое – часа не выкроишь... Теперь давай рассудим спокойно. Ты же наш человек, хоть и русский, вырос здесь, стал нам всем родным. Ну посуди сам: Карабет уже десять лет, как женат, у него дом, дети, хозяйство. Да разве такое сейчас время, чтобы брать вторую жену! Ведь скажут же! И кто это только придумал все свалить на Карабета? Ах, люди, люди!.. Признайся, дорогой, ведь ваши много чего зря болтают о нас. Вот и пустили молву. Будто в округе нет больше молодых парней! Зачем же все на Карабета валить?

– Да сплетни все это!– выкрикнул со своего места Карабет.

– Я кому сказал, чтоб ты помалкивал!– рявкнул на него Малжан.

Жигиты, что пришли со мной, переглядываются и на меня посматривают: что-то мне надо отвечать старику. Вот ведь как он завернул. Действительно, никто из нас Карабета за рукав не поймал...

Начал я издалека.

– Вот ты сородичем меня сейчас назвал... Смешно! С каких это пор байский аул породнился с нами? Всю жизнь, сколько помню, мы не видели от вас вот ни на столько добра. Одна беда шла на нас от вашего аула: буря ли, пожар ли какой... И я не помню случая, чтобы кто из нас хоть слово ласковое услышал. А теперь, видишь ли, в родню нас записал...

– Эй,– не выдержал Карабет,– придержи-ка язык! Ты с кем так разговариваешь?

– Да замолчи ты наконец!– взмолился Малжан, махая на него рукой.– Вот уж поистине: если в доме нет хозяина, так баба голова... Когда говорят старшие, младшие должны молчать. Что из того, что Кургерей

говорит со мной на ты? Убудет меня от этого? Он русский, у них, наверное, так принято... Не обращай на него внимания, дорогой, продолжай, я слушаю.

– Аксакал, вы бросьте это: русский, нерусский, – угрюмо заметил кто-то из моих жигитов. – Кургерей знает все не хуже всех нас. А если он так говорит, значит, цена вам такая...

А вот этого говорить совсем не следовало, потому что все тотчас вскочили, загалдели, затрясли плетями. Как еще в драку не кинулись? И только один Малжан как сидел, так и остался, будто ничего не видел, ничего не слышал. Покачивая головой, он чуть слышно бормотал: «Вот время пришло, вот время!..»

Я еле успокоил своих.

– Аксакал, – говорю, если нужно, закон найдет виноватого. Вы, наверное, не знаете, что у нас в руках обломок соила Карабета. Этого достаточно... Мы пришли сегодня и надеялись, что Карабет признает свою вину. А выходит... Так знайте, мы не отступим, пока не отомстим за смерть. Вот так.

И я махнул своим, чтобы выходили. Больше нам в этом доме делать нечего. Смерть матери Райхан и вообще весь этот случай с похищением долго не сходили с уст. Но болтать начали разное. Одни уверяли, что воровать Райхан приезжали откуда-то издалека и что соил вовсе не Карабета, что у него сейчас и без того хлопот полон рот, ему не до девушек, другие же... Словом, чем дальше, тем больше всяких слухов, а тут еще конфискация началась – совсем о похищении забывать стали. Так болтовней одной все и пронесло. Дела большие заворачивались, все подмели под себя.

Райхан провалялась в постели долго, чуть ли не полгода. Но потом поднялась, – жизнь-то берет свое. Сколько я ни наблюдал за ней, никак не мог забыть Сулу-Мурта: все-таки она вылитый отец! И красивая такая же и бойкая. На нее уже многие у нас засматриваться начинали, но подойти не смели, – боялись. Она и в

самом деле, учившаяся в городе и хорошо говорившая по-русски Райхан была на голову выше всех наших аульных. Как к такой подступишься?

Дождавшись, пока она совсем не оправилась после болезни, я как-то затеял с ней серьезный разговор.

– Райхан-жан, мы с твоим отцом были, как братья. Ты это знаешь, и говорить тебе нечего. Так вот, когда он... тогда все его последние мысли были только о тебе. И он просил меня и взял с меня слово: выучить тебя и вообще помочь в жизни. Этот завет друга я буду помнить всегда. И вот теперь моя к тебе просьба. Ты осталась совсем одна и поэтому считай меня своим отцом. У тебя не стало отца, у меня никогда не было детей. Теперь ты моя дочь, а я твой отец...

Райхан не дала мне договорить, бросилась на шею, Слезы у ней так и брызнули.

С того дня я стал ей отцом...

Все эти события совпали с конфискацией скота у богатых. Ну, тут уж наш аул полностью посчитался с Малжаном. Бедняцкие куруки в ту пору славно погуляли в байских стадах.

Малжан, надо сказать, расставался с добром без вздоха, без жалобы. Крепкий был человек, – будто и не его совсем обирали... Но вот узнаем, что ночью, дождавшись глухой волчьей поры, Малжан бежал. Собрал, что еще оставалось из богатства, Карабета взял, жену самую младшую и – поминай как звали. Тайком все подготовил – даже старшие жены ничего не знали. Где-то по дороге узнали его, бросились в погоню, но старик не дался в руки, отбивался, говорят, двоих или троих подстрелил на прощанье.

Поговорили мы еще о нем малость и забыли, – не до него было. Жизнь пошла круто в гору, и народ поднял голову, повеселел. От раздела байского добра каждому что-то перепало, и в бедняцких дворах теперь забивали скотину и наедались до отвала. О будущем мало кто задумывался, каждый был рад свалившемуся достатку.

Иной отродясь не едал досыта, а тут вдруг – целое богатство. Как же было удержаться и не отпраздновать!

Старику Боташу, помню, досталось целых шесть голов. Старик прямо помолодел от счастья. Всю жизнь он кормился тем, что рубил зимой проруби, а ходил в одном-единственном драном малахае. «Э, – загулял он, – вражий скот, так и руби его по-вражьи». И всю скотину, что привел во двор, пустил под нож. «Хоть наемся как следует», – говорит. Скоро у него из всего хозяйства опять осталась одна тощая клячонка.

Да и мало разве было таких, как Боташ?

Короче, несколько месяцев всего прошло, как разделили байское добро, и вот уже нужда снова стала подпирать. В соседних аулах, правда, люди оказались умнее и стали создавать товарищества по обработке земли. У них хлеб появился, а значит – и скотина уцелела. У нас же еще прекрасно помнили, чем кончилась попытка заняться хлебопашеством, поэтому, обжегшись раз, никто и слышать не хотел о новой затее.

Но делать-то что-то надо! На кого надеяться? Только на себя. И снова собрали мы аульных аксакалов, посудили, порядили и не нашли ничего лучше, как тоже образовать товарищество.

Во всем этом нам много помогала Райхан. Можно сказать, вся работа с молодежью целиком легла на ее плечи. Она уже в комсомоле была, и авторитет ее рос день ото дня.

Не скажу точно, когда это случилось, но хорошо помню, что работал я в кузнице, – слышу, вдруг поднялся в ауле большой крик. Давно уж, признаться, так не шумели. Выскочил я. «Малжана поймали, Малжана!..» – кричат. «И Карабета... к аульному привезли!» – «Ну, думаю, добегались, голубчики!» Бросил все, побежал со всеми.

Аульный у нас жил в одной из комнат в доме старика Байбусына. Там жил, там и контора была. Сбежались мы. Каждому же хочется своими глазами взглянуть на беглецов. Словно волков с облавы привезли.

В дом никого из народа не пускали, и все толпились на улице. Плетенка, в которой привели, еще не распряжена, стоит возле амбара. Кони в пене, – видать, гнали во всю мочь. Ни Малжана, ни Карабета не видно, в плетенке сидела одна Жамиш с девчонкой на руках.

Пока я пробирался, так наслушался, что болтают в народе.

– Как же их поймали? Ведь они, говорят, в Китай подались.

– По дороге, видать, схватили.

– Теперь милиция. Хоть за горы сбегу, все равно найдут.

– Достанут из-под земли!

– Интересно бы глянуть – каким он стал. Похудел небось. Легко ли бежать-то?

– А чего ему? Ведь и сурок чем больше лежит, тем жирнее...

Пробрался я и вошел в дом. Мне тоже не терпелось увидеть своими глазами. На Карабета особенно интересна взглянуть, – как он теперь будет держаться? Но едва я ступил на порог, еще дверь не закрыл за собой и... глазам своим не поверил. Вижу: Карабет сидит вместе с аульным вашим за столом, сидит важно, будто это не его поймали и привезли.

– А, вот и Кургерей, – говорит. – Здравствуй, Кургерей. Как дети, семья?

Я понять ничего не могу. Что тут происходит? Потом Малжана разглядел, – сидит в углу на полу, руки заломлены за спину и связаны. Совсем не узнать старика. Раньше Малжан был красномордый, как пламя, а теперь ни кровинки в лице. Рыжие усы обвисли, будто сломанные крылья, и совсем пропал живот, – пустой весь, словно выпустили. И головы не поднимает.

Аульный о чем-то пошептался со стариками, поднялся из-за стола.

– Надо его в райцентр доставить, в милицию сдать. Приготовь-ка коней.

Карабет закивал, поднялся тоже.

– Вы только коней дайте,– говорит.– А доставить я его сам доставлю. Уж сколько ночей не спал,– еще-то одну не посплю.

Малжан, гляжу, заворочался в углу, поднял голову и уставился исподлобья на Карабета. Глаза красные, злые. Сплюнул, опять отвернулся.

Я спрашиваю аульного:

– Что же это такое? Бая связали, а Карабет на коне... Что происходит?

Карабет как ни в чем не бывало улыбается и говорит:

– Сразу и не поймешь, Кургерей. Но вот что есть, то есть. Сам я его поймал, сам и привез. Теперь понятно? Или ты забыл, как я сам всю жизнь пробыл у него в батраках, мерз, как собака, когда пас его скотину? Нет, теперь я о нем за все рассчитался! И за себя, и за отца...

– Но ты же убежал вместе с ним!

– Э, Кургерей, тут вопрос другой. Вы же никогда не понимали, что мой отец был такой же бедняк, как и все. А меня почему-то считали сыном бая. Я же помню, как вы все травили меня! Вот я и напугался. А что? И пристукнули бы под горячую руку – и делу конец. Поэтому-то я и решил переждать. Должно же было когда-нибудь все стать на свои места!.. И вот... Когда он стал собираться за кордон, я раскинул умом и решил, вернусь, думаю, в родные места, расскажу все, как было,– повинную-то голову меч не сечет. А заодно и его прихватил. Еще бы немного, и ушел он, только бы его и видели... А теперь смотрите сами, судите меня, решайте, как поступить. Все знают, что отец мой Талжан был бедный из бедных. Времена сейчас настали справедливые, и я думаю, что власть найдет истину...

Ловко он так это все выпалил, будто наизусть давно выучил. Малжан все слышал, но как сидел, так и остался, даже головы не повернул.

Старик Байбусын, хозяин дома, отмахнулся от Карабета.

– Не нам, – сказал он, – судить тебя. В этом высшие органы разберутся. Но ты вот что мне скажи: ведь за вами гнались и, когда Малжан отстреливался, почему ты ему не помешал? Где ты был в это время?

– Боке, – взмолился Карабет и даже руки к груди прижал, – ведь не я же стрелял! Да и пожалел бы этот человек меня, если он родного брата не пожалел?

– Значит, испугался?

– Боке...

Но тут не выдержал арестованный, – вскинул голову и крикнул, словно выстрелил в Карабета:

– Проклятый! Так ведь берданка-то у тебя в руках была!

– Клевета! – закричал Карабет. – Он врет! Он хочет и меня измазать кровью. Но нет, кому надо, те разберутся...

В общем отправили мы их в тот же день и на всякий случай еще двух жигитов послали. Пускай там разбираются...

Позднее известие пришло: Малжана судили и приговорили выслать, Карабет же, пока сидел под стражей, написал в высшие органы письмо, в котором доказал, что он сын бедняка. Однако в наших краях он не показывался долго. Появился лишь зимой, когда выпал снег, будто нарочно ждал этой поры, чтобы все, что было, все старые следы замело, занесло и все забылось, поросло быльем...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Жуткий истошный вой, раздавшийся под самыми окнами, заставил старую Жамиш подскочить в постели. Спросонья она не сразу поняла, что это за пронзительные голоса надрываются в глухой кромешной тьме. Впечатление было такое, будто из кого-то живьем вытягивают кишки. И только придя в себя, Жамиш сообразила, что это кошки. Их вопли, похожие то на стоны, то на предсмертный рев, разбудили ее среди ночи.

Подойдя к темному окну, Жамиш высохшей жилистой рукой застучала в стекло.

– Брысь!.. Брысь, проклятые! Смотри ведь, сколько их. Как бы ребятишек не напугали...

Но кошачий концерт загремел с новой силой. От утробных, каких-то задыхающихся воплей мороз продирает по коже.

Жамиш вышла из дома и, ругаясь, разогнала прыскавших из-под ног тварей.

– Даст же господь голоса такие,– приговаривала старушка, неслышными шагами возвращаясь обратно.

Подняв голову, Жамиш увидела, что звезды сильно поредели,– был тихий предрассветный час. Ночь шла на убыль, и Жамиш сильно удивилась, что муж до сих пор не вернулся с работы. С того дня, как Карасай устроился в совхоз кладовщиком на склад, он частенько стал задерживаться в поселке.

Войдя в дом, Жамиш накинула крючок и, шлепая калошами, подошла к постели. В доме было тихо, дети спали, скоро в окне забрезжил ранний рассвет. Жамиш в задумчивости лежала под стареньким одеялом и не смыкала глаз. Она по привычке знала, что тяжелые шаги мужа узнает издалека.

Однако напрасно она беспокоилась, ожидая мужа. Карасай той ночью никуда не уходил со двора. Возвратившись вечером из поселка, он по дороге заглянул к квартирантке. С каждым днем он убеждался, насколько Агашка Япишкина оказывалась полезным человеком. Старик еще ни разу не пожалел, что пустил ее на квартиру. По мере того, как он спускал через заведующую столовой все домашние излишки мяса, уважение его возрастало, и скоро между ними установились отношения, как между сообщниками. Старик частенько стал заглядывать в пристройку, где поселилась квартирантка, и Агашка только радовалась этому, становясь с каждым днем все приветливей.

– Дядя Карасай,– сказала она сегодня, случайно столкнувшись с ним в поселке,– когда же обмоем ключи

от склада? Пора бы уж... Нос у меня что-то давно чешется, а сегодня как раз день рождения.

– Вот как!– удивился хозяин, сильно заинтересованный бойким игривым взглядом квартирантки.– Сколько же вам исполнилось?

Агашка звонко рассмеялась, показывая полную белую шею.

– У женщин, дядя Карасай, о возрасте не спрашивают. Если еще не состарилась, значит вполне за молоденькую сойдет. Разве не так?

И снова рассмеялась, запрокидывая голову.

Карасай растерянно топтался, не зная, что сказать. Поздравить с днем рождения ему и в голову не приходило,– он просто не умел этого,– не знал и никогда никого не поздравлял.

– У казахов такая пословица есть,– проговорил он, хитро взглядывая на женщину.– Как это... «Бык стареет, но нюх остается...» Понимаешь?

– Великолепная пословица! Просто замечательная... Значит, заходите сегодня, посидим вечерок. Никого из посторонних не будет. Так, разве кто из подруг забежит... Зайдете? Или старухи своей испугаетесь?... Приходите, приходите, да с собой побольше захватите. Женщины, знаете ли, любят подарки.

Приглашение квартирантки поставило Карасая в тупик. Ну, хорошо, прийти он придет, но о каких подарках она говорила? «Женщины любят...» Что принести с собой, какие они бывают, эти самые подарки?

Вечером, появившись на пороге пристройки, Карасай увидел в глубине комнаты уже приготовленный стол. Квартирантка была не одна,– за столом сидели две грузных принарядившихся женщины. Старик узнал в них поварих из совхозной столовой.

Придя в комнату, Карасай достал из кармана и бросил на стол две длинных новеньких сторублевки.

– Мой подарок,– не совсем уверенно проговорил он, наблюдая за Япишкиной.– У нас на всяких там тоях-

гулянках только женщины обязаны все это... Ну, а раз уж теперь по-русски у нас, так пусть... Я хоть не женщина, но подарок... вот...

Старик окончательно смешался и сконфуженно умолк. Квартирантка, однако, радостно захлопала в ладоши и закричала:

– Ну что вы! Рахмет, рахмет!– и подставила Карасаю зардевшуюся румяную щеку. Старик даже отпрянул,– так все это было непривычно. Соглашаясь на приглашение игривой квартирантки и приготовив свой подарок, он хотел лишь отплатить ей за те услуги, которые она постоянно оказывала ему в сбыте мяса. Заведующая столовой была нужным для дела человеком, и Карасай намеревался закрепить отношения. А получилось...

– У нас, у казахов,– вновь заговорил Карасай, изо всех сил стараясь не показать растерянности,– у нас есть еще такая поговорка: «Платок да шуба не водица, в дороге пригодится...»

Наблюдая, как неумело обращается с раскрасневшейся квартиранткой вконец потерявшийся старик, поварихи за столом не выдержали и прыснули. Япишкина тотчас ожгла их быстрым гневным взглядом.

– А что,– поддержала она Карасая,– он правильно сказал. Очень к месту. Значит, в знак уважения, в знак внимания, дружбы... Хорошо сказано!

И чтобы не томить больше хозяина, она усадила его за стол и принялась разливать водку.

Карасай давно заметил, что водка у Япишкиной не переводится и очень часто проезжающие шоферы заворачивают к дому, как в лавку. Цена, конечно, не магазинная, но поздний посетитель за ценою не стоит...

Выпили за виновницу торжества, повторили, и раскрасневшийся Карасай выбросил на стол еще одну сторублевку.

– Для тебя!– бормотал старик, упираясь в квартирантку тяжелым настойчивым взглядом.

Женщины за столом переглянулись. Япишкина нахмурилась:

– Бросьте, дядя Карасай.

– Нет, возьми! Иначе рассержусь...

Вздыхнув, квартирантка убрала деньги.

В полночь, проводив товарок, подвыпившая Япишкина вернулась в дом и увидела за разграбленным столом набрякшего от водки хозяина. Карасай обычно пил мало, но сегодня потерял контроль и сейчас еле ворочал языком.

Женщина опустила на стул, Карасай поднял мутные глаза и узнал ее. Потом бросил на стол большую связку ключей от всего своего хозяйства.

– Наливай, Агайша! Жизнь проходит... Но если счастье нас не находит, так мы его найдем!.. А?

Закрывая глаза, Япишкина рассмеялась мелким пьяненьким смехом.

– Правильно... А кто тебе посоветовал поступить на склад?.. А? То-то. И вообще – будешь слушаться с деньгами будешь... Все у нас будет!

Она подняла свой стакан и звонко ударила о стакан хозяина. Потом встала и мягко пересела ему на колени. Карасай, чувствуя под руками горячее податливое тело, зарылся бородой в теплую шею. Корявые лапы его не умели ласкать, но старик был еще крепок, а близкий шепот женщины, ее полная рука, обхватившая его за шею, окончательно помutilи разум. Пальцы Карасая стали будто каменными.

– Господи, какие у тебя жесткие волосы, – бормотала задыхаясь Агашка, и руки ее тоже не знали покоя. – И сам весь твердый... Ка-кой ты...

Никакая сила не заставила бы теперь Карасая выпустить из своих рук обмирающую на его коленях женщину. Но вот Агашка ловким каким-то неуловимо быстрым движением выскользнула из его тисков.

– Постой, я переоденусь. Ты не смотри, – и сорвала со спинки кровати просторный цветастый халат. – А, впрочем, как хочешь. Чего уж теперь скрывать...

И теряющий рассудок Карасай представил вдруг, что перед ним сверкнула прелестница райского сада, о каких поется в тягучих томных песнях старины...

На самом рассвете задремавшая было Жамиш снова вскочила от истощного воя кошек, затевающих свои любовные игры. Она боялась как бы не проснулись от испуга дети. Кошачьи вопли слышали и в пристройке, где жила квартирантка, но там не было никакого испуга, потому что никому из двоих не удалось в эту ночь сомкнуть глаз.

Частые задержки Карасая не остались незамеченными, и скоро Жамиш своими глазами увидела, где это старик пропадает по ночам. Случайное открытие было последней каплей, переполнившей ее терпение. Гордость Жамиш страдала, однако она не бросила мужу ни слова упрека и всю боль, все унижение пережила наедине с собой.

Карасай был в поселке, когда она собрала свои пожитки в маленький чемоданчик, положила в коржун немного вяленого мяса и лепешек. Покидая дом, Жамиш достала свою лучшую, много лет сберегаемую одежду: белую шелковую шаль, черный бархатный камзол и зеленый чапан, украшенный, по обычаю, серебряными застежками.

Разминуться с мужем ей не удалось, – Карасай прибежал зачем-то домой и в воротах столкнулся с печальной, но разодетой по-праздничному женой.

– Куда это тебя? – грубо спросил он, подозрительно оглядывая пышную одежду Жамиш и особенно чемодан и мешок в ее руках.

– Куда же мне еще? На той тороплюсь, – невесело усмехнулась Жамиш, чувствуя, как горечь многих обид поднимается в ее душе. Сколько страданий вынесла она за всю свою жизнь от этого человека! Опустив поклажу на землю, Жамиш выпрямилась и, может быть, впервые за время совместной жизни прямо и остро

взглянула в забегавшие глаза мужа. Она была как молодая сегодня, – высокая, прямая, со светлым прояснившимся лицом.

– Мало ты попил из меня крови за тридцать лет, я все терпела! Никто никогда не знал, что только ты вытворял: ни из соседей никто, ни из домашних... И дети как росли, – ты хоть видел их, хоть о чем-нибудь позаботился? Все тут у меня копилось. Но теперь довольно! Люди хоть к старости набираются ума, ну не ума, так совести, а у тебя, я гляжу... Уж седина в бороде, а каким был, таким и остался! Правду, видно, говорят, что не одно лицо у тебя черное, а и душа. Все нутро!.. Что ты только думаешь о своей голове.

На языке у ней так и вертелось имя бесстыжей квартирантки, но поминать ее Жамиш не стала, – не позволяла гордость.

– Ты что это несешь? – напустился на жену Карасай. – Смотри, разболталась... Кормишь вас, кормишь...

Он осмелел, надеясь, что Жамиш не знает самого главного.

– Опять ты о своем кормлении! – воскликнула она. – Одна у тебя забота... А подумал бы, чем это ты меня ублажал? Всю жизнь сэкономили, недоедали, все берегли и складывали. А ты теперь... Да падаль я у тебя ела, падаль, что собаки даже не станут...

– Ну так ступай туда, где лучше! – вышел из себя Карасай. – Посмотрю я, где ты найдешь...

– А вот уж это не твоя забота. Но предупреждаю: Халила и Акбопе не тронь. Ты и их в грязь втопчешь. Я их заберу потом, места нам на земле хватит.

– Бери, бери, – забирай всех! Все уходите! – разбушевался старик, толкая жену из ворот. – Чтоб духу вашего не было!

Жамиш скинула его руку и подняла коржун с чемоданом. Карасай крикнул вдогонку:

– А постель-то чего оставила?

– Оставь себе, может, подавишься. От тебя мне ни одной ниточки не надо. Слава богу, что от самого избавилась!

Не оглядываясь, не прибавляя шага, она медленно пошла по дорожке к роще. Внуки, игравшие неподалеку, увидели ее и с плачем бросились к ней, подбежали, вцепились в подол. Жамиш присела, утерла и расцеловала их перепачканные рожицы.

– Играйте, играйте, жеребята мои. Я скоро вернусь.

Слезы навернулись ей на глаза, и старушка поднялась, чтоб ребятишки ничего не заметили.

Провожая жену глазами, Карасай долго стоял и о чем-то мучительно соображал. Внимание его привлек коржун в руках Жамиш. Вдруг что-то толкнуло его в сердце, он сорвался с места и побежал во двор. Дома он бросился к сундуку, раскрыл его и нырнул на самое дно, разрывая уложенные хорьковые, енотовые и лисьи шубы. Глаза защипало от едкого крепкого запаха нафталина, но старик не успокоился до тех пор, пока не добрался до заветного сундучка, окованного желтой медью. Сундук оказался не тронутым, и Карасай перевел дух, унимая колотящееся сердце.

Он посидел, успокоился, но сознание опасности уж не отпускало его. Мысли старика метались, глаза, прикрытые темными набрякшими веками, перебегали из угла в угол. Он прижал к груди кубышку и осторожным шагом направился из дома. В сарае, темном и пустом, он прошел в дальний угол и взял лопату. Там, куда падал крохотный луч света через дыру в крыше, Карасай стал копать. Земля была мягкой, влажной и хорошо поддавалась, но старик торопился и скоро вспотел. Он сбросил рубаху. Сильно пахло сырой, тронутой прелью землей, давно не знавшей солнца. Вырыв яму, он, прежде чем похоронить сундучок не удержался и открыл его. Вид тугих, плотно сложенных одна к другой пачек смягчил его взгляд. Сердце забилося ровнее, и Карасай тихо крепко закрыл сундучок. Новый

плотный мешок был припасен заранее, старик бережно завернул кубышку и осторожно, словно больного малого ребенка с неокрепшей шейкой поднял на руки...

Квартирантка, давно уже наблюдавшая из коровника за хозяином, увидела, что старик, тряся дряблым отвислым животом, принялся утаптывать заваленную яму, усмехнулась и неслышно проскользнула к себе домой. Когда Карасай, заправляя рубаху, показался из сарая, она выглянула, встретилась с ним глазами и стыдливо, словно молоденькая невестка, потупилась. Старик крикнул и несмело направился к пристройке. Женщина пропустила его в дверь и, едва он вошел, порывисто обвила полной, едва тронутой загаром рукой его морщинистую, будто выдубленную, шею...

Жамиш дождалась попутной машины и забравшись в кузов, не выдержала – оглянулась. За густой завесой пыли сиротливо удалялся одинокий, казавшийся всеми покинутым дом. Старушка вздохнула и закрыла глаза. Там, за спиной, за зеленеющей в степи рощей, оставалась вся ее жизнь: заботы, радости и многие печали. Тридцать лет она делила с мужем добровольное одиночество в этом заброшенном доме. «Теперь не нужна стала, – горько думала Жамиш. – Ах, поздно, поздно что-либо уже менять...»

Запоздалое раскаяние, боль о напрасно пролетевших годах и утраченных навсегда силах помогли ей не заметить долгой и неуютной дороги до районного центра. Она ехала, почти не глядя по сторонам, и в голове ее вились нескончаемые мысли о том, что было и чего уж никогда не вернуть...

Пятая песнь старого Кургеря

– ...Году в тридцать первом наш аул, прежде разбросанный, съехался наконец в одно место. Тогда мы решили организовать у нас колхоз и дали ему хорошее название: «Жана Талап». Это как раз тот самый колхоз, который дожил до наших дней.

Но легко сказать – решили организовать. Народ-то испокон веку привык жить в одиночку. Свое, мое – все это уж в кровь вьелось. И вот тогда большую работу провели Райхан и шофер Оспан. Они съездили в район, поговорили там, разузнали все толком, а когда вернулись, собрали всех, кого только можно. Даже старухи пришли на то собрание, даже молодые женщины. Времена-то совсем другие настали...

Специально на собрание приехал человек из района. Он долго объяснял, что колхозы теперь организуются повсюду и что, в этом-то как раз и заключается большая победа партии на нынешнем этапе. Много говорил человек из района, и многое из его речи чем дальше, тем больше становилось непонятным. Сначала люди толкали друг друга и шепотом спрашивали – о чем это он? – потом умолкли и стали ждать конца. Не может же быть, чтобы в таком важном деле все так непонятным и осталось!

Едва он кончил, народ загомонил, зашумел, задвигался.

– Колхоз... Это что за слово-то?

– Имя чье-то, наверное...

– Какого-нибудь большевика, видать.

Шум поднялся такой, – голоса не услышишь.

Человек из района начал по столу стучать.

– Уважаемые! – Здесь собрание, а не сватовство. Порядок нужен. Кому что непонятно? Аксакал, что у вас?

Старый Жусуп, ему уж девяносто лет стукнуло, поднялся, опираясь на палку.

– Дитя мое, тут в общем-то вроде бы все понятно. В самом деле, надо нам объединиться и работать вместе. Недаром говорят: «Если шестеро врозь живут, так даже удила потеряют, а хоть четверо, да вместе, так и с неба достанут». Давно пора. Но ведь опять же... «Чем знать тысячу в лицо, лучше узнать по имени одного». Кто этот колхоз такой? Скажи ты нам, растолкуй.

– А-а, понятно. Садитесь, аксакал. Сейчас расскажу. Колхоз – это русское слово. И совсем не имя чье-то. Это значит «коллективное хозяйство». А еще дальше оно будет называться «артельное хозяйство»... Я правильно говорю? – спросил он у Райхан, сидевшей рядом.

– Жусуп-ата, – пояснила Райхан, – колхоз – это два слова: коллектив и хозяйство. Вот сейчас вы здесь слышали, что весь ваш скот будет собран в одно место. Да, это так. И тогда скот уже не будет ни вашим, ни моим. Он станет общим. Мы все им будем пользоваться. Вот что значит колхоз.

– Пойдите, пойдите, – поднялся кто-то в самой середине. – А если мне захочется прирезать две головы? А другому вдруг десять? Скандал же поднимется!

– Да, да, – поддержали его. – Как тогда?

И зашумели опять, загалдели:

– Путанное все-таки дело!

– Да и не с руки казаху. Ну кто, скажи, будет ходить за этим скотом?

– Трудно, трудно.....

В общем проспорили мы почти всю ночь, пока не добрались до сути. И тут опять хорошо показала себя наша Райхан.

– Вот спрашиваете, кто будет ходить за общественным скотом... Так в этом же основа коллективного хозяйства! Человек, которому придется пасти скот, будет получать плату от колхоза, то есть за каждый день работы ему будут выдавать зерно, масло, молоко. Кто больше станет работать, тот больше и получит. Конечно, тому, кто будет валяться на боку, получать нечего. Дармоедов колхоз кормить не будет. Великий Ленин так и сказал: «Кто не работает, тот не ест». Значит, хочешь хорошо жить, – работай. А чем больше мы все станем работать, тем лучше заживем...

Той ночью мы и решили организовать одно хозяйство. Райхан просто молодцом была, – никогда я не думал, что ее слова так захватят народ. Диву давались наши люди, слушая ее!

– Вот женщина, – говорили, – не за всякого и мужика отдашь!

– В отца вся.

– Ах, жаль, не дождался Султан!

– Если б мужиком была, большим бы начальником стала!

– Так ее еще с детства видно было...

Меня эти слова будто гладили по сердцу. Смотрел я и не мог налюбоваться своей Райхан.

Ночь шла к концу, когда снова поднялся, опираясь на палку, наш самый седой и почтенный аксакал – Жусуп. Притихли все.

– Братья... Люди... – он повел головой, оглядываясь вокруг. – Я уже в могиле одной ногой. Много видел я в жизни и хорошего, и плохого. Всего пришлось повидать. Но жил-то сами знаете как – что бог даст, тем и доволен. Какая уж там жизнь! И вот теперь я вижу – проклятая эта жизнь уходит вместе с нами, стариками. Заберем мы с собой в могилу и бедность и болезни. Пусть остается вам одно только хорошее. И вот теперь, если вы объединитесь в одно хозяйство, сами увидите, насколько крепче станете на ноги. Говорят же: «Если все по разу плюнут – будет озеро»... И вот вам мой совет – объединяйтесь. Успехов вам и счастья. Иллехи аминь!

И Жусуп, погладив обеими руками бороду, благословил собрание.

– А что, – тотчас раздался голоса, – и объединимся!

– Руки две, а работа одна.

– Да что там рассуждать? Правильно все!

А когда шум стал утихать, поднялся молчавший до сих пор старый Боташ.

– Спросить можно?

Человек из района милостиво кивнул:

– Конечно, спрашивайте.

– А отказаться вступить в колхоз можно?

Вот тебе на! Ну и Боташ!

– Что вы, аксакал!– сказал представитель из района.– Все за объединение, а вы... Разве один человек пойдет против всех?

Боташ, однако, уперся, стоит как бычок, и то снимет с головы драный свой малахай, то снова натянет. Бормочет еле слышно:

– Года вышли... Стыдно будет, если не стану поспевать за всеми. А новой власти я благодарен. Вон, несколько голов скота мне выделила. Чего еще-то? Попробую уж как-нибудь прожить один. Сам буду работать, сам за все и расплачиваться...

Представитель покашлял в кулак, замялся. Что тут скажешь упрямому старику? Из народа кто-то крикнул:

– А у него вечно так. Все норовит в сторону...

– Господи, да не хочет и не надо!

– Конечно! Чего его упрашивать?

А Жусуп, так тот прямо заявил:

– Ты как верблюд – все на сторону мочишься. Всю жизнь тебя пинали, так хоть теперя бы к хорошему тянулся...

– Не надо ссориться, товарищи,– сказал представитель.– Вступать в колхоз или не вступать – дело добровольное. Силой никто заставлять не имеет права...

– Так вот и растолковать ему это надо! Теперя беднякам равенство, не то что раньше...

– Растолковать?– спросила Райхан.– А чего тут толковать? Ведь ясно же: завтра, когда организуется колхоз, земля вся станет общая. Никакой единоличной земли не будет. Куда он денется? Разве вообще уберется куда подальше, чтобы не мутить понапрасну народ!

Видно, допек ее упрямый старик, раз не выдержала Райхан.

Обиделся Боташ.

– Свет мой, я тебя еще такой вот босоногой девчонкой помню. А теперя ты так заявляешь ровеснику своего отца!.. Девушкам-то повежливей полагается быть.

– Ну-ну-ну!– прикрикнул кто-то на старика.– Придержи язык!

– Ты на кого это?

– Иди! Уходи на все четыре стороны...

Но Райхан, не присаживаясь на место, подняла руки и уняла зашумевших сородичей.

– Ага,– сказала она старику.– Я всегда уважала и уважаю ваши седины. Но запомните,– да это не худо запомнить и другим... Кончилось время, когда девушкам нельзя было раскрыть рта. Теперь у женщин точно такие же права. И эти права дал нам Ленин! Так что о старом надо забывать...

– Что она говорит!– ужаснулся Боташ.– Разве я что-нибудь сказал против Ленина? Люди, вы же все слышали...

– Говорите что хотите, аксакал. Но старых порядков не вспоминайте. А то еще находятся люди, которые оглядываются назад. Не хотите идти в колхоз, не надо. Никто вас не заставляет.

Той же ночью, даже не обсуждая, все единогласно постановили, что председателем нашего колхоза будет Райхан. Исполнилось ей в ту пору двадцать один год. Райхан была первой казахской девушкой, взявшей в руки поводья власти.

На следующий день подсчитали, что за хозяйство удалось нам всем собрать. Небогато вышло. На шестьдесят с лишним дворов пришлось около сорока лошадей, быков голов двадцать, пятнадцать коров, да десятка три коз и овец. Весна была, и скотина вышла из зимовки истощенной – еле на ногах держалась. А время не ждало: надо было приниматься за работы.

С инвентарем у нас еще хуже оказалось. На весь колхоз нашлось три деревянных сохи. Ни ярма для быков, ни одного хомута. Кнутов даже не было! Свезли на хозяйственной двор четыре разбитых рыдвана, два тарантаса да две арбы. Самое исправное, что нашлось,– это повозка Малжана, но и у той не осталось ни одного целого колеса.

Вот так нам и пришлось начинать...

Вместе с Райхан мы поехали к соседям, в Вишневку, и там помогли нам – дали ярмо, несколько хомутов и

кое-какой материал для починки телег. Из кузницы мне в те дни почти не приходилось вылезать: работа-то вся по ремонту на меня легла.

Райхан, надо сказать, тоже тогда досталось, но она словно не замечала усталости. Аульская наша молодежь в ней души не чаяла. Теперь на работу ли, с работы – песнями. И людей стало не узнать, – как праздник какой, что ли... Сильно у нас все переменялось!

Ну, если все рассказывать по порядку, так времени не хватит. Много было всего – и хорошего и плохого. Но только подошла осень, и мы подвели первые итоги. Сена мы накосили, хлеб убрали вовремя. Правда, урожай в том году получился неважный: летом-то засуха свалилась. Но и при этом, когда мы рассчитывались по трудодням, люди что-то получили и на зиму остались с хлебом. Главное же, что я заметил, это какая-то уверенность в колхозниках появилась, и они, может, впервые за всю жизнь стали чувствовать себя на этой земле хозяевами.

А только недолго нам радоваться пришлось. Той же осенью, в сырое, самое промозглое время, когда над степью засвистел режущий ветер, перед тем как, завывть бураном, на аул нагрянула неожиданная беда. Из района вдруг пришло распоряжение о налоге, а потом и пошло и пошло: что ни день, то новое постановление, новый налог. Опять потянулись к нам уполномоченные и представители. Зайдет такой человек в дом, раскроет толстенную книгу и пойдет наигрывать на счетах.

– Сколько мяса-то получили? Ага, столько-то. Значит, с вас и причитается... – И щелк, щелк на счетах. Хозяин даже за голову схватится. А уполномоченный ничего слушать не хочет, берет и увозит со двора одну-две головы скотины.

Это налог по мясу. А только уйдет один уполномоченный, в дверь лезет другой – по шерсти. А за ним третий – по маслу. И пойдут и пойдут без конца. Все равно что тучи на осеннем небе – одна другой страшнее

и гуще. Тут и налог на кожу, какой-то налог на место, просто налог, продовольственный налог.

У нас уж привыкать стали – как только запылит на дороге со стороны районного центра, знают все и готовятся: за каким-то новым налогом едут. И ждут со страхом уполномоченного: кого-то бог пошлет. Больше всех тогда боялись Косиманова, начальника районной милиции. Лет двадцать ему было, не больше, но паршивец, каких свет не видывал. Напялит на голову фуражку, а из-под нее волосенки торчат, как козья шерстка, и важный такой, надутый, ходит, попискивает на всех. Ну как же, большой начальник! Народ в ту пору вообще милиции боялся как пугала, так вот Косиманов и пользовался.

Короче, несколько месяцев всего прошло, а колхоз стал, как ошипанная курица. Боясь новых налогов, народ прирезал последнюю скотину. Чтобы мясо не пропало, насолили и зарыли в землю. Хоть это уберечь от уполномоченных! И, выходило, правильно сделали, потому что налоги не прекращались, и скоро взять с нас стало совсем нечего.

Помню, услышали мы как-то громкий женский плач. Сильно кто-то убивался, настолько сильно, что сбежался весь аул. Выскочили на улицу и мы с Райхан. Смотрим – народ бежит к дому вдовы Жаныл. А плач стоит такой, прямо по сердцу режет. Побежали и мы.

Жаныл, гляжу, совсем разум потеряла. Сидит на полу и дерет ногтями лицо, в кровь разодрала. И причитает. А против нее за столом сидят приехавшие из района Косиманов и Карабет. Да, да, Карабет. Он тогда в финансовый отдел устроился, налоговым агентом... У Косиманова привычка была – куда бы он ни приехал, куда бы ни зашел, везде проходит в передний угол и, расположившись как дома, кладет на стол винтовку, начинает ее разбирать. Разбирает и платочком протирает каждую часть. Так и теперь – Жаныл причитает – волосы встают дыбом, а он как ни в чем не бывало

сидит себе и чистит, чистит, начищает. Когда мы вбежали, он даже головы не поднял.

– Люди добрые, – плачет вдова, – посудите сами. Раз приехали – корову увели. Другой раз – трех овец с ягнятами. Одна-единственная коза осталась, чтоб ребенка кормить. Так теперь они и козу хотят увести...

Народ мнетя у дверей, вздыхает.

– Ужас, ужас...

– Что делается!

Тут Косиманов завозился, голову поднял и удивился, будто только что заметил всех нас.

– О, набежали. Для вас здесь что – голову приготовили? А ну проваливай! Кого не видели? Меня? Так я к вам еще зайду. Готовьте угощенье. А теперь пошли, пошли отсюда!

Люди боязливо стали отступать, никто слова не скажет. Страшно все-таки: начальство!

Не вытерпела, как всегда, Райхан.

– Товарищ Косиманов, неужели вы не знаете положения дел в нашем колхозе? Все, что можно было взять, уже забрали. Ни в одном дворе не осталось ни копыта! Чего вы добиваетесь? Почему вы не поставите обо всем в известность районное начальство?

Косиманов загляделся на девушку, глаза его замаслились.

– Бикеш, о чем вы говорите? Даже странно слышать... Ну добро бы кто другой! Вы же повторяете снова контры. Уж что-то, а этот-то аул я знаю, как свои пять пальцев. Здесь еще много скота припрятано, – точно, точно. Но Косиманова не проведешь. Я даже из-под земли достану!

Страшные слова он сказал, страшный человек. Бедная вдова, как сидела с разодранным в кровь лицом, так и рванулась к нему.

– На! – разорвала на груди платье. – На, бери! Режь с меня мясо, больше у меня ничего нету!

И в лицо ему, в самые глаза лезет желтой высохшей грудью. Совсем лишился разума человек. Старики, что

у двери стояли, прикрылись руками, отвернулись. Но Косиманов и бровью не повел.

– Говори спасибо, что козой отделалась. Но учти – за тобой еще три пуда мяса. Хоть землю рой, а мясо это достань. Да она нам, кажется, еще двадцать фунтов шерсти должна?– спросил он у Карабета.

На Жаньыл стало жутко смотреть. Едва только сказал это Косиманов, она вдруг расхохоталась, так и залилась каким-то сумасшедшим смехом.

– Что, что ты затыкать будешь моей шерстью? На голову свою плешивую приладишь?

Вскочила, никто и двинуться не уснул, как она сорвала с Косиманова фуражку. И все хохочет, ломается в поясе, пальцами на него показывает. В крови вся, изодранная – жутко!

Косиманов за винтовку схватился.

– Ну подожди! Не я буду, если только не насидишься у меня за решеткой!

Сцепились они. Но тут уж народ опомнился, бросились разнимать:

– Да ты в уме! Отпусти его...

– Тащите, тащите...

– Бедная, бедная. До чего довели!

– Товарищ Косиманов!– неожиданно раздался звонкий голос Райхан.– Как вам не стыдно? Поднимать на женщину руку... Вы что, забыли – теперь не старое время.

Это было словно отрезвление. Остановились все, затихли. Райхан стояла у стены с горящими глазами. Косиманов опустил руки. И мы развели их, утихомирили, разошлись по домам от греха подальше.

Но история эта не прошла бесследно. После того, как из дома Жаньыл уполномоченные убрались не солоно хлебавши, их больше не пустили ни в один двор. Никто с ними не спорил, не толкал в грудь, – просто заперли от них ворота, и все. Лопнуло терпение у народа...

Вечером того же дня перепуганный Косиманов созвал колхозное собрание. О чем там кричалось,

пересказывать долго, но всех поразил Карабет. Он вылез вперед и развернул широкою, словно подстилку для намаза, ведомость.

– Вот, – сказал он, потрясая бумагой, – здесь все записано. Колхоз «Жана Талап» рассчитался с налогами лишь на одну треть. На одну треть! А вы навалились на этого человека из милиции. Он что – себе в карман кладет ваше мясо? Или наживается на этом? У него приказ. И приказ самого Голощекина: «Ни одного копыта задолженности, – и без всяких разговоров!»

Зачесались у наших затылки. Неужели и в самом деле такие налоги спускаются с самого верха? Как же жить-то дольше?

Смотрим – наш аульный Шалтик тянет руку. «Ну, – насторожились, – что-то скажет...»

Человек он был сухонький, рыжий и совсем без бороды. Знали его как любителя поговорить, болтун из болтунов. Заведется, бывало, и жужжит, жужжит, будто надоедливая муха, – нудно так, чуть в сон не кидает. Но должностью своей аульного гордился и надувался от спеси. Как-то застал его буран в дороге и он, чтоб переждать, завернул в аул Кандыбай. А тот аул, надо знать, был самый скупой в округе. Другого такого не найдешь. И вот стучит Шалтик во все по порядку дома, – никто не открывает. Кому охота принимать нежданного гостя, готовить угощение? Так ему никто и не открыл. Тогда Шалтик озлился, достал свою печать и давай тискать на каждом окне. «Дескать, вот вам, вот, вот!..» Будто клеймо ставил своей печатью. С тех пор о нем только и разговоров, как о придурковатом. Оно, видимо, и на самом деле так...

Поднял, значит, аульный руку и разрешение получил. Встал и залился, затряс от усердия своей высохшей в кулачок головенкой.

– Товарищи, что мы делаем? Государство выделило нам скот, подарило землю, сделало нас равными и свободными. Оно отобрало у баев все и отдало нам.

А мы как его отблагодарили? Или забыли старое?.. Раз государство просит мясо – надо дать, раз масло просит – тоже дать. А иначе как же? Я, например, для своего правительства души не пожалею, если надо будет – от себя кусок отрежу!.. И я сейчас заявляю: тот, кто уклоняется от уплаты налогов, – контра. Им не должно быть пощады, никакой пощады! Почему вы им сочувствуете? Как это назвать?

– А вот так! – крикнула с места Райхан. – Вы здесь только болтаете да народ запугиваете. Ищете того, чего у нас давно нет. Кому это нужно? Думаете, власти это нужно?.. Если вы считаете нас за народ, за своих, то почему все, что вы видите и знаете, не докладываете наверху? Ну, хорошо, в районе вас не слушают, – так напишите повыше. А вы только запугивать мастера. Болтаете и сами не знаете что. Помните, неглубокий овраг быстро из берегов выходит. Вот и у вас, как у тех оврагов, – вся сила в злости. А далеко ли вы на одной злобе думаете уехать? Народ не запугаешь. А много станете пугать, можете глубоко провалиться...

В общем так это собрание и кончилось ничем. Посидели, покричали и разошлись.

Утром, едва Косиманов и Карабет убралась из аула, Райхан сама поехала в район. У кого она там была, с кем говорила – этого я не знаю, но только вернулась наша Райхан с опущенными крыльями. И Косиманов и Карабет, оказывается, обвинили ее во всех смертных грехах. В ауле, по их словам, много припрятанного скота, и жители ни за что не хотят отдавать ни одной головы. Подстрекателем всего этого является якобы Райхан. Вот ведь что наплели, проклятые. Начальство в районе посудило, порядило и постановило снять Райхан с поста председателя колхоза. Рассказывают, что враги наши, все эти Карабеты, люди с черной совестью и душой, больше всего радовались поражению Райхан. «Безрогая коза, – смеялись они, – все рога искала, да без ушей осталась». Обидно, конечно,

всем нам было. Что это такое, на самом деле: только было народ начал поднимать голову, как ему снова палкой по шее?.. Перегиб, как потом оказалось, неправильная политика. Разгул всяких дураков, которые, обрадовавшись воле, вместо того, чтобы ostrичь, стали направо и налево рубить головы...

Кажется, никогда еще нам не приходилось так трудно, как в ту пору. Зиму мы протянули на мясе, которое припрятали заранее. А вот весной, едва лишь сошел снег, голод взял нас за глотку. Мы так и думали, что гибель подошла, не иначе. Кормились тем, что с рассветом весь аул от мала де велика выходил на старое прошлогоднее жнивье и там, под дождем, под холодным ветром, копался в раскисшей земле, собирая зернышки. Но много ли соберешь, чтоб накормить оголодавший аул?.. Народ по соседям поехал, в другие аулы, чтоб у них хоть чем-нибудь поживиться. Но казалось, что у нас еще ничего, еще терпимо, а вот там настоящая беда. Это представить только надо, каково приходилось народу!

Поехал как-то и я, и – точно: у соседей совсем плохо. Даже не сравнить с нами! Нам что помогало? Во-первых, у нас Омская область рядом, русские деревни, а в них плохо ли хорошо, но всегда можно картошки перехватить, каких-нибудь овощей. С голоду, словом, не умрешь. И, во-вторых, озер у нас много, штук, однако, около тридцати вокруг только нашего «Жана Талап». Ну, а если озеро, значит, рыба и птица. А это уж такое подспорье, что можно жить и не жаловаться. И мы, как только дождались тепла, с этих озер и кормились. Все ударились на промысел, – даже ребятишки ставили силки, сети, капканы. Все хоть какая-то добыча!

Посмотрела на такое наше житье-бытье Райхан и, гляжу, в Омск засобиралась. Я не удерживал, не отговаривал – ее дело. Вышли мы с ней в дорогу и шагали целых три дня. В торбу я захватил с собой лишь две горсти крошек курта да немного иримшика. И все, ничего больше в доме не нашлось.

Идти было трудно, – грязь, слякоть, дороги нет, а у нас к тому же и силенок от голода совсем не оставалось. Пошагаем мы с ней, пошагаем, а как завидим озеро – останавливаемся отдохнуть. Воды вскипятим в котелке и пьем, пьем, – хоть живот согреваем. Но вот вышли в Россию и там стало легче. В деревнях картошки полно, и мы стали набираться силенок – откормились.

Проводил я Райхан до самого Шарбак-куля. Как сейчас помню, что она сказала мне на прощанье.

– Отец, я вижу, ты не очень-то одобряешь, что я решила уехать. Поди думаешь, что я испугалась, бросаю вас в беде. Но я не легкой жизни иду искать. И не от трудностей убегаю. Совсем нет! Я хорошо помню, как вы с отцом стояли за народ. Если надо, вы даже байским аулам не давали спуску. Бывало, в драку кидались. Но теперь силой не возьмешь, – не то сейчас время. Теперь голова нужна, знания, – и вот поэтому я ухожу. Мой отец всю жизнь хотел выучить меня, и вы все сделали, чтобы выполнить его желание. Но этого мало, слишком мало. Я, наверное, до конца жизни буду помнить, как мне недавно пришлось в районе. Ведь кто такой Карабет? Байский выкормыш, вывернувший сейчас свою шубу наизнанку. Мы-то это прекрасно знаем! А вот не могла же я с ним справиться! Не я его, а он меня поставил на колени. И все потому, что я не могла, не умела, не знала, как его разоблачить... Не огорчайся, отец. Если бы у меня был братишка, я никуда бы не уехала, а постаралась бы выучить его. А так... Мы же только с тобой двое остались, больше никого...

Она прижалась ко мне, и я, ничего не говоря, стал гладить ее по густым волосам. Думалось ли тогда, что мы расстанемся так надолго!

Дни стояли погожие, и к вечеру небо очистилось совсем, устанавливалась ясная тихая весна. Закатное солнце повисло низко над землей, и наши тени протянулись с обочины дороги далеко в степь. Уходила вдаль одинокая дорога, высоко вверху, купаясь в последних лучах, тоненько заливался жаворонок.

Волосы Райхан пахли горячим полуденным зноем, наклоняясь к ней, я чувствовал, что это запах Султана, ее отца, моего давно погибшего друга. Думается все мы, прокаленные за нашу жизнь степным солнцем, навсегда сохранили этот неистребимый кочевой запах выгоревших волос.

Райхан пошевелилась и подняла лицо. Глаза ее были мокры, слезы блестели, задержавшись на ресницах. Она подняла темную, начинавшую грубеть от работы руку, и вытерла глаза.

– Отец, я, пожалуй, пойду. Не думайте обо мне, не беспокойтесь. Если я сумею поступить на учебу, буду приезжать на каникулы...

Но в уголках глаз, как ни утиралась она, все же поблескивали слезы.

– Хорошо, душа моя. Счастливого тебе пути! Не беспокойся и ты о нас. Не думаю, что у нас будет так же, как нынче... Устроишься, дай знать о себе. В Лизе и без того уж душа еле держится, а если от тебя долго не будет весточки...

– До свиданья, отец. Я напишу.

Я крикнул вслед:

– Пешком старайся поменьше. Чаше отдыхай. А то устанешь...

Что я еще мог ей сказать? Мне боязно было, что она уходит одна, но в то же время где-то в глубине души я гордился такой дочерью. Ведь молоденькие девушки из аулов тогда не то, чтобы в город, а даже от аула к аулу боялись ходить в одиночку. А вот Райхан... И я стоял на дороге до тех пор, пока она не ушла, не скрылась за кромкой далекого леса. Больно было у меня на сердце, когда я провожал ее, но была надежда, что там, в далеком неведомом краю, ей улыбнется удача, Райхан встретит, найдет свое счастье. Как сейчас помню ее, идущую по дороге: под мышкой белые, сильно поношенные сапожки, за плечами маленькая холщовая торба. Старое голубенькое платье видно

было далеко-далеко, и я смотрел как оно, покачиваясь при каждом шаге, становилось все меньше и меньше, пока совсем не исчезло с глаз.

Две ласточки стригли воздух над дорогой, и я видел, как они носились над ее головой, будто заботливые спутники, принявшие вечный обет оберегать ее счастье...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Осень пятьдесят четвертого года стала в казахской степи первой страдной порой. На всем необозримом пространстве, где по весне застреляли тракторные дымки и зачернели первые полосы перевернутой земли, теперь переливалось под выгоревшим осенним небом золотистое покрывало созревших хлебов. И снова степь увидела такое многолюдье, которого никогда не знала. Комбайны, с гусиной важностью плавая в бескрайнем, колыхающемся под ветром море, день и ночь не знали отдыха. Точно так же, без усталости, тянулись по дорогам бесконечные вереницы машин, груженных зерном небывалого урожая.

Накануне уборки Халил наконец сдал экзамены и получил права шофера. На новенькой машине он возил хлеб от комбайна на ток, и напряжение уборки было таково, что он совсем забыл об отдыхе. Старательность ли молодого шофера, замеченная вскоре всеми, а может быть, опыт, полученный в стажерах, но только после первых же недель страды на Доске почета, висевшей у совхозной конторы, появилась и его фотография. Уважение товарищей по работе сказывалось в том, что скупой на слова завгар Морозов неизменно дружески похлопывал его по спине. А давно ли он заявился в гараж совсем несмышленным парнишкой?..

С головой уйдя в работу, Халил надеялся забыться и заглушить постоянную боль в сердце. Однако едва выдавалась свободная минута и спадало напряжение,

все, что хотелось забыть, вновь приходило на ум, и тогда он не мог найти себе места.

Мать, оставив дом, все лето прожила у родных в Кызыл-Жалау. Старая Жамиш стала часто прихварывать, а недавно разболелась не на шутку, и теперь лежала в районной больнице. Без матери родной дом опостылел Халилу. Если раньше, вырываясь иногда с работы, он находил радость в том, что виделся с Дикой, то теперь не стало и этого – Дика тоже не выдержал и ушел куда-то из дому. Оставалась одна Акбопе, но она в последние дни ходила тихая, замкнутая; встретит Халила, быстро соберет ему на стол, и все это молча, торопливо, будто через великую силу.

Многое изменилось этим летом в доме Карасая, и прав был шофер Оспан, говоривший, что одинокий дом в степи стал похож на сурчиную нору. Япишкина, изредка мелькавшая во дворе, напоминала сурчиху, вечно занятую каким-то непонятым делом и почти неуловимую. После того, как ее выгнали из столовой, Япишкина целыми днями пропадала дома, у себя в пристройке, и почти не показывалась на людях. До Халила дошли слухи, что, оставшись без работы, квартирантка не прекратила своего тайного промысла и по ночам варила хмельную бражку. По-прежнему к дому Карасая частенько заворачивали проезжие шоферы, любители выпить. Если бы не Акбопе, Халил давно оставил бы отцовский дом, но он жалел сноху и не мог бросить ее в полном одиночестве.

Сегодня выплатной день, и Халил, получив деньги подъехал к знакомым воротам. Дом казался пустым, хотя было еще светло, – не закатилось солнце. Удивившись, что его не встречают, как обычно, крикливые племянники, Халил пошел к дому. Ленивые собаки, узнав его, даже не поднялись, не подбежали, виляя хвостами.

В большом отцовском доме было тихо, он заглянул во все комнаты. Бросилось в глаза, что гиря от ходиков оторвалась и валялась на полу. Раньше отец обязательно

заметил бы такую бесхозяйственность... В доме покойного брата, где жила с детьми Акбопе, его с первого взгляда поразила какая-то нелюдимая пустота комнат. Здесь больше не жили люди. В углу у стены одиноко стояла пустая кровать без постели. На стене, где раньше висел портрет Жалила, осталось лишь пятно да невыдеранные гвозди. Комната походила на покинутую кочевку. Где же Акбопе?

– Недоумевая, Халил вышел на крыльцо. Он продолжал озираться в пустынном дворе, когда из отдаленного сарая послышался вдруг чей-то приглушенный смех. Кто там мог смеяться? Через конюшню, коровник и курятник Халил стал подбираться к стене сарая. Он знал, что в сарай вели широкие, специально для телеги ворота, через которые свозили на зиму сено. Но была в задней стенке еще одна дверца, потайная, отцовская. К ней-то и подобрался Халил.

В сарае на узорчатой разостланной кошме лежала квартирантка. Раздетая, в одних лишь трусах и широком атласном лифчике, Япишкина напоминала короткий обрезок старой березы. Греясь на солнце, падавшем в широко распахнутые ворота, женщина вольно раскинулась на кошме. Халил узнал подстилку, на которой валялась бесстыжая квартирантка, – эта кошма лежала на кровати матери, на ней когда-то вынесли из дома тело замерзшего в степи брата.

Халил смотрел в щель, видел квартирантку и не мог понять, откуда это доносится глухой голос отца. Из-под земли, что ли? Но если отец где-то здесь, то почему эта женщина раскинулась на материнской кошме без всякого стеснения?

Потом он разглядел в углу сарая открытую яму, в которой обычно сберегали с осени зерно. Куча желтой глины была свалена рядом и стояла большая деревянная колода с жидким цементом.

– Агайша... Эй, Айша! – послышался из ямы голос отца и показался он сам: голова, а затем голые плечи. Упершись в край ямы, он никак не мог выбраться.

– Подай же руку, Айша!

Но квартирантка лишь залилась смехом.

– Тянись, тянись. Брюхо не пускает? Давай, старайся, может, убавится...

Карасай, пыхтя, оперся на лопату и вылез из ямы. Голый, в черных трусах, он походил на бурдюк из целой шкуры козла. Огромное брюхо его колыхалось при каждом движении. Халил разглядел красные полосы на белых боках, натертые тугой резинкой трусов. Карасай, посмеиваясь, поддергивал трусы то одной, то другой рукой. Стыд, великое унижение испытал Халил увидев своего почтенного отца в таком виде.

Карасай, колыхая брюхом, подошел к квартирантке и неловко опустился рядом. Его морщинистая темная шея и жирные трясущиеся груди были мокры от пота. Япишкина, смеясь, отодвинулась, уступая ему место. Халил отвернулся, потом бросился бежать и, не разглядев в темноте, сильно ударился головой о покосившуюся подпорку.

Подъезжая к складу запчастей, новому недобеленному дому под черной толевой крышей, Халил издали разглядел множество машин и по одному их виду определил, что колонна сделала тысячеверстный пробег. Это прибыло на целину подкрепление, водители с Украины, которых ждали давно. Белесая дорожная пыль лежала на всем толстым жирным слоем, и даже шоферы были насквозь пропитаны ею. Обожженные лица людей заросли щетиной, глаза красны от бессонницы. Пробираясь к складу, Халил видел, что некоторые так и уснули в кабинах, завалившись в самых нелепых позах. Усталость сморила их, и они не замечали ни палящего прямо в лица солнца, ни пота, стекающего по небритым разомлевшим щекам.

У дверей склада приезжие водители обступили какого-то человека, возвышавшегося над всеми на целую голову, и наперебой выкрикивали, словно дети, теребившие материнской подол:

– Терентий Трофимович, ремень для вентилятора не забудь. У меня уж латаный он, перелатанный...

– Говорят, баллоны новые есть. От моих ничего уж не осталось.

– А тормоза? Тормоза совсем не держат...

В самом складе было темновато и от нагретой крыши невыносимо душно. Резко пахло олифой, солидолом, красками. Возле дверей громоздились пустые разохшиеся бочки и какие-то ящики, сваленные как попало в кучу.

Плохо видя со света, Халил громко позвал кладовщицу и спросил лампочку для стоп-сигнала.

– побыстрее, пожалуйста. Мне некогда.

– Ну, некогда – потом зайдете, – отрезала кладовщица. – Тут тоже не лодыри сидят.

Едва она заговорила, Халил чуть не закричал от радости и удивления, – он узнал Акбопе. Потом он разглядел племянников, игравших в сторонке. Ребятишки, увидев его, бросились навстречу.

– Атей, атей...

И тут, не успев еще как следует поздороваться с Акбопе и расцеловать малышей, Халил увидел Дерягина. Будто не замечая своего бывшего стажера, великан пробрался сквозь шумную толпу приехавших и, осклабясь, окликнул Акбопе:

– Дорогуша, ласточка... Дай-ка мне быстренько вон тот аккумулятор!

Как всегда, он был навеселе, от него сильно разлило водкой и луком. Малыши, прижавшись к ногам Халила, засмотрелись на пьяного верзилу и притихли.

– Без всяких дорогуш, – обрезала его Акбопе. – И не разваливайтесь здесь, станьте как следует.

– Слушаюсь! – шутливо козырнув, Дерягин даже прищелкнул каблуками.

– Бумага есть? – сердито спросила Акбопе.

– Какая еще бумага?

– Для получения крупных частей необходимо разрешение главного инженера или заведующего гаражом.

– Этого еще не хватало!.. Девушка, красавица, ну к чему такую канитель разводить? Выдай – и делу конец.

– У меня нет времени болтать. Идите за разрешением...

– Да какой дурак такие порядки завел?– вскипел Дерягин.– Или я этот аккумулятор себе в задницу вставлю? Придумают тоже!..

– Это уж не мое дело. Кстати, вон главный инженер идет, попробуйте ей сказать...

При упоминании о главном инженере совхоза приехавшие обернулись и увидели немолодую женщину в легкой безрукавке, с седыми аккуратно уложенными на затылке косами. Быстрым стремительным шагом Райхан приближалась к складу, глядя в усталые лица гостей смеющимися глазами. Она только узнала о прибывшем подкреплении и была рада приятному известию.

– Товарищ главный,– развязно остановил ее Дерягин,– надеюсь только на ваше великодушие. Помогите бедному, но не знающему усталости шоферу. Всего лишь один-единственный аккумулятор...

Трезвый, Дерягин обычно избегал встреч с начальством, по подвыпив да еще чувствуя внимание любопытных, он не мог удержаться от кривлянья.

Райхан подозрительно прищурилась, и легкая гримаса тронула ее губы.

– Вам не аккумулятор, вам ключи от машины не следовало доверять! Поставьте машину в гараж и отправляйтесь отдыхать. Завтра утром зайдете.

Она все же ценила в нем хорошего шофера и удерживала себя от резких слов. Но Дерягин, которому теперь море было по колено, продолжал наступать.

– Зачем эти свидания, товарищ главный инженер? Любовные песни с вами петь?

Вокруг сдержанно рассмеялись, и это придало подвыпившему шоферу смелости.

– Разве дочка только есть у вас... Ну, тогда другое дело.

Райхан, сомкнув губы, глядела прямо в хмельные глаза кривлявшегося на потеху публике шофера. Дерягин не унимался:

– Ах, извините. Я совсем забыл,– ведь вы же у нас старая дева...

Райхан плохо отдавала себе отчет в том, что она делает. Сильная пощечина резко прозвучала в наступившей тишине. Больше всех был поражен случившимся сам Дерягин. Выпучив пьяные глаза, он столбом застыл перед невысокой седой женщиной и держался рукой за пылавшую от удара щеку.

Овладев собой, Райхан обошла пьяного и, прямо держа спину, приблизилась к приехавшим. Лицо ее казалось невозмутимым. Старший из прибывшего пополнения, тот самый человек, который возвышался над всеми, уважительно подступил к женщине.

– Райхан Султановна, тут вот у нас списочек... Без запасных частей все-таки туговато...

Райхан забрала у него бумагу.

– Все будет, все устроим... Вы молодцы, что вовремя успели. У нас сейчас такое положение,– вся надежда только на вас. Да вы и сами понимаете...

Расстроенная дикой выходкой Дерягина, она не могла говорить и старалась поскорее убраться с глаз.

– В столовой вам приготовлен обед. Вон там, в двух километрах, озеро. Мне кажется, вы сначала хотите помыться с дороги, привести себя в порядок, а уж потом, во всей как говорится форме... По бригадам мы вас распределим завтра,– сегодня можете отдыхать. Какие будут претензии,– заявляйте своему руководителю. Товарищ Петухов, завтра в девять ждем вас со списками в конторе. Ну, а сейчас – приятного аппетита и приятного отдыха.

Шумной гурьбой приехавшие направились к запыленным машинам и скоро колонна вытянулась по дороге на озеро.

С началом жатвы стало совсем не до сна. Чтобы объехать все бригады и отделения, Райхан прихо-

дилось отправляться в путь на заре, и часто получалось, что побывать везде, где она намечала, за день так и не удавалось.

Жила она по-прежнему в колхозе «Жана Талап», хотя он давно уже стал отделением нового совхоза, и Райхан предлагали дом в центральном поселке. Против переселения на новое место запротестовал отец, старик Кургерей. Ему не хотелось отрываться от родных и знакомых и вообще покидать обжитое место.

– Сейчас же машины, – сказал он дочери, – долго ли тебе доехать, куда надо? Ну, если уж придется туго, тогда... А сейчас не будем и говорить.

И все осталось, как было.

Проезжая как-то мимо дома шофера Оспана, Райхан вспомнила его мать Камиш, дочь старого Жусупа, ровесницу Сулу-Мурта. Девчонкой Райхан часто бывала в этой семье, и Камиш любила ее, как родную.

Райхан попросила шофера остановиться и пошла в дом. Жена Оспана умерла два года назад, оставив троих сирот; старшей из детей Куляй недавно исполнилось тринадцать лет.

Дом без хозяйки заметно приходил в запустение. Во дворе было прибрано, но в комнатах чувствовался беспорядок, отсутствие заботливой женской руки. Сильно пахло самодельным мылом, и Райхан, присмотревшись с порога, увидела посреди комнаты кипящий на треноге котел. Дочка хозяина Куляй стирала в тазике белье.

Заметив гостью, девочка бросила кусок темного мыла на грудку мокрого белья и поднялась. Комната была наполнена паром, и Райхан не сразу разглядела остальных двух малышей, которые сидели на полу за низеньким круглым столом и с увлечением резали ножницами бумагу. При виде незнакомой женщины они бросили свое занятие и притихли.

Когда Райхан поздоровалась, из-за большой небеленой печи показалась согнутая фигура. Это была старая

Камиш, – Райхан сразу узнала ее. Старушка приставила к глазам высохшую руку, пытаясь разглядеть гостью.

– Здоровы ли вы, апа? – спросила Райхан, подходя ближе.

– Спасибо... – прошамкала старушка, никак не узнавая, кто это пришел. – Что-то не узнаю я... Проходи, проходи.

Райхан горестно покачивала головой, глядя, что делает с людьми время. Она еще помнила Камиш красивой, полной женщиной. Сейчас перед ней стояла подслеповатая высохшая старуха с провалившимся ртом.

– Апа, это я, Райхан...

– Жеребеночек мой, – неожиданно сильным голосом заголосила старушка и, перешагнув через грудку белья, припала, прижалась к гостье головой. – Пришло и мне время увидеть тебя...

Ожидая, пока Камиш наплачется и ответит душу, Райхан гладила ее худые слабенькие плечи и украдкой смахивала слезы.

Каждая встреча в родных местах неизменно заставляла вспоминать минувшие годы и сладко становилось тогда на истстрадавшемся сердце и больно.

Маленький трехлетний ребенок, сидевший на полу, испугался причитаний и громко заревел. Женщины разнялись.

Усевшись, Райхан стала расспрашивать о здоровье, о том, как приходится без хозяйки.

– Чего уж... – махнула рукой Камиш, – какая теперь жизнь, какое здоровье. Молю бога, чтобы дал силы поставить на ноги вот этих галчат. Хорошо Куляй подросла, помогает мне...

Приласкав затихших детей, Райхан раздала конфеты в красивых обертках. Старая Камиш ласковыми глазами разглядывала неожиданную гостью.

– Значит, вернулась, не осталась там... Верно раньше говорили: у кого рот гнилой, от того и пахнет. Чего ведь

только не болтали, сколько тебе пришлось вытерпеть!.. Сейчас, я слышала, тебя хвалят. Все хвалят: и русские и казахи. Удачи тебе, доченька, пусть все будет хорошо!

– Спасибо, апа!– проговорила Райхан, поднимаясь с места и снимая жакет. Она засучила рукава и присела к тазику рядом с Куляй. – Дай-ка я... А ты нагрей побольше воды. И давай все грязное, что у вас накопилось. Давай, давай, неси!

Девочка нерешительно разогнулась и уставилась на бабушку.

Камиш запротестовала:

– Брось, дочка, брось, запачкаешься только. Сами как-нибудь достираем. Куляйжан, тетя наш гость. Беги скорей, подбрось чурок в самовар. Будем угощать...

Но Райхан не пустила девочку и настояла на своем.

– Ничего со мной не случится, апа... А с тобой, Куляй, мы сегодня наведем во всем доме порядок.

Устав от бесконечных разъездов по бригадам и отделениям, Райхан, едва занялась домашней работой, забыла и про сон. До вечера она перестирала все, что накопилось в доме, – даже черное, испачканное в мазуте белье Оспана. Убирая с разгоряченного лица волосы, она с удовольствием развешивала во дворе трепещущее по ветру детское тряпье, а когда принялась купать ребятишек, почувствовала насколько приятны ей эти чисто женские домашние заботы, которых она была лишена в жизни...

Вечером в доме Оспана ее и разыскала мать, Лизашешей. Она еще днем видела спускавшуюся к поселку знакомую машину дочери, но когда «газик» завернул к Оспану, она подумала, что обозналась. Напрасно прождав до сумерек, старушка не выдержала и пошла справиться. Не добрая весть, терзавшая ее с утра, не давала ей покоя.

Шоферы, съехавшиеся на обед к полевому стану, качали Оспана. Подлетая на крепких, не знавших

устали руках, Оспан смешно дрыгал ногами и кричал, чтоб его отпустили. Наконец он ступил на землю, мотая головой и заправляя в брюки вылезшую рубашку. Кружилась голова, Оспан не узнавал знакомых лиц.

Под брезентовым навесом за большим накрытым столом он увидел директора совхоза, сидевшего в окружении каких-то незнакомых людей. Парни, качавшие Оспана, приблизились.

Федор Трофимович встал, не выпуская из рук газеты.

– Товарищи, у меня всего пара слов. На большие речи просто времени нет...

Директор сказал, что их совхоз пока идет на первом месте по уборке и что большая заслуга в этом именно их, шоферов. В сегодняшнем номере областей газеты подхвачен передовой почин лучшего шофера совхоза Оспана Жилкайдарова, первого на целине взявшегося работать с пятью прицепами.

– Вот, сами смотрите. И портрет!

Газета пошла по рукам, Оспана толкали, хлопали по спине, поздравляли. Директор долго тряс его крепкую, с короткими пальцами руку.

Кто-то из шоферов, приехавших из соседней республики, сказал ему по-киргизски, обнимая и уважительно заглядывая в глаза:

– Желаем, земляк, славы высокой, как Ала-Тоо!

Газета попала к Оспану, и он с удивлением засмотрелся на собственный портрет на первой странице. Неизвестный фотограф снял его в кепке, улыбающимся; за его спиной виднелся ЗИЛ с пятью прицепами. «Смотри ты, и сам и машина!» – никак не укладывалось в голове Оспана...

Вечером на ток приехал кассир, и Оспан еще раз испытал, что значит заслуженное уважение: когда он появился, очередь расступилась, давая ему дорогу к столу.

– Проходите, проходите.

Большой огрубевшей в работе рукой Оспан осторожно взял тоненькую ручку и склонился над столом. Палец кассира указал, где надо расписаться.

В прошлый раз Оспан не сумел получить денег, и сейчас причитающаяся на руки сумма удивила всю очередь.

– Вот эта да!

– Министр столько не имеет!..

– Работай с пятью прицепами – и у тебя будет столько.

– Пятью... А ты возмись-ка, попробуй. Ты хоть с двумя-то пробовал?

– Да-а, легко сказать... Тут пробовали у нас, так с места не тронулись.

– Чего говорить! Не знаешь, лучше не берись.

Оспан и сам удивился, – столько денег он еще никогда не держал в руках. Он неловко рассовал их по карманам и, выбравшись, направился к автобусу с красными полосами – автолавке.

Юркий татарин-продавец ловко сновал в великой тесноте своего битком набитого магазина. Выкладывая необычному покупателю все, что было на полках, он с увлечением щелкал на счетах. Оспан просил подать еще и еще. Для Камиш он взял синий бархатный чапан и безрукавку из вельвета. Детям он вообще накупил всего без разбора. Казалось, в лавке не осталось ничего, на чем не остановились бы его глаза.

Уложив покупки в кабину, он попрощался с бригадой.

– Смотрите, завтра, как всегда, с рассвета. В четыре, чтоб все были на току. Заправьтесь сегодня и прицепы проверьте. Да не гуляйте долго, – опять неделю не будет отгула. Придется возить и днем и ночью. Лучше выспитесь, чтоб не зевать за рулем. А девчонки от вас и потом не убегут...

За неделю, что он не был дома, Оспан соскучился по малышам, по матери, и теперь нетерпеливо гнал машину. Это было привычное состояние тоски по

дому, так бывало всегда, когда подолгу приходилось задерживаться в поездках. Раньше, скитаясь по дорогам в одиночку на своей залатанной полторке, Оспан не знал, чем скрасить свою тоску по родным. Но вот он стал работать в совхозе и увидел, что тоска по оставленным дома людям владеет всеми и каждый пытается хоть чем-то смягчить боль расставанья. Молодые ребята оклеивали кабину фотографиями девушек из журналов, и вначале, насмотревшись всех этих недоступных красавиц с распущенными волосами, сильно обнаженных, с длинными, будто куруки, шеями, Оспан осуждал молодежь за легкомыслие, и лишь впоследствии понял, что заставляет шоферов украшать свои кабины. Он повесил перед собой фотографии своих малышей и сразу же почувствовал, что расставание стало даваться ему легче, будто это они сами, живые, крикливые и неумные, постоянно перед ним. И у него скоро стало привычкой, находясь в дальнем рейсе, вести машину, взглядывать в улыбающиеся мордашки малышей и вести с ними вслух долгие задушевные разговоры. Так было и теперь. Умиротворенный пустынной вечерющей дорогой и монотонным гудением мотора, Оспан посматривал в глазенки детишек и рассказывал им о сегодняшнем торжестве на полевом току, куда специально приехал директор совхоза, приехал сам и привез газету...

Он подъехал к дому и увидел мать Райхан, входившую в калитку. Они встретились, поздоровались и пошли в комнаты вместе.

Старушка обрадовалась, увидев дочь.

– А я уж все глаза проглядела.– Она подошла и поцеловала Райхан в лоб.– С утра хотела разыскивать... вать...

– Что случилось, апа?– она видела, что мать чем-то встревожена.– Зачем я понадобилась?

– О, говорить даже не хочется. Отец со вчерашнего дня в рот ничего не берет... И за что только на нас

напасть такая? Когда это кончится? Думали хоть теперь пожить спокойно, – так нет...

Засунув руку в глубокий карман надетой поверх платья бархатной безрукавки, она достала вместе со связкой ключей какую-то бумажку и протянула дочери. Райхан и Оспан, встревоженные взволнованным лицом старушки, сомкнули головы и принялись читать. Глаза Райхан бежали по косо сбегаящим вниз строчкам, но чем дальше она читала, тем спокойнее становилось ее лицо. Прочитав, она задумалась, держа листок в руке, потом увидела тревожные глаза матери и засмеялась:

– Ерунда, мама. Собака лает, а караван идет... Беспокоиться не о чем.

Но мать видела, что печаль так и не отпустила сердца дочери, и на душе у нее беспокойно. Как бы вспоминая, Райхан незаметно взглянула на письмо, пробежав какое-то место.

Это была жалоба в райком, и Райхан теперь припомнила, что, действительно, случай, о котором рассказывалось в письме, произошел в их совхозе, – произошел недавно, в начале жатвы, когда они встречали двадцать семей, приехавших из Белоруссии. Она даже день вспомнила, когда это случилось, – sereneкий такой прохладный денек, вечерело, только что прошел несильный рассеянный дождик, чуть прибавивший на дороге пыль.

Райхан вместе с директором совхоза обходила палатки, в которых временно поместили приехавших. Похоже было, что люди приехали навечно, с семьями: дети, старики, хозяйство. За старшего у них был высокий представительный старик. Райхан на глаз дала ему не больше шестидесяти лет.

– Мы тут все из одного места, – рассказывал старик. – Лежать не привыкли. Хорошо бы с завтрашнего дня распределить нас по местам.

Разговаривая, он обращался к Моргуну, а на Райхан лишь взглядывал, словно определяя, чем она может заниматься в таком огромном хозяйстве.

Плохо слушая старика, Райхан все тревожней поглядывала в сторону самой крайней палатки: там из последних сил закатывался ребенок...

– Ну, хорошо,– произнес Моргун,– списки ваших людей у нас есть. Мы не завтра, а сегодня же ночью решим, куда вас поставить... Кстати, очень хорошо, что молодежь у вас все механизаторы!

Он кивнул старику головой, приглашая его за собой, я направился к палатке, в которой плакал ребенок.

– Только вот что,– квартир всем сразу не обещаю. Семьям, в которых есть дети, старики, найдем по комнате, а остальным придется пожить в палатках. Ну, а что касается остального,– пожалуйста. Что вам требуется?

– А чего... Ничего не требуется,– солидно ответил старик.– Всем вроде довольны.

– У вас грудные дети есть,– вмешалась Райхан.– Слышите, как надрывается. У нас врач есть, можно вызвать.

– Да нет, он не больной. Здоровый просто уродился, а у матери молока не хватает. Алешки это Новика малый, первенец...

Дородная крепкая старуха, показавшаяся из палатки, едва подошло начальство, стала жаловаться:

– В дороге, пока ехали, все время покупали молоко. Ну уж, думали, на месте-то... А тут, оказывается, и в магазине его нет! Вот и поим из соски чайком. Тут и не ребенок закричит...

Приняв к сердцу жалобу величественной старухи, Моргун вечером того же дня предложил в конторе выдать каждой нуждающейся семье по корове.

– А что? Стоимость будем удерживать из зарплаты. За год рассчитаются... Зато дети у нас будут с молоком!

Желающих приобрести корову оказалось много. Райхан распорядилась, чтобы из бывшего колхоза «Жана Талап» пригнали тридцать дойных коров. Распоряжение главного инженера было выполнено, и Райхан за делами совсем забыла об этом случае. И вот теперь держала в руках жалобу бывших колхозников, людей, с которыми много лет прожила бок о бок.

Забрав у Райхан письмо, Оспан медленно стал читать, с трудом разбирая косые каракули.

«Мы, – писалось в заявлении, – с радостью согласились, чтобы колхоз наш переименовался в совхоз. Но мы никогда не думали, что новая власть нас так обидит. Наш скот мы собирали еще с тридцатых годов, берегли его пуще глаза, ухаживали за молодынком. И колхоз наш гордился поголовьем скота. Даже в голодные годы, когда приходилось растаскивать на корм крыши, мы не тронули ни одной головы. А вот теперь, когда мы еще не успели обжиться в совхозе, некоторые руководители, пользуясь своей властью, грабят наш скот, растаскивают наше добро. Мы говорим о Райхан Султановой, главном инженере. Мы ухаживали за скотом, как за детьми, и нам больно видеть, как пропадает наш многолетний труд. И мы протестуем против такого грабежа...»

Внизу письма Оспан разобрал: «труженики совхоза», а еще ниже была всего одна подпись – муллы Ташима.

– Это Карабета дело, – сказал Оспан. – Больше никто не мог.

– Кто его знает, – произнесла задумчиво Райхан. – Надо было все же собрать тогда в «Жана Талап» людей и разъяснить им. Мы же скоро получили из Латвии двести голов породистого молодняка. Стадо у нас будет – вообще такого никогда не бывало!.. А мы не собрали, не поговорили с людьми. Забрали – и все. Пожалуй, ошибку сделали...

– А чего разъяснять? – возмутился Оспан. – Завтра же соберемся и все обговорим. И ответную жалобу

пошлем. Сколько этот Карабет будет мутить? Нечего ему воли давать. Я бы на вашем месте...

– Нет, нет, – запротестовала Райхан, – собираться никто не будет. Совесть надо иметь. На кого жалобу-то писать? На Карабета? Он и без того доживает последние дни. Связываться еще с ним...

– Пока он жив, – настаивал Оспан, – он еще не одного обольет грязью. Таких не жалеть надо, их бульдозером надо корчевать!

Райхан рассмеялась.

– Прибереги бульдозеры для чего-нибудь получше... Плюнь и забудь.

Недовольный Оспан умолк, но Лиза-шешей, внимательно слушавшая весь спор, не вытерпела и заметила дочери:

– Оспан правильно говорит. Сколько можно терпеть от этого злодея? Всю жизнь от него одна грязь...

– Ты посмотри только! – оживился Оспан, снова принимаясь за письмо. – Ведь напишет же!... «Даже в голодные годы, когда приходилось растаскивать на корм крыши...» Бесстыжие люди! Ни капли совести! Неужели они думают, что мы забыли, как Ташим обирал своими молитвами людей, а Карабет не унимался и только знал, что рыть могилы живым?.. Ну, подождите!

И Райхан и тихо слушавшие старушки скорбно покачали головами, задумчиво сощуриив глаза, – горячие слова Оспана напомнили им о многом...

Шестая песнь старого Кургеря

– ...В тридцать седьмом году зима выдалась особенно снежной, и колхозной скотине пришлось нелегко. Обычно в наших местах все время дуют ветры, снег уносит, и скот выгоняют на подножный корм, – большое подспорье зимой. Однако в том году снег как лег, так и остался лежать толстым плотным слоем.

К весне в колхозе не осталось и соломинки. Мы даже крыши растащили, чтобы только поддержать отощав-

шую скотину. Дворы у нас так и стояли раскрытыми, – одни стропила торчали.

Едва началась оттепель, мы стали снаряжать по трое-четверо саней на места прошлогодних сенокосов, – может, осталось еще что под снегом. Луга не очистились, но ждать больше не было мочи. Утром, едва солнце тронет смерзшуюся корку, сани выезжают в поле и люди граблями, вилами выковыривают стылые клочки соломы и сена. Снег уж стал повсюду братья водой, но по ночам мороз сковывал все так плотно, что отодрать клочок сена не хватало силы. Воткнешь, бывало, вилы и ломаешь, ломаешь через колено, чтобы отодрать. Куда там! Только ручка трещит. Жалко станет ломать, – отбросишь вилы и за грабли берешься. Бьешь да теребишь... Потом не раз умоешься, пока отковырнешь хоть что-то. Так, по травинке, по клочку, и накидаешь чего-нибудь в сани. Навильников десять удастся если набрать – хорошо. А надолго ли эти десять навильников оголодавшей скотине? Только привезешь, – раз, и нету. На следующий день опять собирайся в поле...

Мучила нас и дорога. Еще утром, когда подстыло все, проедешь хорошо. А вот назад возвращаешься – сплошная мука. Снег, как каша, вода стоит, – быки иногда по грудь проваливались. А ведь еще и сани надо тащить. А что может быть тяжелей мокрой соломы? Жалко смотреть на скотину. Ступят быки шага три-четыре, глядишь – у передка уже гора снега нагреблась. Полозья по земле скрипят, быки жилы прямо рвут, пена изо рта. Не смотрел бы. А ехать надо. И вот идет кто-нибудь впереди саней, тянет быков за рога, другой в это время сани толкает. Выбираться как-то надо, иначе все тут застрянем!.. И часто случалось, что бык тужится, тужится, да и свалится набок. И тут его хоть режь на куски. Иной схватит камчу и ну полосовать его, – по хребту, по бокам: только шерсть летит. Бык дернется, вскочит, но шаг, другой – и снова мордой в снег.

И глазами так на человека смотрит, будто сказать хочет: «Дескать, чего же ты меня мучишь? Сам же видишь...»

Стоим мы тогда, ждем, пока отдышится бедняга. А сырость, ветер, гниль – до костей пробирает.

Как-то выпало мне ехать с молоденьким парнишкой. Мы тогда специально так подстраивали, чтобы с малосильным кого-нибудь покрепче посылать, – меня, Оспана, или еще кого... Ну, надергали, как водится, полные сани, стали к дороге пробиваться. Пока выбрались, у бедного быка язык на аршин вылез. Но выехали на дорогу, стало легче. Сани пошли скоро, я шел рядом с быком и, не помню уж почему, раздумался о всяком, и Райхан свою вспомнил. От нее недавно письмо было, пишет, что кончила в Омске, сельскохозяйственный институт и направляется куда-то в ваши края. Мы с Лизой очень обрадовались этому, и не было дня, чтобы не заглядывались на дорогу. А ну, думаем, приедет... И хоть соседи говорили, что ей теперь не до нас, она ученый человек и место ей в самой Алма-Ате, у нас со старухой было какое-то предчувствие, что Райхан не забыла своих. Ни нас, ни родных своих мест. Не могла она забыть!..

Так оно и оказалось.

Едва мы с парнишкой вытянули воз на бугор, слышим – впереди, там, где поселок, какое-то тарахтенье. Сейчас-то в этом ничего удивительного нет – вон сколько машин кругом, а тогда это нам показалось диковинным. Что там могло быть?.. Остановились мы, скоро к нам еще подъехали. Собрались, слушаем и понять не можем.

– У нас, в ауле... – говорит кто-то.

– Откуда?.. Кто?..

Оспан даже на землю лег, ухом приложился.

– Большая машина, – сказал он, поднимаясь.

– Брось, какая еще машина! Сейчас ни на чем не проедешь. Смотри, что делается по дорогам...

Заторопили мы быков, сами пошли быстрее. Каждому не терпелось поскорее добраться.

Скотный двор находился на самой окраине. Только показались мы с поля, как навстречу нам понеслись ребятишки. Ну, ясно стало, что новость какая-то. С ребятишками, как заметил я, старушонки бегут, тоже торопятся. У меня так и подобралось все: не зря же они летят к нам, как угорелые!

– Суюнши, Кургерей!.. Суюнши!

– Кургерей-ага, мое суюнши! Я первый!

– Райхан приехала!

– Трактор привезла...

Облепили меня, оглушили, – ничего в разум взять не могу. Потом дошло до меня, я выбрался как мог и понесся к дому. И про быков, про сено забыл.

Рассказывали потом, что скакал я, как жеребенок, даже мальчишек обогнал.

Возле дома уж толпа собралась, но я никого не вижу, не замечаю, – одну лишь Райхан. На ней короткий полушубок с белой оторочкой, черные валенки и пуховая шаль. Увидела меня, рванулась, повисла на шее. А я в грязи, в поту, – черта страшней. С бороды что-то течет... И вот тогда, впервые в жизни, я заплакал. И тоже не пойму, – отчего это случилось? Бывало, попадали мы со Сулу-Муртом в такие переделки, что слез бы за всю жизнь не хватило. Но никогда ни слезинки. А вот теперь... И ведь как расплакался-то? Слезы прямо градом, – не унять, не вытереть. Вот чем стала для меня Райхан, дочь моего погибшего друга.

Лиза моя тут же крутится, никак нас разнять не может.

– Хватит, хватит, – говорит, – обо мне-то забыли?

Тоже рада-радешенька: дочь приехала, родной человек...

Многое изменилось за это время в Райхан, но первое, что я заметил: запах волос. Целуя ее в прямой пробор посреди головы, я уловил еле слышный аромат

машинного масла. Новый, неведомый для наших краев запах, и принесла его Райхан, дочь моя и Сулу-Мурта, – наша дочь. Помнится, меня тогда распирало от гордости, и мне казалось, что нет вокруг человека, который не завидовал бы мне. Что же касается мальчишек, то они не отходили от трактора, и непонятно было, откуда у них, отроду не видевших никакой другой техники, кроме телеги и вьюка, такое стремление, такая любовь к новизне. Мальчишки нашего аула спали и видели себя на сиденье этой сильной, невиданной у нас машины. Все это было заслугой моей Райхан, она принесла в наши далекие края свежее дыхание большой страны, и я чувствовал себя на седьмом небе от гордости и счастья...

В честь приезда дорогой гостью в ауле устроили праздник. Райхан, правда, пробовала возражать, но старики настояли на своем, не дав отступить от обычаев, и для угощения зарезали самую упитанную, какую только нашли, кобылу-трехлетку. Когда стали свежевать тушу, Райхан поманила меня и отвела в сторону.

– Я вижу, народ стал жить получше, – сказала она. – Но что со скотиной? Джут?

Я хотел было сказать, чтобы она не забивала себе голову в первый же день, забот еще хватит и на ее долю, но промолчал и повел ее на баз. Своими глазами она лучше все увидит и поймет.

Трактор все еще стоял возле нашего дома, и вокруг толпился народ. Взрослые, как малые дети, не могли оторвать от него глаз и норовили хоть пальцем, а прикоснуться к диковинной машине.

На скотном дворе мы застали Оспана, он ходил с вилами в руках и распределял привезенное с полей сено по кормушкам. Мало мы привезли сегодня, и трудно приходилось Оспану. Попробуй-ка накормить такое стадо несколькими охапками!

Провожая Райхан на баз, я никогда не думал, что ей в этот раз доведется увидеть все наши несчастья. А так

получилось... Едва мы пришли, Райхан сразу же обратила внимание, почему это сбегаются в угол все, кто были на дворе. Бросились и мы за всеми следом. Тощая черно-белая корова с огромным животом неуклюже лежала на боку и, дергаясь, пыталась подняться. Я, как взглянул, сразу определил, что корова свалилась от голода. Она силилась поднять хоть голову, кто-то второпях сунул ей прямо в морду пучок привезенного сена. У ней не оставалось сил жевать, она закатила глаза и уронила голову прямо в грязь.

– Нож давайте!..

– Конечно, хоть на мясо прирезать!..

Корова захрипела, вытянула шею и мы увидели закусенный язык. Потом она дернула задранном копытом и затихла, замерла...

Мы обошли весь двор и всюду нашли печальную, безрадостную картину. Помещение без крыши протекало, и скотина стояла по колено в грязи. Несколько коров уже не могли стоять и свалились прямо в грязь. Чем они только жили, – кожа да кости!.. Им бросили несколько клочков прелого сена, они, не вставая потянулись, но быки, следившие голодными глазами за раздачей корма, мигом набросились и не дали несчастным даже попробовать. В помещении было много молодняка, и пока Оспан разбрасывал сено, животные дрались рогами, сильные били слабых, чтобы завоевать лишний кусочек еды. Тут же, при нас, несколько отощавших телят упали в грязь и не поднялись.

С овцами было еще хуже. Те, что дожили до весны стали похожи на драных кошек. Шеи тонкие, шерсть клочьями, и все кашляют не переставая. Многие заразились паршой, – от них так и несло каким-то кислым гнилым запахом. Сейчас их спасение было в том, чтоб скорей попасть на выпас, – но куда их погонишь, если в степи еще снегу и воды по пояс?

С база Райхан вернулась мрачнее тучи. Куда девались веселость, улыбка, смех? Будто постарела сразу. Мы шла с ней вместе и до самого дома не промолвили слова.

Вечером собрались гости, – во всех трех комнатах не протолкнуться. Там, где была молодежь, низкими голосами загудели домбры, чей-то высокий голос затянул песню. Мы сидели в передней комнате – бригадиры, заведующие фермами. Хоть тяжело у всех на сердце, но о делах не говорят, не положено. Я посматривал на Райхан. Она первой завела разговор о положении дел в колхозе.

– Я еще по дороге слышала, но то, что увидела сегодня... Тяжело, очень тяжело. Слов нет, люди стали жить лучше, но скотине-то какво? И вы думаете спасти поголовье тем, что ковыряетесь сейчас в поле? Смешно. Если уж осенью не хватило ума запастись кормом на всю зиму, то что же вы сделаете сейчас?

Наступило молчание, потом кто-то покаянно закричал и поскоблил затылок.

– Да, вообще-то верно...

– Эх, собери мы осенью все сено! Сейчас бы жили и в ус не дули: Так у нас всегда – спохватимся, да поздно...

– Теперь кайтесь, не кайтесь, – говорила Райхан, – толку все равно мало. И ваши эти четыре жалких воза, которые вы наскребаετε, они тоже не спасение.

– Но что-то делать надо!

– Надо, – сказала Райхан. – И мы будем делать. Мне кажется, ничего с нами не случится, если мы не поспим две-три ночи. Ведь так?.. У вас есть умелые люди, я знаю – отец много может сделать. Надо построить одни большие сани. Видали сани, которые притащил трактор? Так вот, наши сани должны быть втрое больше. Пока будут делать сани, человек десять, которые покрепче, надо послать в поле собирать все оставшееся под снегом сено. Нечего теревить по клочкам да мучить по грязи быков. Когда сено будет собрано, трактор с санями все это возьмет разом и подбросит к базу...

– А что, дельно!..

– Так, боже мой, сколько же может утащить один трактор?

– Не беспокойтесь,– сказала Райхан.– Собирайте стог побольше. Сразу возьмем!

– Пай, пай, вот это силища!

– А полозья?– крикнул кто-то.– Разве Кургерей успеет выковать полозья?

Но на него обернулись и зашикали.

– Нашел о чем! Да зачем тебе железные полозья?

– Говоришь и сам не знаешь что!..

Сидел среди нас не слишком еще преклонных годов старикан, плотный, почти квадратный. Года два он возглавлял наш колхоз, но по болезни вынужден был уйти и теперь безвылазно пропадал дома. Старик долго слушал все наши разговоры, потом не выдержал и высказал опасение, что сани-то мы построим и трактор у нас есть, но наберем ли мы в степи достаточное количество сена.

– Да что вы, уважаемый,– подал голос какой-то шофер.– Зайдите-ка с той стороны Камысты-коль. Там прошлогодних копен видимо-невидимо. Лишь бы пробраться туда да вывезти...

Однако Райхан отметила, что в опасении старика есть доля правды. Непогода может продержаться еще неизвестно сколько, и корма понадобится много. Хватит ли того сена, что осталось под снегом?

– В районе я познакомилась с председателем соседнего немецкого колхоза имени Тельмана. У них еще много сена, можно сказать – излишки...

– Ой-бой, о них что говорить! Немцы народ хозяйственный. Они не по-нашему сено запасают...

– Помолчи!– прикрикнули на него.– Ты что, сегодня только узнал об их хозяйственности? Дай послушать человека.

И Райхан продолжала:

– Я говорила с председателем, и он обещал нам в долг немного сена. Можно хоть завтра ехать. А летом вернем...

– Да лишь бы дали! А летом вдвое больше отдадим. И не ждать, пока напомним.

– Отвезем, отвезем. Сами отвезем и сложим!

– Ты смотри какой бойкий! Где ты только летом был?

После праздничного обеда той же ночью собралось нас человек пять, и отправились мы мастерить сани. До самого утра пришлось повозиться. Но управились. Конечно, сани получились совсем не такие, что таскают нынче трактора, однако выезжать было можно. И вот утречком, по морозцу застрелял наш тракторишко, загрохотал, и потянулись мы к далекому озеру. Из домов народ повывбежал, глазают все, кричат что-то, рядом бегут, и только собаки во всем ауле перепугались и попрятались: никогда еще не видели такого страшилища!

Хоть мы вчера и рассчитывали на легкую удачу, а помучиться все-таки пришлось. Апрель ведь он какой – будто скотина: с одной стороны шерсть, с другой – рога. Выезжали утром – было солнечно, а как до озера добрались – снег повалил. Человек двадцать у нас были заранее отправлены, чтобы запастись сеном. Кинулись теперь и мы на помощь. И прав был старик, опасавшийся вчера, что сена может не хватить. До самого вечера пробродили мы вокруг озера, разыскивали под снегом оставленные копны. Еле-еле набрали. Но все же сметали на сани, утоптали, прижали, все, как полагается, и, надо сказать, стожок получился на славу. На быках нам его возить да возить. А тут все на одни сани поместилось.

Снег повалил пуще, ветер навстречу, и я гляжу – у Райхан щеки сначала покраснели, а потом белеть начали. Но она сидит себе и только рычагами орудует. Заправский тракторист – в стеганых брюках, в телогрейке, широкий ремень. Тракторишко, пока не выбра-

лись на дорогу, часто тыкался в заносы и останавливался. Бросались мы тогда расчищать и утаптывать. А ветер разгулялся к вечеру, так и режет... Но все же выбрались мы, привезли и вздохнули свободно. А назавтра, взяв с собой несколько человек, Райхан съездила к соседям, в колхоз имени Тельмана, и привезла еще.

Теперь скотина была спасена.

С весны молодняк у нас стал прибавляться, и поначалу все шло из рук вон плохо. Телята и ягнята, слабенькие еще, на ногах не стоят, валятся прямо в грязь и, бывало, так и замерзали. От простуды погибало много. Колхозники, как я заметил, жалели пропадавшую скотину, но чтобы помочь хоть чем-то – палец о палец не ударили. «Э, не моя, так что мне беспокоиться?..» Колхозное – не свое, и к этому уже стали привыкать.

– Как вам не стыдно!– напустилась на нас Райхан.– Неужели вы способны спокойно спать в такое время? Вы видели свой баз? Одни же дворы... У них молодняк гибнет, а им и горюшка мало!.. Вот что, сейчас я назову дома, которые будут дежурить сегодня на базу, и весь приплод, который появится ночью, они заберут домой. Пусть кормят и выхаживают. А завтра пойдут на дежурство следующие четыре дома... Мы же без молодняка совсем останемся!

Это было, пожалуй, единственным пока спасением. При домашнем уходе ничего не стоило сохранить приплод до наступления лета. Тут все поддерживали Райхан, даже старый, вечно недовольный Боташ. Он столько раз выходил из колхоза, а затем возвращался вновь, что мы и счет потеряли. Все какую-то выгоду искал старик... Ну да не в нем сейчас дело.

Через несколько дней произошел первый скандал. Карабет, когда ему пригнали на сохранение колхозный молодняк, не только прогнал людей, но и накричал, и это многие слышали.

– Идите вы отсюда, своей скотине стоять негде. Вон, гоните к Райхан, пусть сама ухаживает. Девка здоровая, ни детей, ни мужичка. Только с жиру бесится!

Глядя на Карабета, еще кое-кто отказался. Опять у нас все нарушилось. Вот Карабет, прямо наказание наше!

Вызвали мы его в контору.

– Ты что?– говорю.– Или забыл, каким в колхоз пришел? Даже козы не привел. А сейчас, когда жиром оброс, рожу воротишь. Или ты лучше других?

Тут Оспан вмешался:

– Кургерей-ага, чего мы его уговариваем? Надо в конце концов решить раз и навсегда. Хочет он с нами жить – пусть берет приплод, не хочет – к чертовой матери из колхоза! Чтоб духу даже не было!

Молчит Карабет, только морда темнеет.

– По-моему, Оспан прав,– сказала Райхан.– Карабет, за тобой слово.

Опять ждем. Поднял Карабет голову и по-волчьи поглядел на всех на нас.

– Если вы не в состоянии сохранить скот сами, чего ж тогда было шуметь, в колхоз объединяться? А мне некогда за чужим скотом ухаживать, у меня семья.

Он встал и направился к двери, но Райхан попросила его задержаться.

– Товарищи, по-моему, все ясно. Держать такого человека в колхозе мы не можем. Поэтому предлагаю исключить. Давайте – кто за?

Смотрю я – одни подняли руки решительно, не раздумывая, но несколько человек еле-еле, будто через силу.

– Хорошо,– остервенился Карабет,– я уйду. Я и сам уже давно собирался. Ну вас всех вместе с вашим колхозом к...! Но я еще погляжу, как вы разбогатеете! Мы еще посмотрим... А с тобой, Райхан, у нас еще не все кончено. Пусть подохну я, но руки мои будут на твоей шее! Вот увидишь!– и попер косолапо из комнаты, дверью что было силы хлопнул.

Кончилось у нас все с Карабетом. Одним разом избавились мы и от джута и от Карабета. Райхан помогла...

Трактор, который привела к нам Райхан, сильно двинул все наши дела. Просто не думали даже, что так у нас все пойдет. Прежде всего, конечно, пахота. Полюбоваться на работу съезжались люди из самых дальних мест. Никто же никогда не видел такой диковинной арбы. Кони, едва замечали грохочущее чудовище, начинали метаться, храпеть, а если седок бывал послабей и неопытный, то часто кубарем летел с седла. И тоже смешно, – брякнется человек на землю, конь у него ускачет, а он, едва поднимется, не за конем бежит, а за трактором и смотрит, смотрит, никак не веря собственным глазам. И стоит только трактору остановиться, как его обступят, облепят со всех сторон, к Райхан лезут.

– Светик, и к нам бы в колхоз приехала.

– Помоги и нам...

Райхан смеется.

– Не всем сразу. Подождите, скоро и у вас будет трактор. Лучше подыскивайте пока людей, чтоб на трактористов учились. Вот пусть сюда приходят и учатся.

И желающих объявилось много. Даже слишком много. Молодежь из всех аулов потянулась к Райхан. Наши парни сначала смотрели и терпели, а потом стали гнать посторонних.

– Давайте-ка, мотайте домой. Сначала мы научимся. Все изменил у нас трактор. Мальчишки на улице, так те раньше на прутиках скакали, а теперь и у них трактор в голове, – фырчат, «баранку» крутят. Будущие трактористы растут! Оно и в самом деле: первые механизаторы в районе пошли из нашего колхоза.

Райхан не долго пришлось сидеть за рулем, скоро ее сменил Оспан, а она с головой ушла в колхозные дела, –

тогда ее снова избрали председателем. А дел находилось много, как только и успевала. За одно лето колхозники не только отремонтировали старый баз, но и построили из самана кошару, птичник, школу и даже четыре жилых дома. Обрастать стал колхоз, становиться на ноги.

За всеми этими делами мы и осень не заметили как подступила.

Хороша в том году была осень! Солнечно, тихо, лишь еле-еле набегит и тут же погаснет прохладный ветерок. Хлеба стояли плотные, налитые, точь-в-точь, как в том году, когда все у нас сторело. Зайдешь, бывало, в поле и слышишь, как шелестит, будто шепчется о чем-то золотая пшеница. А над головой облака белые, не торопятся. И паутинки понеслись, божья пряжа, как раньше называли. Откуда они брались и куда девались, – никто не видел. Появится и плывет, плывет, пока не пропадет где-то в золотом волнующемся море... Приятно было и на скотину посмотреть. Отъелась, затяжелела, у коров так вымя еле помещалось. Целый день на поле, на приволье, молоком, казалось, залиться можно. Доярки веселые бегают: подоят и к сепаратору, и гудит, гудит на ферме до самой ночи машина, перегоняя сливки. Вот уже поистине благословенное время пришло, когда даже жаворонок спокойно вьет гнездо на спине барана...

Но, видно, судьба уж наша такая, что ли, а только недолго мы порадовались счастью. К зиме, как снегу упасть, снова такие завертелись дела, что вспоминать тошно.

И вот с чего все началось.

Мы еще хлеб убирали, как появился у нас в ауле новый человек. Молодой, обходительный, – ничего не скажешь, всем он нам пришелся по душе. Из Алма-Аты приехал. Волосы длинные, назад зачесывал, в очках солидных. Очень уважительный к старикам и поговорить умел. Как заговорит, бывало, – заслушаешься...

Потом уж я узнал, что когда Райхан училась в Омске, он в Москве институт заканчивал. Знакомы они были, и, оказывается, давно уже обо всем договорились.

Ну, что же станешь делать: зять так зять. Но на сердце у меня беспокойно: неужели, думаю, уедет моя Райхан, и больше я ее не увижу? Жалко, больно, тоскливо.

– Что ты, отец!– говорит Райхан.– Я вас ни за что не оставлю. Вместе будем жить.

– А что ж ты скрывала до сих пор?– говорю.

– Да ведь как сказать...– и смущается, смеется.– Не сердись, отец. Не век же мне монашкой сидеть. И так уж смеются, что состарилась.

– Воля твоя, дочка. Лишь бы ты была счастлива, а нам с матерью большего и не надо.

Опять бросается ко мне, целует в бороду, в лицо...

Уезжая, зять сказал мне, что приедет к зиме и тогда уж сыграем настоящую свадьбу.

Уехал он, стали мы ждать. И все бы должно было получиться, по задуманному, как вдруг... Ох, говорить даже не хочется!

Вечерело, помню, в окошко дождик крапал. Тихая такая осенняя пора. Сидим мы, лампу зажгли. Лиза стала на стол подавать.

Слышу, однако, скачет кто-то. И не один, а несколько человек. Прискакали, у ворот остановились. «Ну,– думаю,– к нам». Что ж, гости так гости. За стол еще не сели, веселее будет. В дверь вдруг принялись так барабанить, что мы с мест вскочили. Лупят, бухают,– чуть с петель не снимают. Это что же за гости такие?– думаю. Открыли дверь. Вваливаются трое: Косиманов и с ним два милиционера. В форме, с винтовками.

Косиманов сразу к Райхан.

– Встать!– рявкнул по-русски.– Ты арестована.

Матушки-светы, да за что же это? Лиза моя чуть в обморок не брякнулась, потом кинулась к Райхан, вцепилась, закрыла телом:

– Не дам!

Один из милиционеров схватил ее, оторвал и в сторону пихнул. Много ли бабе надо, – отлетела моя Лиза в угол, лежит на полу. Мы и глазом моргнуть не успели, как они все у нас перевернули: из сундуков все летит, из чемодана. Ищут чего-то.

Косиманов нагнулся, поднял с пола книжку, полистал.
– Читаешь? – спрашивает у Райхан.

А у нее ни испуга, ни отчаяния, – совсем спокойная стоит.

– Это что, допрос? – говорит ему.

Книжку я узнал: «Дочь казаха» Беимбета Майлина на русском языке. Райхан как-то долго читала нам ее вслух.

Отбросил книжку Косиманов, по комнате прошелся. Я наблюдаю за ним, – что им надо?

Косиманов говорит:

– Радуешься, старик, что зятя ученого нашел? В тюрьме он сейчас, в самой Алма-Ате.

Чего он мелет? Я за Райхан испугался. Но она стоит, как стояла, и лишь улыбается с издевкой. Говорит ему:

– Далеко живете, а обо всем знаете... Чего вы издеваетесь над человеком, который старше вас? Принимайтесь за меня. Или боитесь, что не по зубам?

Фыркнул Косиманов, но ничего не сказал. Лишь на милиционера, который увязывал книги, прикрикнул:

– Еще вон портрет не забудь! Нельзя его оставлять в таком доме.

На стене у нас висел портрет Ленина. Может, знаешь: прищуренный такой взгляд, будто все видит, все знает и, как мне тогда показалось, даже жалеет нас... Милиционер козырнул и полез снимать портрет... Все они унесли с собой.

Райхан вывели и усадили на бричку. Темно, дождь льет, тоскливо. На душе у нас с Лизой так, будто мы с похорон приехали. Лиза как легла у печки, так и пролежала до рассвета. Лампа горит, у печки Лиза давится слезами. Места я себе найти не мог.

Утром я послушал, послушал, как всхлипывает жена, да и не выдержал:

– Хватит!– кричу.– Чего беду кличешь? Ничего с ней страшного не случится. Завтра же и вернется. Что они могут сделать невинному человеку?

Я и на самом деле нисколько не сомневался, что тут какое-то недоразумение. И соседи, когда узнали, тоже в один голос стали уверять,– да вернется, говорят, что с ней сделают?

Но вот прошел день, еще день и еще,– трое суток мы прождали. Нет нашей Райхан. И ни весточки от нее, ничего. Заскребло тогда у меня на сердце. Дело, вижу, не шуточное. Собрал я, что можно было, и поехал в район узнавать.

Сначала я думал к Карабету сунуться: Косиманов зятем ему приходится. Но потом подумал и взял себя в руки. Уж, кому, кому, а Карабету в ноги кланяться не стоило.

Узнал я у людей, где тюрьма и пошел туда с утречка. Передача для Райхан еще дома была собрана... Пришел я на край села, вижу – вот она, тюрьма. Подхожу. Смотрю, охранник, который в воротах, знакомый парень, сынишка старого моего дружка, сапожника. Я этого охранника еще мальчишкой сопливым знал, в коротенькой рубашонке.

– О, айналайын, аман ба?¹– бросился я к нему.– Как отец, здоров ли?

Но парень будто не видит меня и не слышит.

– Да ты что,– говорю,– не узнаешь? Это же я, Кургерей. Нехорошо к старикам так относиться. Ведь я тебе в отцы гожусь.

Заговорил он наконец.

– Вам кто нужен? Только скорее,– на посту разговаривать не положено.

И пистолет на боку поправляет.

¹Айналайын, аман ба? – Дорогой, как живешь? (Как здравствуешь?)

«Ах ты, дьявол, – думаю. – Вот еще шишка-то...»

Говорю ему:

– Ты поэтому и важный такой, что у тебя эта игрушка на боку болтается?

– Осторожней, старик! За такие слова и под суд недолго...

А ведь и в самом деле – что им стоит и за меня приняться? Поутих я.

– Дочь у меня, – говорю, – здесь, Райхан. Передачу вот принес. Увидеться бы...

– Без разрешения товарища Косиманова передавать преступникам ничего нельзя!

«Преступникам»... Меня будто жаром окатило. Это моя-то Райхан преступница?!

Слышу, охранник тихо говорит:

– Кургерей-ага, здесь нельзя стоять. – И по сторонам оглядывается. – Из области начальник приехал, Бахалов. Попробуйте к нему. Только не говорите, что я сказал. А теперь все, уходите!..

Хоть и не добился я ничего толком, но на душе у меня потеплело. Значит, есть начальники и повыше Косиманова. Может, сам бог послал сюда этого Бахалова. Увижу я его, расскажу ему все о нашей бедняцкой жизни, и распорядится он отпустить Райхан. То-то Лиза обрадуется, когда мы приедем с ней вместе!..

Добраться до Бахалова оказалось не так-то просто. Дня три или четыре прооколачивался я возле ворот милиции, пока наконец добился. Но – добился, пустили меня.

В комнате, где принимал начальник, темно, со света сразу ничего и не разглядишь. Но присмотрелся я и вижу: кресла, обитые кожей, на окнах шторы, и каждая с кисточками, как конский хвост. За столом, большим и будто врытым, увидел я коротенького толстого человечка, похожего на срубленный пень. Лицо рыхлое, бледное, словно из просяного теста, и точки кое-где, как песчинки. Но глаза острые,

рыжие – кошачьи. Шеи у начальника совсем нет, и ворот кителя распахнулся, как расстегнутый хомут. Сидит в кресле плотно, крепко, не свернешь.

Поздоровался я, он молчит, будто и не слышал. Потом бросил, как от себя оторвал:

– По какому делу?

Сиплый такой голос, трудный, откуда-то изнутри.

– Дочка, – объясняю, – у меня здесь. Передачу привес. А не берут.

– Звать?

– Райхан. Райхан Султанова...

И вдруг он рассмеялся: зашипел, запыхтел, будто задыхается – пых, пых...

– Чего ты болтаешь? Твоя-то фамилия как?

– Федоров.

– Так какая же она тебе дочь?

Стал я объяснять, что и к чему, о Сулу-Мурте говорю, о нашей дружбе... Не дослушал он.

– Ну хватит. С дружбой тебя твоей...

– Товарищ начальник, – говорю, – не виновата она ни в чем. Зачем зря человека...

– А вот уж это не твоего ума дело! Не ты будешь проверять. Ступай, и чтоб я больше тени твоей здесь не видел. Понял? А коли хочешь быть отцом врага народа, так тюрьма у нас большая, места хватит.

У меня в ушах зазвенело: «Враг народа...» А Бахалов позвонил в колокольчик, вошли два милиционера. Вывели меня, и дальше я уж ничего не помню. Будто оглушил меня голос начальника и его тихий звоночек – все отбил.

В приемной, там, куда я вышел, в глаза мне бросился знакомый – Карабет. Обрадовался я ему, так и поднесло меня. Кинулся, за плечи его обхватил.

– Карасай-ау, поговори же с зятем... Что будет теперь с Райхан?

И в глаза ему заглядываю, последнюю надежду ловлю. Засмеялся Карабет, отодвинул меня.

– А что, – говорит, – будет? Известно что. Угонят туда, где на собаках ездят.

И так, с усмешечкой пошел себе, скрылся по своим делам.

Если бы знать мне тогда, что как раз Карабет-то и заварил все дело, что именно он оклеветал мою Райхан! Убил бы я его, разбил его паршивую башку. Не жить бы ему больше...

И только ушел Карабет, поглядел я туда и сюда, пусто везде, темно и холодно, и что-то помутилось у меня в глазах, голова закружилась, потолок куда-то вбок поехал. Свалился я...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Удивительная стояла в том году осень! По-летнему занимался над тихой росистой степью ясный безоблачный день, и влажный ветерок, небегая с восхода, качал налитые тяжкие колосья, волнуя на всем раздолье янтарное созревшее море. Показывалось скоро солнце и поднималось на длину аркана, и тогда падала роса, скатываясь с жестких усиков пшеницы, колосья распрямлялись и, заиграв на теплом ветру, пересыпали по спелому полю сухой неумирающий звон. И беспокойные волны прокатывались целый день по золотистому с каленым медным отблеском разливу, прокатывались и замирали у далекой еле видимой черты.

С самого начала уборки не выпадало ни капли дождя, и люди радовались этому, как великой удаче.

Халил жил в красном тесном вагончике на полевом стане четвертой бригады. В вагончик он приходил лишь ночевать, потому что рабочий день шоферов целиком зависел от комбайнов. Умолкли машины в поле, отступая перед выпавшей росой, получали передышку шоферы. Все остальное время они не вылезают из кабинок, стараясь поспеть от комбайнов на ток.

День проходил в постоянном стремлении успеть, не опоздать, не дать остановиться уборке. Стоило задержаться машинам, бункера наполнялись зерном, и комбайны, словно в море корабли, замирали без движения, ожидая помощи. Как ни старался Халил, а все же часто, торопясь обратно в поле, он издали видел на мостике Тамару, томящуюся от безделья и демонстративно, в укор ему, лузгающую семечки.

После досадной задержки на току Халил озлился и шибко погнал пустую машину напрямик по жнивью. Выбираясь на большак, он увидел человека, бегущего к машине со стороны заката. Человек кричал и отчаянно махал руками. Садилось солнце, длинная уродливая тень человека вересекала дорогу и уходила далеко в степь. Когда тень упала на машину, Халил остановился.

В подбегающем человеке он узнал Дику. Запаренный, то и дело утирая свое большое плоское лицо платком, Дика вскочил на подножку и, просунувшись в кабину, обнял Халила. Он был счастлив, возбужден, и Халилу, давно не видевшему его, было странно видеть своего прежнего товарища в новеньком с иголки костюме. Видимо, что-то случилось у Дики, раз он так преобразился. Но на долгий разговор не было времени.

– Садись в машину, поехали. По дороге поговорим.

Оказывается, Дика целый день ищет и не может его найти.

– Все бригады объехал!

– А что случилось?

– Ой, Халил-жан, не спрашивай. Даже не верится...
Квартиру мне дали!

– Что ты говоришь!

– Двухкомнатную! Только дом отстроили... И бригадир и все наши прямо насели на Моргуна. «Надо дать – и только». Дали...

Халил внимательно посмотрел на него.

– Странно: одинокому и двухкомнатную квартиру...
Уж не собираешься ли жениться?

Дика смутился.

– Да говори, говори. Что, девушка есть?

– М-м... не знаю даже... Я для Акбопе больше старался.

– Для Акбопе?! – удивился Халил.

– А что? Ей же трудно с ребятишками. Я бригадиру так и сказал: родственница, работает в совхозе, а живет с детьми в обжешитии. Мы и Моргуну сказали и в рабочкоме...

– Ну что же, замечательно получилось... А дальше как решил?

Халил наблюдал за ним и не верил глазам: так изменился Дика. Просто не узнать стало парня! И по-русски начинает бойко говорить, и сам стал какой-то иной... Или это он дома привык его видеть забитым и бессловесным?

– Во, смотри! – счастливый Дика достал из кармана и повертел перед глазами Халила маленький блестящий ключик. – Сегодня как раз обмывать хотели. Приходи, Акбопе велела обязательно тебя найти. Она ходила к тебе, белье собрала. «Постираю, – говорит, – пусть придет переоденется...»

Сам Дика был чистенький, наглаженный, ухоженный на загляденье, и Халил только сейчас обратил на себя внимание: не мыт, не чесан, рубашка чуть не трескается от грязи. Некогда все...

Вечером, когда умолкли комбайны, Халил уговорил Тамару поехать вместе с ним.

Сначала она отказывалась, но он настоял, и девушка согласилась.

В путь они отправились веселые, с легкой душой, но чем ближе сверкали впереди совхозные огоньки, тем замкнутей становился Халил, пропадала разговорчивость, он с волнением думал о том, что вот еще немного – и они увидятся с Акбопе. Предстоящее свидание вызывало беспокойство, ему было неловко, словно он в чем-то виноват перед снохой. Впрочем, прежние их дружеские отношения пропали давно, – с

тех пор, как их насильно свел отец, но за то время, что они не виделись, Халил забыл обо всем, успел забыть. В конце концов он успокоил себя тем, что Акбопе приходится ему родней, женой старшего брата, и в том, что он едет проведать ее и племянников, нет ничего странного. Тем более, что у них сегодня радость, его приезд будет как раз кстати... И он вновь взял себя в руки, быстрее погнал машину, беспечно, как будто ни о чем не думал, заговорил с Тамарой.

В доме, когда они появились, было полно народу, и приехавших почти не заметили. Выбирая себе место и приглашая Тамару, Халил незаметно осматривался. Здесь присутствовала вся бригада строителей, возвышался богатырь Оспан, скромненько сидел завгар Морозов. Это люди знакомые. Потом Халил увидел незнакомого парня, совсем чужого, и неожиданно ревность уколола его в сердце. С какой стати Акбопе пригласила и этого молодца? Несколько раз он, забыв о Тамаре, украдкой останавливал свой взгляд на лице парня, и чем дальше, тем больше незнакомец не нравился ему.

Вбежала Акбопе, увидела Халила и с такой радостью бросилась к нему на шею, что все его недовольство как рукой сняло. Он смотрел на нее и не узнавал. Она похорошела, поправилась, налилась здоровьем. Что-то знакомое появилось в ней, и он будто заново узнавал ее. Когда она прижалась к нему и поцеловала, он почувствовал ее груди, ощутил на щеке дыхание и вспомнил совсем еще недавнюю жизнь под одной крышей. Позднее раскаяние коснулось его. Где были его глаза? Куда он смотрел? Что думал раньше?.. То же самое испытывала и Акбопе. Она тоже нашла Халила изменившимся неузнаваемо: он повзрослел, возмужал и, признаться, похорошел. Акбопе так и светилась радостью, пока не увидела Тамару. Светленькая, с рассыпанным по плечам волосами девушка не понравилась ей; в черных глазах молодой женщины, будто

короткая молния в тучах, блеснул и погас недобрый огонек. Но она не хотела выдавать себя перед гостями, перед Халилом, она обняла и тоже поцеловала Тамару. Девушка, ничего пока не понимая и лишь смутно догадываясь, вспыхнула огнем.

В комнате было шумно, молодежь вскочила на ноги и наперебой приглашала Тамару проходить, не стесняться, садиться за стол. Она тут знала почти всех.

Получилось так, что места Халила с Тамарой оказались рядом с незнакомым парнем, и тот, считая их родственниками Акбопе, принялся занимать разговором. Халил вспомнил наконец, где он видел его, – на току, куда возил зерно. Ревность вновь дала себя знать, и он, отвернувшись от соседа, принялся рассматривать обстановку в комнате. В углу стояло высокое зеркало, не новое, бедноватое, но еще добротное, без него комната казалась бы пустой. Был здесь небольшой шкаф для одежды, и бросилась в глаза новенькая кровать, никелированная, с горой подушек и одеял. Стол, за которым они сидели, был современный, раздвижной, хорошо полированный, необходимая нынче в доме вещь, и Халил вспомнил отцовский дом с пыльными коврами, сундуками и набитыми всяким барахлом старыми чемоданами. Здесь было чище, светлей, легче дышалось. «Но когда они успели набрать столько добра? – подумал он. – Неужели все Дика?»

Задумавшись, Халил не заметил, что бригадир строителей, поднявшись за столом, требует тишины и внимания. Шум стих, все приготовились слушать.

Голос бригадира, тонкий, отчетливый, его манера говорить, будто отрубая каждое слово, невольно приковывали внимание. Он говорил о Дике.

– Не знаю почему, не знаю кто дал ему такое имя, Дика... Как я понял, оно произошло от слова «дикий». Не спорю, тут что-то есть: Дика наш вообще весь от этой привольной родной степи. В самом деле, посмотрите сами: открытый характер, золотая россыпь

щедрой души, простота степного озера, чистого сердца... что я еще не назвал? Все?.. Так вот, друзья, я и предлагаю: выпьем за нашего Диду, сына своей степи, которая... которая... Хотя чего там! Пьем! Все пьем!

– Ура!– закричали за столом.

– Хай вично живэ!..

Позднее Халил узнал, что строители, закончив этот дом, решили отдать его тому, кто первым женится, и не только отдать, а еще и собрать в бригаде денег для обзаведения хозяйством. Так появилась в доме мебель, купленная на днях, в канун новоселья, в Омске.

Пока шло веселье, Дика несколько раз порывался подсесть к Халилу, и наконец улучил момент, когда он остался один.

– Халил-жан,– стеснительно, будто извиняясь, заговорил он,– мы уже обговорили с Акбопе. Мать у тебя болеет, за тобой даже постирать некому. Может, пока мать не поправится, ты переедешь к нам? Не стесняйся, места хватит. Смотри, чего нам еще надо?

– Мать может обидеться, что я ее бросаю,– сказал Халил.– Но я с ней поговорю.

После того случая, когда он увидел отца с квартиранткой, Халил старался как можно реже бывать дома. Он вообще ушел бы оттуда насовсем, если бы было куда. Предложение Дики пришлось кстати, и он обещал, поговорив с матерью, забрать постель и переехать.

– Конечно! Мешать ты тут никому не будешь... У нас вообще еще несколько домов скоро сдаются. Может, свободнее заживем. Дело-то лишь разворачивается... А тебя,– словно по секрету сказал Дика на ухо,– тебя тоже все хвалят. Говорят, после Оспана лучший шофер.

– Да ну, скажешь тоже. Куда мне до Оспана? Да и другие... Дерягина, например, куда денешь?

– Дерягина? Это тот самый, который был с тобой? Говорят, он пьет много.

– Пьет дай бог. Но шофер не хуже Оспана...

И под галдеж подвыпившей компании, придвинувшись близко к Дике, пьяненький Халил неожиданно разговорился и весь вечер рассказывал о своем бывшем шефе, хваля его одержимость в работе, знание машины, даже способность пить и быть все время на ногах...

Той же ночью Дерягин сидел в доме Карасая, и квартирантка, встречая позднего гостя, выставила на стол хмельную домашнюю бражку.

Машину, доверху груженную зерном, Дерягин загнал в широкие ворота сарая, подал к широкому колодцу ямы, зацементированной и высушенной. Оставалось лишь откинуть задний борт, и отборная литая пшеница с сухим шелестом устремится вниз.

– Ну, по последнему, да за дело, – подгоняет шофера Карасай. – И не забывай, почаще теперь заезжай. День ли, ночь, – не стесняйся. Свои люди...

– А чего стесняться? – сказала Япишкина, с улыбкой посматривая на хмурого гостя. – Долго ли такому молодцу пропить машину зерна? Три дня – и нету... Хочешь, не хочешь, а завернет.

Дерягин поднял на нее недобрые глаза. Смысл намека трудно доходил до пьяного сознания.

– Значит, поэтому ты мне и пиво подаешь? А?.. – и вдруг смахнул со стола налитый стакан. – Да провалитесь вы вместе с вашим...

– Да ты что, ты что? – набросился на него Карасай, снова усаживая и поднимая с пола стакан. – Она ж не о том... Какой ты! Разве кто тебя заставляет? Можно – завези. А заезжать в любое время заезжай. Только рады...

Внезапно все, кто были в комнате, насторожились: в сенях послышались быстрые шаги. Испуг отразился на лице Япишкиной: ведь закрыто же было!.. Распахнулась дверь, и вошел Халил. Он не ожидал встретить такое сборище и в недоумении остановился на пороге. Взгляд его медленно переходил с одного на другого. Мужчины потупились, а Япишкина, вскочив, засуетилась:

– О, Халильчек пришел. Проходи, проходи, садись.
– Твоя машина?– спросил Халил, кивая на сарай.
– Допустим...– процедил Дерягин.
– Сейчас же убирайся!.. То-то я смотрю, и яму уже приготовили. Жулье!

– Но, но, осторожней!– Дерягин угрожающе поднялся из-за стола.– Выбирай выражения...

Не двигаясь с места, Халил холодно осмотрел подходившего верзилу.

– Пугаешь?– Учти, что того теперь не повторится. Если ты сейчас же отсюда не уберешься, будешь объясняться с самим Моргуном. Так что проваливай-ка лучше,– и, ни на кого больше не взглянув, отправился в свою комнату. Слышно было, как он зажег там свет.

Обескураженный Дерягин, напряженно моргая, пробормотал:

– Уйду, уйду. Тебя не спрошу...

– Не бойся,– шепотом подбодрил его Караяй, поглядывая на дверь в комнату сына.– Чего испугался? Ссыпай, я все улажу.

Завернув подушки в матрац, Халил завязывал веревку, когда в комнату вошел отец.

– Что ты за человек?– накинулся он на сына.– Я-то думал, помощник растет, кормилец на старости лет, а он последнее из дома тащит.

– Это ты о краденном зерне?– уминая коленом постель, спросил Халил.

– Какое краденое? А хоть и краденое? Какое тебе дело? Что, ты его воровал? Для кого я запасаю,– для себя? Кто его жрать будет?

– Только не я. Хватит. Жрите вы его одни со своей Япишкиной.

Имя квартирантки сорвалось с языка совершенно неожиданно, и Халил покраснел. Но отец не смутился, не рассердился.

– Это не твое дело. Понял? И не болтай.

С минуту, не меньше, они стояли друг против друга, не произнося ни слова. О чем было говорить? Халил,

исподлобья смотрел в замкнутое отчужденное лицо отца. Громадная тень Карасая закрывала всю стену. Халил поднял тюк с постелью и, задев по дороге отца, вышел.

Машины Дерягина не было, сарай с распахнутыми воротами стоял пустой. Халил сбежал с крылечка. Дика, увидев его с вещами, выскочил из кабины, помог уложить тюк с постелью.

Пустым, чужим показался на этот раз Халилу отцовский дом. Шурша сапогами по мокрой от росы траве, последний раз прошел он по двору. В темноте в углу двора он разглядел старую разохшуюся арбу, лежала она тут с незапамятных времен. Возле арбы, жмуря бессонные глаза, лежали грузные сытые коровы с телятами. Нашарив веревку, Халил отвязал от арбы породистую пеструю корову, поднял на ноги.

– Держи,– сказал он Дике, передавая ему веревку.

– Куда вы?– зычно крикнул Карасай, выскочив на крыльцо.

Он подбежал к Дике и с ходу ударил его в грудь. Но не тот уж был Дика, что прежде. Не шелохнувшись, не посмотрев даже на прежнего грозного хозяина, парень шел и уводил с собой корову.

– Это Жалила корова,– сказал Халил.– Для его детей.

Он звонко хлопнул ладонью по гладкой высокой холке, корова, шумно вздохнув, качнула рогами, пошла быстрее.

– Да вы что?– испугался Карасай, забегая вперед и хватаясь за рога.– Не дам!

Но мощная медлительная корова, словно сделав окончательный выбор, нетерпеливо мотнула тяжелой головой, Карасай, не удержавшись, полетел на землю.

– Пошли, пошли,– не останавливаясь, сказал Халил.

На следующий день Дерягина не стало на автобазе. Встретившись с Тamarой, Халил рассказал ей о вчерашнем, и девушка рассердилась:

– Так чего же ты молчишь? Скрыть хочешь? Это же преступление! Ты понимаешь, чем они занимаются? Или ты тоже хочешь с ними под суд пойти?

– Так он же не ссыпал, – неуверенно оправдывался Халил. Он уже не рад был, что проговорился. Теперь, пожалуй, Дерягину не сдобровать, – уговорить, успокоить Тамару не было никакой возможности.

Рассердился и Моргун, узнав от Тамары, куда исчезают машины с зерном. Пожалуй, никто из рабочих не видел еще директора в такой ярости.

– У тебя совесть есть или нет? – накинулся он на Дерягина. – Тут за зернышко боишься, а он...

– А что вы на меня, что я сделал? – прикинулся дурачком шофер.

– Он еще спрашивает! Где ты шляешься с машиной по ночам? Где?.. Молчишь!

– Кто это вам наболтал? – возмутился Дерягин.

– Не твое дело! Иди и сдай ключи Морозову. Нету тебе доверия! Я тебя и так оставил только ради Райхан Султановны, а уж теперь... Хватит!

Дерягин топтался и не уходил!

– Иди, иди, некогда мне с тобой! И можешь не плакаться, не бить себя в грудь что больше не будешь. Слышали уже. Подыскивай себе другую работу. Вот, на ток можешь, в диспетчерскую или на бензоколонку. А в шоферы... – директор махнул рукой.

– Что ж, и на этом спасибо, – ядовито произнес Дерягин, швырнул ключи на стол и вышел. «Ну-ну, подожди! – грозился он, думая о Халиле. – Отомстил... Я тебе не так отомщу!»

Выйдя из конторы, он осмотрелся, подумал и направился к одиноко стоявшему в стороне дому Карасая.

Поздно ночью в поле на виду у поселка вспыхнул пожар. Узкий, рвущийся от земли столб огня взвился высоко в небо и задрожал, заплясал, отбрасывая вокруг колыхающиеся языки света.

Пламя заметили и ударили тревогу. На бригадных станах люди вскакивали и, шурясь спросонья, плохо попадали в рукава. Первыми к месту пожара успели шоферы, кочевавшие по ночным дорогам в долгих бессонных рейсах. Завидев огонь, они развернули машины и понеслись прямо по жнивью, не разбирая дороги.

Райхан в момент пожара была далеко, километров за двадцать. Огонь был виден и оттуда, но Райхан подумала, что это, ночуя в поле, ребята развели костер. Однако сила далекого огня не унималась, и ей стало не по себе: слишком уж врезался в память давнишний пожар, виденный в детстве. Тогда вот так же поздно, в глухое время, взметнулся огонь, слизнув труды аула за целое лето. В конце концов Райхан бросилась в машину и на последней скорости погнала на свет, заливающий полнеба.

Директор совхоза, как и все, кого тревога подняла с постели, был почти раздет. Люди, окружив жаркое пламя, колотили чем попало, закрывая лица. Огонь неудержимо рвался ввысь и было что-то буйное, ликующее в его неудержимой пляске. Горела машина, новенький грузовик, и никому из сбежавшихся не было понятно, как он очутился в таком месте, где шофер и каким образом загорелось.

Прикрываясь от жара рукой, Федор Трофимович подступил близко, очень близко, и вдруг что-то грохнуло в самой гуще огня, и взвилось вверх и, упав, покатилося по земле, шипя на мокрой траве. Взрыв прибавил огню силы, – полетели искры, густое стелющееся пламя вылилось на дорогу. Люди попятились, а в неунимающемся костре один за другим раздалась четыре громких, оглушительных выстрела.

После этого пламя заметно пошло на убыль, а машина осела, будто стала ниже, пригнулась к земле. В сгоревшей машине взорвался бак с горючим и накалились от жара баллоны...

– Чья машина?– спросил Федор Трофимович.

Никто не знал, никто не произнес ни слова. В глубокой траурной тишине пламя зализывало металлический каркас машины. Тьма подступала ближе, карауля момент, когда погаснут последние огоньки. От грузовика осталась одна рама, будто калясь на горячей без капли жира сковородке.

Шофера не было, он не прибежал, как все, по тревоге и его не обнаружили в останках машины. В кабине было пусто, лишь торчали голые, как бараньи рога, горячие еще на ощупь пружины сгоревшего сиденья. Будь человек здесь, уж что-нибудь да осталось бы...

– Не трогайте здесь ничего,– сказала Райхан, унимая любопытных.– Надо позвонить, пусть приедут. А до того времени никого не подпускать. И знаки поставить, чтоб машины объезжали.

От пожара осталось огромное черное пятно. Пламя, разлившееся по дороге, достало и до обочин, где стеной стоял густой ковыль, но занявшийся было в траве огонь прибили, затоптали,– теперь остыло все и лишь коптило, рассыпаясь под сапогами мелкой, как пыль, золой.

Федор Трофимович засветил карманный фонарик. Канистры от сгоревшей машины валялись у самых ног. Носком ботинка директор повернул пустой обгоревший бачок и, склонившись, чтобы разобрать номер, направил узкий луч света. Прочитал и разогнулся, обескуражению утирая лоб. Райхан, почуяв неладное, придвинулась ближе.

– Халила машина, Талжанова...– сказал ей Федор Трофимович.

– Не может быть!..

В эту тревожную ночь, поднявшую всех на ноги, покойно было лишь в одиноком, стоящем за рощей доме. Но вот забрехали собаки, забегали, прыгая на ворота. Потом в закрытое ставнем окно раздался крепкий нетерпеливый стук.

Карасай, уткнувшись в широкую спину квартирантки, заворочался на постели, поднял тяжелую спросонья голову.

– Агайша... Агайша, стучат.

Япишкина со стоном перевернулась на спину. Ночной промысел спиртным не давал ей покоя, и выспаться почти не приходилось. Мотая головой, она сползла с кровати, зашлепала босыми ногами к окну – крупная, белая, нагая. Все было привычно: она высовывала руку в форточку, ей молча вкладывали деньги, она протягивала бутылку. На этот раз рука ее осталась пустой. Знакомый голос не очень громко произнес под окном:

– Открой!

Она узнала Дерягина.

– Сиди, я открою, – вскочил с постели Карасай, тоже узнавший постоянного покупателя. С некоторых пор он сам стал встречать поздних посетителей: слишком уж долго не возвращалась со двора сожительница, гораздо дольше, чем следовало отпустить бутылку и получить деньги.

От ввалившегося в комнату Дерягина сильно несло горелым. Пока Япишкина, наспех одевшись, зажигала лампу, шофер плюхнулся за стол, уронил голову и в немой тоске вцепился себе в волосы.

– Неси, – глухим утробным голосом сказал он. – Больше. Целую флягу... Пить буду, подыхать буду!

Квартирантка переглянула со своим сожителем. Карасай тоже насторожился: таким Дерягин еще не заявлялся.

– Вась, – сказала ласково Агашка, – а ведь ты еще за старое не рассчитался. Сколько же можно в долг?

Дерягин перестал дергать волосы и медленно поднял голову. Только теперь, при свете, можно было разглядеть, насколько он обезображен: щеки опалены до мяса, брови сожжены, и на пиджаке ни одного целого места – дыра на дыре. Горел он где-то, что ли?

– Тебе деньги?– со злостью выдохнул шофер.– Деньги тебе? На! На!– он выхватил из кармана горсть бумажек – весь свой расчет в совхозе – и пустил по столу. – Бери, все забирай. Я теперь и без денег проживу. Государство прокормит. На казенный счет теперь... Эх-х!..– он снова запустил сожженные пальцы в волосы, припал головой, заскрипел зубами.

Подозрительно было, отчего так убивается человек, и хозяева не успокоились, пока не подпоили Дерягина и не выпросили у него, что же все-таки произошло. Дерягин и не таился – навсегда пропащим человеком казался теперь он сам себе...

Весь день он провел у Карасая. Одно ему теперь оставалось – пить да горевать. Япишкина то и дело подносила на стол. Хмельна была брага у Карасая – большой мастерицей стала квартирантка.

В сумерках, возвращаясь в поселок, подвыпивший Дерягин увидел возле ворот Дики знакомую машину. Ну да, пригляделся он, машина Халила. Как не узнать! Злорадно усмехаясь, Дерягин залез в кабину и куском проволоки включил зажигание. Пускай теперь поищет молодец свою машину, ха-ха-ха! Пускай побегает... Подъехав к току, вогнал машину прямо в гору ссыпанного зерна. Дерягин накидал полный кузов и ночью, в темноте, потянул к дому Карасая. «Тогда не удалось, сейчас удастся... бормотал он.– Не унывай, на гулянку браги хватит».

С хмельной, затуманенной головой Дерягин плохо соображал, где он находится и что делает. Некоторую уверенность ему придавал привычный штурвал в руках. Когда машина остановилась, он опытом, чутьем угадал, что кончился бензин и, посапывая, полез в запасной бак. Отвинтил крышку, спустил длинный резиновый шланг. Его качало, проваливалось в сон сознание. Чтобы взбодриться, Дерягин нашарил папиросы и чиркнул спичку. Что было дальше, как случилось, он и сам не мог понять. Помнил лишь, как

вспыхнул ярким и жадным огнем бензин, побежало, загудело пламя и, протрезвившийся испуганный Дерягин, скинув пиджак, принялся бить, хлопать, забивать. Напрасно – огонь, набирая силу, скоро охватил всю машину, и опаленный Дерягин трусливо отступил в темноту. Часто оглядываясь на высокий столб огня, он побежал, побежал в ночное поле и лишь затем сообразил, куда ему, следует бежать – к одинокому дому за рощей. Другого пути, других знакомых у него не оставалось...

Выслушав его горький рассказ, Карасай и квартирантка думали об одном и том же: вольно или невольно, а получилось, что и они соучастники этого верзилы. Глаза старика мерцали за закрытыми веками. Он не торопился. Если раскинуть умом, то даже из такой истории можно извлечь какую-то выгоду. «Я же предупреждал эту Райхан о драке Дерягина и Халила... Не послушала! И вот... А кто, если разобраться, виноват? Недомыслие начальства... Но самому лезть не следует. Еще на зерно наткнутся».

– Не бойся, Вася,– успокоил он пьяного шофера.– Все обойдется.

– Давай, давай...– убито проговорил Дерягин.

– Не веришь?– спросил Карасай, ласково теребя его взъерошенные подпаленные волосы.– А кто знает, что это ты сделал?

– Кто... Да все узнают. Ты посмотри только на меня.

– Э, чего испугался. Я тебя так спрячу, что сам черт не найдет.

– Утешаешь? – усмехнулся Дерягин.– Не надо.

– Да не думаю я тебя утешать!– настаивал Карасай.– И слушай, если хочешь голову сохранить. В таком виде тебе, конечно, показываться не надо. Ты отдохни у меня, заживет все, тогда и ступай. Или к зятю можно, к Косиманову. У него тебя и искать никому в голову не придет!

Какая-то смутная надежда на спасение забрезжила в пьяном сознании Дерягина. Старик смотрел на него ясным откровенным взглядом.

– А кто виноват будет во всем? Халил?

– Какое тебе дело? Кто будет, тот и будет... Но если не хочешь, не надо. Смотри сам. Выкарабкивайся как знаешь... Чего боишься? Можно же сказать, что ты уехал. А для верности ты письмо напиши. Дескать, не могу работать из-за главного инженера. Я же знаю, как она тебя огрела тогда у склада. Все видели. Вот и напиши. Обо всем напиши!

При напоминании о пощечине у Дерягина словно зачесалась обожженная щека.

– Ладно, – согласился он. – Напишу.

– Ну вот! Однако смотри. Вася, тут уж обратно хода нет. Иначе плохо будет. Всем плохо. Не подведи смотри...

У Дерягина блеснули воспаленные глаза:

– В жизни еще никого не подводил!

– Молодец! Эй, Агайша, наливай, чего смотришь. Выпьем давай. За Васю выпьем.

Сомкнулись и разнялись три налитых стакана. Однако каждый, кто пил, думал о своем. Дерягин, трезвея от сознания расплаты, давал себе зарок, что если только пронесет беду, стакан этот – последний в его жизни. Япишкина своим мелким хищным умишком подсчитывала, сколько еще таких вот, как Дерягин, завернет к этому дому, давая ей неубывающий заработок. Карасай же, хоть и казался веселее всех, мрачно думал о Райхан и уже заранее тешил сердце: «Много ты мне насолила – всю семью разогнала. Но придет, придет еще время и для тебя...»

Гости давно разошлись, и Халил стал укладываться спать. Его беспокоило, что Акбопе, как ушла провожать Оспана, так до сих пор не вернулась. Где она задержалась! После сегодняшнего вечера она не выходила у него из головы. Неужели он потеряет ее

или уже потерял? Но она так обрадовалась ему, когда увидела. Не может же быть, чтобы в ней говорили одни лишь родственные чувства!

В окнах стало сереть, подступал рассвет. Сон пропал, и Халил ожесточенно ворочался в постели, прислушиваясь, не раздастся ли стук дверей. Но тихо было, сонно, глухая, поздняя пора. Халил закутался в одеяло с головой, надеясь забыться и заснуть...

– Я сама не понимаю, – говорила тем временем Акбопе, впервые почувствовав к молчаливому шоферу доверие, желание поговорить по душам. – Раньше он мне казался мальчишкой и я относилась к нему, как к мальчишке. Игнали, бегали, смеялись... А сейчас он другой какой-то... Вырос, что ли. Настоящий парень, мужчина. Ему уж жениться, видимо, пора...

– К этому идет, – согласился Оспан. – Всем рано или поздно приходит время...

– Я сейчас вспоминаю, как отец хотел нас сосватать. Если б вы видели, что сделалось с Халилом! Он разговаривать со мной перестал, честное слово! Это уж сегодня он что-то разошелся. А до этого совсем как чужие были.

В голосе ее послышалась обида, и Оспан, помедлив, неуверенно спросил:

– А тебе не хочется считать его чужим?

По тому, как вдруг умолкла Акбопе, шофер понял, что вопрос его задел за больное. Они помолчали, потом молодая женщина робко пыталась объяснить:

– Тут сразу и не скажешь... Да, я считаю его лучше, чем остальные. Но ведь мы родственники! И вот как старшая сестра, я хочу, чтобы ему досталась не какая-нибудь там... а хорошая, достойная девушка. Что тут такого?

Пытаясь заглянуть ему в глаза, она взяла его за руку и Оспан осторожно обнял ее за плечи. Акбопе притихла, но руки не сняла.

– Парень он хороший,– сказал Оспан.– Я его люблю и с удовольствием бы братом назвал...

Издалека, со стороны рощи донесся протяжный петушиный крик. Акбопе вздрогнула: петухи кричали в доме, где она прожила столько лет. Оспан заботливо прижал ее, и она согрелась под его тяжелой рукой, успокоилась, засмотрелась на небо. Звезда, сорвавшись где-то в черной глубине, ярко прочертила над головами и погасла низко над землей...

Не в силах заснуть, Халил оделся и вышел из дома. Он надеялся увидеть Акбопе у ворот, но там стояла лишь машина Оспана. «Он не уехал еще?»– удивился Халил, почувствовав легкий укол ревности. Но подойти к машине постеснялся, хотя что-то подсказывало ему, что она там, больше ей быть негде. Воспаленное ожиданием воображение подсказывало, что вот он приближается к машине, а оттуда выскакивает Акбопе и набрасывается на него: «Чего ты меня ищешь,– скажет,– что тебе от меня надо?» Стыдно... И все же он не утерпел и, на цыпочках подкравшись, осторожно заглянул в кабину. Сердце его упало. Плечистый, словно из крутой глины сбитый здоровяк-шофер сидел с блаженным лицом и боялся пошевелиться. На широченной груди у него спала Акбопе, и лицо ее, как успел разглядеть Халил, было умиротворенное и счастливое, словно у ребенка, наконец-то нашедшего покой. Кажется, она даже причмокивала во сне.

От машины Халил отошел так же осторожно, на цыпочках. Он не мог забыть радостного выражения глаз шофера, терпеливо ждущего восхода. Оспан даже не заметил, что за ним подглядывали.

В душе Халил испытывал противоречивые чувства: жаль было несбывшихся собственных желаний и в то же время он радовался счастью дорогого человека. «Хоть она нашла»,– утешал он себя, отправляясь обратно в дом.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Карасай сдержал свое слово: Дерягин в его доме был укрыт надежно. За время вынужденного безделья ожоги на лице зажили, затянулся и болезненный волдырь на шее, напоминавший теперь складку на ляжке козы. Оставалась лишь рука, сильно попорченная на пожаре, Дерягин все еще не мог согнуть пальцев.

Первые дни таинственный гость подолгу валялся на кровати, наслаждаясь покоем и тишиной. Но постепенно добровольное заточение стало надоедать, и Дерягин заметался, его здоровое полнокровное тело требовало работы. Пропал сон, и долгие осенние рассветы изводили его настолько, что он осунулся и похудел.

День он проводил у окошка. Стояли последние ясные дни, и работы в совхозе сократились. Среди опустевших полей хорошо стала видна степная дорога, и Дерягин тоскливо провожал глазами каждую машину. Теперь шоферы уж не распахивали настежь обе дверцы и не задыхались в расстегнутых на груди рубашках. В шапках, теплых фуфайках, они и машины подготовили к зиме: радиаторы укрыты стегаными чехлами с небольшими «глазками» по бокам. Дорожная пыль по-прежнему вилась за машинами, но пропало знойное марево в глубине полей, и степь, еще недавно рыжая от спелого хлеба, сейчас была седой от полыни, и будто поблекла, увяла в ожидании снега.

Потом наступили холода, и Дерягин потерял последнее терпение. Низкие тучи поползли над степью, посыпались унылые дожди, а как-то утром, едва дождавшись рассвета, Дерягин подошел к окну и не узнал окрестностей: упал первый снег. Крупные хлопья устилали озябшую землю, все задержнулось белой пеленой – и обитая дождем и ветром роща, и поселок, сильно разросшийся за то время, что Дерягин укрывался в гостях у Карасая. «Чего сидел, чего боялся?» – ругал себя

Дерягин, изнывая в заточении.– Трус!.. Уж лучше бы в тюрьму...»

Его появление в комнате, где Япишкина по обыкновению угощала заезжих шоферов, вызвало большое изумление. Пока подвыпившие гости, узнав пропавшего Дерягина, сидели с разинутыми ртами, квартирантка сообразила и бросилась к вошедшему чуть ли не на шею.

– Вася! Вернулся?! Вот радость!

– А что?– забормотал сильно подвыпивший шофер за столом.– Машин хватит. А хочешь, так мою бери. С меня довольно, вот, по горло. Поднял целину!

Гости уже еле сидели за столом, и Дерягин узнал проверенную привычку Япишкиной: спить заезжих так, чтобы они потеряли всякое соображение. А с пьяным расчет проще: бери сколько хочешь.

– Мы тут тебя не забываем, Вася,– сказал другой шофер, утирая мокрые вялые губы.– Султановне, видать, конец скоро сделаем. Я, например, пока она тут, не успокоюсь... Нет!

– Хозяйка!– оживился первый, сиюсь подняться из-за стола, но не смог и плюхнулся обратно на табуретку. Ты подай-ка, хозяйка... Письмо-то, письмо. Пусть Вася прочитает. Мы там Султановне дали прикурить. И Моргуну... Моргун тоже потише теперь станет...

Дерягин не стал слушать.

– Где Карabet?– спросил он у Япишкиной.

– О, Карabet?– воскликнул донельзя пьяный шофер за столом, его развозило прямо на глазах.– Карabet – человек! Он для тебя – все. Это я тебе говорю! Человек – Карabet, голова. Думаешь, кто нас надоумил написать?..

Квартирантка, настороженно наблюдая за Дерягиным, медленно приблизилась к нему.

– Сядь, Васенька. Я сейчас пива принесу.

– Денег нет,– усмехнулся Дерягин.– Не по карману.

– Господи, да потом когда-нибудь рассчитаешься! Свои же люди...

– Бросил. Врачи не разрешают.

Шоферы за столом рассмеялись:

– Брешут доктора... Сколько уж антабусу мы выпили, а посмотри на нас... А? Хозяйка, да принеси ты письмо!

– Какое еще письмо?– спросил, брезгливо оглядывая стол, Дерягин.

– Ну как!... во какое письмище накатали!

– В райком. И больше никуда! Там и про тебя. А что? Выжили же человека с работы! Это как?..

У них тут вообще скоро ни одного человека не останется, если так будут к нашему брату... Вот такое письмо получилось!

Вскинув голову, шофер с силой ударил по залитому пивом столу:

– Или мы, или Султановна... Пусть выбирают!

Вернулась откуда-то Япишкина, молча протянула исписанную бумажку. Дерягин, не читая, дернул,– разорвал пополам. Потом еще и еще.

– Вася?!

– Да ты что?..

– Где Карabet, тебя спрашивают?– рявкнул Дерягин.

Испуганная квартирантка отступила на шаг, на другой.

– Ушел куда-то... откуда я знаю?.. Да он зачем тебе?

– Убью! Задушу!– потряс обожженными руками Дерягин и выскочил на улицу. Япишкина, насторожившись, прислушалась к его шагам: совсем убежит или вернется? Убежал. Хлопнула калитка.

Тогда Япишкина деловито заторопила размякших гостей, быстро убирая со стола.

– Давай, давай, ребята, по домам. Не время...

Осенью, после уборки, большая группа работников совхоза была премирована путевками на Выставку достижений народного хозяйства. Вместе с другими трактористами стала собираться в Москву и Тамара Рубцова.

Сборы в дорогу вызвали в памяти совсем недавние времена. За последний год Тамара почти отвыкла от нарядов, одеваться приходилось во что придется, лишь бы тепло и удобно, и вот теперь, перебирая сохранившиеся от прежних времен вещи, девушка подолгу просиживала перед зеркалом. Пальто с чернобуркой еще совсем новое и на ней сидит прекрасно. меховые шапки, кажется, по-прежнему в моде. Губы надо чуть подкрасить, немного краски на глаза, подогнуть ресницы. На дне чемодана сохранились и перчатки, кожаные, как раз по руке. Можно ехать!

На станцию ее повез Оспан, посадив в кабину. Тамара сидела гостьей, нарядная, как будто чужая.

Не успели они отъехать от поселка, как Тамара увидела бегущего по дороге Володю Котенка, бригадира строителей, и попросила остановиться.

– Ты что это?– подбежал, запыхавшись Володя.– Хотела уехать не попрощавшись? Подарков, слушай, побольше захвати. В Москву же едешь!

– Ну чего тебе привезти?

– Да в общем-то что хочешь. А если говорить по совести...

Загудела сзади сирена, и Тамара, прикрыв дверцу, выглянула. Володя посторонился с дороги. Тяжело груженная машина, едва не сползая на обочину, осторожно объехала стороной. За рулем Тамара узнала Халила.

– Счастливого пути!– крикнул Халил, останавливаясь. В район. Мы теперь картошниками стали, картошку возим... Ну, будь здорова, до встречи!

– Спасибо. Куда сам-то?

Сильно осевшая машина тяжело тронулась по разъезженной черной дороге. На застывших кочках из кузова падали картофелины и откатывались в грязь, на обочину. Машина еще виднелась на дороге, когда какой-то человек, посигналив рукой, заставил ее остановиться и залез в кабину.

– Слушай-ка, не Дерягин ли?– присмотрелся Оспан.–
Ведь он же уезжал отсюда!

Потом еще увидели откуда-то появился пьяный и тоже попробовал задержать машину. Но Халил, не останавливаясь, проехал мимо. Дернувшись следом, пьяный не удержался на ногах и свалился на дорогу.

Оспан не мог успокоиться: своими зоркими степными глазами он узнал пропадавшего где-то столько времени Дерягина.

– Откуда он взялся?

– Да появился, видно...– протирая от сыпавшегося снега очки, сказал Володя. Машины впереди уже не видно, скрылась. Лишь пьяный, раставив ноги, качался посреди дороги. Снег валил все пуще, завиваясь у самой земли.

– Износился, обтрепался,– говорил Оспан.– Вот дошел человек!

– Так ведь пить!

– Да, выпивон его и загубил...– согласился Володя.

Оспан сказал:

– Давай, Тамара, закругляйся. Мне же еще домой надо заскочить!

– Казір, казір¹. Бір минут,– сказала по-казахски Тамара. Потом – терпеливо ждущему Володе: – Жалеешь ты его, а жалеть, по-моему, нечего. Что же он сам-то о своей голове не подумал? Ведь лучший шофер после дяди Оспана был! Чего ему еще? По три, по четыре тысячи зарабатывал... Все на водку уходило, даже одеться не сумел. А под конец еще и в тюрьму чуть не угодил.

Как всегда, находясь в замешательстве, Володя без особенной нужды протирает очки.

– Видишь ли, Тамара. Его-то я лучше всех вас знаю. Приехали сюда вместе, друзьями одно время были... Где-то в чем-то мы и сами виноваты. Что-то мы недоглядели...

¹Казір – сейчас.

– Еще чего! Такого лба за руку водить? Няньку к нему приставить?

Надев очки, Володя проникновенно взглянул девушке в глаза:

– А ты хочешь знать отчего он запил?... Из-за тебя. Любовь же у парня, неужели ты не видишь?

– Ну, ты уж скажешь!– покраснев, рассмеялась Тамара.– Где это видано, чтобы человек от любви становился пьяницей?

– Ох, девчата, девчата!– укоризненно покачал головой Володя.– Не умеете вы в людях разбираться... Ведь люди, к твоему сведению, бывают разные. Да, да, не смотри на меня так. Один, если беда, ведет себя так, другой – иначе. Рецептов тут нет. Вот и Дерягин...

– Ну что, ну что – Дерягин? Вот странные люди... Что я могу сделать? За ручку его взять, на ум наставить?

– Хоть не за ручку, а что-то сделать можешь. И я даже просил бы тебя... Парень переживает, мучается. Нельзя же так! Неужели тебе трудно хоть слово ему сказать? Вот он сейчас уезжать собирается. Поговори с ним. Пусть он за ум-то возьмется. Ведь пропадет иначе!

Пока шел разговор. Оспан наблюдал, как пьяный, пытавшийся остановить машину Халила, неуверенно приближался к ним. Человек был грязен и еле держался на ногах. Оспан только головой качал, видя, как тот валился прямо в слякоть. Пьяный подошел с той стороны, где сидел Оспан.

– Товарищ аксакал!– заорал он, вытягиваясь по-военному, прикладывая руку к надетой задом наперед шапке.– Все! Завязал... Больше в рот не возьму! Дай руку...

Не подавая руки, Оспан спросил:

– Ты машину хотел остановить... Кто это сел в нее?

– Кто сел?– оживился пьяный, неожиданно подмигивая.– Кто же еще... Дерягин. Он Карабета ищет. Точно, точно! Сам слышал... Он ему – вот!– хочет,– и, схватив себя за горло, выпучил глаза.– Не вру, ей-богу не вру!

Вмешалась Тамара:

– Карабет... Халил, кажется его сын?

– А какая ему разница: сын, не сын?..– разливался пьяный.

– Ты постой,– сказала Тамара.– Зачем он ему понадобился?

– Убить!– уверенно и с удовольствием ответил тот.– «Задушу, говорит, всех». Сам слышал.

Ничего пока не понимая, Тамара переглянулась с Володей. От Дерягина, когда он пьяный, можно ожидать чего угодно. К тому же с Халилом, как все знали, у них давняя неприязнь.

– Поехали-ка скорей, дядя Оспан,– попросила она.– Он же хуже сумасшедшего, если выпьет... Надо догнать!

– Давай залазь!– сказал Оспан Володе, кивая на кузов, и включил газ.– Вот еще заботы не хватало!..

Снег, тихо падавший сегодня с самого утра, валил все гуще, и на дороге не осталось никаких следов от машины Халила. Доехав до развилки, Оспан без колебаний свернул к районному центру. Кажется, туда собирался Халил везти картошку.

Неожиданно Тамара схватила шофера за руку. Вправо от дороги, далеко в поле, виднелась черная точка. Уж не машина ли?

– Они,– сказала Тамара, напрягая зрение.

– Брось,– неуверенно возразил Оспан.– С какой стати он свернет с дороги?

Покинутая одинокая машина в белом ненастном поле одним видом своим напоминала о несчастье. «Неужели в самом деле?»– подумал Оспан, отыскивая след, где машина свернула с дороги.

В одном месте через обочину, угадывался сильно засыпанный снегом след. Но еще можно было разглядеть, что кто-то проехал здесь недавно и повернул в поле. А по нетронутой целине след под снегом просмат-

ривался совершенно отчетливо. Громыхая кузовом, машина Оспана сползла в канаву и выбралась на жнивье. Обычно осторожный, заботливый к своему ЗИСу Оспан на этот раз погнался что было мочи. Тревожные подозрения не выходили у него из головы.

– Чего они не поделили?– отрывисто спросил он у Тамары, не спуская глаз с застрявшей в поле машины.

Тамара замялась, но в конце концов решила и рассказала о давнем соперничестве Дерягина и его бывшего стажера.

– Вот детвора,– небрежно заметил Оспан.– Хотя, черт их знает, как раз по молодости-то и могут натворить дел.

Чем ближе они подъезжали, тем тревожней становилось на душе. Приткнувшись к небольшому стогу, машина казалась брошенной. Оспан вытянул шею, всматриваясь, где же люди?

Оставалось совсем недалеко, когда покинутая всеми машина вдруг тронулась с места. Значит, там есть кто-то, только не хочет встречи! Машина удирала, не разбирая дороги, словно перепуганный заяц от смертельной погони.

На том месте, где стоял глузовик, Оспан остановился и, не вылезая из кабины, осмотрелся кругом. Стог был разворочен, солома разбросана на снегу,– похоже, будто волк здесь порезвился, не боясь никакой помехи. Больше никаких следов не видно. Машина тем временем ушла далеко вперед, и Оспан, начиная погоню, подумал: «Что-то тут нечисто... Но если бы Халил был жив, зачем ему удирать от нас с такой прытью?»

Окончательный ответ на все можно было получить лишь догнав улепетывающих беглецов. Оспану почему-то казалось, что тот, кто сидел там за рулем, не одинок,– с ним кто-то еще...

Крикнув Володе в кузов, чтобы крепче держался, Оспан до предела выжал газ. Маячившую впереди машину нещадно кидало на подстывших кочках зяби.

Скоро и Оспан ощутил такую тряску, что зарябило в глазах. Тамара, то и дело хватаясь за него, торопила: «Скорее, скорее». Видно было, что беглецы выбрались на чистые, разглаженные боронами, пары, и машина так поддала ходу, что завихрился следом снег. «Сейчас и мы», – подумал Оспан. И точно, едва колеса коснулись ровного поля, оборвался надсадный вой мотора, и машина словно вытянулась в погоне.

Видимо, удиравшие надеялись на темноту, стараясь продержаться до сумерек. Не спуская глаз с отчетливо видневшегося на снегу следа, Оспан, стиснув зубы, упорно продолжал гонку.

– Быстрее, быстрее!– умоляла Тамара. Нервы убегающих не выдержали. Видя, что петлять по степи бессмысленно,– Оспан повис как гончая за зайцем,– они вырвались на большак и по ровной как стрела дороге полетели к районному центру. Вихрем несущаяся машина походила на самолет, идущий на хищном бреющем полете.

На ровной твердой дороге Оспан почувствовал себя хозяином положения. Теперь беглецам спасения не было. И Тамара увидела, как быстро стало сокращаться расстояние между машинами. И скоро в несущемся навстречу снеге, пластами лепившемся на смотровое стекло, можно было разглядеть приближающийся кузов загнанной машины.

Неожиданно Оспан дал полный свет, и сквозь мешанину падавшего снега Тамара увидела в кузове беглецов, в беспорядке наваленные мешки.

– Разве у Халила мешки?– крикнула она.

– Картошку-то,– удивился Оспан, тоже всматриваясь,– всегда соломой закрывали.

– Номера, номера не видно!– мучилась Тамара, стараясь разглядеть залепленный снегом задний борт машины.

– Сейчас, сейчас...– бормотал Оспан, начиная медленно обходить беглецов. Гонка подходила к концу, и

спасения не было. Оспан резко свернул поперек дороги, подставляя борт, и убегающие, чтобы не разбиться, дали тормоз. Гонка оборвалась, погасли фары, стихли моторы. В ушах остановилась глубокая тишина.

Разжав онемевшие руки, Оспан опустил баранку и потянулся вниз, к валявшемуся под ногами гаечному ключу. Слышно было, как из кузова на дорогу спрыгнул Володя...

Человек, остановивший на дороге машину Халила, был действительно Дерягин. Встретились они будто чужие: ни тот, ни другой не сказали ни слова. Сев в кабину, Дерягин поднял воротник старого заношенного пальто и, загородившись, затих, закрыл глаза. Удивленный неожиданной встречей, Халил незаметно посматривал на него. Дерягин осунулся, словно после болезни, но красивые волнистые волосы все так же заботливо расчесаны волосок к волоску. Из-за своей прически Дерягин никогда не носил головного убора, – ни зимой, ни летом.

К вечеру снег повалил хлопьями, и неутомимые «дворники», поскрипывая, разгребали на стекле толстые водянистые пласты. Кругом мело, кружило, заносило, и Халил, протирая стекло, все чаще стал подумывать о том, пора бы уже показаться какому-нибудь поселку. Он обрадовался, когда путь им пересекла заносимая снегом дорога, остановил машину и спрыгнул на землю. Ветер установился северный, ровный, снег валил все так же густо, но становился мельче, суше, стегал крупинками по лицу. Места были незнакомые, Халил долго топтался на перекрестке, пытаясь угадать правильную дорогу. Снегу уже навалило по щиколотку, быстро темнело.

– Заблудились, кажется, – сказал он дремавшему попутчику, снова запуская мотор. – Но дорога вроде бы на карьер.

Он вывернул машину на поперечную дорогу и погнал навстречу несущемуся снегу. Дерягин, как сидел, так и остался, даже глаз не раскрыл.

Несколько километров машина бежала ровно, уверенно, и Халил с надеждой посматривал вперед, ожидая вот-вот увидеть огоньки жилья. В сумерках надвигающейся ночи разыгравшийся буран, казалось, двигался стеной. «Дворники» уже не справлялись с обилием снега, и видимость с каждой минутой становилась хуже.

Халил не сразу отдал себе отчет, почему это вдруг смолкло ровное сильное гудение мотора. В наступившей тишине машина пробежала еще десяток метров и незаметно остановилась, словно оперевшись в густую пелену снега. Нажимая на стартер, Халил с отчаянием чувствовал свое бессилие, – где-то в глубине мотора раздавалось лишь короткое рычание, и снова все смолкало.

– Бензин посмотри, – не раскрывая глаз, медленно произнес Дерягин. Засунув руки в карманы, он еще глубже ушел в воротник.

Припав к самым приборам, Халил увидел, что догадка молчаливого попутчика верна: красненькая стрелка, будто язычок ящерицы, колебалась на нулевой отметке.

– Кончился! – сказал Халил и выругался.

Старая истина дальних дорог – кончился бензин, кончились и возможности водителя. Теперь не помогут ни опыт, ни умелые руки. Остается одно – сесть и терпеливо ждать случайной машины. Только с бензином, отсосанным канистру из чужого мотора, придет спасение.

В полной темноте и неподвижности люди обречены были прислушиваться к завыванию степной метели. Весь мир стал ограничен близкими стенками кабины. На стекло быстро намело целый сугроб, и скоро кабина настолько выстыла, что изнутри, совсем

закрывая «дворники», стала настывать плотная пленка изморози. Озноб коснулся сначала ног, затем незаметно пробрался к пояснице. Передернув плечами, Дерягин выплюнул папиросу и раздавил ее с таким ожесточением, будто голову гадюки.

– Черт побери! Мне же в район вот так необходимо! Чтобы согреться, он задвигал руками, принялся яростно растирать озябшие уши. Сильно стыли руки.

– Уезжать собрался?– скупое обронил Халил, совсем не глядя на соседа.

– Допустим.

– Домой поедешь?

Дерягин, хлопая своими огромными ладонями, лишь усмехнулся.

– Домой... В тюрьму пойду!

Приняв его ответ за издевку, Халил равнодушно пожал плечами:

– Да хоть бы и в тюрьму. Мне-то что? Дело хозяйское. Дерягин с неприязнью покосился на него:

– А не боишься, что я с собой еще кое-кого прихвачу?

– Выбрал уже?

– И давно... Только не бойся, не красавицу твою. Тамара тебе останется. Уступаю... на добровольных началах. А вот папашку твоего прихвачу. Вредный старичок.

Резко повернув голову, Халил недоуменно уставился на взъерошенного не столько от холода, сколько от непонятной злобы соседа.

– Ты к чему это?

– А ни к чему. Поживем – увидим...

И затоптал, заколотил одна о другую ногами, чтобы хоть как-то унять болезненное покалывание в пальцах. Примета нехорошая – пропасть, совсем замерзнуть могут ноги!

Непопятные намеки случайного попутчика насторожили Халила, но расспрашивать он не решился. С того дня, когда они виделись в последний раз, Дерягин

сильно переменялся. Болел он, что ли? Где-то пропадал же столько времени!.. Но почему, с какой стати он заговорил вдруг об отце?

Крепко раздавив о ветровое стекло окуроч, Дерягин сплюнул, растер ногой.

– Машинку-то новую дали? Доверили, значит?'

– А я вроде и не выходил из доверия!– тут же отпарировал Халил.

– А... если еще раз спалишь?– с непонятной интонацией продолжал допытываться Дерягин.

– Там моей вины не было. Все знают... А машину восстановим. Рама есть, кабина тоже уцелела. Соберем как-нибудь...

Слушая, Дерягин покорно кивал головой: «Так, дескать, все это так...»

– Ты вот что, парень,– неожиданно позвал он после некоторого молчания.– Ты мне вот что скажи... Почему у твоего папашки нутро такое черное? Первый раз вижу, чтобы человек к родному сыну так относился...

– Тебе-то откуда известно, как он ко мне относится? По-моему, нормально относится.

– Нормально,– усмехнулся Дерягин.– А что ты скажешь, если он знает, кто спалил твою машину, и молчит?

– Отец этого не знает. Не может знать! Откуда ему?..

– Оттуда. Все он знает!.. И если хочешь знать, так это я поджег. Ну?.. Чего выпучился? Точно – я. Хотел папашке твоему пшенички отвезти, ну и... Что, все еще не веришь?

– Да н-нет...– медленно проговорил Халил, обескураженный неожиданным признанием. Верить, нет? Может, врет? – Только вот одного не пойму: такой, на тебя посмотришь, лоб, а душонка, выходит, трусливая, как у зайчонка. Вот что интересно.

– Ладно, отвали,– устало отмахнулся Дерягин, нисколько не рассердившись, и словно забыл о разговоре,– засунул руки в рукава, съежился, нахохлился, затих.

«Как они сошлись с отцом? Что их связало?.. Наверное, все эти проклятые деньги. Из-за рубля отец на что угодно пойдет. Все ему мало!» – думал Халил, вспоминая сундучок для выручки от торговли. Посмотрел бы кто, как отец, священнодействуя, складывает туда разглаженные и сосчитанные бумажки! Вся жизнь его в этом сундучке. Он его и погубит в конце концов, как погубил Жалила. Чего уж теперь скрывать: из-за денег, только из-за них погиб той зимой старший брат. Торговал, торговал, да вот и доторговался...

Халил на всю жизнь запомнил ясный морозный день, когда в степи отыскали и привезли Жалила. Он спал и вдруг проснулся от топота ног, крика и хлопанья дверьми. Спросонья Халил не сразу разобрал, что это за люди, много людей, гомоня, неловко вваливаются в комнату. В распахнутую дверь валят клубы холода, одежда людей залубенела на морозе и гремит, как жестяная. Пронзительный истошный крик матери и Акбопе. Мать, кажется, упала без сознания. Вместе с Халилом проснулись и малыши. Круглыми от страха глазами они смотрели, как незнакомые обметанные инеем люди укладывают на лавке неподвижное тело отца. И странно показалось тогда Халилу, что брат, всегда так весело вбегавший в комнату, на этот раз вытянулся на лавке и замер без движения. В одном белье, босиком, Халил соскочил на пол и бросился к лавке. Он обхватил холодную голову покойного и замер, зажмурился, испытывая огромное желание заплакать, закричать, как женщины, чтобы с криком и слезами вырвать из тоскующей души боль неожиданной утраты.

Жалила погубила торговля. Всю зиму, начиная с первого снега, пропадал он на базаре, то и дело мотаясь в Омск: отец подгонял его, торопясь не упустить высоких цен на базаре. Люди, искавшие Жалила, подобрали сначала сани, а потом уж, под тем одиноким деревом, которое срубил Дерягин, нашли и самого.

Вошел со двора Карасай и, близко подойдя к лавке, долго смотрел в лицо покойного сына, затем погладил по лбу и полез к нему за пазуху. Отстегнул нагрудный карман, достал хорошо сложенную пачку денег и не удержался, чтобы хоть мельком не пересчитать. И только спрятав выручку в сундучок, старик обрел наконец способность загоревать, он прослезился, утирая глаза своим огромным шершавым кулаком.

Хоронили Жалила в тот же день вечером, и Халил, вспоминая, как проверял отец выручку погибшего сына, оправдывал его как мог: мужчине, думал он, положено быть сильным и владеть собой в любом случае. И все же то уверенное движение, которым Карасай достал в известном ему месте на груди сына деньги, не выходило из памяти. Оно так и врезалось Халилу, и он не мог забыть до сих пор.

Было и еще одно, что припоминалось теперь так же явственно, будто происходило на самом деле. Это тот покалывающий озноб, охвативший Халила, когда он спрыгнул из теплой постели на холодный затоптанный пол. Как тогда выстудили комнату! И только Жалил, казалось, не замечал мороза, вытянувшись во весь рост на лавке. Халилу видится покойный брат, замерзший, безучастный ко всему, что происходит в доме, и вот отец, только что утиравший кулаком глаза, берет вдруг острый длинный нож, которым он режет овец, и точно умело сует его тонкое лезвие в левый бок Жалила. У отца умелые руки, и он быстро достает сердце покойного. На лице отца довольство, он степенно несет вырезанное сердце к заветному сундучку. Но что это? Блистающий желтой медью сундучок вдруг зашевелился, вытянулся, и Халил видит змею, поднявшуюся в стойке и разевающую пасть. Отец спокойно бросает в пасть добытое сердце сына, и змея, отвернувшись от него оборачивается к Халилу. Испуганный Халил хочет бежать, поворачивается и делает огромные усилия, чтобы сдвинуть ноги, но нет

сил, он не может тронуться, падает. А змея все ближе, все так же разевает она ненасытную свою пасть, и Халил от ужаса издает душераздирающий вопль...

– Вставай!– тормозил его Дерягин, крепко держа за плечи.– Сходи погрейся, а то замерзнешь.

Так значит вот откуда этот непонятный красноватый отсвет на свежем снегу,– Дерягин под прикрытием машины развел костер.

Разогнув закованное тело и посапывая со сна, Халил спрыгивает на землю. Ноги не слушаются, он их совсем не чувствует. На обочине весело и приманчиво пляшет пламя небольшого костра.

– С машины сено взял?– Халил еле ворочает языком. Но жар от огня приятно ударяет в замерзшее лицо.– Картошку погубим.

– А что лучше – мы замерзнем или картошка?

Халил не отвечает. Он настолько закован, что готов весь залезть в огонь. Согрев руки, он сует в огонь ноги. Снег на сапогах тает и шипит на углях.

– Ну, отогрелся хоть малость?– спросил Дерягин, когда огонь пошел на убыль,– сидеть нельзя, надо идти. Встретится машина – хорошо, а нет – надо добираться до какого-нибудь аула. Потопали давай потихоньку.

После костра встречный ветер показался Халилу особенно пронзительным. Наклоняясь вперед и отворачивая лица, они из последних сил сжались в комок. Нестерпимый холод пронимал до самых костей. Безучастно шагая за товарищем, Халил смотрел себе под ноги и наблюдал, как с каждой минутой застывают его оттаявшие на огне сапоги, покрываются коркой, становятся как деревянные.

Человек в милицейской форме с погонами капитана приготовился писать и, кивнув на хмурого Карасая, задал Оспану первый вопрос:

– Расскажите, пожалуйста, как вы их поймали?

– Да ведь как?.. Не думали, можно сказать, и не гадали. Других совсем мы догоняли, товарищ капитан!

И Оспан, припоминая все подробности долгой погони, от того момента, когда Тамара разглядела в степи одинокую точку, начал неторопливый рассказ, поглядывая как быстро бегают по бумаге перо человека в форме.

– А место, где они нагружали зерно, найдете?– спросил капитан.

– А почему нет?– удивился Оспан.– Километра три или четыре от совхоза, там, где черный тростник, сразу направо. Так, кажется?– спросил он у Тамары.

Девушка молча кивнула.

– Видимо, это уже не первый раз,– сказал капитан, поглядывая на молчаливого Карасая.– В стогe спрятаны мешки с зерном. Проверим, выясним.

После этого он расспросил Тамару, дал ей расписаться и отпустил.

– Поезжайте, мы тут разберемся. Спасибо за помощь.

Когда Камел, дочь Карасая, ворвалась в кабинет начальника милиции, Косиманов сидел за столом, сжав руками голову. Из создавшегося положения пока не представлялось выхода.

– Где отец?– набросилась Камел на мужа. Она быстро окинула глазами кабинет.– Ты, что, оглох? Куда ты его девал?

– Тихо, тихо, не бесись,– проговорил Косиманов, избегая смотреть жене в глаза.– Не съел же я его.

Рослая, широколицая, Камел была удивительно похожа на отца, прибежала она как на пожар: в фартуке, руки в тесте. Лишь пальто накинула на полные дородные плечи.

– Ты почему домой-то сразу не позвонил?– допытывалась она.

– А чего звонить? Суюнши просить?

– Да ты в своем уме?– не унималась Камел.– Отец попался, а ему и горюшка мало.

– Родственничек...– заворчал Косиманов.– Что я теперь с этим преступлением буду делать? Может, ты подскажешь?

– Преступление?!– испуганно воскликнула Камел.–
Какое еще преступление, чего ты болтаешь?

– А, замолчи! Без тебя тут...

Поняв, что положение на самом деле серьезное, Камел смирилась и залилась слезами. Косиманов поморщился. Вот бабы, слезы у них всегда наготове, как вода в кране. Он взглянул на жену и не смог сдержать улыбки: размытая краска с ресниц испачкала все ее лицо.

– Ты чего это, ты чего радуешься?– еще пуще залилась она.– Какой ты начальник, если ничего не можешь? Какая тебе цена, если даже отца не можешь выручить?

Причитания жены испугали Косиманова. С беспокойством поглядывая на дверь, он принялся утешать плачущую Камел.

– Ладно, ладно, замолчи только... Брось, говорю! Слышишь? Что-нибудь придумаем. Иди домой да приготовься. Мы сейчас придем. Гость все-таки, надо угостить.

И, выпроводив жену из кабинета, снова опустился на стул, схватился за виски. Вот мне задача-то!..

Поздний ужин в доме Косиманова походил на поминки: ни разговоров, ни смеха, к мясу никто почти не притронулся: посидели молча за столом и рано разошлись по комнатам спать.

Оставшись один, Карасай долго метался по развороченной постели. Злость и досада, душившие его, насовсем прогнали сон. Черт потащил этого Оспана в такую погоду в степь! Что ему было надо? Вот уж никогда не думал, не гадал, что так глупо влипнет. Четыре машины зерна смолол нынче за время уборки Карасай, и все благополучно сбыл на омском базаре. Шито-крыто кругом, комар носа не подточит. И вот надо же! Будто нарочно кто подстроил. Хоть бы другой кто попался, не Оспан. Так нет! Еще на Кургерее не

хватало напороться. Того тоже дьявол частенько носит, где не следует...

Отправляясь сегодня за зерном в дневное время, старик понимал, что идет на большой риск, но ничего, другого не оставалось: совхоз стал подтягивать сено поближе к базам, и зерно, запрятанное в отдаленном стоге, могло пропасть ни за понюх табаку. Боязнь такой большой утраты и погнала его к тайнику. А теперь не только не прибавишь в заветный сундучок, а еще и достанешь не раз. Зять, освобождая его из-под стражи, откровенно заявил, что кое-кому необходимо дать, «смазать рот маслом». «Расход, сплошной расход!» – убивался старик, переживая досадный случай.

Занятый своими мыслями, Карасай долго не обращал внимания на голоса в хозяйской половине дома. Надо полагать, там были свои заботы, свои разговоры, сегодняшний случай им тоже прибавил хлопот. Но вот голоса зазвучали громче, и Карасай, неслышно спрыгнув с кровати, подкрался к двери. Прислушавшись, он узнал громкий голос зятя и похолодел.

– Мне надоело возиться с твоим отцом, надоело! – выговаривал жене Косиманов. – То одно, то другое. Ты же знаешь, я и так еле усидел из-за него на работе. А теперь еще это. Что мне, под суд из-за него идти? Нет уж, пускай сам отдувается.

– И ты со спокойной совестью выгонишь из дома моего отца?

– А что мне с ним прикажешь делать? Со спокойной совестью... Да пусть он хоть пропадет пропадом!

– Замолчи! – завизжала Камел. – Это мой отец... Думаешь, надел погоны да вскарабкался за стол, так большим человеком стал.

– Я не для того надевал погоны, чтобы без конца выгораживать этого вора. Пусть скажет спасибо, что до сегодняшнего дня сидел у меня под крылышком...

– А что сегодня случилось? Чем он тебе не угодил?

– Чем, чем...– проворчал Косиманов усталым голосом.– Ты же из-за своего казана ничего не видишь и не хочешь видеть. А мне приходится отдуваться. Ведь сколько я его знаю, столько приходится расхлебывать его грязные делишки. С самой организации колхоза. Сколько он людей тогда запрятал в тюрьму? Не знаешь? А я знаю. А в войну что делал? Сколько он соку выжал из этого несчастного колхоза? И кто его всегда покрывал?.. Это же подумать только надо: как год, так десять-пятнадцать голов скота у него из колхоза. Задаром же! Все бесплатно!..

– Задаром... Бесплатно... А для кого он откармливает эту скотину? Ты думаешь, дети твои чье мясо едят?

– Я плачу,– твердо сказал Косиманов.– Беру, но за все плачу. Когда он нам даром хоть кусочек кинул?.. Вот то-то. И нечего меня в махинации путать.

– Кто тебя путает? Сам давно впутался.

– Ну хватит. Если и есть где мой грех, это оттого, что я не дал ему от ворот поворот. А теперь довольно. Мне своя голова дорога.

В твердом решительном голосе зятя Карасай угадал свой окончательный приговор. Не стало у него многолетнего покровителя. От слабости в ногах старик присел у двери на корточки и закрыл глаза. Надо было самостоятельно находить какой-то выход. Пока ночь, пока все кругом спят. Завтра будет поздно. Косиманов теперь не помощник...

За дверью раздался тихий обеспокоенный голос дочери:

– Скажи – отца вправду будут судить?

Карасай напряг слух, боясь пропустить хоть слово.

– А ты думаешь, на курорт пошлют? За хлеб сейчас знаешь что будет? Народ со всех концов сгоняют, чтоб ни зернышка не пропало, а он... Да и одно разве только зерно? У нас вон сигнал поступил: пишут, что собирается с какой-то бабой строить новый дом. А на какие деньги? Из каких материалов? Ясно же – ворует. Если

копнут его поглубже – плохо дело. Лет двадцать отхватит, не меньше.

– Несчастливая его голова! – расплакалась Камел. – Кто его пожалеет?.. Ведь и ты с ним попадешься.

– Посмотрим, – неуверенно проговорил Косиманов. – Для него я могу сейчас сделать только одно: пусть пока расследуется дело, живет у нас. А за свои собственные грехи... Что ж, придется просить прощения. Надоело так жить. Пусть судят, пусть... хоть что делают. Сам обо всем расскажу.

Затрещала кровать, – Косиманов отвернулся к стенке. Некоторое время из-за двери слышалось горестное всхлипывание Камел, но потом затихла и она. Карасай, не поднимаясь с корточек, продолжал прислушиваться. В голове его созрел план, и он ждал, когда уснут хозяева. Его острый слух скоро уловил глубокое тяжелое дыхание Косиманова, затем раздался громкий устойчивый храп. Теперь время! Старик заметался по комнате, собирая пожитки. Оделся и, осторожно ступая, пробрался к двери, неслышно вышел из дома.

На улице не унимался буран. Жесткий колючий снег ударил в лицо. Карасай поднял голову, осматриваясь. Места были знакомые – старик узнал старинное здание, где с давних пор и по сей день помещалась тюрьма. Вчера он едва не застрял там на долгие времена. Поселок спал, не слышно даже лая сабак, лишь ветер завывал над крышами, пересыпал по острым сугробам метелицу сухого снега.

Карасай согнулся, запахиваясь, и нырнул, пропал в ненастной ночи.

Шагал он всю ночь и на рассвете попросился в попутную машину, возвращавшуюся из районного центра. Медленно занимался день, на белом девственном снегу издали тянулся отчетливый след грузовика. Буран утихал, но ветер еще хозяйничал в степи, часто

переметая дорогу и обдувая застывшие гребни кочек. Стылое утро искрилось в острых ледышках, отполированных утренней работой ветра. Петляла и скрывалась меж кочек узенькая тропинка в поле.

В кузове машины громоздились какие-то большие картонные ящики, очень тяжелые, и Карасай соорудил себе загородку от ветра. Сгорбившись, он слезающим от холода глазами глядел на уносящуюся назад дорогу. Ему казалось, что машина бежит медленно, куда медленней, чем приказ о его поимке. И чем больше светлело, тем острее становилась тревога: вот-вот могла появиться кургузая машина с красной полоской, которую он заметил вчера во дворе милиции.

Подслушанный ночью разговор не выходил из головы. «Апырмай, – сокрушался старик. – За что он так?..» Но вот наступил день, машина убегала все дальше, а погоня не появлялась. Начиная успокаиваться, Карасай допускал мысль, что зять, может, не станет торопиться с объявлением розыск. Зачем ему и свою-то голову подставлять? А может быть, и в это старик пока не отваживался верить, может быть, устоявшийся за многие годы авторитет Косиманова выручит его и на этот раз. Может быть, все еще обойдется.

«Ведь было же, – все сильнее подогревалась в его душе спасительная надежда. – Было однажды. Почему бы не случиться такому чуду и сейчас?» И воспоминание о прошлом, укрепляя надежду, уж не оставляло его. Думая о былых счастливых временах, он словно согревался и не замечал пронизывающего холода. Одно время, особенно задумавшись, он даже смежил темные чугунные веки...

Случай, о котором вспомнил беглец, был памятен и Кургерю, и он рассказал его еще в тот вечер, когда ему выпало ночевать вместе с мальчишкой Жантасом.

Последняя песнь старого Кургерей

– Что ж, сынок, договорились мы из песни слова не выкидывать. Раз уж начал, надо рассказывать до конца. Но ты хоть представляешь теперь, каково нам раньше приходилось? С вашей, нынешней-то, жизнью и не сравнить...

Значит, как забрали тогда Райхан, так больше мы ее и не видели. И жизнь у меня пошла, прямо скажем, незавидная. Что ни день, то вызывают. То допрос, то обыск – замотали. И чего добивались? Иногда я сижу, сижу, да и подумаю: неужели единственная дочка Султана, всю жизнь прожившего в бедности, могла пойти против своего народа, могла плюнуть в гнездо, где выросла? Да никогда не поверю! Но поди-ка, докажи, им! Но в душе я верил в мою Райхан, верил и – ждал. Не могло так продолжаться бесконечно.

Затаскали меня по допросам, – мочи нет. И решил я податься из этих мест, поеду, думаю, туда, где меня не знают и не слышали о моем несчастье. Сколько же можно?.. И стал потихоньку собираться. Сразу-то не соберешься, не поднимешься... И уехал бы я, распрощался с родными местами, если бы не шофер Оспан.

Однажды, ночью уже, приходит он ко мне и приходит не один. Несколько стариков и с ними боевой один парень, тоже Оспан, – мы его за характер задиристый горластым Оспаном звали. Пришли они, расселись. Молчат. Но вижу – не в гости пришли.

– Кургерей-ага, – начал наконец горластый Оспан и на стариков посмотрел, как бы получая разрешение говорить от их имени, – мы специально пришли отговорить вас. Неужели вы думаете, что мы не видим, как вам приходится? Всем все известно. Нам же тоже больно за Райхан. Ведь мы ее еще вот такой знали, выросла на наших глазах. Но... осердясь на вшей, шубу не сжигают. Почему же вы собираетесь бросить всех нас? Какими глазами мы станем смотреть друг на друга?

Значит, пока всем нам было трудно, вы с Султаном из кожи лезли, чтобы только помочь нам, а теперь, когда вы в беду попали, мы вас отпустим бог знает куда? Да ни за что! Где же наша дружба тогда? Если вас будут притягивать к ответу за Райхан, пусть тянут и нас. Разве вы оставили бы нас в такой беде? Нет. Так вот, не оставим и мы вас... Кургерей-ага, беглецу земля всегда с подошву. Не лучше ли вам бросить все эти сборы и остаться в родных местах? Вместе мы жили, вместе и расхлебывать будем.

Хорошо говорил этот парень, умница был, жаль только, что учиться ему не пришлось. Уговорил он меня. Перед умными словами и бесстыжий остановится. Подумал я: куда, в самом деле, поеду, к кому? Тут хоть люди свои под боком... Остался.

Побежали дни, и забывать стали люди мои несчастья, кончились пересуды и намеки. Многие раньше даже здороваться со мной боялись, а теперь, глядишь, и в гости забегут, а когда и на улице остановятся, поговорят. Но оставался один человек, у которого я был как кость в горле, – Карабет. Он-то мне ничего не простил и прощать не собирался.

В войну мужчин в колхозе почти никого не оставалось, и поползло наше хозяйство по швам. Как подгнившая избушка, осело оно сразу на все четыре угла. И тут бросили нам из района подкрепление: Карабета. Рекомендовали его председателем.

Кого-кого, а Карабета у нас знали как облупленного. Пошумел было народ, поволновался, но что поделаешь? Кое-кто предлагал в председатели меня, однако об этом и слушать не хотели. Человек я был теперь с пятном, – никак не хотят забыть Райхан... Выбрали Карабета.

С того дня, как он взобрался в председательское кресло, жизни мне в ауле совсем не стало. Бывало, столкнемся мы с ним на улице, остановит он меня. «Ну что, – спросит, дышишь еще? Дыши, дыши, недолго

осталось». Так я понимал, что он хотел известить меня, не торопясь, и у себя на глазах. Власть-то его теперь, что с ним сделаешь? Сам – председатель, а в районе Косиманов сидит. Никуда не ткнешься. Пробовал я на собраниях выступать, говорил, что председатель только и знает разъезжать по гостям да наливать кумысом, так, толку-то что? Ну, поговорю я, все послушают, повздыхают, да и разойдутся ни с чем. Только себе хуже делал, Карабета злил.

Потом набор подошел, забрали меня в трудовую армию, и несколько лет я ничего не знал, что у нас в колхозе творится. Были, правда, письма, да много ли в письме скажешь... Но вот, когда вернулся я, после войны уж, так все увидел собственными глазами. Сейчас даже поверить трудно, до чего все плохо было. От колхоза одно название осталось. Народ в нужде, обносился так – смотреть страшно. Спичек нет, мыла, сахару, чаю. Ничего нет. Вот беда!

С шофером Оспаном мы встретились, он тоже успел демобилизоваться. Выволок Оспан из колхозного сарая свою полуторку и месяца три, однако, ковырялся с ней, на колеса ставил. А ни запчастей же, ничего. Сколько он с Карабетом ругался, чтоб тот хоть чем-нибудь помог! Но все-таки пустил машину – пошла. И стали мы с ним разъезжать.

Дороги наши – длинные дороги, даже райцентр километров за триста от железнодорожной станции. Так что, если даже что-то и поступает где-то на склады, то когда оно к нам попадет? Застрянет где-нибудь, разлетится по дороге. Это уж как водится. Поэтому стали мы с Оспаном добывать где что нам положено.

Трудно приходилось зимой. Машина наша не проедет, пробирались на верблюдах. Навалим, бывало, на четверть саней и – тронулись в дорогу. А снег, а буран, а морозы... Собачья работа. На лице живого места не оставалось, все обморожено. Верблюды еле тянут, так

что нам всю дорогу пешком приходится тащиться. Хлебнули мы с ним лиха.

И вот добрались мы как-то с ним до дому, еле-еле дотащились. Смотрю я на Оспана, от него одна тень осталась. Под собой тоже, ног не чую.

Но радость, когда мы появляемся, – весь аул сбегится. Женщины, старухи, ребяшня. За неделю рассчитывают, когда мы вернемся, и уж в этот день выкладывают с утра.

– Чай привезли?

– А сахар?... А мыло?

Оглушат, затеребят, чуть на клочья не разорвут.

Мы к складу правим – сдать, расписаться и с плеч долой. Так пока едем, за нами весь аул бежит. Изголодались же все, как их прогонишь? И на продавца налетают.

– Зачем завтра, зачем завтра? Сейчас торгуй!

– Тихо, тихо, – поднял продавец руки. – Как в такой темноте торговать? Потерпите до завтра. Еще же принять мне надо... Давайте завтра, в девять часов.

– Вы посмотрите на него! – зашумел народ. – По часам жить стал. А ты не помнишь дед твой жил когда-нибудь по часам?

– Заважничал. Посмотрел бы на него сейчас Боташ.

– Какое вам дело до моего отца... – закричал продавец и ногами затопал. – А ну, пошли отсюда! На складе посторонним запрещается... Пошли!

– Ты что кричишь? Ты что кричишь? Тебе что – наших денег жалко? Мы же не даром брать будем...

А время действительно позднее, а у нас еще товар не сдан. Не вытерпел Оспан и зашумел на озлившихся женщин:

– Да вы что на самом деле? Будто не видели никогда... Это же для вас привезли, не для кого другого. Расходитесь до завтра, не мешайте. Все цело будет, никто не съест.

Поутих народ, но расходиться и не думает.

– Ладно, мы посмотрим только. Или за это тоже платить надо?

Махнул на них Оспан рукой. А уж кто-то надорвал угол рогожного мешка и тянет, вытягивает клок материи.

– Мануфактура, мануфактура...– поползло в народе. И снова все к дверям.

– Смотри, ситец.

– Эге, а вот полотно!

– Вот хорошо-то, а то все обносились.

– Ух, крепкое сукно. И не порвать...

– Эй, осторожней, не порви!

Набились опять в склад – повернуться, негде. Каждому же охота хоть краешком глаза взглянуть!

– Эй, пропустите и нас. Хватит вам.

– Бархат есть, не видали?

– Есть, говорят.

– Да зачем тебе бархат? У тебя и так два камзола.

– Какие два? Какие два? Когда они были-то? От них уж и памяти не осталось!

Голова идет кругом от бабьего гвалта, но как ни гонишь их, как ни кричишь, никто не уходит. Пок не перевернут половину саней, не перещупают весь товар, – хоть режь их, не успокоятся.

Но вот все сдано у нас, все, что нужно, подписано, можно отдохнуть. Трудные все-таки, выматывающие были поездки. Хоть день-деньской пешком по глубокому снегу. С нами на этот раз два старика ездили, так мы посмотрели, посмотрели на них, да и посадили обоих на сани. Из глаз у них слезы текут ручьем по бороде, идут они как слепые и то и дело падают. Замучились мы с ними, не рады, что и взяли...

Спал я в ту ночь будто убитый, не помнил, как до постели добрался. За все ночи, что в дороге, отсыпался. В поездке-то известно какой сон, – одним глазом спишь.

Слышу только, трясет меня кто-то за плечо. Начал я приходить в себя. В голове тяжесть, глаз не раскрыть.

– Вставай,– теребит меня Лиза.– Вставай... И голос, как слышится, какой-то тревожный.

– Что,– говорю,– случилось? Который час?

– Поздно уж, полдень... Да ты хоть глаза открой!

Поднялся я, сел, головой мотаю. Еще бы, думаю, поспать. И чего человеку покоя не дают?.. Оказалось, опять из-за баб.

– Весь аул в лавке,– рассказывает Лиза.– От вчерашнего, чего вы привезли, даже чаю на заварку не осталось. Все как есть пропало. Сейчас мужики туда побежали... Вставай!

– А я-то тут при чем?– рассердился я и снова завалился под одеяло.

– Да за тобой уж прибежали! Слышишь? Оспан там, все там. Столько везли, столько мучились, ждали и – вот, пожалуйста. Обидно же! Вставай, хватит вылеживаться.

– Ну взял кто-нибудь,– ворчу,– и тебе останется. Не все же забрали!

А глаза так и закрываются.

– Да ты понимаешь или нет?– закричала Лиза.– В лавке хоть шаром покати!

Тут уж я насторожился:

– Как это? А куда же все девалось?

– Так вот поэтому-то и народ шумит!

Вот, думаю, еще история-то! Никогда у нас воровства не наблюдалось. Уж как трудно приходилось, а никто даже нитки не брал. Что-то тут не так.

Возле лавки, действительно, не протолкаться. Все сбежались. И никто ничего понять не может. Лавка у нас ни на какие засовы не запиралась и сторожа никогда не бывало. Что же от самих себя охранять? Еще издали я увидел распахнутое окно в лавке. Вот, думаю, как залезли, мерзавцы,– окно выломали. Но подошел, посмотрел– ничего подобного. И окно цело, и дверь никто не ломал. Да что же это за вор такой?

А по народу уже слух идет. Какая-то старуха, карауля, как бы не проспять, то и дело выходила на улицу и посматривала: не открыли ли, случаем лавку. И вот видит она, вроде бы свет горит там. Не поверила сначала, может, с глазами, думает, что? Нет, вытерла платочком, снова смотрит – горит. Потом свет перед лавкой замелькал. Пошла старуха в дом и давай своих будить. Ну вскочили все все – бегут. Соседей разбудили. Видят – у лавки возится кто-то и голоса бубнят.

Потом подвода тронулась, проехала по улице и возле дома Карабета остановилась. Председатель все-таки, шума поднимать побоялись. А продавец запер снова лавку и лампу потушил, – домой пошел.

Ничего пока не понял народ. Ладно, до утра подождем.

Но утром лавка так и не открылась. Побежали к Тотаю, продавцу, а он и вставать не думает.

– Открывать не велено, – говорит. – Приказ из района. Сказали, чтобы пломбу поставил на замок.

Вот тебе раз! Что же это за распоряжение?

Подождал народ, потоптался, потом снова к Тотаю.

– Ладно, бог с ним, со складом. Но лавку-то открой. Спички надо, разную мелочь. Кому что.

Открыл он, за прилавком стал. Но вот что странно: не узнали мы сперва своей лавки. Будто шире она стала, просторнее. Раньше, бывало, на полках всякая мелочь валяется, а тут и полки пусты. У дверей, как войти, гора ведер, и тазов, поварешек там всяких, была навалена, сейчас ни тазика, ни ведерка, как корова языком слизнула. Да что же это такое?

Тотай-прощельга от баб никак отбиться не может.

– Ну, кричит, – все взяли? Чаю нет, чай еще на складе. Давайте, выходите, мне закрывать надо.

И суетится что-то, в глаза никому не смотрит, Переглянулись мы с Оспаном и попросили народ выйти. А когда всех выпроводили, то лавку закрыли и

взяли Тотая в оборот. Тут еще другой Оспан, горластый, подошел, тоже остался с нами.

– Ты чего, – говорим, – людям голову морочишь? Для чего мы мучались в дороге? Чтобы ты товар на складе держал? А ну, открывай. Не бойся, не переработаешь. Все знают, что ты день работаешь, а пять отдыхаешь. Гнать давно уж надо за такую работу.

Парень, глядим, испугался и чуть не в слезы.

– Я-то тут, – говорит, – при чем? Ночью председатель сельпо с Карасаем приходили, никому не велели говорить... Убьют они теперь меня!

– Не бойся. Ничего с тобой не случится. А лучше выкладывай-ка все как есть. Ну?..

– А вы никому не расскажете? Мне за это не попадет?

– Да говори ты! Ничего тебе не будет.

– И выяснилось: ночью Карасай вместе с председателем сельпо подняли продавца с постели, заставили открыть склад.

– У Карасая денег, – рассказывал напуганный Тотай, – полный сундук! Почти все они забрали, даже ведра с тазами, и за все заплатили. Деньги тут, у меня. На складе осталось немного, самая малость: чай в основном. Мануфактуры нету, всю увезли. «А что осталось, – сказал, – потом в лавке продашь». Но наказали, чтобы без распоряжения потребсоюза склада не открывал. И не проболтался, иначе голова у меня с плеч.

Переглядываемся мы все трое и понять ничего не можем.

– Они что, совсем спятили?

Тотай рассказывает:

– Карабет, говорят, сватает за своего Жалила дочь какого-то торговца из Омска.

– Тогда ясно, – сказал горластый Оспан. – Переправит Карабет все товары туда и там продаст втридорога. Вот наплюйте мне в глаза, если только не так!

Шофер Оспан, тот был порассудительней.

– Ну, хорошо, – сказал, – мануфактуру и чай он еще перепродает. А тазы с ведрами – зачем?

Действительно, странно все, ничего не поймем.

– Сколько он у тебя этих ведер и тазов купил? – спрашиваем у Тотая.

– Все, сколько было. Все забрал. И заплатил, рассчитался до копейки.

Совсем удивительно. Не похоже было на Карася, чтобы он, транжирил на такие пустяки свои накопленные денежки. Что-то тут не так.

Ждать разгадки пришлось совсем не долго. Не то приехал кто-то из района, но на следующий день все в ауле, даже ребятишки знали, что старым деньгам конец, вводят новые. Сначала мы не поверили, но оказалось, что правда: денежная реформа.

Склад наш как закрыли, так и не открывали целую неделю. И всю ту неделю народ не отходил от председательского крылечка. Несчастливая Жамиш на глаза боялась показываться: как только завидят ее, кричат: «Весь склад к себе перетащили! Хоть на заварку чаю дайте!..» И Жамиш не отказывала, – то тому осьмушку чая сунет, то другому. А Карабет в эти дни, как сквозь землю провалился, решил, видимо, переждать, пока уляжется шум...

Никто тогда не думал, что вся эта махинация сойдет ему с рук – доказательства были налицо. Но Карабет и тут вывернулся. Председателю сельпо тогда четыре года дали, Тотая, продавцу из лавки, кажется, шесть месяцев, а Карабет вышел как гусь из воды. На суде, рассказывали, он всю вину свалил на председателя сельпо: дескать, предложил ему человек товар со склада и попросил лишь рассчитаться; он уплатил, а куда тот деньги девал – не знает, может, себе в карман положил... Вот он каков, Карабет этот, на деле. Ну, да ему еще и Косиманов, конечно, помог. Не мог не помочь, зять все-таки, родственники.

После суда Карабет у нас недолго оставался. На него и без того народ злой был, а уж после таких-то дел... Смотрим как-то: не стало Карабета. Мы туда, сюда: нету. Куда девался? Оказывается, забрал он ночью семью и отделился от аула подальше. За рощей дом поставил и стал держать что-то вроде заезжего двора. Бирюком зажил, но из колхоза не вышел. На бумаге он как был, так и оставался колхозником. Выгодно же: с него почти ничего не требуется, а он с колхоза берет все, что положено. И сено косил, и корм получал, и скот держал, а с базара так не вылезал: колхозник же, имеет право торговать. И так у него все ловко получалось: шито-крыто, комар носа не подточит..

«Да, да, шито-крыто», – грустно покивал Карасай, сильно страдая в кузове от ветра. Было время, когда все ему удавалось и благополучно сходило с рук. Неужели кончилась удача и пришло время расплаты? Боялся он рокового момента, сильно боялся и несколько раз уж давал себе зарок бросить все и зажить спокойно. Ненасытность проклятая подвела: все думалось – вот еще немного, еще самую малость и – уж тогда конец. Но не было конца, хотелось побольше: не знали меры завидующие глаза, а особенно неукротима была жадная к добру ненасытная душа. Поэтому-то и не остановился вовремя, будто червяк какой точил постоянно изнутри. Если бы знать, что так получится!..

Хриплый протяжный вопль, раздавшийся откуда-то со стороны, заставил старика поднять голову. Мело по-прежнему, ветер больно насекал мокрый глаз. Сильно мотало в кузове. Непонятный голос, испугавший Карасая, звучал приглушенно, будто из глубокого колодца. Боявшийся любого встречного человека, старик начал озираться, не слишком высовываясь. И он увидел: на бугре, совсем недалеко, отчетливо выделяясь на белом нетронutom снегу, стоял громадный человек и, встречая машину, махал рукой.

«Пропал!» – мелькнуло в голове Карасая. Он присел за сложенную из ящичков загородку, но глаз с кричавшего человека не спускал. Неужели он заметил его?

Машина бежала, не сбавляя хода, поровнялась с бугром и стала быстро удаляться. В свете наступающего дня Карасай успел разглядеть, что огромный рост человека, так напугавшего его, объяснялся тем, что на плечах он тащил еще одного, совсем неподвижного, как бы не покойника. Кажется, кричавший был Дерягин, а может, сильно походил на него, Карасаю теперь не было дела ни до кого на свете, и он, радуясь, что шофер не заметил и не остановился, видел, как человек на бугре побежал вдогонку, но сделал лишь несколько неуверенных шагов и упал, уронил с плеч свою ношу. «Пронесло», – с легким сердцем подумал Карасай, наблюдая, как удаляются, оставаясь в степи, два лежащих на снегу человека. Скоро можно было различить лишь две крохотные точки, а потом исчезли и они...

Потянулись вокруг знакомые места, и старик, отогревшись от одной мысли о спасении, вертел головой. План его был прост: пробраться, пока никто ничего не знает, домой, откопать в сарае сундучок, а с ним дорога открыта хоть куда. Забрав накопления, можно было надежно исчезнуть навсегда. Правильно он делал, всю жизнь оберегая этот сундучок. Чем бы ему помогли сейчас друзья и приятели, заведи он их в свое время? А с тем, что в сундучке, он уедет и где-нибудь надежно устроится. Нет, он правильно смотрел на жизнь, не позволяя себе роскоши увлекаться ненужными вещами... Не выходила из головы квартирантка. Брать ее с собой расчета не было, бабу где угодно можно найти, но у нее где-то припрятаны немалые деньги. Пропыет, нарвется на какого-нибудь прохвоста и все промотает. Душа старика не могла смириться с бесхозяйственностью. Прибрать бы к рукам и эти деньги! На повороте, когда показалась окраина совхозного поселка, Карасай постучал по

кабинке и, едва машина замедлила бег, спрыгнул на землю. Ого, как больно отдалось в ноги! Отсидел. Прихрамывая, старик прямо через поле направился к одинокому дому. Вчерашний буран намел местами высокие сугробы. Карасай видел, что снегом занесены ворота и наружные стены дома. Одинокий двор кажется вымершим, ни дыма из трубы, ни следа из ворот. Оставляя на твердом, чуть присыпанном насте петлистую заячью стежку, Карасай приблизился к своему дому. Тревожно стучало сердце. Квартирантка сейчас спит, должна спать. Если не будить ее, а пробраться во двор потихоньку, она и не проснется. Взять сундук в сарае, опять махнуть через забор, поди потом догадайся кто, что хозяин был дома. Но потом от холода ли, представив себе теплую постель спящей женщины, от тоски ли будущего одиночества, Карасай подумал, что бойкая и острая умом Агайша не Жамиш, такой человек не будет обузой. Помощник, советчик, товарищ в беде – вот кем станет Агайша. «Пеший пыли не поднимет, одинокий не прославится», – припомнилась поговорка.

В окне было темно, и Карасай, едва не постучав, в нерешительности опустил руку. Все-таки, что ни говори, а плохой из бабы спутник. А уж в беде... «Скачущий на кобыле приза не возьмет». Пока было все хорошо, квартирантка держала себя приветливо. А ну узнает она все как есть? Нет, одному, без обузы, куда легче. А вот денежки ее забрать не мешает. Деньги не бывают обузой...

Издали, пока старик не подошел, тихий двор казался спящим, надежно укрытым от постороннего человека. Отыскивая место, где легче и бесшумнее залезть во двор, Карасай подошел к воротам и увидел, что калитка отворена. Видимо, калитку не запирали всю ночь, потому что буран, намел во двор целый сугроб. «Хозяйка! – подумал старик, привычно загораюсь яростью. – Руки за это обломать...»

Тихо было во дворе, и все занесено снегом. Небольшой сугробик лежал на крылечке, завалив порог. Почуввав человека, в сарае жалобно замычали коровы. И хозяйское сердце старика дрогнуло, – как ни торопился он, а все же пройти мимо голодной скотины не мог.

Рослая рогатая корова с белой отметиной на лбу обрадованно мыкнула, узнав хозяина. Влажный антрацитовый глаз укоризненно блестел в сумеречных потемках. Карасай ласково тронул высокие рога, пощекотал лоб. Наблюдая голодное беспокойство скотины и привычно заглядывая в пустые вылизанные ясли, Карасай все больше догадывался, что корм не задавался, пожалуй, сутки. Куда же смотрела Агайша? Обычные хозяйские заботы, как всегда в начале дня, обволакивали Карасая, притупляя тревогу беглеца. Все-таки не бегать надо человеку, а заниматься своим привычным делом, и он уже собрался брать в руки вилы, как вдруг острая догадка прострелила его, он опрометью бросился в дом. Ну вот, так и есть. Никто не спал в доме, везде было пусто. Оглядывая разграбленные комнаты, старик почувствовал, насколько выстыл дом и увидел, что труба не закрыта. Будто в эту трубу улетела коварная квартирантка вместе со многими вещами.

Теперь Карасай боялся самого страшного. Вещи что? Ерунда, мелочь. С лопатой в руках он принялся рыть в темном углу сарая, и чем быстрее, ожесточеннее выгребал мягкую, слишком мягкую податливую землю, тем яростнее заходило от предчувствий сердце, тем безумнее наливались кровью глаза. Лопата скребанула по крышке сундучка, старик упал на колени. Он не сразу сообразил почему так легко подалась крышка. Пусто! – открыл он и увидел, и кружилась голова, полетело, полетело куда-то в ноги сердце.

Безумный взгляд Карасая медленно обвел темные углы сарая, будто еще могло найтись желанное спасенье.

Потом он сел на разрытую землю и уронил голову. Слезы, копившиеся в нем всю долгую жизнь, вдруг показались на глазах и покатались по бороде. Они копились долго, с детства, и старик даже у гроба Жалила, положив ладонь на холодный лоб покойного сына, не узнал их забытого горького вкуса. А вот теперь наступил конец. Проклятый мир, собаки люди!

Под руку Карасая попал любовно сделанный сундучок и он, не в силах унять горюющего сердца, грохнул ненужную теперь шкатулку в стену. Все, что копилось целую нелегкую жизнь, улетело, развеялось без следа. Сколько голов скота он уложил, разгладив и пересчитав, в сундук, – пропало. И старик, как бы в безумье, увидел уплывающие в какой-то непроглядный мрак целые стада: ржущие откормленные кобылицы, жирные овцы с тяжелыми курдюками, коровы, величественные, крупные, с громадным тяжким выменем, не помещающимся между ног. Все это припомнилось, увиделось и проплыло, развевая гривами, бляя, посылая прощальное мычание. Ничему не будет уж теперь возврата...

Застонав, Карасай неуклюже свалился набок, изо всех сил прижимая руку к левой половине груди. Он лежал, уткнувшись бородой в холодную разрытую землю, и боль заставляла вспыхивать его мерцающие в темноте глаза. Нет, не деньги забрала у него коварная квартирантка, а сердце, – будто схватила его чья-то твердая безжалостная рука и не было сил разжать черствых пальцев.

День уже был в силе, когда из сарая, волоча непослушные ноги, показался измученный старик. Он разжал руку и увидел листок бумаги, оставленный на чистом дне пустого сундучка. Ничего не понимая, Карасай долго вглядывался в твердо выведенные буквы, по привычке сердито двигая бровями. Это была записка, и больно колотящемся сердце старика шевельнулась надежда, что не обманула его женщина, может,

оставила свой адрес. Он был согласен и на это. «А ты пройдоха, мой старый барсучок, – разобрал он игривые, словно под сладким хмелем писанные слова. – Только ведь я тоже старая лиса, и меня не проведешь. Скажем друг другу спасибо, каждый из нас получил свое...»

С запиской в руках, как помешанный, Карасай вышел за ворота. Перед остановившимися глазами его стоял мутный полог. Он не соображал, что это за машина подлетела к его дому, хоть зятя своего, Косиманова, узнал. В душе, его уже не было сил для испуга. Поэтому он пустым потерянным взглядом смотрел на деловито подходившего зятя, однако замороженного и обрекающего выражения в его служебных глазах, готовых, казалось, пробить лоб тестя, не видел, не понимал...

Заседание кончилось, и Райхан, подождав в машине замешкавшегося в райкоме Моргуна, предложила сразу же ехать домой.

– Сил нет, – пожаловалась она с усталой улыбкой.

Ровная унылая дорога, знакомые окрестности, над которыми минувшей ночью безумствовал буран, принесли успокоение. По сторонам накатанного большака тянулись белые поля. Откинувшись на спинку пружинистого сиденья, Райхан не открывала глаз. Но даже с закрытыми глазами она безошибочно могла сказать, в каком месте они едут. Места, знакомые с детства, запали в память на всю жизнь.

«Аул мой у отрогов Сырымбета...» – как бы сами собой зазвучали в машине тихие, хватающие за душу слова старинной песни. Так бывало всякий раз, когда, задумавшись, Райхан давала волю памяти. Протяжный тоскующий мотив несчастного акына Ахана-сери запал в сердце с детских лет, также, как нестареющий облик матери, как дым родного аула и запах степи. Когда-то «Сырымбет» была любимой песней отца.

Негромко и бережно поддержал в нужном месте песню густой голос мужчины, и Райхан, удивленно приоткрыв глаза, увидела, что директор, тоже убаюканный дорогой, грустный и задумавшийся, будто сам для себя мурлычет бесхитростный мотив. Гудел на низкой ноте мотор, и машина, будто одинокая кочующая кибитка, одолевала бесконечную дорогу.

– А хорошо!– одобрительно покрутил головой присмиривший за рулем Жантас, когда мелодия замерла так же незаметно, как и возникла.

– Хорошо!– повторил он, с улыбкой оглядываясь назад, на смущенное начальство.– Сколько ни слушай, все равно не наслушаешься.

Легкая краска выступила на увядших щеках Райхан, обозначив и такие же, как в молодости, ямочки. Бросив быстрый смеющийся взгляд на соседа, она развязала и откинула концы теплой пуховой шали.

– Долгие у нас дороги,– словно оправдываясь, проговорила она первое, что пришло в голову.

Федор Трофимович соглашаясь, покивал головой.

На сегодняшнем заседании бюро райкома им обоим, как руководителям совхоза «Каинды», пришлось выдержать тяжелый изматывающий бой, и многое из того, о чем говорилось в пылу перебранки, обидно помнилось и сейчас.

Спор возник совсем неожиданно, когда уж все казалось решенным, и Райхан до сих пор не могла толком припомнить, с чего же все началось... Ах нет, теперь-то вспомнилось. Алагузов начал, второй секретарь. Пока отчитывался Моргун и другие директора совхозов, пока говорилось о том, что накопилось за первый год целинной жизни. Алагузов молчал: заседание как заседание, десятки их, если не больше, прошли на памяти второго секретаря. Был он старый районный работник, тянущий, сменивший много постов и везде оправдавший доверие. В облике этого высокого сухопарого человека все говорило о стрем-

лении управлять и подчиняться: строгая одежда, такая же прическа, даже манера мыслить и говорить. Ничего лишнего. Он знал в жизни одно – работу, и работал, не жалея ни себя, ни подчиненных.

По второму вопросу повестки заседания выступил сам Досанов, первый секретарь. Не любивший многословия, он предложил утвердить подготовленное решение о награждении совхоза «Каинды» переходящим Красным Знаменем. И вот тут Алагузов сдержанным, но решительным жестом попросил слова.

Поднимаясь, он достал из папки несколько неряшливо исписанных листочков. Видно было, что выступление его не случайно, он ждал и готовился, и разнокалиберные листочки писем, собранные в панке, лишь ждали своего часа.

Он не стал возражать против награждения передового хозяйства: совхоз «Каинды» заслужил почетную награду. Он отметил достойный труд десятков и сотен людей, добившихся победы в жестких условиях первого года на новых землях, но как второй секретарь, он не может больше молчать о досадных срывах, которые не к лицу лучшему коллективу района, которые, как ложка дегтя, портят общее впечатление...

– Я говорю о недостойных поступках главного инженера и парторга совхоза товарища Султановой. Она, кстати, присутствует здесь, на бюро.

Побледнев, Райхан вскинула глаза и встретила с ясным взглядом Алагузова. Гладко выбритый, с крохотными оспинками на широких скулах, он держался прямо, как на портрете, затянутый в глухой форменный китель.

Досанов поморщился:

– Мы, кажется, уже говорили с вами. «Каинды» – хозяйство заслуженное. Они первыми закончили уборку и сдачу хлеба, у них первых стали работать шоферы с пятью прицепами, да и по строительству они

тоже впереди всех. Как же мы будем отделять одно от другого? Дескать, совхоз хороший, передовой, а вот Султанова у них никуда не годится. Нельзя так. Достижения совхоза – это и ее победа.

– Не забывайте, что она парторг, – напомнил строго Алагузов. – Значит, с нее двойной спрос.

– А разве достижения хозяйства – не показатель работы парторга?

– Я говорю не о хозяйственных делах, товарищ Досанов. Вчера я вам докладывал... – Алагузов легонько потряс приготовленными бумажками. – И зря, что вы не захотели обратить на это внимание. Товарищи сигнализируют нам о серьезных нарушениях... Вот, судите сами. Колхозный скот, по распоряжению главного инженера, был роздан в личное пользование. Как это назвать? По-моему, разбазаривание, типичная партизанщина. Или вот. Часть земель, назначенных под вспашку, она оставила под выпасами. А что от нас требуется? Пахать, осваивать как можно больше. Значит, налицо прямое нарушение директив. А тут еще и рукоприкладство, и драки... даже машину в совхозе сожгли! – он бросил письма на стол. – Нельзя так наплевательски относиться к сигналам. Мы просто не имеем права пренебрегать ими.

– А может, все это клевета, по злобе написано? – спросил кто-то, не поднимаясь с места.

– Вот поэтому-то я и хочу, чтобы бюро занялось этими вопросами, – спокойно ответил Алагузов, закрывая папку и усаживаясь. – Вполне возможно, что ряд сигналов не найдет подтверждения.

«Зачем ему понадобилось выносить всю эту грязь на бюро?» – недоумевала Райхан, вспоминая, как дружно встали за нее директора совхозов. Они не позволили даже зачитывать письма.

– Тут надо в нашей одежке побыть, в директорской одежке, – рокочущим добродушным басом выговаривал второму секретарю богатырского сложения человек –

Вагин, до целины директор передового совхоза на Украине.– Вот мы тут недавно говорили, что в «Каинды» приехало сто семей новоселов. Сто семей! Но приехать-то они приехали, а как их удержать? Ведь они как приехали, так и уехать могут. И правильно в «Каинды» делают. Люди приезжают, а тут им сразу и молоко, и комнату, и школу, и детский сад, и даже Дом культуры. Суди ты потом Райхан Султанову, что она, заботясь о людях, где-то что-то сделала не по правилам. И пусть пишут, кому не лень. Главной в «Каиндах» сделано: они закрепили людей, дали им возможность спокойно жить и работать, и вот вам результат – лучший в районе совхоз. Так что не о букве думай, дорогой товарищ Алагузов, где что не соблюдено, а маленечко вперед заглядывай. Стране-то хлебушек нужен, для этого мы сюда и приехали...– и Вагин благодушно разместил в просторном кожаном кресле свое огромное тело. Блеснула на груди Золотая Звезда Героя.

Рассудительно сказал и Аяганов, тоже директор, неторопливый спокойный человек со скупыми жестами коротеньких сильных рук.

– На черное смотреть – белого не видеть. Не забыл еще, товарищ Алагузов? Вроде бы стараешься справедливость соблюсти, а глядишь хорошего человека в грязи испачкал. Кому это надо, кому выгодно?.. Не верю я, чтобы сами колхозники подняли вой из-за того скота. Я сам здешний, видел, как люди жили. Когда к нам сюда переселенцы приехали, мы с ними душа в душу жили. Бедняки, конечно. И помогали: они нам, мы им. И никто никого не принуждал. Одна судьба, одна жизнь. Делились кто чем богат. Так неужели теперь у нас пропали законы гостеприимства? Не верю! И я предлагаю: не Султанову надо проверять, а того, кто вот такие грязные бумажки строчит. Где этот человек, кто он такой? Или забился в нору и оттуда пакостит? Заливать надо такую нору, тащить его, голубчика, на свет!..

– Но ведь указания, чтобы раздавать скот в частное пользование, кажется, не было?– напомнил Алагузов.

Он сидел прямой, побледневший, невыносимо страдая от поражения.

– Так ведь, дорогой товарищ секретарь,– рассмеялся директор, и его хитроватые глазки совсем утонули в щелках,– не указание для нужды, а нужда для указания. Чего мудрить-то?

И вопрос был исчерпан. «Как-то теперь будет у нас с Алагузовым?– думала Райхан в дороге.– Самолюбивый человек!»

– Федор Трофимович,– позвала она,– а ведь я тебя давно предупреждала об Алагузове. Помнишь, мы как-то говорили о наших руководящих товарищах...

Директор возмущенно пожал плечами.

– Не признаю я таких руководителей. Ни мыслей, ни знаний... У него, если толком разобраться, самой элементарной культуры не хватает. И это партийный работник!

– В семье не без урода,– заметила Райхан.

– Рубака лихой. Привык, если что, сплеча... Забывать бы надо о таких методах.

– Привык, а привычка – вторая натура. Знаете, сколько уж лет он на всяких руководящих постах? Ну так вот. А работы он не боится, из кожи лезет. Но все по старинке: привык в те годы, страху набрался. Как теперь ломать себя? А вот Досанов,– обратили внимание?– совсем другой человек. Новое время, новые люди...

– Смотрите, смотрите!– закричал вдруг Жантас, резко сворачивая в сторону и тормозя машину. Директора и Райхан по инерции бросило вперед. Федор, чтобы не удариться, уперся в плечи шофера.

На дороге, съезжившись, обхватив руками ноги и уткнувшись лицом в колени, сидели двое. Они не пошевелились, не подняли даже голов. Райхан, Моргун и Жантас выскочили из машины.

Дерягин, едва его тронули, как мешок повалился набок. Он сидел на снегу раздетым, в одном пиджаке, в его пальто были закутаны ноги Халила.

– Снегу, – распорядился Моргун, когда замерзающих втащили в машину.

Складным ножом он быстро разрезал голенища на ногах Халила, сдернул и выбросил безнадежно испорченные сапоги. В побелевших ледяных ногах, казалось, не осталось ни кровинки.

Стиснув зубы Федор стал безжалостно натирать их сухим жестким снегом. Халил завозился и застонал от боли.

Райхан, горстью захватывая колючий снег, оттирала Дерягину щеки и уши. Руки ее так и мелькали. Приходя в сознание, Дерягин морщился и пытался убрать голову, но Райхан, не отпуская, орудовала быстро-быстро, как на терке. Скоро из распухшего, треснувшего уха показалась черная кровь. Закраснелись мокрые ободранные снегом щеки. Райхан сдернула с себя пуховую шаль и крепко замотала голову Дерягина. В машине было тесно, не повернуться, Райхан, поправляя седые растрепавшиеся волосы, то и дело ударяла локтем Моргуна.

Медленно, медленно разлепил запавшие глаза Дерягин. Сознание вернулось к нему, но он долго не мог понять, что это за женщина с непослушной седой прядью низко склонилась над ним. Потом, похоже, узнал: в уголке глаза показалась и покатилась по обмороженной щеке бессильная слеза. Он закрыл глаза и отвернулся. «Неужели до сих пор помнит о пощечине?.. Оставляя его в покое, Райхан невесело усмехнулась: рука матери следов не оставляет. А отец, так тот, помнится, любил повторять старинную пословицу: «Жена ударит – на том свете место, если не сгорит, так почернеет, мать ударит – не тронет никакой огонь...»

Вставало солнце, когда показались впереди дома совхозного поселка. Занимался морозный звонкий

день. Дым из труб медленно поднимался в безбрежное ясное небо. На поле по обе стороны дороги орудовали трактора, таская за собой громоздкие треугольники деревянных плугов. Райхан и директор, пригнувшись к окошечкам, наблюдали, как строго, в одном направлении, поперек буранным ветрам, расчерчивалась тракторами степь. Острия тяжелых плугов взрывали, разваливая на стороны, толстый слежавшийся пласт снега, оставляя после себя глубокие траншеи. Люди жили будущим и, не переставая думать о завтрашнем дне, заранее готовились к весне.

ЭПИЛОГ

Прошло десять лет.

Опять была осень, и роща вновь сменила свой зеленый наряд. Поредевшая, открытая всем сквозным ветрам, она начально провожала теплую пору, и желтый ковер у подножья берез теперь каждое утро источал морозный аромат инея. Крепкие затяжные утренники, когда за рощей подолгу пламенеет тихая стылая заря, сбивали птиц в крикливые стаи, и скоро с блеклого осеннего неба донеслось первое прощальное курлыканье. Ночью улетающие косяки проплывали под бледной умирающей луной, и часто трубный крик вожака протяжно отдавался в пустых перелесках. В ту осень не торопилась лишь поздняя промысловая птица: раздобревшие за лето гуси и утки подолгу плавали в ленивой затихшей воде, а вперевалку выбравшись на берег, сонно чистились и заводили под крылышко головку.

Пугливый старый человек, весь день стеснявшийся появляться на улицах города, дождался ночи и, едва взошла луна, вышел на дорогу, посматривая, не покажется ли машина. За его спиной горел, перебивался огнями город. Человек был оборван, ветхая одежда казалась ровесницей его годам. Маленькая, с

чужой головы шапка едва держалась на нем, а коротенькие болтающиеся уши неожиданно придавали угрюмому старику какой-то игривый, щенячий вид.

Завидев огни, старик поднял руку, и машина, вильнув к обочине, остановилась.

– В «Красное знамя», – хрипло проговорил старик, наклоняясь к окошечку новенькой «Волги».

– Садись.

Бросив грязную торбу под ноги, старик уселся рядом с шофером. Серебристый олень на радиаторе «Волги», выбросив ноги, вновь понесся в темноту.

На заднем сиденье кто-то переговаривался, и старик, нелюдимо прятаясь весь день, подумал, что лучше было подождать на дороге грузовую машину с пустым, без попутчиков кузовом. Сзади ехало двое: женщина, если судить по голосу, и молодой мужчина. Тихий разговор почти не долетал до ушей старика, но из того, что он расслышал, можно было понять, что женщина уже не молода и работает в обкоме партии, а мужчина приехал из Алма-Аты, и ему не терпится попасть в места, из которых он когда-то уехал на учебу. Мужчина несколько раз помянул о книге, которую написал или только собирается писать о родных краях.

– Сколько же я не был тут, Райхан-апа?.. Все, все стало другое! Просто не узнать!

– Что ты, Жантас! – устало проговорила женщина. – Тут неделю не побываешь, и то, глядишь, многое изменилось. А за эти годы... Мне, если признаться, так жалко было уезжать! И до сих пор – где бы ни была, что бы ни делала, а тянет...

Увлеченно разговаривая, они совсем не обратили внимания; что ночной пассажир впереди вдруг вздрогнул и съезжился, сжался, боясь обернуться.

– Из стариков кто-нибудь на месте? – расспрашивал Жантас. – Моргун сейчас где?

– Федор Трофимович давно в Целинограде. На большой работе... А Халила помнишь? Главный инже-

нер сейчас. Хороший парень вырос. Учился в сельхозинституте, сейчас женился, дети. Директором будет, нисколько не сомневаюсь... Ну, кто еще? Оспана, шофера, помнишь? Самый знаменитый шофер у нас. Депутат, Герой Труда.

– Так он больше и не женился?

– Почему? Женился. И знаешь на ком? На Акбопе.

– Ты смотри! – удивлялся переменам Жантас.

– Жалко, – продолжала Райхан, – что Акбопе в свое время учиться не пришлось. Но мы направили ее в школу механизации, сейчас она диспетчер автобазы. А в автобазе, – шутка сказать! – двести с чем-то машин.

– А эта... Тамара! Рудакова или Рубцова, – не помню уж...

– Рубцова. Тоже в совхозе. Два года поработала секретарем комитета комсомола, а потом в Высшую партийную школу послали. Алагузова-то еще не забыл?

– Второй секретарь, кажется.

– Он потом у нас в совхозе парторгом был. В прошлом году мы проводили его на пенсию. Так Тамара теперь на его месте... Вот тебе о чем писать надо, дорогой. Читала я твои книжки. Все о любви, о цветочках пишете, а настоящая-то жизнь – вот, под боком.

– Да, да, не говорите... – согласился Жантас, покивав головой. – Но Алагузову в совхозе, надо полагать, несладко пришлось. Ведь рабочий он, насколько я помню...

– Ну! – оживилась Райхан. – Совсем не тот стал. Что ты!.. У нас с ним однажды интересный спор получился. Мне одно время в производственном управлении пришлось работать, и мы с этим Алагузовым чуть не насмерть сцепились. Вызвала я его как-то и давай отчитывать. «Что же вы, – говорю, – зерно перестали сдавать?» – «Нету, – говорит, – зерна. Одно семенное осталось».– «Сдавайте семенное. Весной на семена у

государства получите». Ка-ак он взвился! «Бюрократы, – кричит, – вам бы только план! А у нас тогда неурожай страшный: летом засуха, а осень подошла – дожди залили. «Обязательства, – говорю, – брали? Брали. Извольте выполнять». Алагузов прямо из себя выходит. «Надо, – говорит, – исходить из обстоятельств, а не из обязательств. А семенное зерно я не дам грабить, хоть голову снимайте!» И к дверям пошел. «Ладно, – говорю я и не выдержала, засмеялась. – Но теперь поняли, каково в совхозной одежке-то быть?» Все он понял, все помнил. О многом мы тогда перегоvorили. И как за распашкой гектаров гнались, вместо того, чтобы научиться за землей ухаживать. Совсем другой человек стал. Сейчас, хоть и на пенсии, а на покой не уходит. Люди к нему без конца идут, советуются. Уважаемый всеми аксакал... Вот об этом попробуй, написать...

– О ком-то я еще хотел спросить... Да, Дерягин. Помните такого? Здоровый такой парень...

– Ну как же! – рассмеялась Райхан. – Хорошо помню, не забыла. Он, кстати, женат на Тамаре...

– На Та-ма-ре?! – изумился Жантас. – Но она же видеть его не могла!

– Мало ли что бывает, – снова засмеялась Райхан. – Сейчас ты его не узнаешь. Двое детей. Завгаром работает. И в рот капли не берет.

– Вот это да-а!.. Вот это номера! – никак не мог успокоиться Жантас. – Что только делается на свете!.. А про этого... ничего не слышно? Помните, старик, на отшибе-то от всех жил. Карабет или как его там...

– Об этом ничего не слышно. Да никто и не интересуется. Кому до него дело? Ни Халилу, я думаю, он не нужен, ни Акбопе. Ну, а уж о Дике и говорить нечего.

– Да, да, вот еще – Дика! С этим что?

– Ничего. Прекрасно живет и работает. Самый у нас знаменитый строитель. Хорошую женщину нашел – повара. Четверо детей у них...

– Ну, дела. Ну, дела-а...

Жантасу хотелось расспросить и о жите-бытье своей попутчицы, но он подумал и промолчал: вся жизнь Райхан проходила на людях и, как можно было догадаться, никаких перемен за это время не произошло. По-прежнему немолодая одинокая женщина грелась у чужого огня: всеми силами устраивая счастье другим, Райхан не имела времени подумать о собственном. Никто не встречал ее из тяжелой поездки, ничье заботливое слово не провожало в дальний путь и никогда уж не зазвенит ребячий гомон в ее пустом холодном доме. Чужие радости и печали заполнили всю ее жизнь без остатка.

Усталость и тишина, тепло запертой со всех сторон машины сморили пассажиров. Давно утихли голоса, и теперь слышалось ровное покойное дыхание. Лишь вскинувшийся на радиаторе серебристый олень по-прежнему рьяно летел над дороги. Ну уж обозначился край неба над чернотой земли, и свет машины, раздвигавший темноту, становился рассеянным. Светало...

– Что же я наделал!– тихо выругался вдруг шофер.– Вам ведь в «Красное знамя» надо? Проехали малость...

И он начал осаживать машину, сбавляя бег. Но на изможденном, с большим уродливым пятном лице старика не отразилось никакого беспокойства.

– Не надо, в «Каинды» поеду.

Шофер заинтересованно глянул на него, не переставая удивляться столь необыкновенной примете на лице пассажира.

– Что, папаша, видно, давно не были в этих местах? «Каинды» уж забыли люди...

– А что с ним?– насторожился старик.

– Другое название давно. Когда-то был «Каинды». Теперь «Сулу-Мурт».

Притомившись в долгой, навевающей сон дороге, шофер был рад случаю поговорить. Ночной пассажир

несколько раз украдкой оглянулся назад, боясь, как бы разговор не разбудил попутчиков.

– Тут теперь все переиначили, – охотно рассказывал шофер. – Был «Каинды», стал «Сулу-Мурт». Был «Жана Талап», – может, слышали, колхозишко такой заваливший? Теперь – «Кургерей».

– Это ведь отделение было в совхозе? – стараясь говорить потише, напомнил старик.

– Куда там! Теперь отдельный совхоз. Назвали «Кургерей». Тоже не приходилось слышать?

– Да, бывало... – уклончиво ответил ночной пассажир и надолго умолк, нетерпеливо поглядывая в окошко.

На восходе потянулись знакомые края, и старик, не слушая больше болтовни шофера, провожал глазами каждый холм, каждую балку. Здесь все было знакомо с детства, и в то же время так переменялось, что если бы не цепкая стариковская память, родных мест было бы не узнать. Вон виднеется зимовка Есдаулета, а за ней должен открыться луг «Салим-трава», там когда-то были коровники. Но нет, не осталось и следа от коровников, всюду одно и то же: хлеба, хлеба, хлеба. Карасай узнал и место, где росла могучая береза. Сейчас там, как конские гривы под ветром, склонилась целая рощица. Без него уж насадили. Новая, до неузнаваемости изменившаяся открывалась его глазам земля.

– Ну вот и добрались, – сказал шофер, когда машина легко взбежала на пригорок. – Вон он, «Сулу-Мурт».

И остро защемило сердце у старика, где-то в глубине души таил он надежду, что уж отцовское родное место встретит его по-старому. Но перемены коснулись и малжановского края. Разрослась старинная роща, достигая окраины поселка, а сам совхозный городок протянулся от сгоревшего когда-то аула Балта до каменной гряды «Кыземшек». Карасай смотрел и не мог найти холма, где похоронен Жалил. Дома, улицы, переулки. Чужое все здесь стало, не свое...

Карасай попросил остановиться и вышел из машины. В поселок он вошел пешком, с тощей торбой за плечами. Ему попадались люди, торопливо шагающие на работу, и никто не остановил его, никто не узнал. Лишь в котловане, залитом водой, сытые откормленные гуси трубно загоготали ему навстречу, неистово замахав крылами.

Вдоль длинной и прямой, как полет пули, улицы Карасай миновал поселок и вышел к роще. Он пришел на свое место, где под старинным, помнившим еще самого Малжана деревом много лет дымил очаг в одиноком доме. Ничего не осталось, кроме нестареющего дерева. Поселку становилось тесно, и новенькие домики под белыми шиферными крышами выплескивались все дальше, обживая свободные места. Карасай представил, как рушился под тяжким безжалостным ножом бульдозера его любовно слепленный дом и закрыл глаза, потер рукою сердце. Как щепку, одинокую, выполосканную во многих водах и потерявшую сок и запах, выбросило его на обжитое другими место.

Тем временем Райхан, не давая гостю оглядеться, повела его на самое приметное место, откуда хорошо открылись окрестности: на двуглавую вершинку «Кыземшек». Утро уже набрало сил, и Райхан, щурясь от солнца, с удовольствием повернулась к холодящему ветерку, чувствуя, как проходит сон и усталость.

– В конторе тебе только расскажут, а я хочу показать. Вон посмотри, – протянула она руку, – видишь, два этажа? Школа. А за ней, зеленое, – стадион. Свои футболисты... Там детский сад, больница. Ну, а это, сам, наверное, догадаешься, железобетонный завод. Рядом кирпичный... Я всегда, как приезжаю, сначала сюда забираюсь. Постою, полюбуюсь, уж потом в контору.

– А там? – Чуть в стороне, на гряде, соединяющей вершинки, Жантас разглядел две могильных оградки.

– Подойдем... – тихо сказала Райхан.

Ветер, напоенный сырими запахами осенней блекнувшей степи, обдувал высокие крепкие стены надмогильников. «Григорий Матвеевич Федоров (Кургерей)...». «Султан Омаров (Сулу-Мурт)». Надписи поблекли, выгорели на солнце, но были видны хорошо.

Пришедшие долго стояли в печали и молчании. Как близнецы, возвышались два одинаковых мазара, одно и то же небо обнимало мир, и земля, вечная, неумирающая, щедрая ко всем, лежала по обе стороны невысокой могильной гряды, давшей последний приют навсегда соединившимся друзьям.

ПРОЗРЕНИЕ

– Ах вот ты где, засоня! А ну, вставай!– услышал я над собой голос Аплаша, но никак не мог раскрыть глаза. Я сразу вспомнил, что уснул здесь, на поляне, среди нескошенной травы, когда солнце начало припекать. Вот и сейчас отчетливо слышу, как колышутся травы, как журчит рядом речушка-ручеек, как распевают на разные голоса пичуги.

Тру глаза, а лицо, чувствую, будто не мое: ужасно распухшее. Даже сердце похолодело. Правая бровь – сплошная шишка. Дотронулся чуть – нестерпимая боль вонзилась в глаз и отдалась в затылке. Даже вскрикнул от неожиданности.

Поднялся, сел, кое-как раскрыл слипшиеся веки и увидел своих ребят-косарей, окруживших меня. Стоят, хохочут, пальцами тычут в мою сторону:

– Эй, дезертир! Где твой черный вол?

– А зачем ему вол! Он и грабли припрятал, чтоб тайком поспать.

– Поспал!

– Распух весь! Не узнать теперь нашего Болтая!– звенели насмешливые голоса.

Я не выдержал наконец, вскочил на ноги и зло уставился на ребят. Они, как ужаленные, отпрянули от меня. «Неужели такой страшный?»– подумалось мне. Но тут из травы, прямо из-под моих ног, взметнулась целая туча комаров и слепней!

Ах, вот в чем секрет: не меня – слепней испугались мальчишки! Теперь все ясно с моим глазом. Пока я спал, меня искушали комары, а один из слепней ужалил в верхнее веко. «Вот это спал, – удивился я, – даже слепень не разбудил!»

А друзья, не умолкая, смеялись надо мной, раздували щеки и прищуривали глаза, чтобы дать понять, какой я распухший и смешной.

– Ну хватит вам! – заступился наконец за меня Аплаш. – Устал он – ночь не спал.

– Мы тоже не спали! – не унимались мальчишки. – Хитрить не будет! Так ему и надо! Ишь какой умник выискался! – и побежали к походному полевому стану – старой юрте, которую всегда вывозили на сенокос.

Не поднимая глаз, я тихо спросил Аплаша:

– Правда, сильно опухло, да?

– Не лицо, а арбуз! – нисколько не стараясь почему-то успокоить, хоть только что и заступился за меня, безжалостно глянул на мою физиономию Аплаш.

– Я же тебя честно прошу сказать, – возмутился я, – может, не совсем уж так плохо, а?

Но Аплаш и бровью не повел, будто не слышал моих умоляющих слов, только посмотрел на меня сверху вниз (он был самым старшим среди нас), словно я уже совсем пропащий и ни к чему теперь больше не пригодный. И зашагал к юрте, возле которой поднималась тонкая струйка дыма. День подходил к концу, и наши старики, которые руководили мальчишками на сенокосе, уже взялись готовить ужин.

Я топтался на месте, не зная, что делать. Еще раз легонько, чтобы не закричать от боли, ощущал лицо. «Да, наверно, прав Аплаш: настоящий арбуз! Только мягкий и красный не внутри, а снаружи. Как бы взглянуть на себя? Но где же тут зеркало? Сенокос ведь», – рассуждал я сам с собой. И вдруг вспомнил, что здесь есть дед Аускен. «Он же с нами!» – обрадовался я и направился к юрте.

– Ничего с тобой не случится, – даже не думая доставать свое зеркальце, отмахнулся старик, – подумаешь, овод укусил! Не ты первый, не ты последний.

Я пошел обратно, к речушке. Но в наступающих сумерках разглядеть лицо не удалось: в воде маячил какой-то расплывшийся силуэт. Ни глаз, ни носа, ничего не видеть.

Начал опять клянчить у Аускена, уверять его, что буду очень осторожен и не разобью зеркала. Он не давал его никому, потому что боялся – разобьют, а где его теперь купишь? Война, она все прибрала да попрятала, так говорят нам старики, а из тайников этих никогда и ничто не возвращается.

И не растает со своим зеркалом Аускен уже года три. Он никогда не был женат, всю жизнь не думал о своей внешности. А тут с ним вдруг приключилось такое! Стал опрятно одеваться, подстригать ножницами усы, маленькую, торчащую бородку, выбривать щеки вокруг нее. Вот тогда-то и появилось у него зеркальце, с которым он нигде не растает: ни дома, ни в гостях, ни на работе.

Каждый вечер, когда в домах аула люди собираются у своих очагов, Аускен отправляется по гостям. Сидит долго, неторопливо ведя разговоры. Больше всего он любит побеседовать с женщинами.

Наконец Аускену надоело мое нытье, и он извлек из своего глубоченного, как степной колодец, кармана бесценное зеркальце.

– На! Только не сломай, – еще раз предупредил он меня.

Напрасно я возился столько с этим маленьким осколком: в нем отражалось только что-то одно – или узкий, совсем заплывший глаз, или часть носа, даже не вся шишка! Всего лица мне так и не удалось разглядеть, как я ни вертел и ни двигал этот блестящий предмет. Так я и не понял: прав Аплаш насчет арбуза или нет.

Когда все собрались за ужином и пили чай, аксакал Жусуп пожалел меня:

– Ты с глазом не шути, дорогой! Совсем он у тебя плох. Сегодня же отправляйся домой, да смотри не застуди – ночью ветер холодный!

Шалтек, наш бригадир, весь потный от чая, услышав такую речь, недовольно поставил пиалу на дастархан и смахнул капли с лица:

– Ой, Жусеке, вечно вы из мухи слона делаете. Через день-два все пройдет!

После этих слов бригадира ребята будто сорвались:

– А кого завтра на грабли посадим?– не по возрасту смело заговорил Рахим, недовольно посматривая на старого Жусупа.

– Когда у меня палец распух, я же не бросал работу!– подхватил недовольно Ескен, самый маленький из нас.

– Ты что, захотел стать инвалидом?– раздалось над самым моим ухом из-за спины.

Потом кто-то больно ущипнул меня за бок, и я, устыдившись насмешек товарищей, стал отказываться от возвращения домой в такое горячее время. Но случилось все так, как сказал дедушка Жусуп.

– Ты что же Шалтек,– посмотрел он строго и осуждающе на бригадира,– люди стареют, а ты с каждым днем все больше и больше в детство впадаешь? Кому же неизвестно, что людей у нас не хватает? Дети за взрослых работают! Но почему он должен из-за этого глаз своих лишаться?! Ну, если ты знаешь больше врача – лечи! Не можешь? А кто отвечать будет, если мальцу хуже станет, а?– и Жусуп обвел всех внимательным взглядом.

Никто больше не посмел ему перечить.

На следующее утро меня отправили домой. На лицах моих товарищей, да и взрослых, я не увидел ни тени укора.

Если сказать всю правду, то возвращался я домой со страхом, отругает меня бабушка за мою опухоль! Больше всего я, конечно, боялся бабушки. И на это были свои веские причины.

Думал я еще и о другом. Об Ырыскельды, который неожиданно вернулся с фронта. Ничего не писал домой из госпиталя и вот, как снег на голову свалился... Вот и я еду домой, будто раненый. Только бабушка моя не обрадуется такому возвращению и не устроит той, какой вчера был в доме Ырыскельды.

Люди нашего аула очень любят веселье. Празднуют по любому поводу: купил ли кто обновку, появился ли в доме с криком и плачем новорожденный, или семилетний малыш впервые переступил порог школы. Да мало ли что случается в каждом аульном доме такого, что, по мнению взрослых, должно быть обязательно отмечено не только членами семьи и родственниками, но и всеми, кто живет по соседству. Ведь о случившемся радостном событии должны знать все жители аула. Вот и приглашают к праздничному застолью, если не весь аул, то по крайней мере, всех родичей и соседей. А уж они-то разнесут эту весть не только по аулу.

Вот почему в маленьких саманных домиках набирается столько гостей, что другой раз и порог переступить трудно. Почетные гости занимают самую большую комнату, молодежь – помещение поменьше, а детвора набивается в прихожей, так что и повернуться негде. Угостившись, молодежь направляется в клуб, а их места занимают вновь прибывшие гости.

Но в первые годы войны люди, на которых обрушилось сразу столько бед, забыли, что такое развлечение. Каждый новый день, вместо радости, порог переступала беда. Из всех домов уже давно проводили на фронт мужей, отцов, братьев и сыновей. Но подрастали новые парни и тоже уходили туда, откуда еще никто не вернулся, откуда только приходили треугольные солдатские письма, да эти страшные, наводящие ужас на весь аул, похоронки.

Но потом, когда люди, уставшие от всех военных бед, свалившихся непосильным грузом на их плечи,

пережили растерянность, собрались наконец с мыслями и занялись своими привычными делами, ситуация изменилась. Жизнь аула, хоть и трудная, хоть и бедная, вновь входила в прежнее русло.

И снова люди собирались за столом, чтобы побить вместе, рассказать друг другу о своих радостях, о больших и малых событиях, которые происходят в их доме, в ауле и там – на фронте. И во всех этих разговорах, подчас и не совсем радостных, людей поддерживала одна мысль: трудно всем – и на фронте, и в тылу, но наши жигиты бьют врага все яростнее и сильнее, а мы выжили и управляемся с тяжелой работой, которую раньше делали те, кто сейчас воюет, и мы будем жить и дождемся Победы! Дождемся своих мужей, отцов и сыновей!

Но конечно, никакому тою не сравниться с тем радостным праздником, который устраивается в ауле, когда кто-то заезжал домой из госпиталя на побывку или возвращался совсем после тяжелого ранения. Счастливее такой семьи не было во всем ауле. Радовались даже и тогда, когда вернувшийся был без руки или ноги. А если кто и плакал из родных, то тут же вступались аксакалы:

– Э-э, спасибо надо аллаху сказать, что еще живой вернулся! Руку-то он не займы отдал, а ради людей, ради народа своего. Понимать надо!

На этот раз такое счастье постучалось в дом Калимы. Жилось ей все эти годы хуже других, потому что она осталась одна с двумя маленькими детьми, когда ее Ырыскельды ушел на фронт. Но и она не хотела, как говорится, ударить в грязь лицом в этот счастливый день. Она обежала весь аул, радостно приглашая всех на той:

– Мой Ырыскельды вернулся! Да разве я для него чего пожалею! Приходите на той!– взволнованно звала Калима людей.

И она, ни чуточку не жалея, поменяла свою единственную телку на бычка. Теперь угощения на всех хватит!

Стоял июль – самая сенокосная пора. Все, кто мог, были на лугах. Но и до них дошла молва, что к Калиме вернулся муж с фронта и она готовит настоящий пир. Никто в этот день не остался ночевать в поле – все направились в аул. И мы, мальчишки, работающие на покосе, вместе со всеми пораньше управились с делами и с радостью предвкушали предстоящий неожиданный праздник.

Когда я торопливо переступил порог своего дома, бабушка, оказывается, уже знала о моем намерении идти в гости. Она поставила передо мной на стол всю еду, которую ей удалось наскрести в доме: полную деревянную ложку сметаны, простоквашу и хлеб, испеченный из смеси муки и картофеля. Этот хлеб всегда был немного сыроват, потому что муки в нем было меньше, чем картофеля.

– Поешь, поешь!– строго охладила она мое желание тут же побежать в гости.– Ты думаешь, тебе кто-то на тое поднесет баранью голову? Как же! Там столько будет народу, что о тебе никто и не вспомнит. Где уж тебе, ягненку, с другими тягаться! Вон какие сорванцы! А ты как был ягненком, так, видно, им и останешься.

Я послушно опустил за стол и вмиг «подмел» всю еду, приготовленную моей заботливой бабушкой.

Выйдя на улицу, я остановился зачарованный: солнце плавно исчезало за горизонтом, на небе спокойно висела полная луна. Как только скрылось солнце, она заблестела таким ярким светом, что все вокруг было видно как днем. Хороши у нас летние ночи! Даже легкий ветерок, весь день резвящийся среди травы и кустов вдруг утих, будто где-то прилег отдохнуть.

У каждого дома горят очаги, от них медленно расплывается дым, поднимаясь вверх тонкими струйками. Коровы, измученные днем укусами слепней и комаров, разлеглись у самых очагов и дремлют. И только не лежит телятам, они, будто не наиграв-

шись за день, то и дело бодают друг друга, разгребая копытами старые кучки золы вокруг очагов.

Хоть я и сам бываю грубоват, но скажу без утайки, что наши мальчишки очень похожи на этих задиристых, неумных бычков. После тяжелого рабочего дня, когда гудят от усталости руки и ноги, когда кажется – нет уже больше сил, стоит только добраться до дома и что-нибудь поесть, как непонятная сила влечет тебя на улицу, откуда уже доносятся голоса твоих друзей.

Вот и сейчас я, едва расправившись с едой, уже спешу к дому, где собрались гости. Дом Калимы, тихий, безлюдный все эти годы, сегодня гудит, будто улей. Люди то и дело заходят и выходят в освещенный проем двери, у многих засучены рукава – это они помогают хозяйке в праздничных хлопотах. То и дело раздающиеся голоса далеко разносятся в ночной тиши:

– Эй, Кайныш!– слышится совсем рядом,– ты за ситом идешь? Захвати по пути блюдо для мяса. Да побыстрей только!

– Ойбай! Самовар-то прогорел! Эй ты, пострел,– раздается другой голос,– принеси-ка скорее щепок!

У дома, за оградой, скопилась целая свора собак, собравшихся сюда со всего аула: учуяли запах крови забитого еще утром бычка.

И уже у самых дверей, раскрытых настежь, слышится чей-то недовольный голос:

– Да уберите вы ноги с прохода! Не зайти, не выйти, а тут самовар скоро нести!

Я спешил увидеть Ырыскельды не потому, что хотелось посмотреть на человека, который вернулся с фронта. Такое желание у нас было в самом начале, когда стали возвращаться первые фронтовики. Нам хотелось посмотреть, как они изменились, и теперь мы уже знали, что военная форма делает человека стройным, подтянутым. Эти люди совсем не походили на прежних жигитов, которые не следили за своим

внешним видом и ходили как попало, вразвалочку. Теперь это были настоящие солдаты, которым не страшен никакой враг.

И еще очень интересно вот что: все, вернувшиеся с фронта, хорошо говорят по-русски. Некоторые даже забыли кое-какие казахские слова. А с сыном Беркимбая Дуйсенбаем даже приключилась совсем смешная история, над которой долго смеялись в ауле. Первые дни он не мог даже разговаривать на родном языке, а когда однажды в гостях перед ним, как перед почетным гостем, рассыпали на столе баурсаки, он удивленно спросил по-русски: «Что это за шарики?» И отказался их есть. Председатель колхоза посчитал его большим знатоком русского языка и отправил в Омск за запасными частями к комбайнам и другими деталями, а он, забыв их казахские названия, вернулся ни с чем: не мог вспомнить, что ему наказывал председатель.

После этого он еще с месяц походил по аулу, словно глухонемой, а потом вдруг заговорил по-казахски, как прежде.

Вот такая комичная история приключилась с сыном Беркимбая. Помню, долго потешались над ним и взрослые, и детвора. Все остальные фронтовики сразу принимались за свою работу, как говорится, засучив рукава, потому над ними никто и не потешался. Ырыскельды не походил ни на одного из жигитов нашего аула. Еще перед войной его любили все наши мальчишки. Любили за веселый характер, за то, что он был мастер рассказывать всякие удивительные истории. Самые простые, будничные дела, на которые никто не обращал внимания, он умел так интересно преподнести, приукрасить, что мы готовы были слушать его и день и ночь. Взрослые подсмеивались над нами, мол, им головы морочат, а они верят во всю эту брехню. Но мы не обращали внимания на взрослых, нам нравились выдумки Ырыскельды.

И вот я спешил увидеть нашего общего любимца. Переступив порог дома, я очутился в маленькой комнате, где как раз собралась мальчишки. Все устроились на полу, подобрав под себя ноги. Ырыскельды высоко возвышался над собравшимися, хотя и сидел на маленькой детской табуретке. Детвора, прижавшись друг к другу, сидит, раскрыв рты, с восхищением слушает фронтовые истории Ырыскельды. В комнате жарко, но рассказчик сидит в гимнастерке, застегнутой на все пуговицы и время от времени, засунув сверху два больших пальца за ремень, расправляет под ним гимнастерку. Так, наверное, делают только такие бравые солдаты, как наш Ырыскельды.

Я, осторожно ступая между сидящими, подошел к нему, молча протянул руку, тихо поздоровался и присел у самых его ног, рядом с Аплашем. Не успел я еще устроиться, как Аплаш ткнул меня в бок и зашептал в самое ухо: «Скажи агаю: с приездом!»

Но я так сильно смутился, что не мог произнести больше ни одного слова. Тут как раз появился в дверях рыжий Рахат, самый маленький из всех нас, которого и на покос-то не всегда брали, и громко, как взрослый, произнес:

– С благополучным возвращением, агай!– и быстро пробираясь среди сидящих, вмиг очутился рядом с Ырыскельды и протянул ему обе руки.– С работы только вечером вернулся, вот и не смог поздравить вас днем. С благополучным возвращением, пусть в вашем доме всегда будет радость,– затараторил он совсем как маленький старичок, к всеобщему нашему удивлению.

– Спасибо, спасибо,– заулыбался Ырыскельды, с интересом рассматривая этого незнакомого ему человека, которого он конечно, не мог знать, потому что, когда Ырыскельды уходил на войну, Рахат еще под стол пешком ходил, но ему понравилась такая взрослая самостоятельность мальчишки, и он погладил его по

голове, похвалил:– Да ты совсем взрослым стал! Молодчина!– и тут же продолжил свой рассказ, окинув взглядом присутствующих.

– Ну, вот, значит, ночь темная-претемная. На небе ни луны, ни звездочки. В двух шагах ничего не видать. Винтовки держим наизготове, патрон – в патроннике. Это чтобы затвором не шуметь. У каждого на поясе по несколько гранат. У меня за поясом – яркан.

Ырыскельды сделал паузу после этих слов, ожидая вопроса, потом пояснил сам: «Без веревки в разведке нельзя: «языка», то есть пленного фрица, надо доставить в штаб живым. А без веревки он и сбежать может.

Крадемся, как кошки, чтоб ни шороха, ни звука. И вдруг, как вспыхнет! Сразу наступил день...

– О, господи!– испуганно вздохнула старуха за спиной Ырыскельды, которую я и не заметил сразу.

– Ракета ночью, как маленькое солнце! На земле иголку разглядеть можно. И висит эта ракета на маленьком парашюте. Висит и не падает. Долго-долго.

Успел я крикнуть только «ложись!», как тут же застрочил пулемет. Один, потом второй! Так и влипли мы в землю. Тут не только головы не поднять, пошевелиться нельзя! А фрицы так и поливают нас свинцом, так и поливают. Будто дождь идет, то холодный, то горячий: то морозит, то жаром тебя обдаёт. И конца ему нет. Всю траву под нами пулями скосило, а фрицы все строчат да строчат! Гады...

Наконец ракета потухла. Так же неожиданно, как и вспыхнула. И после яркого света наступила такая темнота, будто сидишь в бездонной яме, а на дворе еще ночь! Ничегошеньки не видать! А бежать вперед надо. Я команду: «Вперед!», и мы бросаемся, не видя перед собой ничего. И бежим, пока не загорится ракета. А только вспыхнет, мы опять – в землю носом! А пули опять – вжик, вжик, да так посвистывают противно, со всех сторон окружили, будто слепни бешеные. И у меня каску с головы сбило!

И вот когда потухла, теперь уже и не помню, какая по счету ракета, мы по команде, снова кинулись вперед, к немецким окопам. И не успел я сделать и двух шагов, как чувствую, что лечу куда-то вниз... С минуту, наверное, летел по воздуху, потом стал цепляться за кочки, кусты и... больше ничего не помню... Очнулся – руки и ноги все тело будто не мои. Не пойму: то ли их нет совсем, то ли я уже неживой, а это – душа моя чуть теплится. И чудится мне, что вокруг меня целый табун стригунков пасется. «Вот тебе на! – думаю. – Что же это со мной? На тот свет угодил, что ли?» И тут ракета опять вспыхнула. Смотрю – вокруг меня, и правда, лошади ходят, траву щиплют. Настоящие, живые! Пасутся на дне огромного глубокого оврага, заросшего по крутым склонам колючим кустарником. И совсем рядом со мной, на траве развалился фриц в каске. Смотрит на меня сквозь очки, а глаза у него блестят, как у барса, и посмеиваются: «Ага-а, мол, попался мне прямо в лапы!»

– Ойбай! Ойпырмай! – раздаются испуганные возгласы ребят и той старухи, что сидит за спиной у Ырыскельды.

– Ух и разозлился я тут! – продолжает он, уставившись на рыжего Рахата, – откуда вдруг силы взялись! Как подпрыгну, фриц даже подняться с земли не успел. Вцепился я ему в горло и думаю: «Ну, все – конец тебе, гад!» Но фриц хрипит, а сам из-под меня выворачивается, как щука из рук выскользает. Ракета опять потухла, опять настала ночь и ничего не разглядеть. Барахтались, барахтались мы и не поймешь теперь, где у фрица голова, где ноги. То я на него навалюсь, то он меня всей своей тушей придавит и своими железными когтями ищет мое горло. Сколько мы так боролись, трудно сказать! Мне казалось, что несколько дней прошло и несколько ночей, а мы все возимся. Легко разве душу врагу отдавать? Потом я изловчился, вскочил на ноги, фриц тоже поднялся, и тут я его

схватил по-казахски, приподнял над головой, да как трахнул об землю – он чуть дух не отдал аллаху. Я даже испугался: а вдруг, думаю, убил совсем! А мне «язык» живой нужен. Смотрю: нет, дышит. Связал я ему руки и ноги, достал мешок, который я тоже с собой прихватил, и стал фрица туда заталкивать, а он не влезает. Смерил я его, а он, гад, ровно с три метра оказался! Представляете себе, какой здоровый!

– Ой, собаки, какие огромные бывают!– зацокала языком пораженная старуха.

– Сложил я его втрое, хотел было веревкой перемотать, чтоб легче было в мешок засунуть, как вижу: слева от меня обходит табун еще один фриц. Меня не видит. Подождал я, когда он поближе ко мне подойдет и кинул ему на шею аркан! И... промахнулся! Фриц двинулся на меня, как танк, да еще ручищи свои расставил, будто я собрался проскочить у него между ног. В два прыжка я был с ним рядом и вцепился ему в глотку и так сильно сдавил его острый кадык, что фриц упал на землю и прохрипел: «Ойбай! Задыхаюсь!»

Кайкен в этом месте рассказа вдруг фыркнул от смеха:

– А что, фрицы по-казахски умеют говорить?

Мы все зашикали на него, зашумели, чтобы он не портил рассказ Ырыскельды своими неуместными замечаниями. И рассказ на этом прервался, потому что из большой комнаты выглянула молодуха и сказала Ырыскельды:

– Вас аксакалы к себе зовут.

Жаль! Мы остались все расстроенные.

– А потом было вот что!– начал Кайкен, подражая голосу Ырыскельды и продолжая прерванную историю.

Но мы не стали его слушать, не стали принимать его шутку. Нам не до шуток сейчас было. Это только Кайкен у нас такой – не верит ни в какие истории, а мы вот все любим слушать хорошего рассказчика, пусть он даже что-то и приукрасит. Только один Кайкен называет это «враньем». Тоже мне, умник нашелся!

Кайкен старше нас всех и два года уже после пятого класса, как забросил учебу. И трудится он, как никто из нас. Берется за любую, самую черную, самую трудную работу. И знает во всем толк: и как дерн нарезать, как вскопать огород, как заготовить камыш ручной косой, как месить босыми ногами глину или кизяк, даже колодцы умеет рыть. Одним словом, весь дом на его мужских руках держится. А в доме его не пересчитать малышей – детей его братьев, ушедших на фронт. Вот и старается изо всех сил Кайкен и за отца, и за братьев. Снохи-солдатки души не чают в Кайкене, расхваливают его, называют кормильцем, настоящим жигитом, и стараются за столом подложить ему побольше еды, как настоящему хозяину дома.

И Кайкену нравится такое внимание, и он принимает похвалы, как должное, держится степенно, слов зря не бросает на ветер. И все он делает аккуратно, никогда не уйдет домой, не закончив начатого. За это его особенно ценят старики. Они всегда говорят нам: «Будьте такими, как Кайкен! Этот парень сам работу себе ищет».

От таких слов Кайкен еще больше задирает свой большущий нос.

Ну, уж если до конца говорить всю правду, то как бы Кайкена не хвалили, он оставался самим собой – таким же мальчишкой, как мы. Парни часто звали его в свою компанию, относились к нему, как к равному, но Кайкен знал, как говорится, свой шесток и никогда не покидал нашей мальчишеской ватаги. А когда он был среди нас – шутки и выдумки не кончались.

И вот сейчас, после ухода Ырыскельды, когда мы не знали, что теперь нам делать, Кайкен поднялся с места и уверенно позвал всех за собой:

– Пошли, посмотрим, как там молодежь развлекается!

И мы потянулись за Кайкеном в комнату, где собирались парни и девчата. В это время им уже подавали

блюда с угощениями, кто-то из старших, заметив Кайкена, позвал его к себе. А нам оставалось безропотно наблюдать за происходящим.

Среди юношей было и два ровесника Кайкена, это – Молжа, племянник председателя колхоза и Толеп, сын заведующего фермой. Несмотря на жару, они сидели в застегнутых гимнастерках, перетянутых новенькими офицерскими портупелями. Пилотки у них съехали набекрень. После возвращения старших братьев с фронта эти подростки, облаченные в солдатские подарки, сразу превратились в аульных щеголей и теперь появлялись на всех вечеринках в клубе.

Им обоим не понравилось, что парни еще кому-то, кроме их двоих, уделяют свое внимание. И они высокомерно посматривали на Кайкена, который совершенно не обращал внимания на их колючие взгляды и уверенно пробирался к столу, успевая отпускать шуточки в адрес аульных красавиц. Когда он добрался до места и устроился, то победно посмотрел в нашу сторону и многозначительно подмигнул: мол, подождите, братцы, я вас не оставлю и на вашу долю кое-что перепадет. Мы заулыбались обрадованные. И Кайкен, правда, не забыл нас. Ему доверили резать мясо за этим дастарханом. Он, как заправский жигит, нарезал целое блюдо и теперь справлялся с огромной костью. Он макал ее в миску с круто подсоленной сурпой, отрезал от нее большущий кусок вкусно пахнущей говядины, и важно произносил:

– Это передайте Аплашу, а это – Болтаю!– улыбаясь в нашу сторону и проворно орудуя ножом. Парни и девушки с улыбкой подчинялись его приказаниям и раздавали нам полные пригоршни долгожданной еды. Но когда мясо попадало к мальчишкам, сгрудившимся за спинами сидящих за столом, тут же его расхватывали те, кто был посмелей да попроворней, а застенчивым и нерасторопным, как я, ничего не доставалось. Я смотрел, как мои повеселевшие товарищи выхва-

тывают друг у друга из рук еду, и мне было очень стыдно и за них и за себя перед старшими. И я все больше и больше прятался за их спины, чтобы меня не видели сидящие за столом, весело, беззлобно потешавшиеся над нами.

Но тут вдруг раздался голос Жанатая, который когда-то мальчишкой еще начинал работать под началом моего отца:

– А где сын Идриса? Только же был здесь!

– Здесь он, здесь! – зашумели мальчишки и стали выталкивать меня вперед. Но я весь съежился и даже присел на корточки, чтобы не поддаться им.

Видя мою стеснительность, Жанатай взял с блюда полную горсть вкусно пахнущего мяса и протянул руку в мою сторону:

– Передайте это сыну Идриса!

Но и на этот раз счастье не улыбнулось мне: к угощению потянулось сразу несколько рук, и только один кусочек остался на мою долю.

Когда застолье стало подходить к концу, и за дастарханом опустели чашки и блюда, нас стали выпроваживать.

– А ну, на улицу – играть, – сказал кто-то доброжелательно.

– Какой там играть! – последовал за ним чей-то властный голос, – не играть, а спать им пора. А ну, по домам!

Но не так-то просто оказалось управиться с этой ватагой упрямых мальчишек! Угощения больше не будет, это все знали, но сейчас начнется самое интересное: молодежь будет веселиться. И нам всем очень хотелось посмотреть на эти забавы. Вот и шмыгали мы туда – сюда, из комнаты на улицу, с улицы – в комнату.

Наконец взрослым надоело такое упрямство, и один парень снял со стены камчу и угрожающе двинулся в нашу сторону. В один миг мальчишеская стайка

выпорхнула во двор и с шумом сгрудилась у самых дверей, не думая разлетаться по домам. Но тут в дверях показалась жилистая рука с камчой, и все кинулись врассыпную, стараясь побыстрее уйти от настырного преследователя, который громко кричал и грозил нам. Каждый бежал своей дорогой, не думая о другом, потому что знал: все соберутся у колхозного клуба. Я уже совсем выбился из сил и хотел остановиться, но угодил в канаву возле чьего-то дома. Немного отдышался и поплелся к месту нашего постоянного сбора.

Когда подходил к клубу, в нескольких шагах от меня раздался приглушенный свист – обычный наш сигнал, созывающий мальчишек. И, словно стоворившись, ему стали отвечать из темноты. Вначале мальчишки свистели чуть-чуть, чтобы только откликнуться, а потом на них напало озорство, и весь аул огласился пронзительными голосами и свистом, похожим на разбойничий. Тут же откликнулись разбуженные псы, и поднялся над аулом такой шум, что мне показалось, что сейчас проснутся во всех домах люди, повыскакивают на улицу и тогда нам не сдобровать!

– Ну, хватит!– скомандовал Кайкен,– пора и расходиться.

Мы все притихли и поплелись по домам.

Вот так порой мы развлекались в те далекие годы войны. После большого трудного дня для своих забав мы прихватывали малую толику ночи.

На этот раз мы решили с Аплашем ночевать на чердаке его дома. Лучшего места летом не найти: если пойдет дождь – есть крыша, а так, с двух сторон свободно гуляет свежий ветерок и шелестит еще влажным, только что скошенным сеном, которое мы всегда с Аплашем заготавливаем для ночлега.

Мы осторожно проходим огромный крытый двор, весь утыканный столбами-подпорками, ощупывая руками темное пространство перед собой, чтобы не

врезаться лбом в эти невидимые препятствия, и входим в комнату, едва освещенную семилинейной керосиновой лампой. Она стоит на печи, мигая чуть заметным огоньком, так как фитиль увернут до самого отказа. Закопченное стекло треснуто и залеплено клочком бумаги, которая слегка обгорела и стала коричневой.

На полу спят братья Аплаша, а возле кровати, отгороженной от комнаты синей шторой, сидя спит, склонившись над колыбелью, жена старшего брата, который еще там, на фронте, от которого почему-то давно нет писем.

Проснувшись, сноха прикрыла зыбку одеялом, легла на кровать и тут же уснула, не сказав нам ни слова.

Аплаш вытянул из-под спящих малышей подушки и кинул их мне. Его братья уронили головки прямо на кошму, слегка пошевелились, но так и не проснулись.

Когда мы уже были готовы выскочить с нашей добычей на улицу, из боковой комнаты раздался недовольный голос старухи:

– Это Аплаш! Он опять хочет на улице спать!

– Пусть спит, – прихрипел старик. – Чего тебе?

– Одеяла и так все разлезлись и подушки, а он их туда-сюда, туда-сюда, – услышал я, выскакивая за дверь на улицу.

И до чего же хороши ночи этой летней порой, когда еще не наступил самый жаркий месяц – шильде! Все вокруг не просто спит, а нежится в чутком, коротком сне. И только отдельные голоса запоздалых гостей нарушают этот сказочный покой и тишину.

Лежишь на свежем запашистом сене, вдыхаешь аромат лугов, и чувствуешь себя самым счастливым человеком на свете. И не замечаешь, как подкрадывается сон...

Но уснуть на этот раз не удалось. Пришел Кайкен с ребятами, и они стащили нас с чердака.

– Спать нам все равно не дадут, – сказал он, – на сенокос погонят. Лучше нам сейчас туда отправиться.

А пока наши старики гуляют, пока они разойдутся, пока соснут да приедут в бригаду, мы успеем выспаться.

Предложение Кайкена пришлось нам по душе, и мы тут же были готовы отправиться в путь, но Кайкен остановил всех:

– Чтобы быстрее добраться, надо Байгешолака запрячь!

– Байгешолака?– испугались мы.

Это была нелегкая задача. Еще никому из ребят не удавалось поехать на этом быке, потому что его хозяин Жалмукан, хотя и одноглазый, но такой здоровенный и свирепый жигит, которого и парни-то побаиваются.

А Байгешолак у него всегда во дворе, вместе со всем колхозным скотом он его не держит, потому что никому не доверяет. А забраться в его собственный двор рискованно.

Мы подошли к дому грозного жигита со стороны сарая: когда небо на востоке стало сереть. Но только приблизились к дыре в заборе, как двери его дома распахнулись, и на пороге появилась старуха. Мы замерли, прижавшись к забору. Старуха подошла к сараю, взяла лопату с коротким черенком, положила ее в двухколесную самодельную тележку и направилась к калитке. Эта старуха раньше всех встает в ауле. Даже наши родители ее помнят такой: со своей неразлучной тележкой и короткой лопатой. В здешних краях нет совсем лесов. Вот и приходится топить печи и камышом, и кизяком. А чтобы запастись топливом на всю зиму,– сколько надо этого добра! Вот и приходится все лето трудиться. Заготавливаем местное топливо и мы, мальчишки, но больше всех кизяка накапливается к осени в ограде этой старухи.

Как только старуха со своей тележкой скрылась за углом дома, Кайкен послал Рахата за быком Байгешолаком. Но Рахат, старавшийся пробраться в сарай бесшумно, испугнул все-таки кур. Вряд ли еще отыщется

птица беспокойнее простой домашней курицы. В сарае поднялся такой переполох, такой гам, что вот-вот выскочит хозяин, и мы готовы были уже пуститься наутек, но птичий гвалт вдруг стих, и из сарая показался Рахат. Он вел за веревку Байгешолака.

Кайкен и еще несколько мальчишек проскользнули в ограду и выкатили на улицу телегу. Запрягли Байгешолака подальше от дома, и тут же все бросились в телегу, чтобы устроиться поудобнее.

Байгешолак – самый быстроходный бык нашего колхоза «Новый путь». У него огромные рога, хотя сам небольшой, короткохвостый. Вначале его хозяином был подросток Жаркын, который развозил айран для работающих в поле. И звали его поэтому айранный бык.

Но потом случилась известная всем в ауле история, после которой ему дали новую кличку, навсегда приставшую к нему. Как-то, возвращаясь с покоса еще засветло, то ли собирались к кому-то на той, то ли еще что, теперь уже и не вспомню, на большой дороге, идущей в село, устроили наши старики состязание. В колхозе было несколько быков, быстроногих, знаменитых: и Сломанный рог, и Красная спина и вол Беркимбая, но в тот раз айранный бык, подгоняемый маленьким Жаркыном, оставил всех далеко позади. С полкилометра бежали еще наши хваленые скороходы, когда айранный бык прогремыхал пустыми бочками в телеге по главной улице аула.

С тех пор за короткий хвост и победу в состязании, его и прозвали Байгешолаком. После этого Жалмукан и забрал вола у маленького погонщика для другой работы.

Да, Байгешолак действительно создан для состязаний, а не для какой-то там пустяковой работы. Бег – его стихия! Не успели мы выехать за аул, как он, подстегиваемый Кайкеном, припустился такой прытью, что, казалось, неуклюжая телега с тяжелыми скрипучими колесами вот-вот развалится на части.

Нам стало весело, мы ликовали так, будто неслись по ровной укатанной дороге на нашей колхозной полуторке. Аькен, наш лучший домбрист и мастер подбирать любую мелодию на губах, когда нет под руками инструмента, громко и весело запел. Его подхватили, и далеко вокруг над просыпающейся степью разлилась песня. Заканчивалась одна, начиналась другая. Это были и народные, и сочиненные нашими аульными жигитами, которые сейчас были там, на фронте. Потом перешли на русские. Я лучше других знал русский язык, поэтому первым запел свою любимую – «По военной дороге».

На полпути Байгешолак выбился из сил.

– Эх, закормили его на ферме старухи!– с горечью сказал Кайкен и швырнул теперь уже ненужный никому прут в сторону. К месту покоса мы приехали, когда солнце уже взошло.

Выспаться нам не пришлось, потому что, оказывается, не все уехали вчера на той, оставшиеся здесь старики уже поджидали нас, чтобы начать работу.

Когда Аплаш притворно захныкал и стал упрасивать стариков, чтобы они позволили нам соснуть до приезда остальных косарей, те заупрямились:

– Да в ваши годы мы и не знали, что такое усталость и сон!

Кайкен попытался перехитрить стариков:

– Вы же все у нас герои гражданской! А мы – слабенские, незакаленные...

– Ах, слабенские?– не сдавались те,– ну, тогда вам после работы отдыхать надо, а не по гостям разгуливать! В аул больше не поедете, пока на этом участке все не выкосим.

Ну что нам оставалось после этого делать? Препираться дальше со стариками – значит, попасть в беду. И мы принялись за работу.

Солнце поднималось все выше и припекало сильнее. Я совсем разморился и уже несколько раз засыпал

на сиденье косилки. Мой черный бык сразу это замечал и тут же валился в траву.

Не помню, как я крепко уснул и сколько проспал сидя, разбудила меня тарахтящая рядом сенокосилка и крики старика, который ею управлял. Проснулся я в испуге и, чтоб как-то успокоиться, сорвал свою злость на черном быке.

Но сон одолевал меня все сильнее и сильнее. Я больше не мог сидеть на граблях, совсем раскис. Глаза закрывались сами собой, в голове гудело, словно в пчелином улье. Руки и ноги онемели, стали деревянными.

И тут вдруг подвернулся удобный случай: сенокосилка, ушедшая на противоположный край луга, зачихала и заглохла. А остальные косари работали километрах в двух, к тому же нас отделяли заросли кустарника и осоки.

Я машинально подогнал быка к мосту, привязал его к крайнему столбу, а сам кинулся к речушке и растянулся в душистой высокой траве, прикрыв лицо руками.

Надо мной кружилось серое облако оводов и слепней, которых я так неожиданно потревожил.

В нашем доме всего четыре души: бабушка, моя мать – Карлыгайн, я и сестренка Карлыгаш. Отец ушел на фронт осенью сорок первого и пропал без вести.

Бабушке – за шестьдесят, но это еще крепкая, бодрая женщина. Ходит легко, держится прямо. Иногда мне даже кажется, что это не бабушка вовсе, а старшая сестра моей матери. Просто она носит эту старушечью одежду: старый-престарый бархатный камзол, спадающий до самых пят и три сатиновых платья: коричневое, светло-желтое, черно-синее. На голове – бессменный кимешек, делающий ее еще выше и стройнее.

Вид у нее строгий, взгляд пронзительный, даже устрашающий, когда она вдруг посмотрит в упор своими зеленоватыми, пронизывающими насквозь глазами. У меня не раз от такого взгляда будто мурашки пробежали по спине.

И характер у моей бабушки не лучше ее внешнего вида. О чем бы я ни заводил с ней разговор, о чем бы ни начинал просить, она всегда отказывала мне, обрывала на полуслове.

– Помолчи! Болтаешь всякую ерунду!

И я умолкал, боясь посмотреть ей в лицо. Но в последнее время в меня будто вселился какой-то озорной бесенок. Он так и подмывал меня, так и подталкивал изнутри. И я вдруг осмелел, перестал бояться ее грубых окриков. И даже пошел на одну маленькую хитрость, которая стала меня выручать.

– Бабушка, а бабушка, – вкрадчиво начинал я.

– Помолчи! – обрывала она меня.

– Ну, ладно – помолчу. Думал – тебе интересно будет, а теперь не скажу.

– Не говори, – все так же строго произносит она.

Я молчу, но не убегаю обиженный, как раньше, на улицу. Я знаю: она обязательно спросит, о чем я хотел рассказать. И немного погодя, она спрашивает:

– Ну, что там? Выкладывай!

– Сегодня соседних старух созывают на калжу, а я хотел спросить, почему тебя не позвали. Но раз ты не даешь мне говорить, я не скажу, чей это дом.

– Какую еще калжу?! А ну прочь отсюда, болтун! В нашем ауле никого нет, кто бы родил недавно!

Я понимаю, что попался, и начинаю выкручиваться:

– Да это не калжа вовсе... то ли в колыбель младенца кладут, то ли путы ему «перерезают»... Что-то в честь ребенка. А может, и токым-кагар устраивают: кто-то там из семьи в дальний путь собрался, а может, и бастанга – сверстников угощают по случаю отъезда аксакала.

– Пошел прочь! Несешь всякую чепуху!– окончательно сердится бабушка, но видно: что-то ее все-таки задело из моей болтовни, и она, не обращая на меня внимания, будто меня вовсе нет рядом, начинает говорить сама с собой: «Без ветра и трава не колыхнется. Вспомнила! Жена Майлыбая ведь говорила мне, что ее сын стоять научился! Постой, постой, должно быть, внуку Даметкан сорок дней исполнилось? Хотя нет, она же только вчера жаловалась, что муж колыбель не делает, а в чужой бесик она ребенка класть не хочет. Значит, нет еще сорока дней. И повода нет старух собирать. Ой, да как это я сразу не догадалась? Говорили же – председатель в район собирается. Так это его кокетка бастангу устраивает!.. Но тогда почему же только старух собирать, а?– совсем запуталась в догадках бабушка и строго посмотрела на меня:

– А ну, негодник, говори, чей это дом!

– Дашь сливок – скажу,– не сдавался я.

– Ах ты, дрянной мальчишка! Вымогать взялся! Это ты у кого научился, лодырь несчастный?

– Вот ты тут гадаешь, а там, небось, уже все старухи уселись за столом. Хозяева обязательно зарезали барана, угощают теперь их, а ты...

– Чтоб тебя!– бабушка начинает скручивать полотенце, чтобы отхлестать меня. Едва сдерживая смех, я уворачиваюсь от ее тяжелой руки, мечусь по комнате и выскакиваю на улицу. Взобравшись на сарай, я еще долго слушаю ее проклятия в мой адрес. Когда ругань в доме стихает, бабушка появляется в дверях и, не глядя в мою сторону, твердой походкой уходит из дома.

«Ага,– думаю я,– попались на мою выдумку! Это она пошла по соседкам, чтобы разузнать всю правду».

У моей бабушки есть еще одна черта, которую вы уже, наверное, заметили. Она очень любит всех проклинать. И знает этих проклятий столько, что и дня бы не хватило, если бы их произносить одно за другим.

Молодежь нынче ничего не знает о проклятиях, потому что жизнь сейчас совсем иная. А наши старики столько натерпелись за свой долгий путь, столько всего пережили, что им-то пришлось проклинать за свой век немало. Но до бабушки моей им всем далеко! Если бы вдруг устроили всемирные состязания по тому, кто больше наговорит леденящих душу проклятий, моя бабушка была бы первой.

Говорить она может их без передышки, и ни одного лишнего слова! Ведь многие из нас то и дело произносят какое-то словно прилипшее к языку, слово «значит», «это», «точно» и еще целый ворох, из-за которых и не сразу поймешь главное, что человек хочет сказать. У бабушки речь льется гладко, словно стихи.

Если вдуматься, то это – очень плохие пожелания, которые заключены в эти проклятия. Их разве только самому заклятому врагу пристало говорить. Но я давно понял, что бабушка произносит их, как слова из корана, смысл которых не всегда понятен ей. Ну, разве я могу подумать, вернее – поверить в то, что она не любит своего единственного внука, когда обрушивает на мою голову, хотя бы такие слова: «Змееныш, появившийся из пестрого тела гадюки»?

Я-то знаю, как ей хочется, чтобы я рос счастливым и стал настоящим мужчиной. Бывало, прижмет меня к своей груди и начнет вдруг жалеть:

– Если бы отец твой вернулся – счастье бы осветило твое лицо! Но чувствует мое сердце: называться тебе сироткой несчастной!– И слезы наворачивались у нее на глазах.

В такие редкие минуты и я начинал предаваться всяким мечтам. То представлял, как спасаю на фронте отца, и мы с ним вместе героями возвращаемся в свой родной аул. То виделся мне мальчик-сирота, который ходит по дворам и просит подаяние.

Но тут бабушка, вспомнив о заброшенных домашних делах неожиданно громко нарушала наш покой и набрасывалась на меня:

– У-у, проклятуший! Где теленок? Время скотине вернуться, а его нет? А ну, одна нога здесь – другая там! Он, раздери его шакалы, небось успел уже все молоко у коровы высосать. Я тебе тогда шкуру спущу!

Скажу прямо, я этих бабушкиных угроз ни чуточку не боюсь, но ее все же опасаясь. Не боюсь потому, что сколько бы она ни грозила, еще ни разу не ударила рукой, а полотенцем она машет, чтобы попугать. Накричит и тут же отойдет.

А опасаться ее приходится вот почему. О чем бы я ее ни попросил, еще ни разу не услышал в ответ «хорошо» или – «ладно, возьми». На любую просьбу она ответит так, будто в лоб ударит. Вот я и говорю с ней всегда с опаской.

Побаиваются бабушку и соседи. Никто еще не выдержал ее тяжелого взгляда, и все стараются хоть чем-нибудь да угодить ей. А спорить с ней или, того хуже, браниться еще никто не осмелился ни разу. Бывало снесут наши курицы-гулены в чужом дворе яйца, хозяйка тут бежит отдать их бабушке. Даже дети ссорятся между собой из-за того, кому из них отнести яйца. Каждому хочется услужить бабушке.

Вот такая моя бабушка, на весь аул – единственная!

И в доме она – самая главная.

Вот почему, подъезжая к дому, я больше всегда боялся не маму, а бабушку. Ох, и достанется мне от нее за распухшее лицо!

Проскочить домой незамеченным не удалось, хотя бабушка разговаривала у ворот с молодой соседкой и стояла ко мне спиной.

– Ой, – увидев меня, испугалась соседка. – Что с ним?

– Ойбай! – не своим голосом закричала бабушка, – да ты синюшный весь! Это какой шайтан тебя разделал?

Я рассказал всю правду.

– Что делать с тобой? С глазом не случилось бы чего, – засуетилась озабоченная бабушка, но тут же взялась меня отчитывать. – Вот ты у меня теперь поиграешь! Нечего было вчера в гости таскаться. Лучше бы выпался да на работу нормальным пошел. Ух, ты! – и она так обожгла меня своим взглядом, что я и про боль свою забыл. – Из дома больше – ни шагу! Слышишь?

Я отмалчивался. Она подошла к телеге, взяла клок сена, что-то прошептала над ним и повертела его перед самым моим носом. Отправила спать.

Но наутро опухоль на лице ничуть не уменьшилась. Бабушка прикладывала к ней чайные примочки, долго парила над горячей картошкой. Я безропотно выполнял все ее приказания. А перед самым сном она принесла откуда-то кусок свежей, еще совсем теплой бараньей селезенки, приложила ее на опухоль и привязала чистой тряпкой.

Сознаюсь: первое время я даже радовался, что у меня заболел глаз. Теперь не надо ездить на сенокос и жариться там на солнце. В любую минуту я могу развалиться в прохладной комнате. И буду лежать, ничего не делая, сколько мне захочется. Лежи и мечтай!

К тому же я избавился от стариковских ругательств. Тут и без них выматываешься из сил – вилы в руках не держатся, а они только и знают поучать да отчитывать:

– Не так вилы держишь! Вот так держи! Вот так! – и поднимают чуть ли не целую копну на стог. Разве за ними угонишься?

Но вечером на полевом стане, после чаепития, старики заводят разговор. И кто-нибудь обязательно начнет жалеть нас мальчишек:

– Что ты с мальцом поделаешь? Кричи на него, не кричи – силенки у него все равно не прибавится. Смотришь на него, бедного, как он под тяжестью весь прогнулся, душа слезами обливается...

– А не подстегивать их, не кричать,– вступает в разговор другой,– они раскиснут совсем, а тогда какие из них работники? Да, такое несчастье свалилось на их головы.

– Дети совсем, им бы бегать сейчас, играть, а они за взрослых должны работать. Охо-хо,– замолкает старик и после большой паузы продолжает:– Все бы эти напасти – да самому Гитлеру проклятому! Отольются ему еще людские слезы,– грозит в наступившие сумерки аксакал.

А утром они снова поднимают нас на работу чуть свет. Что делать? Война!

Но мой отдых длился недолго. Мне было стыдно целые дни проводить среди аульных малышей, надоело возиться с ними. Я стал скучать по сенокосу. Опухоль вокруг глаза опала и теперь не было повода отсиживаться дома. Да к тому Шалтек уже дважды приходил к нам – звал на работу. Но оба раза бабушка напускалась на него:

– Ты что? Какая же ему сейчас работа, если у него болезнь какая-то непонятная! Я сама знаю, когда ему на работу идти!

– Хорошо, хорошо,– оправдывался он,– я скажу бригадиру. Мы подождем, когда он поправится.

На сенокос я так и не попал в то лето, хотя совсем было собрался к своим ребятам, но со мной приключилась история.

В тот день я окончательно снял повязку, дома делать было нечего и, чтобы как-то развлечься, решил в последний раз поиграть с привязавшимися ко мне за время болезни ребятишками. Стали играть в прятки, но веселья не получилось, я только намучился с этими коротышками, которые и считать не могли. Просто смех разбирает, когда стоит кто-нибудь из них, отвернувшись к забору, и выкрикивает:

– Лас, два, десять, двадцать, пять...

А другой что-то шепчет себе под нос, а потом вдруг выкрикивает: «Сорок!» Будто бы и вправду досчитал до сорока, после чего галившему надо идти искать.

Некоторые совсем не вели счет, а подождая какое-то время, спрашивали спрятавшихся:

– Все?

– Нет!– отвечали ему с разных сторон,– еще чуточку!

Да и укрывшихся за сараями, домами, телегами, пустыми бочками совсем нетрудно было найти. У них просто не хватало терпения сидеть в одиночестве, и они то и дело высовывались из-за своих укрытий.

Мне все это порядком надоело, но и домой идти не хотелось и я, когда как раз галил самый нерасторопный из всех Майдан, забрался на стог сена, который на днях поставили рядом с сараем, разрыл еще свежую траву, улегся поудобнее на спину и стал смотреть в небо.

Что может быть лучше запаха свежего клевера, смешанного с запахами полевых цветов, ягод и горькой полыни! Я даже забыл об игре, о своих маленьких друзьях. А они, не найдя меня, столпились около дома и все разом стали звать:

– Болтай! Болтай! Выходи!

Я даже не пошевелился. Они было стихли, но потом снова начали кричать и разыскивать меня, теперь уже все вместе.

В один момент мне даже показалось, что кто-то из них забрался на стог, шелестит сеном совсем рядом. Я хотел было подняться, но шорох удалился и все опять стихло.

И вдруг, неизвестно каким образом, Майдан очутился надо мной, хотя я не слышал никаких звуков, а может быть, я просто так размышлялся, что не слышал ничего. Майдан обрадованно заорал, что было духу: «Нашел! Нашел!» И тут же перепрыгнул со стога на крышу сарая, чтобы оттуда спуститься на землю. Я вскочил на ноги, осмотрелся и сообразил, что успею обогнать Майдана, если спрыгну со стога. Прыгать с такой высоты мне приходилось не раз, да к тому же прямо подо мной, на земле, было разбросано сено. Наверное, его стащили мальчишки, когда искали меня

и пытались взобраться на стог. И я прыгнул на это разбросанное сено. Вот я уже прикоснулся к нему и даже успел подумать, что приземлился удачно, как под пяткой что-то хрустнуло и неожиданная боль пронзила все тело. Я потерял сознание. Сколько я так пролежал не знаю. Помню, что услышал какие-то звуки далеко-далеко. И плач. Открыл глаза и испугался: я видел вокруг себя мальчишек сквозь темную пелену. В голове мелькнула мысль: теперь оба глаза повредил! Но понял, что опустились сумерки. Значит, я так долго лежал без сознания!

Надо мной склонилась бабушка, рядом стоят соседки. Сильно болит левая пятка, ступни горят, будто я лежу у костра. В нос лезет едкий запах. И только тут я понял, что бабушка прикладывает к ногам паленую кошму. Ребята, увидев, что я зашевелился и открыл глаза, обрадовались.

– Болтай жив! Болтай жив!

– Бог сохранил, – уточнила соседка.

– Несчастный ты мой, и как это тебя беда находит? Инвалидом мог стать, – сокрушалась бабушка.

– Скажите спасибо, что живот не распорол или глаз не выколол, – утешала ее другая соседка.

И тут я заметил рядом с собой большие грабли с острыми деревянными зубьями и понял, что угодил на них. Подошвы горят, внутри что-то пульсирует и колет с такой болью, что отдается в сердце. Наверное, кость задело. Не помогает и паленая кошма, сколько бы ни прикладывала ее бабушка, черная густая кровь медленно стекает на землю.

Вот так и продлился мой «отдых». Только на этот раз в душе не было тихой радости. Теперь мне было стыдно перед моими друзьями, которые изнывают от жары и валяются от усталости на сенокосе. Чувство было такое, будто я специально повредил ноги, чтобы не работать вместе с ними.

Как-то вечером, когда нога начала подживать, я вышел на улицу и стал возиться с малышами на небольшой зеленой лужайке. И тут из-за дома неожиданно появился Рахат с Болташем и застали меня за этим занятием. Лицо мое вспыхнуло, растерявшись, я начал оправдываться перед друзьями:

– Рана, стала заживать, скоро на работу выйду, – и начал стягивать сапог, чтобы показать ногу.

– Не надо, не снимай, – остановил меня Болташ. – Заживет, и ты опять поранишься.

Рассмеявшись, они пошли своей дорогой.

Что я мог ответить им? Стыдно мне и обидно. Как я поеду на сенокос? Еле хожу. Тоже мне друзья! Увидели, что вожусь с малышами, а не знают, что в первый раз я доплелся сюда, на лужайку. И зачем сказал, что нога заживает, сам не могу понять.

После этого случая я старался не попадаться никому на глаза. Дома и в ограде помогал бабушке, а когда нога почти зажила, сенокос уже закончился, и я пошел пасти овец.

Я не помню, чтобы моя мама, Карлыгайн, громко разговаривала. А когда отец ушел на фронт, она стала совсем молчаливой. За целый день, бывало, не услышишь от нее ни слова. Да и дома она стала бывать редко: пасла в степи отару.

В наших краях женщины-чабаны – редкость. Мужская это работа, но кому ее было выполнять в войну? Женщинам да старикам.

Карлыгайн, видно, испугалась моих проказ, упростила бабушку и увезла меня с собой в степь, где паслись колхозные овцы.

– Год отдохнешь от школы, окрепнешь на воздухе, а там видно будет, – объяснила она свое решение.

Я и сам понимал, что в пятом классе учиться мне не придется. В ауле только четырехклассная школа, надо

ехать в райцентр и там жить у кого-то на квартире. Родни там у нас никакой нет. А тут еще все чаще стал побаливать глаз. Значит, выход один – пропустить год.

Меня нисколько не волновало, буду я учиться или нет. Зато очень радовала моя новая работа. Я гордился: теперь я чабан! Ну пусть не настоящий, а только помощник, но мне казалось – это самая важная работа. Я весь сиял от радости, задира л нос перед товарищами и рассказывал им, как сам председатель колхоза уговаривал меня:

– Война идет. Сам знаешь – нет мужчин в ауле. Помог бы нам. Мы хотим поручить тебе очень ответственное дело.

Друзья сразу поверили, потому что придуманный мной разговор очень походил на председательские речи, которые он очень любил произносить перед колхозниками.

Так я стал чабаном. Пасти овец – дело нелегкое. Раньше, глядя со стороны, даже мы, аульные ребята, думали, что это легкое занятие. Выгнал овец в поле и распевай себе песни, сидя на коне.

Не тут-то было! Оказалось, что и травы надо все знать и как скармливать их, сколько пасти на одном участке, на какой участок затем перегонять овец, как поить животных.

Все чабанские секреты Карлыгайн знала, как свои пять пальцев. Вот и стала она меня учить. К концу осени я кое-что уже умел, кое в чем разбирался и чувствовал себя заправским чабаном.

Обо всем, конечно, рассказывать не стоит, а вот о последнем дне, после которого я уже никогда не пас овец, хочется поведать. Он на всю жизнь врезался мне в память.

Осень в тот год была необычная. Жара стояла как летом. На небе весь день ни единого облачка, я уже даже забыл, как они выглядят. Горячий суховец обдаёт таким жаром, словно стоишь у раскрытой печи, в

которой бушует пламя. Не уйти никуда и не скрыться – везде достанет тебя суховей. Босиком не выйти на улицу – не земля под ногами, а раскаленная зола. В ауле стали поговаривать, что такое солнце и беду накликает может. То и дело предупреждали друг друга, чтобы быть осторожней с огнем. «Пожар, – говорила бабушка, – на пороге стоит – в аул просится».

В один из таких дней к нам на отгон, где мы жили с Карлыгайн в маленьком земляном домишке, из аула приехало человек десять стариков и женщин. И они остригли всех наших овец. Жалко было смотреть на бедных животных: им и так-то несладко приходилось в эту жару, а тут их еще лишили теплых шуб, которые надежно защищают овец и зимой и летом. И они, совсем беспомощные, ничем не защищенные, жалобно блеяли в загоне, палимые солнцем, обжигаемые горячим ветром.

Теперь нам с Карлыгайн предстояло перегнать всю отару на базу в Ачисай, куда собирали овец из всех колхозов округи.

Добраться туда надо было не позднее завтрашнего дня, потому что это был последний срок. Там уже собирались специальные люди – гуртоправы из каждого колхоза, они и погонят все отары на мясокомбинат в Петропавловск.

А сегодня засветло надо успеть в Ачисай. Не зря же так громко ругал наш председатель Садык людей, которые, на его взгляд, очень медленно стригли овец. Уезжая, он пригрозил камчой нам с Карлыгайн:

– Если до утра вас на базе не будет – сами до Петропавловска овец погоните! Ждать вас в Ачисае никто до обеда не станет!»

И мы спешили с Карлыгайн засветло подогнуть отару к реке, потому что в сумерках переходить даже такую речку, как наша, рискованно: можно растерять овец. Отобьется чуть в сторону от брода какая-нибудь из них, и не увидишь, как течением ее унесет. Но

переправились благополучно. На том берегу пересчитали все овцы налицо, и мы погнали их как можно быстрее.

Не успели отойти и несколько километров от реки, как погода испортилась. Небо заволокло облаками, ветер стих. Из-за горизонта медленно выползла огромная туча. Степь насторожилась, заволновались тростниковые заросли, зашелестела, съежилась от набежавшего холодного ветра пересохшая трава. Умолкли звуки – все живое спряталось, притаилось.

Карлыгайн усадила меня на нашу единственную лошадь и как-то растерянно спросила:

– Сынок, видишь, как погода испортилась, может, ты вернешься на ферму? Верхом успеешь от дождя, а?

Я наотрез отказался. Чего мне было бояться дождя? И мы двинулись дальше.

А черная туча росла и росла, закрывая все небо. Быстро стемнело, стал накрапывать дождь, а потом вдруг хлынул, как из ведра, застучал крупными каплями по иссохшей, пыльной земле и вдруг обрушился на нас градом. В один миг мы с Карлыгайн промокли до нитки! Перешитая солдатская гимнастерка, латаные-перелатанные штаны с провисшими коленками, стоптанные брезентовые сапоги – все это висело на мне, как на пугале, и уж никак не могло спасти от дождя. Не лучше была одежда и у Карлыгайн: старое выцветшее платье, поношенный отцовский чапан и какое-то подобие ботинок на ногах.

Карлыгайн остановила лошадь, сказала, чтоб я слез с нее, а сама достала бабушкино старенькое пальто, которое было приторочено к седлу, и заставила меня надеть его. Я отказывался, говорил, чтобы она сама надела, но Карлыгайн не послушалась, натянула его на меня. Я стал согреваться. А она сняла с головы промокший насквозь платок и, не выжимая его, принялась часто-часто вытирать лицо, потому что дождь заливал глаза.

У овец положение было еще хуже. Лишившись своих теплых «шуб» они и так-то дрожали и ежились под дождем, а тут еще этот холодный ветер! Да и дождь не утихал ни на минуту, дорога, скрытая теперь под водой, напомнила широкий извилистый арык. Мы еле брели по этой непролазной слякоти, увязая в ней то и дело.

Когда стало темнеть, мы вышли к зарослям тростника, среди которого попадались редкие чахлые деревца, и решили загнать отару сюда, чтоб хоть как-то защитить бедных животных от ветра. Овцы сбились в кучу и замерли. Они уже не блеяли и не жевали свою жвачку, а сбились в кучу и замерли, словно камни. Мы с Карлыгайн натаскали под крайнее дерево наломанного тростника, уложили его в большую кучу и сели, прижавшись друг к другу. Пальто бабушкино промокло, стало тяжелым, жестким и уже не согревало как вначале. Карлыгайн как могла прикрывала меня от дождя, хотя сама дрожала всем телом. Она сокрушалась:

– И зачем я взяла тебя с собой? Почему не уехал, когда я просила тебя? Бедный мой, бедный...

Увязавшийся за нами пес Актас, как только случилась непогода и стал накрапывать дождь, несколько раз подбегал то к Карлыгайн, то ко мне и с лаем кидался в сторону дома, словно звал вернуться к теплу, под надежную крышу. И сейчас, видно, обидевшись на нас за то, что мы его не послушали, забрался куда-то в заросли и не подавал голоса.

Мы сидели молча, думая каждый о своем. Я уже строил планы, как буду завтра рассказывать своим товарищам о наших ночных приключениях. Конечно, надо обязательно что-то прибавить. Ну, хотя бы, как я «спасал» овец на переправе, когда двух, самых слабых, снесло течением и закрутило в воронке... А может, что-то еще... Но вот что, я никак пока придумать не мог.

И мне захотелось узнать, о чем думает Карлыгайн. Она, словно угадав мои мысли, тихо заговорила:

– Ничего, родной! Что нам эта дождевая вода может сделать? Это еще не беда, а вот там, на фронте, нашему Идрису каково? Свинцовый дождь пострашнее нашего. А люди и там выживают, не боятся. Надо и нам держаться...

Если говорить честно, то я почему-то все это время, пока мы гнали свою отару, не вспомнил об отце. А теперь, после слов Карлыгайн, стал представлять его идущим навстречу свинцовому ливню. И перед глазами вставали картины, о которых так здорово рассказывал Ырыскельды в тот вечер, когда был той. Вот красные бойцы смело идут во весь рост на окопы врага, впереди всех – мой отец. Пули светятся, словно сорвавшиеся с неба звезды, и ливнем несутся им навстречу. И не могут сразить смельчаков!

Эх, если бы я был сейчас с ними рядом! Оторвало бы мне ногу, и вернулся бы домой на костылях. Бабушка и Карлыгайн такой бы пир закатили! Почище, чем в доме Ырыскельды. Для всех мальчишек аула я отдельный бы устроил той. Вся грудь моя была бы в золотых медалях, которые звенели бы при малейшем моем движении. А я бы сидел в самом центре гостей и рассказывал им фронтовые истории. А потом я собрал бы всех малышей аула и...

Громкий тревожный лай Актаса, выскочившего из своего укрытия, прервал мои мысли.

– Волка почуял, – сказала Карлыгайн каким-то незнакомым голосом и с трудом поднялась на ноги. У меня внутри что-то екнуло и будто оборвалось.

Актас заливался лаем, кидался в темноту, возвращался к нам, будто просил поддержки, опять уносился куда-то вперед и, возвращаясь с визгом, прятался за наши спины. Карлыгайн, схватив курук – свою длинную чабанскую палку – обежала вокруг отары. Я ухватился за ее подол и не отставал ни на шаг. Актас, увидел нашу смелость, пульей полетел во тьму. Долго лаял, заглу-

шаемый шумом дождя, потом вернулся к нам, скулил и скреб раскисшую землю, разбрасывая комки грязи.

И тут, совсем рядом, раздался протяжный, раздирающий душу вой. К нему присоединился второй, третий. Потом послышалось несколько голосов, что мне показалось, что целая сотня волков окружила нас плотным кольцом. Я хотел крикнуть Актаса, но не услышал своего голоса и подумал, что так, может, и лучше: зачем дразнить волков.

Раньше я слышал, что волчьи глаза ночью светятся огнем. Я напрягал все свое зрение, чтобы разглядеть сквозь дождь и темень эти огоньки, наводившие на всех страх. И вдруг что-то огненно-зеленое блеснуло прямо перед нами, совсем рядом с отарой. Актас опять залился лаем, но кинуться в ту сторону не решался. Зеленые огоньки, величиной с пуговицу, начали вспыхивать то здесь, то там. И только не двигались одни, уставившись на нас. «Разглядывает!» – мелькнуло в голове и вдруг перед глазами моими поплыли большие разноцветные круги, яркие, как сама радуга!

Не помня себе, я заорал во все горло:

– Айт! Айт! – и начал прыгать, хлопать в ладоши, бить себя по мокрой одежде и издавать такие пронзительные звуки, которых я никогда и не слышал прежде.

Оказывается, крик помогает самому человеку, попавшему в беду. Я осмелел, а может, и обезумел от испуга, но теперь мне было все равно, и я стал бегать с этими раздирающими душу воплями то с одной стороны, то с другой. И не сразу заметил, что Карлыгайн тоже кричит и хлопает палкой по сырой земле, по тростнику и стволам деревьев где-то с противоположной стороны отары, Актас угрожающе лает – с третьей. Теперь я еще быстрее перебежал с места на место и кричал на разные голоса, потому что голос срывался: то был тонким, пискливым, то грубым. Прислушавшись, я не узнал себя. Кричал будто не один человек, а несколько.

И мы подняли такой шум на всю степь, что могло показаться: весь аул прибежал к нам на помощь.

В такой беготне нас и застало утро. Небо просветлело, дождь стих. Никаких волков вокруг не было. И только Актас, охрипший за ночь и растянувшийся теперь на куче подсыхающего тростника, изредка скидывал голову и издавал слабое рычание.

Овцы, сбившиеся в кучу, не подавали признаков жизни. Никакие наши окрики не могли сдвинуть их с места. Карлыгайн подошла к старой овце, лежащей на сырой земле, и испугалась: усталые, больные глаза животного смотрели на нас остекленело. Мы кое-как подняли овцу на ноги, но она тут же опустилась на передние колени и беспомощно распласталась на земле. Таких овец, которых невозможно было поднять на ноги, оказалось много. Вот почему нам и не удалось стронуть отару с места.

– Что делать будем?– чуть не плакала Карлыгайн.– Поезжай в аул, расскажи председателю, какая случилась с нами беда.– Ее высохшие, потрескавшиеся губы еле шевелились.– Пусть людей пришлет да быков запряжет в телегу, чтобы перевести обессиленных овец.

Я никак не мог взобраться на коня: мешала мокрая, тяжелая одежда. Карлыгайн подталкивала меня подмышки, но силы ее иссякли, и я беспомощно падал на землю. Лошадь, понуро опустив голову, словно не замечала нас. Наконец я кое-как вполз на седло, долго барахтался в своем мокром одеянии, пока уселся как следует. Я посмотрел на Карлыгайн и чуть не заплакал, так невыносимо жалко стало ее. И почему я только не отдал ей тогда, перед дождем, бабушкино пальто! Не брала, не хотела. И все равно надо было бросить его ей, а не напяливать на себя. Никогда не прошу себе этого! До конца своих дней буду казнить себя за это!..

Лошадь уносила меня все дальше и дальше от этого черного места, я подгонял ее изо всех сил. Слезы заливали мое лицо.

Когда подъехал к аулу, не сразу узнал его: все улицы залиты водой, соломенные крыши сараев провалились, изгороди у домов повалены, нигде не видно ни души. В ограде нашего дома – целое море, которое не обойти. Вот бабушка и таскает сюда из комнаты ведрами мутную дождевую воду, которая залила весь пол. Увидев меня, она задержалась на пороге и спросила:

– Где Карлыгайн?– и принялась проклинать бога, который наделал вот такой беды.

В комнате не было сухого места. Промокшая постель завернута в кошму и уложена на табуретки среди помещения, в печи дымил и никак не хотел разгораться намокший кизяк. Я поискал глазами сестренку, но ее нигде не было.

– Карлыгаш, ты где?– громко позвал я.

– Здесь!– непонятно откуда донесся ее голосок и слышался беззаботный смех.

Я еще раз огляделся вокруг, но никого в комнате не было.

– Да здесь я, здесь!– раздался из большого деревянного ящика, стоящего в углу на широкой скамье, ее весело звенящий голосок. Она приподняла крышку и озорно уставилась на меня.– Это бабушка устроила мне здесь местечко!– похвалилась она,– тут и подушка, и одеяло. Тепло, тепло! И дождик с потолка не капает, вот!

В ауле, как сказала бабушка, остались только старики да малые дети, все с утра отправились на фермы и в поле, чтобы подремонтировать развалившиеся базы, собрать и просушить сено, которое не успели перевезти с лугов к зимовкам скота. Я обсушился и тут же поехал разыскивать председателя Садыка.

На другой день люди привезли домой Карлыгайн. С телеги ее сняли и принесли в дом на руках. Она не шевелилась и не открывала своих черных красивых глаз. Я слышал, как приехавшие рассказывали, что

нашли ее у отары уже без памяти. Десяток овец погибло и только двоих успели прирезать.

Только к ночи Карлыгайн пришла в себя, но она еле шевелила губами и ничего нельзя было понять, что она говорит.

– Бредит, бедная, – сказала бабушка, – как бы жар не запек ей кровь...

В начале войны в ауле был свой врач – молодая девушка, но она куда-то неожиданно исчезла. Говорили, что уехала в райцентр, а оттуда попросилась на фронт. И вот с тех пор всех тяжелобольных приходилось возить в райцентр.

Утром у нашего дома остановилась телега, запряженная парой лошадей. Появившийся на пороге Ырыскельды сказал бабушке, что едет в райцентр и возьмет с собой Карлыгайн, чтоб показать врачам. Бабушка одела ее потеплей и, постелив на телегу большую кошму, укутала больную со всех сторон. Ырыскельды, не сказав больше ни слова, вскочил на сиденье и быстро погнал лошадей.

– Байбише, куда это вы отправили свою Карлыгайн? – остановился проходивший мимо аульный мулла Шамшуали.

– В райцентр, к доктору, – неохотно ответила бабушка.

Кривой глаз муллы зло сощурился, и старик ехидно сказал:

– Если божья кара постигнет вас, я тогда скажу – мало! Да как же можно, чтобы такой пожилой человек, как вы, позволили отдать ее в руки неверных!

– Да как язык поворачивается у вас так говорить о больном человеке? – замахала на него руками бабушка и тут же скрылась за дверь.

Я слушал этот разговор и не мог, конечно, даже предположить, что очень скоро мы с бабушкой попадем в зависимость от этого злого косоглазого старика, которого в ауле все называли муллой.

У меня все чаще стали болеть глаза и не только тот, который мне покусали слепни на сенокосе, но и второй – здоровый. Чего только не делала со мной бабушка, чем только не лечила. Вроде бы и лучше станет, но не надолго. И бабушка устала, потеряла всякую надежду, хотя у нее и легкая рука, как говорили о ней в ауле.

В детстве я часто болел. Помню, как загорится лицо, тело начнет разламывать. Бабушка посмотрит на мое бледное лицо, приложит ладонь ко лбу и без всякого градусника скажет:

– Э-э, да ты весь горишь. Чтоб провалились твои дурацкие игры!

Она укладывала меня в постель, и мы оба ждали с нетерпением наступления темноты. А как только начинало садиться солнце, я сбрасывал с себя одежду и подставлял бабушке спину.

– Бисмилла, – говорит бабушка, набирает в рот холодной воды и с шумом брызгает на меня.

Я вздрагиваю, хотя и жду этой процедуры, корчусь, выгибаю спину, как рыба, выброшенная на сушу. Только бабушка не обращает на это никакого внимания и не прекращает своего занятия, пока я весь не становлюсь мокрым. Она вся занята самим процессом «лечения»: она трижды пронесет кесешку над моей головой и всякий раз приговаривает: «Сбереги от бед, сбереги от бед!» Ставит ее передо мной на стол и заставляет повторить за ней трижды «тьфу, тьфу, тьфу!»

И тут я вспоминаю, что Карлыгайн, когда укладывала первый раз после рождения мою сестренку в колыбель, точно так же водила над ней зажженной спичкой. Значит, это она у бабушки научилась.

И вот, повторив за бабушкой ее магическое «тьфу», дрожа весь от холода, кидаюсь в приготовленную для меня постель. Бабушка укрывает меня одеялами, всякой одеждой, которая оказывается у нее под

руками. Я лежу, укрытый с головой, под этим тяжеленным ворохом тряпья и, задыхаясь, сжимаю кулаки, чтобы сдержать дрожь всего тела. Потом начинаю покрываться с ног до головы мелким потом. Дышать трудно, и я потихоньку приподнимаю край одеяла у самого носа, но так, чтобы не заметила бабушка. Если она увидит, то тут же обрушится на меня:

– Терпи, сорванец! Простужаться не будешь! Не умрешь, не задохнешься!– и укутает еще старательнее.

Теплю. Горький пот покрывает всю голову, заливает глаза, и я умоляю бабушку:

– Не могу больше! Пот ручьями льет!

– Молчи! Пусть льет. Это у тебя простуда выходит.

И действительно, на другой день встаю совершенно здоровым, бодрым. Аппетит такой, будто с улицы прибежал только. Правда, глаза ввалились да осунулось лицо. Но это, я знаю, через день другой пройдет.

Сколько помню себя, бабушка всегда поднимала меня на ноги. Она была моим единственным врачом. И я верил, что ей удастся вылечить и мои глаза. Но на этот раз она оказалась бессильной. И вот тогда в нашем доме и появился тот самый косоглазый старик Шамшуали, который ругал бабушку, когда Карлыгайн увозили в больницу.

До войны, когда все мужчины аула были дома, этого невзрачного старикашку никто и не замечал. А вот за эти годы он стал авторитетным человеком на селе. Теперь его звали муллой, хотя раньше этого слова никто и не произносил, и он ходил по домам. Родился ли ребенок, умер ли старик – Шамшуали тут как тут. Шептал какие-то молитвы, распорядился в чужом доме, как в своем, за столом сидел на самом почетном месте и не стеснялся уносить с собой последний кусок из этого дома.

А тут еще произошел случай, после которого авторитет этого старикашки стал еще больше. У нашего председателя Садыка умерла жена, и не прошло и трех

месяцев, как он женился на молодой солдатке Канизе, которая получила похоронку на мужа.

Каниза была средней дочерью Шамшуали. Теперь в ауле муллу за глаза звали «тесть председателя».

Тесть председателя появился на пороге нашего дома важным, потому что бабушка долго уговаривала его посмотреть меня, и сразу принялся стыдить бабушку:

– Ты и внука собралась отправлять в больницу? Мало тебе, что дочь твою загубили! На глазах чахнет, говорят, на старуху похожа.

Бабушка, не обращая на его упреки внимания, принялась рассказывать, как у меня на сенокосе заболел глаз, как она лечила его, а вот теперь – оба красные, слезятся и болят все сильнее. Когда бабушка говорила, мулла даже не смотрел на нее. Он, закрыв глаза, беззвучно шевелил губами. Я догадался: это он читает молитву из корана. Потом открыл глаза и подозвал меня к себе.

– Бисмила, – сказал он, больно вывернул мне веко и стал вытирать руки о свой выцветший старый пиджак: Байбише, – повернулся он в сторону бабушки, – вашему внуку с месяц придется лечиться у меня, – и почему-то перешел на шепот, – шайтан пристал к его глазу. Этот шайтан носился в обличье ветра по лугам и слава аллаху, что он только краешком задел спящего внука, а то его сейчас на этом свете не было бы!

От этих слов у меня душа упала в пятки, а бабушка чуть не плакала:

– Я и сама думала: случилось с мальчиком что-то неладное. Вот и вы говорите. Спасите его, избавьте его от этой беды, он же у меня единственный хранитель очага нашего дома теперь. От сына моего Идриса давно уже нет вестей, да и сноха совсем плохая стала...

– Если аллах благословит – изгоню я из него беду, но... – мулла уставился кривым глазом на бабушку, – только никому ни слова! Узнает кто, пусть даже из ближних, –

шайтан руку мою отведет. Тогда на себя пеняй, себя вини, что внук порченным останется. Поняла?

Бабушка согласно закивала.

Первое время мулла Шамшуали приходил к нам через день, а потом зачастую и совсем перестал ходить к себе домой. Бабушке совсем не нравился такой гость, а я лишился своего ежедневного пайка – маленького кусочка масла, которым бабушка кормила только нас с сестренкой. Теперь его съедал вечером этот противный старик, который заставил бабушку ежедневно совершать намаз. Опустится она на свою подстилку, вроде маленького коврика, специально предназначенного для молитвы, и что-то шепчет себе под нос. Совсем не похоже на то, как из корана читают. Я стал догадываться, что она молитвы не знает и как-то нарочно сказал, что верующие молятся громко, так что все слова разобрать можно. Бабушка недовольно ответила, что женщинам нельзя в голос читать. Может, и правда, подумал я.

А когда однажды во время своего намаза, который больше походил на отдых, она посмотрела в окно и громко закричала: «Это чья скотина там ходит? А ну, Болтай, гони ее прочь!» – я не выдержал и расхохотался: «Бабушка, ты так весь намаз испортишь!» Она, нисколько не смутившись, приказала мне:

– Прочь отсюда, сорванец! Я просто сижу, потому что устала.

После этого я и сказал мулле:

– А бабушка и слов для намаза не знает!

– Знает-не знает, – заступился за нее тот, – это не главное? Главное оказывать богу внимание! – И он рассказал, как в старину совершали молитву очень почтенные, богатые люди, имена которых сохранила история. Один из них, опускаясь на колени, произносил: «Голова белого барана, голова черного барана, я раб божий...» «Шапка моя, палка моя. Аминь!» – вместо слов из корана произносил другой.

Бабушка, слышавшая наш разговор, стала чаще молиться, но произносила слова так быстро, что ничего нельзя было разобрать.

Последнее время Шамшуали стал каким-то беспокойным и по вечерам, не отрываясь, читал коран. Это его нервное состояние стало передаваться и нам с бабушкой, мы как будто ждали какой-то беды, словно она обязательно должна вот-вот постучаться в наш дом!

И вот когда в один из вечеров мулла неожиданно громко произнес свое «Апырай!», мы с бабушкой насторожились, и она с испугом в голосе произнесла:

– Что такое?

Мулла долго молчал с озабоченным видом, потом начал:

– Вчера среди ночи вышел я на улицу, снег метет, кругом белым-бело, хоть и луны не видно, а посреди двора сидит черная кошка и меня глазищами своими буравит. Пошел я на нее с молитвой, а она – ни с места. Жутко стало мне, я давай быстрее читать.

– Ну?– не утерпела бабушка.

– Победила ее молитва, не выдержала она и кинулась на крышу соседнего дома, уселась там на трубу и снова на меня уставилась...

– Что же это такое?– волновалась бабушка.

– Это он приходил – хозяин болезни! Меня приходил изучать! Кто, мол, из нас сильнее.

– Да поможет вам аллах!

Шамшуали насупил брови и опять долго молчал, словно разгадывал загадку, как ему победить нечистую силу. Потом резко поднял голову и произнес:

– Если и уйдет злой дух из вашего внука любимого, то только вместе с костями черного барана. Не страшат вас расходы?

– Да если бог смилостивится, я последнее из дома отдам.

– Тогда найдите черного-пречерного барана.

– Искать нечего!– решила на все бабушка.– У нас у самих такой есть. Режьте и изгоняйте!

В нашем доме была одна коза и три барана. В тот же вечер мулла забил его, бросил две кости в огонь под казаном и напомнил, что пепел надо выбросить ночью в такое место, где никто не ходит, завернул все мясо в шкуру и унес с собой. Ни больной, ни его родные, оказывается, не должны даже притрагиваться к этому мясу!

На другой день Шамшуали уехал в соседний аул читать Коран над какой-то умершей старухой. Глаза мои вроде бы стали заживать, а потом разболелись с такой силой, что я не мог смотреть свет и целыми днями лежал на кровати, уткнувшись в подушку лицом. По аулу поползли слухи: «У сына Идриса нечистая сила глаза испортила».

Шамшуали, опять появившийся в нашем доме, продолжал свое «лечение». Однажды к нам зашел Ырыскельды, и мулла, обычно такой важный, сразу сгорбился, сник. Улучив момент, украдкой подмигнул нам с бабушкой, мол, не выдавайте нашей тайны.

Ырыскельды рассказал об аульных новостях и начал расспрашивать о моей болезни. Тут наш Шамшуали еще больше съезжился и засобирался куда-то по делам, но Ырыскельды преградил ему дорогу:

– Уважаемый Шаке, не уделите ли вы мне минуточку. Дело у меня к вам есть.

– О делах дома лучше говорить,– никак не мог надеть сапог от волнения Шамшуали,– зашел бы ко мне, ты уж прости нас, что все никак не собрались тебя в гости пригласить,– заискивающе улыбался старик.

– Стоит ли из-за этого переживать? Когда позовете, тогда и приду. Но разговор не о том. Вчера я посылаю за вами из конторы мальчика. Он сказал, что вы болеете... Ну, а теперь вы, кажется, выздоровели. Зашли бы сегодня в контору.

– Дорогой мой, ты думаешь я здоров, оттого и бегаю? Посмотри на меня – в чем душа-то держится? Еле хожу: сам – вперед, а ноги сзади волочатся. А сюда заглянул узнать, нет ли вестей от Идриса, да о здоровье мальчонки справиться. Не чужие ведь люди мы – в одном ауле живем. А ты приходи, дорогой, завтра к нам домой, отведай долю свою. Я приглашаю! Не забудь, приходи.

– Нет, аксакал, сейчас не время мясо есть! Я поговорю с вами в конторе, – с холодным выражением на лице проводил взглядом старика Ырыскельды.

– Что он у вас делает? – спросил Ырыскельды, едва за стариком закрылась дверь.

И моя бабушка, не умеющая ничего скрывать или хитрить, рассказала ему правду.

– Из твоего дома началась болезнь Болтая. Сама лечила, как могла, да вот не справилась. Теперь Шамшуали лечит.

– Э-э, да это я и сам знал, хотел только удостовериться. Значит, врет старый, что сам болен.

– Ну, зачем тебе это надо? – начала выговаривать бабушка.

– Э-э, подожди, подожди! Как это зачем? Разве вы не знаете, что в колхозе людей не хватает. Дети работают, старики работают, а он, видите ли, дома отсиживается, по аулам разъезжает, своими молитвами у людей последнее отбирает.

– Ну, что ты на него напал? Один мулла на всю округу! Похоронить-то стариков кроме него некому как следует. А ты что забыл – он тесть председателя!

– Забыл бы, да не дают! Эта председательша все на меня науськивает: пусть отца не трогает! А чем он лучше других?

– Ну, если так, то вы сами разберите, – отмахнулась от него бабушка. – А мне лишь бы внука вылечить.

Ырыскельды, видя, что с ней спорить бесполезно, заговорил со мной:

– А ты не горюй! Вылечат тебя врачи. На фронте, знаешь, какие раны я видел! У нас без глаза один воевал – лучший стрелок в роте был. И глаз прищуривать не надо! – заулыбался Ырыскельды. – А потом, сейчас, это просто, новый глаз вставляют. Не отличишь от прежнего!

– Да как же это? – присела на скамейку от удивления бабушка. – Настоящий? Видит?

– Откуда же видеть-то? Из стекла делают.

– То-то! Из стекла. Это я знаю. У представителя, что к нам из района приехал, говорят, тоже стеклянный. Как уставится на тебя – будто в душу залезет.

– Видит, значит? – рассмеялся Ырыскельды и подмигнул мне.

– Нет уж, – возразила уверенно бабушка, – что дал бог человеку, того не заменить.

– А вот и нет! – совсем развеселился Ырыскельды. – Скоро настоящие вставлять будут.

– Прекрати! Думаешь не понимаю, что над старухой подтруниваешь. У кого их брать будут?

– А у собак!

– Фу, ты! И повернется же язык говорить такое!

– Ну, хватит, – перестав смеяться, поднялся Ырыскельды. – Болтая надо быстрее отправить в больницу. Врачи его быстро вылечат, и нечего вам водиться с этим Шамшуали. Ну, что он может, этот безграмотный старик? Только есть да пить за чужой счет.

Я долго не мог уснуть и думал о том, как это вставляют людям собачьи глаза. А что здорово было бы: вынули бы мой больной и вставили собачий. Я тогда бы в темноте мог видеть! Ведь собаки же видят! Вот тогда со мной никто бы из друзей не смог потягаться, когда мы играем в темноте в прятки. С таким глазом и лампа в доме не нужна: все бы легли спать, а я – читай себе, сколько хочешь. Да, здорово! Вот бы попасть к таким врачам.

Не прошло и двух месяцев, как я попал к врачам, но не к тем, о которых мечтал.

Морозы стояли такие, что птицы замерзали на лету. Из дома и выходить страшно, а тут еще все время ветер дует. Повернешься к нему лицом – задохнуться можно. И в один из таких-то дней нам с бабушкой пришлось ехать в райцентр. Наши знакомые передали нам, что здоровье у Карлыгайн все хуже и хуже, в больнице нестерпимый холод и надо бы ее увезти домой.

Бабушка, вспомнив слова Ырыскельды, решила прихватить и меня с собой, чтобы показать врачам. Оставили сестренку соседям и поехали. Кошевки не было, нам дали простые сани, незащищенные от ветра. Зато я научил бабушку, чтобы она выпросила нашего знаменитого быка Байгешолака. Бабушка так быстро вернулась с ним, словно она его не выпрашивала у председателя, а сама увела без спроса. Но в колхозной конторе состоялся разговор:

– Сын мой единственный на фронте, – сразу пошла в наступление бабушка, сноха единственная в больнице замерзает! Внука, мою единственную надежду, лечить надо!

– Мамаша, ну у кого сейчас руки и ноги целые? Во всем ауле не найдете таких. Ваше положение мы знаем, Карлыгайн мы бы и сами привезли, но – не получается все! Некому. Ну, а раз вы сами решились – мы вам дадим все, что попросите. Вот только, может, другого быка возьмете? Байгешолака совсем заездили, бедного, а?

– Нет! – наотрез отказалась бабушка.

– Ладно, забирайте! Только ради вас.

Байгешолак, и правда, очень похудел, он совсем не походил на того быстрогохода, который нес нас на рассвете в тот памятный день в сенокосную бригаду, на полевой стан. Теперь он брел медленно, едва переставляя ноги. Подгонять его было бесполезно, да

и холодно все время махать кнутом. Мы сидели, плотно прижавшись друг к другу, отвернувшись от ветра и закутавшись с головой.

В наших краях аулы расположены друг от друга на тридцать-сорок километров. Кругом безлюдная однообразная степь, покрытая глубоким снегом. А в такой мороз, кажется, вымерло все – ни одной живой души, даже птиц не слышно. Сани движутся по накатанной дороге, полозья скрипят и скрипят, будто уговаривают нас уснуть. Бабушка время от времени поднимает меня, и мы идем с ней за санями, чтобы согреться и не заснуть в санях. А то ведь и замерзнуть очень просто.

В пути мы один раз ночевали в ауле, около которого нас застали сумерки, и на другой день были в райцентре. Я еще никогда не был в райцентре, о котором столько слышал от старших. И когда бабушка сказала, что мы поедем с ней в больницу, я не знаю чему больше обрадовался: или тому, что увижу Карлыгайн, или тому, что побываю наконец в райцентре, который представлялся мне большим городом.

Как только начали подъезжать, я высунул голову из разорванного, старенького тулупа и во все глаза стал смотреть вокруг. Передо мной были такие же домишки, как и у нас в ауле, такие же пустынные улочки и по ним тоже ездили на лошадях и на быках. Может, это село перед райцентром? – подумал я и еще раз переспросил бабушку.

– Райцентр, райцентр, – думая о чем-то своем, ответила бабушка. И я разочарованно еще раз огляделся. Из-за поворота показалось несколько больших домов с тремя рядами окон, один над другим. Больница оказалась в самом конце улицы, по которой мы ехали. Наверное, это был самый большой дом, крытый железной крашеной крышей. Окна такие огромные, что я вначале даже не поверил: раза в три больше наших дверей! Только большинство из них заложены

красным кирпичом. Значит, стекол нет, решил я. В те военные годы многого не было.

Дом наших знакомых, где мы должны были остановиться, был еще дальше, поэтому мы решили сразу заехать в больницу. Привязав вола у ограды, я вошел в больницу следом за бабушкой. Вид у нее был, надо сказать, пресмешной. Поверх нескольких чапанов она надела пальто на верблюжьей подкладке и подпоясалась веревкой. На голове теплая шаль, которую она перекрестила на груди и завязала узлом на спине. На ногах – огромные подшитые валенки. Сейчас о ней нельзя было сказать, что это стройная, еще не старая женщина.

В большом холодном зале сидело несколько казахов и русских, ожидая своей очереди к врачу. Бабушка, не обращая на них никакого внимания, направилась прямо к двери, возле которой они сидели.

– Мамаша, займите очередь!– сказал кто-то из ожидавших.

Но бабушка не отреагировала на замечание. Откуда ей было знать что такое «очередь». Даже я, которого она называла «дитем новой эпохи», никогда не слышал этого слова. Тогда из очередных кто-то сказал:

– Потом, после всех нас, зайдете!

– Какой «потом»!– и не думала отступать бабушка,– сноха у меня здесь, домой забрать приехали, с дороги только!– и даже не смахнув с одежды и валенок снег, распахнула скрипучую дверь и не вошла, а ввалилась в маленькую светлую комнату.

– Здравствуйте!– усталились на нас сидящие за столом люди в белых халатах.

Среди них не было ни одного казаха, и бабушка громким своим голосом, мешая казахские и русские слова, заговорила с ними:

– Я из колхоз «Жана жол», «Новый путь»– слышали? Дорога очень плохой, здесь моя сноха, кызымка больной. Где она? Давай, домой увозить буду! Это ее

парнишка, тоже больной, глаза смотреть надо!– и дальше бабушка быстро-быстро заговорила по-казахски.

– Сейчас, сейчас, казыр,– закивала головой одна из женщин и тут же вышла из комнаты.

В первый раз мне понравилось бабушкино упрямство! Я не подозревал, что она сможет вот так разговаривать с чужими людьми, с врачами. Теперь я знал, что она не будет, как многие в ауле, стесняться и робеть. С незнакомыми людьми говорит, будто с соседями или близкими. Да, быстро она с чужими сходитяся.

Женщина, сказавшая по-нашему «казыр», вернулась с молодой казашкой, тоже в белом халате. Бабушка опять заговорила первой:

– Здорова ли будешь, дорогая? Эти,– кивнула она в сторону сидящих, наверное, ничего не понимают. Скажи им. Ты большая начальница?

– Скажу, скажу. Я здесь медсестрой работаю, а это главврач больницы,– незаметно кивнула она на очкастую, с крупным носом, женщину.

Карлыгайн мы встретили в большом холодном зале, где сидела недовольная нами очередь. Я не сразу узнал ее: она была в незнакомом мне коричневом халате и шла к нам, еле передвигаясь.

– Здравствуйте,– чуть слышно заговорила она,– в ауле все живы-здоровы? Карлыгаш как?– преодолевая себя, говорила она. Видно, у нее не было сил даже говорить.

Я смотрел на нее и не узнавал прежней моей Карлыгайн: красивое ее лицо с ямочками на щеках осунулось, посерело. У глаз и на лбу появились морщинки. На тонких руках вздулись вены, и вся она стала меньше – будто худая девчонка-подросток.

– От Идриса все нет вестей?– со слезами на глазах спросила она бабушку. Бабушка тяжело вздохнула и покачала головой, и они обе поплакали.

Я искоса поглядывал на них и прислушивался к гудению огромных, чуть не до самого потолка, круглых печей, в которые старик то и дело подбрасывал кизяк.

В зале по-прежнему было холодно. На окнах под толстой наледью совсем не видно стекол.

Бабушка велела Карлыгайн завернуться в тулуп, который я таскал за собой по больнице, потому что она не разрешила его оставить на санях, сказав, что здесь не аул – украсть могут.

Врачи посоветовали бабушке забрать Карлыгайн домой, потому что она здесь зря только мерзнет и мучается в одиночестве. Лекарств все равно нужных нет, в область вести ее в такие морозы рискованно, потому что у нее болят легкие. Вот лучше и переждать дома, в тепле, до весны. Но весной обязательно придется ехать в город. Знакомые, у которых мы остановились, говорили примерно так же. И на третий день, потеплее укутав Карлыгайн, мы отправились в обратный путь. Дольше задерживаться не могли, потому что нечем было кормить нашего быка.

Врачу я показал свои глаза всего один раз, второй раз идти в больницу наотрез отказался. Та самая очкастая женщина, которую медсестра назвала главврачом, так больно выворачивала мне веки и засыпала что-то нестерпимо колющее и шипящее в глаза, что я побоялся еще раз переступить порог больницы. Из-за боли и страха я даже не обратил внимания на ее слова о том, что болезнь моя плохая, трахомой называется, и что я могу ослепнуть, если не буду лечиться. Она несколько раз повторила, что ходить мне в школу сейчас нельзя – заражу других ребят. Дома у меня должно быть отдельное полотенце, посуду, из которой буду есть, надо мыть горячей водой и ставить ее подальше от остальной.

– И приходите ты будешь вот в этот кабинет, – закончив мучения, – сказала она строго, как бабушка, – два раза в день! Понял?

– Агы, – не раскрывая еще глаз и еле сдерживаясь, чтобы не зареветь, – ответил я, а сам подумал: больше ты меня не увидишь!

Когда бабушка спросила у наших знакомых, что такое «трахома», то хозяин дома, знающий русский язык, объяснил нам, что это такая глазная болезнь, когда человек не может смотреть на белый искрящийся снег, на солнце или что-то яркое, светящееся. Глаза сразу начинают болеть.

– Что за чепуху несешь?– возмутилась бабушка.– Что это, зимняя болезнь, что ли? Да он летом заболел, когда никакого снега не было в помине. Потом прицепилась к врачам:– Полотенце, говоришь, тебе отдельное надо! Да такого не было у нас никогда в ауле! Сколько на свете прожила, а не слыхала такой глупости. У казахов испокон веков все вытираются одним полотенцем! Полотенце – не жайнамаз, чтобы у каждого свое было! Нет, от такого леченья проку не будет. Шамшуали был прав. Да я и сама знала это, вот только не послушалась его. А зря.

Да, бабушка права, решил я, ведь что бы она ни говорила, всегда выходило по ее. Вот и сейчас правильно она ругает врачей: Карлыгайн от них никакой пользы, только хуже стало. Неизвестно, что они еще сделают со мной. А тут еще соседка к нашим знакомым зашла да наговорила такое про врача Уманского, что волосы дыбом встают!

– Осенью у него так одна и не проснулась после операции. Говорят – зарезал! Его даже в милицию таскали. Проверяли – Не шпион ли!

Наверное, правду говорит соседка, решил я, потому что мы с бабушкой видели этого самого Уманского во дворе больницы. Ходит туда-сюда, размахивает руками как ненормальный, разговаривает сам с собой.

– Я как только увидела его, когда он у нас появился в больнице, так сразу сказала, что это не простой человек. Опасный! Даже очки у него не такие, как у всех, а на веревочке. Это чтоб не разбились,– пояснила она,– потому что все время с носа падают.

В нем, правда, есть что-то такое...– соглашался я в душе с соседкой.– Просто так в каталажку прятать не будут...

Такие мысли о врачах пугали меня, и я хотел уехать поскорее домой, хотя в больнице меня осмотрел сам главный врач, та очкастая женщина. Долго возилась с моими больными глазами и тогда я не думал, что она может мне навредить. Просто было очень больно.

К тому же я сильно заскучал по дому, все время думал о своих друзьях, которые резвятся на улице, ходят в школу. Я очень переживал, что я не с ними и что я не учусь.

Когда мы привезли Карлыгайн домой, она совсем перестала вставать с постели. Правда, несколько первых дней, она ходила по комнате, медленно, иногда придерживаясь за что-нибудь, и безмолвно улыбалась, наверное, просто тому, что она снова среди своих родных и самых близких. Никого ни о чем не расспрашивала, будто боялась нам помешать. Иногда мне казалось, что она не видит никого из нас. Она даже выходила ненадолго на улицу, придерживаемая бабушкой. Потом слегла и больше не поднималась. Ее совсем высохшее, пожелтевшее лицо теперь было бледным недвижным пятном на коричневом ситце подушки.

Удивительно: она ни разу не застонала и не обронила ни одного слова о том, что тяжело. Она только еле слышно просила пить, облизывая пересохшие, совсем бесцветные губы.

Лекарства, которые мы привезли с собой, давно кончились, а все настои из трав, которые готовила бабушка, Карлыгайн уже не могла пить.

И бабушка сказала, что бедной Карлыгайн совсем стало плохо. Теперь наша старенькая керосиновая лампа, увернутая до отказа, чтобы фитиль горел самую

малость, коптила на краю печки до самого рассвета. В углу другой комнаты, куда не доходил свет от этого ночного светильника и стоял полумрак, я лежал на кровати под толстым бабушкиным одеялом и, вытянув худую шею из-под него, рассматривал тени, которые разбегались от маленького дрожащего пламени лампы и оживали на противоположной стене, часть которой была у меня перед глазами как экран кинопередвижки, иногда появляющейся в ауле. В этой пляшущей тени, которая мне напоминала что-то, и это «что-то» я никак не мог узнать, было что-то тревожное. И я засыпал с предчувствием какой-то беды.

Однажды я долго не мог уснуть, потому что мулла Шамшуали почему-то не укладывался спать, а все читал и читал свою молитву, усевшись на свой жайнамаз в центре комнаты. Потом сложил руки на груди и замолчал. Он будто ждал чего-то долго-долго. Не ложился спать и не уходил домой, хотя время было позднее.

Старухи-соседки, неслышно открывая дверь, почему-то на цыпочках подходят к бабушке, сидящей у постели Карлыгайн, что-то шепчут ей на ухо, так же тихо уходят из дома, потом появляются вновь. Только раз донесся до меня еле различимый вопрос: «Как она?» Бабушка каким-то незнакомым мне голосом ответила: «Уснула, бедняжка. Отпустило вроде ее, вся надежда на господа бога теперь... Все в его власти...»

Потом старухи, о чем-то пошептавшись с бабушкой, перестали заходить. Мулла Шамшуали, так и не дождавшись чего-то, прикорнул тут же на полу, положив под голову подушку и подобрав под себя ноги в ичигах. Он не снял их, будто не собирался спать, а прилег так, на несколько минут.

В доме все стихло. И я стал было засыпать, как под окном неожиданно гавкнул Актас, потом залился раздражающим душу воем. Мулла Шамшуали вздрогнул, поднял голову с подушки и недовольно произнес: «Чтоб на твою голову свалились все беды!» И снова

усевшись на жайнамаз, принялся читать свой коран. Я никогда еще не видел и не слышал, чтобы коран читали глухой ночью. Мне почему-то стало не по себе, внутри все сжалось от страха.

Замолкший на некоторое время Актас, завыл еще печальней и громче. Перемешанный с завыванием метели, которая разыгралась еще с вечера, его вой напоминал рыдания какого-то существа, беспомощного, как ребенок, и страшного, как сама нечистая сила.

Мне стало страшно: я никогда не слышал такого собачьего воя, похожего на стоны и плач. Ведь всегда, когда начинала лаять чья-то собака, ее лай тут же перехватывали соседские собаки. Сейчас они не могли не слышать завывания Актаса, но ни одна из них не подала своего голоса. И этот одинокий собачий плач леденил все мое тело.

Мулла Шамшуали, перестав читать коран, недовольно слушая завывания Актаса, потом сказал:

– Чтоб ему челюсть свело! Это он не к добру.– Помолчал, потом велел бабушке:– Прогони ты его со двора да посмотри, как морду он держит, когда воеет. К небу или в землю.– И опять принялся за свой коран.

Едва бабушка очутилась за порогом, Актас, виновато твякнув, замолк. И я не знал: то ли жалеть его за то, что он получил от бабушки сейчас палкой, то ли сердиться за эту ночную выходку. И слова муллы: «На небо воеет или на землю» долго не давали мне покоя. Что бы это могло означать? Разве не все равно, как воеет собака? И тут я вдруг вспомнил, что как-то раз, уже давно, Актас, оказывается, выл. Но совсем не страшно, и бабушка сказала тогда, что это Актас желает нам счастья.

Мне очень хотелось разгадать эту тайну. У кого только спросить? Вот если бы рядом лежала бабушка, как это было всегда, когда Карлыгайн еще не болела, я толкнул бы бабушку потихоньку в бок и спросил. А как теперь ее потревожишь, если она все время у кровати Карлыгайн?

И тут припомнились мне детские годы. Тогда на все мои вопросы отвечала бабушка, когда мы с ней укладывались спать в одну постель. Когда расспросы ей надоедали, она останавливала меня: «Хватит на сегодня! Завтра будет день, а теперь спи!» Укрывала меня потеплей своим толстым, тяжелым одеялом и тут же засыпала сама.

Услышав обычное похрапывание бабушки, я потихоньку выскальзывал из-под одеяла и, стараясь не шлепать босыми ногами, перебежал в постель, где спали отец с матерью, и задавал им вопросы, на которые не успела ответить бабушка. Только от них разве дождешься таких ответов! Да они мне и не очень были нужны: все равно завтра спрошу у бабушки. Просто какая-то непонятная сила влекла меня к отцу и Карлыгайн! Ноги сами несли меня в их постель. «Иди к нам, – говорили они, укладывая меня между собой, только недолго, а то бабушка проснется и будет сердиться». Иногда я тут же засыпал под их ласки и приглушенный разговор. Отец спящего переносил меня в постель к бабушке.

Вспоминая об этом, я не заметил, как заснул.

Я испуганно проснулся, когда совсем рассвело. Дом был наполнен шумом, громкими рыданиями. Бабушка, закрыв лицо руками, причитала. Сквозь ее рыдания нельзя было разобрать слов, а может, я их просто не понимал. Я соскочил с постели и высунулся в комнату, наполненную соседями. Кровать Карлыгайн была отгорожена от всех белой занавеской. У меня защемило сердце, и слезы брызнули сами собой. Я кинулся к бабушке. Упал перед ней на колени, обхватил ее руками и зарыдал во весь голос.

– Душа-а-а моя, – раскачиваясь из стороны в сторону, – убивалась бабушка, – как дочь родная ты мне была! В такие-то годы молодые уходишь от нас! Двух сироток на меня, старую оставила! Как бедным им на свете жить? И Идрис уж теперь не воротится!..

Жеребеночек мой, – задыхалась от рыданий бабушка, – да неужели и правда, уходишь от нас, а сама холодной землей укроешься?! О, солнышко мое, о, бедняжка моя! Да сколько же терпеть мне еще горя? О, господи, да за что же ты караешь меня так?!

Все соседи, переполнившие наш дом, рыдают на разные голоса, только мулла Шамшуали время от времени успокаивает их:

– Перестаньте рыдать, почтенные! Слезами теперь не поможешь, не поднимешь Карлыгайн на ноги! Смерть не разбирает: молодой или старый. На все – воля божья! Богу тоже нужны хорошие люди! А уж что каждому из нас суждено – только богу одному видно! Смиритесь, люди!

В тот же вечер Карлыгайн отнесли на кладбище и засыпали холодной землей. Бедная, дорогая мамочка навсегда покинула нас...

Всю ее одежду, по нашему степному обычаю, разобрали женщины, которые омывали ее. Этого мне не жалко, а вот то, что досталось мулле, до сих пор стоит перед глазами. Это длинное белоснежное полотенце, которое вышивала сама Карлыгайн, дожидаясь отца с фронта. На одном конце был вышит танк с красной звездой, из дула его пушки вылетало красное пламя. Это он бил фашистских гадов! На другом конце полотенца колыхалось золотое море пшеницы, а по нему плыл комбайн. И небо над ним – чистое, голубое! Так и вспоминались дни до войны, когда отец и все мужчины аула весело работали на полях.

Вышивала Карлыгайн долго, по вечерам, у тусклой керосиновой лампы, когда случалась у нее свободная минута. А когда закончила наконец, повесила его на большое старое зеркало в центре комнаты, чтобы сразу видно был тем, кто заходит в наш дом. Через несколько дней она сняла его, аккуратно сложила и спрятала на самое дно старого, обитого железом сундука.

– Зачем ты убрала?– хотела было отговорить ее бабушка.– Пусть бы люди посмотрели, какая у меня сноха мастерица. Весь дом украшало, пока висело!

– Вот Идрис воротится,– слегка улыбнувшись глазами, ответила Карлыгайн,– я достану его на той. Все руки вытирать об него будут – увидят тогда.– И на ее лице появился румянец, задумчивость сошла с ее лица. И она снова была такой радостной, когда рядом был отец. И мне на миг показалось, что он и правду вернулся домой! Вот сейчас распахнется дверь, и он заулыбается нам с порога!..

– И вот сегодня, когда бабушка начала вынимать из сундука вещи Карлыгайн и раздавать их соседям, мулла сразу заприметил это полотенце и приказал бабушке:

– Это отложи – ноги покойнице перевяжем.

Бабушка не противилась, ей сейчас было не до того. Заплаканная, пришибленная горем, она была со всем согласна. И полотенце, которое мама вышивала для отца, досталось ему, потому что всегда полотенце, которым перевязывают ноги покойника, когда несут его на кладбище, отдается мулле.

Усаживаясь за стол, мулла быстро помолился и сказал:

– Магомет учил: еду поминок нужно есть как еду праздника!

После этих слов старики набросились на еду как вороны и от нашего черного барана не осталось ни единого кусочка.

Расправившись с угощением, старики немного поговорили о Карлыгайн, потом принялись за шариат. Больше всех разглагольствовал Шамшуали, нет-нет – да и бросал упрек в сторону бабушки, которая сейчас, казалось, ничего не видела и ничего не слышала.

– Зря тогда увезли Карлыгайн в больницу! Не видел я еще на своем веку, чтобы этими пилюлями человека на ноги ставили.

И передо мной вдруг выплыл образ того самого врача из районной больницы, Уманского, о котором мы столько наслышались страшных вещей. И я в душе согласился с муллой: врачи нарочно толкают людей в лапы смерти!

И тут вдруг заговорила бабушка:

– А я, старая дура! Как же я не послушалась Шамшуали, когда мою бедную ласточку, радость мою ненаглядную, этот Ырыскельды повез в больницу! Нечистая сила лишила меня рассудка! Вот и погибла девочка моя... Прости меня грешную!

Мулла, услышав такие слова, которые были произнесены при всех аксакалах аула, расплылся в довольной улыбке: он чувствовал себя победителем.

Это мне почему-то не нравилось.

Вскоре после возвращения Ырыскельды с фронта, его избрали заместителем нашего бессменного Садыка, председателя колхоза. Ырыскельды, как вчерашний солдат, сразу взялся за дисциплину. Он спал мало. Вставал ни свет ни заря и будоражил весь аул. Нас, мальчишек, и молодух он собирал у колхозной конторы, выстраивал в шеренгу и подавал команду:

– Ра-а-вня-я-я-йсь! Смирно!

Девчата и молодые солдатки покатывались со смеху, отпускали шуточки в его адрес, но новый заместитель, даже не улыбнувшись, говорил:

– Завтра и вы пойдете с оружием в руках защищать свой народ! Значит, надо сегодня готовиться к этому.– Он проходил вдоль шеренги подтянутый, бравый, поворачивал нас направо и по команде: «Бегом! Марш!» первым устремлялся вперед. Он заставлял нас два-три раза обежать вокруг аула. Последним бежал Кайкен: ему Ырыскельды поручил присматривать за отстающими и не давать никому идти шагом.

На следующий же день, как Ырыскельды избрали заместителем председателя, Кайкен стал его первым помощником, хотя никто его не назначал на эту должность. Он выполнял все, что бы ни сказал Ырыскельды.

– Вот, смотрите на него!– говорил Ырыскельды, показывая на Кайкена,– таким должен быть солдат!

Молодые колхозницы, у которых мужья были на фронте, увидев, что новый заместитель и не собирается шутить, а делает это серьезно, запротестовали:

– За нас мужья проливают свою кровь на фронте! А с нас толку мало: вовсе мы не вояки!

– Вот как?!– свирепел Ырыскельды.– А на Украине, в Белоруссии, не слышали разве? Мальчишки, девчата воюют! В партизанских отрядах сколько их? Не сосчитать! А сколько санитарок на фронте? Совсем девчонки, а каких жигитов спасают! Вы думаете, что? Просто так эти слова: «Все для фронта, все для победы»?

Да, трудно было что-то возразить Ырыскельды, и мы все умолкали.

Но как бы там ни было, а жизнь берет свое, и на третий или четвертый день наши утренние построения и пробежки прекратились. Но только над Ырыскельды никто даже и не думал смеяться. Теперь ни один человек не опаздывал на работу, которая начиналась и заканчивалась в точно назначенное время.

Конечно, тем, кто привык под всякими предлогами спать чуть ли не до обеда и бросать работу, когда ему вздумается, такой строгий распорядок пришелся не по душе, и они между собой осуждали вчерашнего фронтовика:

– Конечно,– рассуждали они,– откуда Ырыскельды знать, как командовать людьми, руководить ими! У него и в роду-то никого, кроме пастухов, не было. Вот и вытворяет он, что взбредет в голову!

– Это всегда так! Не зря говорят в народе: «Заставь дурака молиться – он и голову расшибет!»

– Если б только себе? А то ведь другим от него покоя нет! Но большинство все же было на его стороне:

– Разве мало он на фронте хлебнул? Там не то, что здесь.

– Пули не свистят...

– Да и крыша над головой. А там люди и летом, и зимой на земле, в окопах спят!

– И как только все это переносят? Силы откуда берутся?

– Да-а, после всех ужасов, что на фронте он повидал, наша жизнь ему кажется раем... А уж какой рай, если ребятишки да мы, старики, до упаду работаем...

– И все же, фронт – не здесь, а там!

– Это верно... Горяч он больно...

– Молод, вот и горяч. Зато повидал много, не то что наш Садык. Учился.

Все эти пересуды, ходившие по аулу, Ырыскельды не расстраивали и не портили его авторитет. А вот Садыку, который и писать-то кое-как умел, это все не нравилось: он побаивался, что его заместитель не будет его слушаться и начнет все делать по-своему. И он уже не раз среди колхозников отпускал в его адрес упреки, обвинял в том, что его заместитель не умеет работать с людьми. Конечно, делал он это, когда Ырыскельды рядом не было. Уж слишком тот горяч и от сказанного не отступится. И Садык копил в себе эту злобу, а однажды все-таки сорвался. И причиной тому был все тот же мулла Шамшуали.

Был тихий летний вечер, когда все уже пришли с работы и хлопотали у своих очагов, занимались по хозяйству. Вдруг от дома Шамшуали донеслись шум, крики. Чьи это голоса, разобрать было трудно. Ясно одно: там что-то случилось. Какой-то скандал.

Я вместе с другими побежал на крики. У сарая муллы уже столпился любопытный народ: женщины, мальчишки, подходили неспеша и старики. Спор разгорелся вокруг телеги, запряженной двумя волами, на

которых Шамшуали привезли свежего сена, половину сгрузили, а теперь Кайкен и еще один паренек укладывали сброшенное сено обратно, на воз. Так приказал Ырыскельды. Когда я прибежал к дому муллы, жена председателя Капица визжала, что было сил:

– В этом колхозе ты председатель или Садык? Хочешь по-своему все делать! За его спиной кукиш показываешь? Не выйдет у тебя! Мы молчим, глядя на все твои безобразия, а ты и нос задрал? Нет, смирный верблюд только для шерсти хорош, а я молчать да терпеть тебя не буду! Слишком быстро заелся.

– Прекратите, Капица! Не встревайте – это не семейное, не домашнее дело, а колхозное, – попытался успокоить ее Ырыскельды и отойти от нее в сторону. Но Капица преградила ему путь и пуще прежнего напустилась:

– А! А-а-а! Колхозное, говоришь? Так кто первым за него отвечает: ты или Садык? А эти старики – они что, не колхозники? Их что, в степи подобрали? Бездомные цыгане они, что ли? – И она заплакала: – Ты это специально устроил, чтобы авторитет Садыка уронить!

Ырыскельды побледнел, но больше не произнес ни одного слова, он только сурово уставился на Капицу. Не выдержав этого взгляда, Капица засеменила к колхозной конторе, выкрикивая на ходу:

– Сейчас я найду на тебя управу! Ты сам сгрузишь все это сено на моем дворе!

Шамшуали, молча наблюдавший эту сцену, не сказал Ырыскельды ни слова, только глянул на него словно злобный пес и вошел в свой дом.

Кайкен, взобравшись на воз и утрамбовывая сено, весело подмигнул нам:

– Давно бы так!

Женщины, подталкивая друг друга локтями, принялись шептаться:

– Правильно.

– А то обнаглели совсем!

- Что он, лучше других?
- Ну и что, что тесть председателя?
- Ну и работал бы как все!
- Тоже мне колхозник!
- Ни одного трудодня не заработал!
- А сено ему давай!

А дело было вот в чем. Сенокос уже закончился, колхозники перевезли все сено на базу для общественного скота, часть сдали государству, что было положено, а оставшееся распределили между собой. Доли Шамшуали там не было, потому что он все лето пальцем не пошевелил на колхозной работе, но мулла со своей старухой и Капизой нагрузили в поле целый воз и вот сегодня привезли домой.

Эта наглость Шамшуали взбесила Ырыскельды, которому кто-то сказал, что мулла привез себе сено. Бригадир Шалтек, оказавшийся в это время рядом с Ырыскельды, стал уговаривать его:

- Неудобно как-то перед Садыком будет. Тебе ли с ним ссориться? Подумаешь, обеднеет что ли колхоз из-за одного воза? Не трожь ты старика...

- Ты ли это, Шалтек? – посмотрел на него удивленно Ырыскельды. – Смелости не хватает приструнить тех, кто привык лежать на боку есть? Да еще чужое! Ты между мной и председателем не вставай!

Кайкен не успел развернуть телегу с нагруженным сеном, чтобы выехать на дорогу, как из конторы прибежал посыльный мальчишка от председателя:

- Председатель сказал, чтобы вы сейчас же шли к нему. Одна нога здесь – другая там! Так и сказал. Он сильно сердится.

Кайкен вопросительно посмотрел на Ырыскельды: Мол, что делать?

- Гони! Сам дам ответ, – ответил тот и уверенно пошел в контору.

«Что же теперь будет?» – сгорая от любопытства, думали мы.

Женщины, постеснявшиеся идти за Ырыскельды, шепотом приказали: «Послушайте, что скажет председатель». И мы направились за Ырыскельды.

Только он переступил порог конторы, как мы тут же сгрудились в дверях, не решаясь войти в помещение. Председатель сидел мрачный, насупив густые мохнатые брови. Увидев Ырыскельды, он вскочил и заорал:

– Это что за самоуправство?! Терпел я тебя, терпел... Лопнуло мое терпение! Ты думаешь – я не знаю, под кого ты яму роешь? Не тестя ты моего позоришь, а меня, председателя! Ишь ты, выискался какой пряткий! Без тебя мы столько лет обходились и еще обойдемся! Пусть народ решает, кто им будет руководить: или ты или я! А меня люди знают – не первый год о них пекусь!

Мы думали, что Ырыскельды, такой горячий и смелый, сейчас схватится с ним, и что тут тогда будет? Но Ырыскельды, насмешливо посмотрев на Капизу, которая, перебивая мужа, все шумела и грозила ему, очень спокойно обратился к Садыку:

– Саке, кто будет из нас руководить, не нам решать. Собранию. Но ни у вас, ни у меня нет никакого права, чтобы разбазаривать колхозное добро. Так ведь?

– Кто разбазаривает! Мой тесть чье берет сено? Мое! Он берет то, что принадлежит мне лично! А потом ты забываешь, эти старики тоже члены сельхозартели, они всю жизнь – колхозники. Когда ты пешком под стол ходил, они уже трудодни зарабатывали, колхоз вместе со всеми на ноги поднимали! Ты это забыл?!

– Нет. Если Шамшуали колхозник, так пусть он и помогает колхозу, а не разъезжает со своим кораном по аулам, когда колхозники в поле работают.

– У нас свобода религии!

– Я не слышал о такой свободе, которая обирает и без того бедных людей, на которых свалила война непосильную работу. Ведь это старики, женщины, дети!

– Как ты со мной разговариваешь?!– окончательно сорвался Садык.

– Да он обнаглел совсем!– повскакивали с мест и Капица и ее муж.

– Обнаглел – не обнаглел, а дармоедам я спуска не дам!– Ырыскельды повернулся и заспешил из конторы.

С тех пор между Садыком и Ырыскельды пролегла черная бездонная пропасть, хотя работать им приходилось по-прежнему вместе.

Садык накопил такую злобу, что, казалось, она вот-вот разнесет его самого на мелкие кусочки. Капица при каждом удобном случае поносила Ырыскельды, как могла.

На исходе второго месяца объявили колхозное собрание. Только мы уселись с бабушкой и Карлыгаш за круглым столом, зажгли керосиновую лампу и подвинули к себе тарелки с молочной лапшой – прибежал запыхавшийся Кайкен и уже с порога затараторил:

– Собирайся быстрее! Председатель велел всем на собрании быть. Из района уполномоченный приехал. Важный какой-то вопрос!

Кайкен всегда в нашем доме появлялся неожиданно и шумно. Бабушка недолюбливала его и на этот раз, может, потому, что он прервал наш ужин, не выдержала, вскипела:

– Чего орешь? Что там случилось еще? Но услышав про важный вопрос, сразу растрясась и сникла.

В войну люди очень часто получали плохие известия, поэтому боялись любого письма, любой казенной бумажки: мало ли что может оказаться там! Откуда ждать радости, если кругом такое горе?

– Важный вопрос, говоришь?– почти испуганно переспросила Кайкена бабушка.– Что еще случилось? Не зря, видно, сердце стучало ночью, словно копыта коня. Болтай, а ну – поднимайся, потом доешь.

– Да, да, тебя обязательно нужно там быть,– не стоит на месте Кайкен.

Бабушке почему-то вдруг показалось подозрительным это – «обязательно», и она снова усадила меня за стол и погнала Кайкена из дома:

– Сам иди, а Болтай не пойдет! Что, без него собрание не состоится?

Кайкен знал бабушкин характер, поэтому не стал возражать, а пошел ко мне и зашептал на ухо: «Сам Ырыскельды велел тебе обязательно быть! Понял?»

– Ты это куда его сманиваешь? Небось – опять на свои дурацкие игры? Убирайся отсюда, да поскорей, если не хочешь, чтоб я тебя вздула! Не видишь, что он болен?

Разве ползет в рот еда после того, что сообщил Кайкен, тут же умчавшийся от бабушкиных угроз?

– Как работать в колхозе, так надо чуть свет вставать, – начал я рассуждать вслух. – Ты – член колхоза, говорят, а как на собрание – сиди дома! Стыдно как-то даже: я и не член колхоза.

– Э! Да по мне ты там хоть ночуй! Разве я виновата, что боюсь за тебя: еще пуще прежнего застудишь свои глаза на ветру. Что я тогда с тобой делать буду? Горе ты мое, – и она прижала меня к себе, провела рукой по голове. – Иди уж.

И я торопливо засобирался в клуб, хотя глаза мои последние дни болели, как никогда раньше: я даже не мог взглянуть на горящую лампу. Слезы тут же застилали глаза, веки невыносимо жгло. Но я не мог сегодня остаться дома, раз за мной послал сам Ырыскельды.

Колхозный клуб построили еще до войны. Это был саманный домик с деревянной крышей, но внутри уютный, всегда празднично украшенный плакатами, лозунгами, репродукциями картин. Когда собиралась вся молодежь, которая теперь на фронте, здесь стояло такое веселье, что уходить не хотелось. Теперь это – пустой неуютный сарай со старыми изломанными стульями. Да к тому же всегда холодный, с самых первых осенних дней. А зимой – тут только волков

морозить, как говорит моя бабушка. Даже сейчас, когда еще и не наступили холода, все собравшиеся сидят тепло одетыми, а старики – так те пришли в малахаях.

Длинный стол покрыт старым выцветшим красным материалом. Он весь в чернильных пятнах. Зато десятилинейная керосиновая лампа ослепительно блестит своими чистыми, специально начищенными для такого случая стеклами. Колхозники: старики, женщины, такие же мальчишки и девчонки, как я, и чуть постарше расселись все по местам и тихо, сдержанно говорят, и только малыши, которых привели с собой матери, бегают, шумят, издают пронзительные возгласы, не обращая на взрослых внимания.

Собрание открыл Ырыскельды. Всех удивило, что на собрании не было самого председателя, но никто не решился спросить у Ырыскельды, где же Садык, потому что в президиуме сидел уполномоченный из района. Тот самый, у которого был стеклянный глаз.

– Аксакалы, – сказал Ырыскельды, поправляя привычным движением гимнастерку у пояса, – снимите свои головные уборы. Надо уважать собрание.

Старики стянули свои меховые шапки, оставшись в маленьких головных уборах, похожих на тубетейки.

– Я же предупреждал вас, – теперь он обращался к матерям, – не приводить малышей на собрание.

– Не с кем оставить, – послышалось с разных сторон. – Нам самим разве хочется их мучить, когда им спать давно пора?

– Ладно, – уступил Ырыскельды, – только чтоб тихо сидели!

Первым выступил уполномоченный из района. Он коротко рассказал о событиях на фронте и в тылу, а потом почему-то много говорил о борьбе нового со старым. И я не мог понять, куда же он клонит. Но когда он назвал фамилию муллы Шамшуали, мне стало ясно. Весь клуб зашумел, пришел в движение.

– Вот о нем, Караканове, и ставится сегодня вопрос на ваше обсуждение, – сказал он и предоставил слово Ырыскельды.

– Скажите, – обратился он ко всем, – есть ли в нашем ауле дом, который бы не посетило горе? В котором бы не было слез и страданий? Вам известно и положение всего советского народа. Разве мало у нас по всем городам и селам таких несчастных, как Гульжамал и Сапия, которые лишились своих супругов вскоре после свадьбы. А вон Амина и Кайныш! Двадцать лет прожили со своими жигитами, которые сложили свои головы там, в этом пекле. А теперь на руках этих женщин – куча малышей. Один другого меньше. А у кого не сожмется сердце от горя Кулзиры и Шарипы, получивших похоронки на своих сыновей?

При этих словах Ырыскельды женщины запричитали, заплакали. Подождав, когда утихнет общий стон, Ырыскельды продолжал:

– Большое бедствие обрушилось на наш народ. Трудно даже представить, как невыносимо тяжело на фронте, в городах и селах, захваченных фашистами. Вот мы сейчас мерзнем в этом клубе, кутаемся, а как же там, когда у людей даже крыши над головой нет! А ведь там – тоже женщины, старики, дети!

– У нас еще, слава богу, – раздается голос из зала, – в тепле сидим, бомбы на головы не сбрасывают.

– Что правда, то правда, – вступает в разговор другой старик, – там – фронт, здесь – тыл.

– Наши люди тоже не сидят, сложа руки, – переждав, когда утихнут старики, начинает Ырыскельды. – Посмотрите на наших почтенных аксакалов – Жусупа, Байбосына, Жаная. Им уже за семьдесят, а они работают наравне со всеми: от зари до зари! А наши мальчишки? Вот – Кайкен, Рахат, Болтай! Они пришли на собрание наравне со взрослыми, потому что эти дети, которым надо учиться, работают в колхозе. Они уже колхозники! Сами видите, люди, что ни малый, ни

старый не жалеют своих сил. Только бы быстрее наступил долгожданный час победы! Но для этого нам нельзя расслабляться, падать духом.

Ырыскельды помолчал, опять разгладил гимнастерку под широким солдатским ремнем, насупил брови и словно приготовился к схватке. – К сожалению, еще не все понимают это. Сегодня мы собрались с вами по делу муллы Караканова. Скрывать нечего! Я как вчерашний солдат не побоюсь посмотреть Шамшуали в глаза и сказать правду: ты враг!

В зале после этих слов зашумели, заволновались:

– Ну, зачем так круто берешь!– выкрикнул кто-то из родственников муллы.

– Правильно!– загудел, заглушая остальных, старик Жусуп.– Говори, Ырыскельды! И мы, подзадориваемые Кайкеном, дружно поддерживали его.

– Вспомните его до войны. Был тихим, мирным старичком, жил рядом со своими детьми и ни к кому не лез в дом со своим кораном. А почему? Боялся: народ кругом грамотный. Вот и сидел, выжидая, а сам колхозным добром пользовался – и ел, и пил, и скот держал за счет других, которые работали. Пользовался нашим правом: «Старикам у нас почет!» А вот когда в ауле остались старики темные да дети малые, он и выполз, как говорится, из темноты на свет. Где беда, где горе, где похороны, он уже тут со своим кораном.– Ырыскельды весь наклонился вперед, словно хотел дотянуться до муллы, и прямо глядя ему в глаза, не сказал, а выстрелил:– Это ты убил старика Туяка! У него был простой фурункул под мышкой – от этого не умирают, а ты лечил его медным купоросом, смешанным с какой-то дрянью!

В зале зашумели.

– На похоронах Карлыгайн ты клеветал на советских врачей, уверял всех, что это они своими лекарствами довели до могилы бедную женщину, мать двоих детей. Но тебе этого мало! Ты решил угробить и ее

сына! Если сомневаетесь в моих словах, спросите самого Болтая.

Я вдруг вздрогнул от неожиданности и сильно смутился, потому что все вдруг стали смотреть на меня, как на незнакомого человека.

«Ужас!– подумал я.– А что если сейчас Ырыскельды скажет выйти на трибуну? О чем я буду говорить?»– И я начал соображать, готовится к выступлению. Но Ырыскельды продолжал:

– Посмотрите, сколько у Шамшуали скота, собранного мошенническим путем! Я могу по пальцам пересчитать: три кобылы с жеребятами, четыре коровы и у каждой по теленку! Двадцать овец и коз. Откуда она? В колхозе ни одного дня не работал, да разве честным трудом зарабатываешь столько? Ответьте мне! Все вы с утра до темна надрыгаетесь, а есть у вас столько скота? Нет! Я предлагаю – исключить дармоеда Шамшуали из колхоза!

Предложение ошеломило собрание. Люди не помнили, чтобы кого-то исключали из колхоза, да к тому же Шамшуали – тесть председателя. Раздались неуверенные голоса: «Можно было бы и не исключать на старости лет...» «А где свобода для верующих?» Но тут поднялся наш Кайкен и принялся говорить с таким жаром, что удивились не только мы, но и взрослые. А он шпарил так, будто заранее выучил наизусть эту речь:

– Страшнее внешнего врага – внутренний. Он молча приходит, незаметно уничтожает! Разве не так поступает мулла? Он сам не работает в колхозе и других подбивает на это. И делает так, что не сразу и догадаешься! Разве это не вредительство?!

– Настоящий кровопийца будет из тебя, когда вырастешь!– не сдерживается родственница муллы, черная старуха Жамеш.

Но ее слова не смущают Кайкена:

– Я присоединяюсь к Ырыскельды – муллу надо выгнать из колхоза!

Почувствовав, что собрание принимает нежелательный для него оборот, Шамшуали попросил слова:

– Ырыскельды говорит, что я не выходил на работу. Дорогой мой, разве ты не знаешь, что долгое время я был между жизнью и смертью? Я столько пролежал в постели! А когда поднялся на ноги, чтобы поднять настроение себе, да и людей приободрить, ходил по соседям. Если Ырыскельды требует, чтобы я не высовывал нос из дому, могу и это его приказание выполнить. А теперь я хочу тоже сказать прямо в глаза: ты вымещаешь на мне злобу за Садыка. Вы с ним ссоритесь, а шишки все мне достаются! Хочешь его растерзать – делай это без меня!

– Ты не выкручивайся!– соскочив с места, закричал возмущенно старый Жусуп.– Ты лучше расскажи всем, чем ты занимаешься!

Шамшуали на миг растерялся, не ожидая такой выходки от Жусупа, но быстро нашел выход:

– Ырыскельды обвиняет меня в том, что я в колхозе не работал. Да когда он еще без штанов под стол ходил, мы этот колхоз своими руками поднимали! Вот пусть скажут старики, как мы тогда работали. Вот они здесь сидят: Байбосын, Жанай, Жусуп. А ты хочешь разделаться со мной, как с гнилым яйцом. Согласятся с тобой почтенные люди – выгоняй!

– А чего тут не соглашаться?– поднялся с места опять Жусуп.– Ты говоришь, что поднимал колхоз своими руками? Вот когда мы умрем, кто помнит эти годы, может, тебе кто-то и поверит. А пока мы живы, этот номер тебе не пройдет!

Шамшуали никак не ожидал от Жусупа такого и растерянно заморгал глазами, как-то неестественно заулыбался:

– Перестаньте, Жусеке, а то молодежь примет вашу шутку за правду.

– А мы собрались не для шуток,– разозлился Жусуп.– Если ты тесть председателя, то, думаешь, тебе и правду

побоюсь сказать? Разве не ты уговариваешь людей не пить лекарства? Мол, все они из свиной шеи делаются. И до сих пор ты все воюешь с врачами. Наши дети проливают на фронте кровь, а ты отнимаешь у их семей последний кусок. Как ты мог увезти сено, которое выделили вдове? У нее в доме нет ни одного человека, способного трудиться: больные старики да малые ребятишки. А ты еще винишь Ырыскельды! Сталкиваешь лбами людей, которые руководят всем колхозом!– Жусуп сел на место и чтобы успокоиться, сунул под язык горсть насыбая.

После Жусупа люди говорили, перебивая друг друга. Родственники муллы выгораживали Шамшуали, на них кричали с разных сторон. Собрание закончилось далеко за полночь. Шамшуали исключили из колхоза. Выходя из клуба, он зло посмотрел на Ырыскельды и громко произнес: «Не желай зла другому – сам попадешь в беду!»

Никто не придавал значения этим словам, но через месяц его угроза сбылась.

Глубокой ночью нас разбудил страшный стук в окно. Колотили по стеклу, по раме так, будто хотели высадить их и ворваться в дом. Но врваться никто не стал, за окном кто-то дико кричал не своим голосом: «Пожа-а-ар! Пожа-а-ар!» Сна как и не было, я кое-как надел валенки, сушившиеся на печке, и раздетый выскочил на улицу, бабушка – за мной следом, накинув на себя какую-то верхнюю одежонку, испуганно причитая, охая. Проснувшаяся Карлыгаш, испуганная этим непонятным ночным переполохом в доме, плакала.

Горело где-то рядом, потому что пламя было видно с порога. Несмотря на поздний час, туда бежали со всех сторон кем-то разбуженные люди с вилами, лопатами, ведрами.

– Чей дом горит?– раздался голос бегущего из темноты.

– Не бедняги ли Шарипы дом?– слышался другой.

– Нет, это – подальше! Это – у дома Асыгат горит, – ответил еще чей-то.

Оказалось – горел дом Ырыскельды. Дом небольшой – две комнаты, но тут же – просторный сарай для скота, прихожая. Рядом с сараем – саманный загон, в котором стоял большой стог сена, много сена, тоже уложенного в стог, придавленного жердями, чтобы не разнесло ветром.

И вот сейчас все эти строения и дом были объаты огнем! Огромные огненные языки то сливались в одно пламя, высоко поднимавшееся в небо, то вдруг, ослабев, расползались в разные стороны в поисках пищи и, найдя ее, обретали силу, снова поднимались высоко в ночное небо, отпугивая, отгоняя подальше собравшихся людей.

– Снег, снег бросайте на сено! – охрипло кричит парторг Камсен. – Дом все равно уже сгорел! Снегу, снегу больше несите! Не дайте перекинуться огню на другие дома!

И действительно, опасения его были не напрасными: огонь, расправляющийся со стогом, вырывал клочья сена и подбрасывал высоко вверх. Ветер подхватывал эти раскаленные, словно проволока, длинные травинки и разбрасывал на соседние дома.

К счастью, они превращались в пепел еще в воздухе, не успев опуститься на крыши.

Вокруг огня собрался почти весь аул и не было человека, который стоял бы здесь просто зевакой. Схватка с огнем закончилась, когда совсем рассвело, и люди окружили Ырыскельды. Его невозможно было узнать: весь в саже, лицо, руки – в ожогах, брови, ресницы и усы опалены и из черных стали рыжими. Одежда во многих местах порвана и прожжена. Трудно в этом человеке было узнать Ырыскельды, и только глаза, которые я никогда не видел грустными или растерянными, словно говорили: Ырыскельды, и не такое видел на фронте и никогда не падал духом!

– Семья не пострадала?– подошел к нему парторг.
– Обошлось,– вытирая лицо, ответил Ырыскельды.
– Поживите у меня, а сейчас ожоги надо обра-
ботать,– взял его за руку Камсен.

Вот так и сгорело сразу все хозяйство Ырыскельды, который после возвращения с фронта еще и не успел нашить штатской одежды и ходил в солдатской шинели. Погибли корова, купленная еще до войны, и три овечки. Большой теплый сарай, который Ырыскельды начал строить в тот год, когда привел в дом Калиму, по существу пустовал теперь. И когда в колхозе двадцать овец заболели чесоткой и их нельзя было держать в общей отаре, Ырыскельды сделал в своем сарае перегородку из жердей и временно, пока овцы не поправятся, разместил их здесь. Я не раз видел, как он таскал ведрами воду для этих животных, ухаживал за ними. И вот теперь они тоже погибли.

Возвращаясь с пожара домой, я услышал разговор двух старух:

– Политика нам его известна! И совсем они не больные были, эти двадцать колхозных овец. Так я и поверила, что они с Садыком враждуют! Это они нам пыль в глаза пускают, а сами поделили с ним овец. Вот и пожар устроили!

– А я говорю,– отстаивала свою точку зрения вторая старуха,– это его бог наказал! Как он мог нанести такую обиду уважаемому человеку, который ему в отцы годится? Вот за Шамшуали ему и отомстили!

Но все остальные в ауле жалели Ырыскельды и помогали, чем могли, а главное – сдали в колхоз двадцать ягнят, взамен тех, которых не стало.

Из райцентра специально приезжали люди, несколько дней сидели в конторе и перелистывали папки с документами, вызывали к себе людей, о чем-то с ними говорили, но так и уехали ни с чем. Как возник пожар, так никто тогда в ауле и не узнал.

Если мне не изменяет память, то это было в апреле. В тот год, когда заканчивалась война. Кругом все радовались, что скоро наступит конец всем нашим бедам, возвратятся домой отцы, братья и начнется снова жизнь, да еще лучше, чем было в предвоенное время. А у меня, как назло, все сильней и сильней болели глаза, и видел я все хуже и хуже.

И вот однажды бабушка принесла от соседей обнадеживающую весть:

– Эй, Болтайжан!– радостно начала она с порога.– Если бог на этот раз окажется милостив к нам – глаза твои перестанут болеть! В соседний аул приехал издалека настоящий знахарь: нет таких болезней, которые бы он не изгнал! Со всех аулов едут к нему люди, а сам он из Омска пожаловал к нам,– радовалась бабушка.

Я думал, что навсегда избавился от Шамшуали, а тут опять знахарь появился. Но только, по словам бабушки, Шамшуали и мизинца не стоил этого достопочтенного старца.

– Собирайся!– сказала бабушка, и мы пошли в контору к Ырыскельды, которого колхозники вскоре после пожара избрали председателем.

– Дорогой Ырыскельды!– переступив порог, начала бабушка.– Ты ведь знаешь, что у единственного сына Идриса болят глаза. Чем я его только не лечила, а ему все хуже, и вот я решилась...

– Берите, берите!– перебил ее Ырыскельды, решив, что она надумала везти меня к врачам в райцентр.– Какого быка хотите, того и берите. Можете и лошадь взять, только ей овес нужен, мороки много, а на быке вам спокойнее будет.

Бабушка обрадованная таким внимательным и заботливым отношением, выложила все начистоту перед новым председателем:

– Надоело богу обижать нас, вот и послал он в наши края знающего человека! Из самого Омска приехал, подумать только!

– Опять за свое?! – сразу изменился в лице Ырыскельды. – Со своим знахарем еле расправились, а тут еще один объявился! И откуда только берутся эти знахари-лекари? Да как вы не можете до сих пор понять, что это аферисты! Не хотят нигде работать, вот и ищут народ потемней, чтобы прожить за его счет.

– Не говори таких слов, сынок! – замахала на него рукой бабушка. – Твое зло испортит нам дело. Не хочешь помочь – не надо.

– Хочу! Сколько раз я уговаривал вас: везите в район мальчика, если потребуется – в областной центр. Я во всем вам помогу, только отдайте его врачам!

– Э-э-э, нет! Мало тебе, что я по твоему совету отдала в их руки Карлыгайн? Болтая я им не отдам! А свою помощь оставь при себе! – рассерженная бабушка направилась к выходу.

– Если вы хотите ехать к знахарю, я вам никакой помощи оказать не могу. И завтра же сам поеду в этот аул, чтобы духу его не было здесь! – сорвался под конец Ырыскельды.

Весь вечер переживала бабушка, возмущаясь поведением Ырыскельды. – А еще другом моего Идриса считается, в школу вместе бегали. И передо мной все: «мамаша, мамаша!» Нет, уж если он против семьи фронтовика пошел – не будет ему самому добра!»

Утром она подняла меня чуть свет:

– Вставай, родной! Поедем, пока этот проклятый Ырыскельды нас не увидел, а то он, и правда, еще арестует этого почтенного старца. От него всего ожидать можно!

Мы запрягли в сани свою корову, которая должна была на днях отелиться, и тронулись в путь по заледелой скользкой дороге. Аул еще не проснулся, и

только у крайнего дома нас заметила старуха, вышедшая во двор. Она удивленно посмотрела нам вслед.

К обеду дорога оттаяла, и в тех местах, где уже чернела земля, наша бедная коровенка еле тащила сани, а потом и совсем выбилась из сил. Нам с бабушкой пришлось вылезть из саней и идти пешком по мокрой, раскисшей дороге. Вскоре и мы устали: промокшие, покрытые комьями грязи валенки были словно тяжелые гири. В аул мы кое-как добрались только к вечеру.

В доме наших родственников все мужчины тоже были на фронте. Бабушкина племянница одна управлялась с кучей полураздетых, полуголодных малышей. В комнате, у порога, стояли валенки – одни на всех. Пятилетний Маулен, забравшись в них, еле переваливался через порог, часто падал, но не унывал: весело смеялся над собой вместе со старшими братишками и сестренками. Дети и в войну оставались детьми.

У меня хватило сил только на то, чтобы сесть за большой круглый стол, съесть одну картошку из общей миски, стоявшей посередине. Я и не заметил, как уснул, тут же, на кошме.

Утром мы с бабушкой пошли в дом, где остановился знахарь. Бабушка взяла меня за руку и завела в большую комнату, в которой сидело несколько стариков, поджав под себя ноги. Они все почтительно усталились на приезжего, огромного асакала, важно развалившегося на двух подушках. Лицо его, заросшее густой черной бородой, было мрачным и неприветливым.

До этого дня я думал, что нет такого человека на всем свете, который бы не заробел перед моей бабушкой. А тут вышло все наоборот: бабушка вдруг сникла, стала какой-то маленькой и, еле произнеся приветствие, опустила у самых дверей на кошму.

– Это мать Идриса, из соседнего аула, – начал объяснять приезжему хозяин дома, почтительно склонившись в его сторону. – От Идриса давно нет никаких

вестей. При этих словах у бабушки навернулись слезы на глазах, но она не промолвила ни слова.– В этом году умерла сноха единственного ее сына,– продолжал хозяин дома.– Не зря говорят: пришла беда – открывай ворота. Вот и привезла она к вам единственного внука, свою последнюю надежду и опору. С глазами у него беда. При этих словах бабушка моя достала маленький сверточек, развернула его и положила к ногам этого мрачного здоровяка пять выцветших рублевок:

– Хвала всевышнему, это он привел вас сюда на счастье моему внуку. Лечите его от чистого сердца.

Громила, похожий на разбойника, недовольно загреб рублевки своей волосатой лапой, спрятал их в карман и позвал меня:

– Иди, садись.

Я снял валенки, оставил их у порога, босиком подошел к нему и сел, скрестив под себя ноги. Толи оттого, что вчера устал за дорогу, то ли оттого, что только проснулся, глаза воспалились еще сильнее, и я едва мог их открыть.

Знахарь посмотрел на меня и, не дотронувшись до глаз руками, опять откинулся на подушки:

– Байбише,– уже не глядя на меня, отрешенно произнес знахарь,– болезнь сильно запущена, придется лечить на месте. Я приеду в ваш аул. Там посмотрим. Изгнать болезнь трудно будет: бельмо уже на глазу.

При слове «бельмо» я весь покрылся потом, перепугался так, что не мог подняться на ноги. В этот момент на пороге появился мальчишка, весь в снегу, будто он не шел сюда, а катился колом по снегу. Не обращая внимания на взрослых, не поздоровавшись ни с кем, он выпалил хозяину.

– Гостя вашего приглашает председатель!– и тут же повернулся к выходу.

– Эй, подожди!– заторопился хозяин дома.– Зачем зовет?

– Кто у него там?– забеспокоился один из стариков.

– Из района кто-то!– опять выпалил мальчишка и скрылся за дверью.

– Стой, говорят тебе!– только и успел выкрикнуть с досадой хозяин дома.

– Чтоб ты не походил на своего отца! Как он себя ведет?– вскипели рассерженные старики.

Знахарь забеспокоился, нам нечего было больше делать, мы попрощались и вышли.

В тот же день ночью мы добрались домой. Всю дорогу я переживал: теперь я не верил, что когда-нибудь вылечу свои глаза. Бабушка жалела меня и всю дорогу ругала бога. Проснувшись утром, я услышал, как она еще пуще его проклинает: наша корова отелилась в эту ночь, теленок был мертвым.

Знахарь, который собирался в наш аул, так и не приехал. Но мы его и не ждали. Я теперь не верил никаким этим бродячим знахарям-лекарям.

«Бельмо на глазах!»– первое время я с замиранием сердца думал об этих словах, а потом привык. Где-то с месяц глаза болели, потом подживали. Потом снова болели и снова становилось лучше. Только видеть я стал с каждым днем все хуже и хуже.

Однажды на колхозном дворе я подрался с Абенем, который был немного постарше меня, из-за вил. Он хотел отобрать у меня их и повалил меня на землю, но я так крепко зажал их под собой, что Абен не смог вырвать их из-под меня. Разозлившись, он пнул меня в бок и отскочил в сторону, я поднялся и кинул в него вилы, но не попал. Убегая, Абен крикнул:

– Подавись ты своими вилами, слепой!

Потом я услышал еще раз от соседки: «Это слепой сын Идриса!» И в голосе ее не было ни капли жалости. Я не выдержал и рассказал бабушке. Бедная соседка не знала, куда от нее деться и со слезами на глазах просила у меня прощения.

Вскоре многие в ауле стали называть меня слепым. И я к этому привык...

Закончилась война. Во многих домах поселилась радость: с фронта вернулись мужчины. Только мой отец так и не пришел...

Жизнь постепенно налаживалась. Людей в ауле заметно прибавилось, больше стало настоящих рабочих рук, а не наших, детских да женских. В ауле рядом со старой четырехлеткой построили новую семилетнюю школу, отремонтировали клуб, обновили контору, колхозные сараи, зернохранилища.

Как-то из райцентра приехала большая группа врачей, Ырыскельды отвел им часть конторского помещения, создал все условия для работы. Врачи обошли дома, потом начался осмотр всего населения. Больные, которые нуждались в стационарном лечении, были занесены в списки. Я первым попал в него. На этот раз бабушка не возражала:

– Если хочешь – поезжай! Кто знает, может лекарства тебе и помогут, – в ее голосе слышалась последняя надежда.

Председатель велел запрягать лошадей и немедленно отправляться в районный центр.

– Если тебя положат в больницу, – напутствовал он, – то коня вернешь с Кайкеном. Он будет тебя сопровождать.

В районной больнице мне сказали, что у них нет специалистов по глазным болезням и надо ехать в областную больницу. Тут же мне выписали направление. Я вышел на улицу, где поджидал меня Кайкен, расстроенный, потому что не знал, как добираться одному в город, где я ни разу не был.

Кайкен, узнав в чем дело, похлопал меня по плечу:

– Ты что же, думаешь, что я тебя одного отправлю?

– А как же лошадь? – посмотрел я на него почти ничего не видящими глазами.

– Ее мы кому-нибудь поручим. Из аула каждый день здесь кто-нибудь бывает, вот и доставят ее домой.

В этот же день мы сели с Кайкеном в большой пассажирский автобус и на завтра были в Кокчетаве. Больницу – высокое белое здание – мы нашли без труда. Постояли немного, поглазели и вошли в просторный зал, в котором оказалось много народу. Показали свои бумаги рыжеволосой девушке в белом халате, к которой обращались все посетители, записались в список и стали ждать свой очереди.

Пока сидели, наслышались всякого, такого, что я теперь и не припомню. А вот один разговор запал мне в душу.

– Сергея Ивановича не знаете? – спрашивала молодая женщина свою пожилую соседку. – Вы, значит, приезжая и в первый раз сюда попали. Трапезников фамилия его. Он самый главный специалист по глазным болезням. Его весь город у нас знает. К нему даже из Омска едут! Чудеса делает! Вы сами убедитесь, – тараторила она. – Он сам всех первичных больных осматривает.

Первый раз за все время у меня появилась вдруг надежда: может, и я буду опять хорошо видеть?

Подошла очередь, я вошел в кабинет и увидел Сергея Ивановича, от которого я теперь уже ждал чуда. Это был крупный, с сильными, быстрыми руками и маленькой торчащей бородкой на полном лице человек. Он не побрезговал притронуться к моим глазам и, осторожно приподняв веко, нахмурил брови:

– Ай-яй-яй! Где же ты был до сих пор? Надо было давно показаться врачам. Ты из какого района?

Последний вопрос меня испугал: если я назову наш аул, то вся вина упадет на Ырыскельды. Сергей Иванович еще подумает, что он плохой председатель и сообщит в район. Откуда ему знать, что во всем виновата моя бабушка? И я увел разговор в другую

сторону, сказав, что я из семьи погибшего воина и что у меня не было возможности приехать в область.

– Ладно, сегодня же ляжешь в больницу, – поднялся Сергей Иванович из-за стола и направился к умывальнику у двери, а в следующую среду будем делать операцию!

Операцию! Меня охватил такой ужас, которого я еще не испытывал даже тогда, когда бегал вокруг отары и не своим голосом отпугивал волков. Тогда у меня была хоть какая-то надежда на то, что волки не нападут. А сейчас это слово «операция» прозвучало как приговор, который никто не отменит, кроме самого Сергея Ивановича. И я с последней надеждой посмотрел на него:

– Может, просто полечить?

Врач понял мое состояние и сказал очень спокойно, но твердо:

– Операцию надо делать как можно быстрее.

В первый миг я хотел зачем-то схватить со стола мои бумаги, которые мне выписали районные врачи, и потянул было к ним руку за спиной Сергея Ивановича, который стоял у умывальника. Но рука задрожала отчего-то, и я чуть было не закричал: «Не посылайте меня на операцию!» Но сдержался и кинулся в дверь.

– Мальчик! Маль... – понеслось мне вслед, но я уже был на улице, у скамейки, на которой ожидал Кайкен. Я плюхнулся с ним рядом и безнадежно опустил голову.

– Ты что молчишь? – ткнул меня в бок Кайкен. Не принимают в больницу? Да ты бы сказал им, что из аула приехал, что у тебя отца на фронте убили! А ну, пойдём! – и он схватил меня за руку. – Я сам им все объясню!

Я сопротивлялся, но Кайкен был сильнее меня и потащил волоком.

– Да подожди! – отбивался я от него. – Я же не сказал, что не берут! Берут!

– А чего ты тогда раскис? – выпустил меня из своих цепких рук Кайкен и удивленно посмотрел на меня.

– Операцию хотят делать.

– Операцию?– Кайкен подумал, потом решительно взял меня за рукав, – раз без этого нельзя, значит, надо делать!– и снова поволок в больницу.

В это время другую мою руку схватила медсестра:

– Ты что, девчонка, что ли? Чего испугался! А ну, идем, идем!

Вырваться из рук у меня не было сил. Так я попал в больницу. Первый раз в жизни.

Вначале я попал в руки прилизанного парикмахера, который наголо снял машинкой мои волосы. Голове сразу стало прохладно и как-то неуютно. Потом медсестры повели меня в ванную и начали раздевать, я пытался вырваться, но они, не обращая на мои выходки внимания, намылили меня и принялись купать. Когда стали одевать, одежды моей уже не было, и я решил, что навсегда распрощался с ней. На меня надели большую, словно отцовскую, рубашку, и такие же штаны, которые назывались кальсоны, халат из фланелевой ткани, на ноги – сандалии со стоптанными задниками. Засучив длинные рукава халата, я отправился вслед за сестрой. Мы шли по просторному, уже опустевшему залу. Я остановился у большого зеркала в деревянной раме на низенькой тумбочке, чтобы посмотреть на себя в новом одеянии. Вначале я даже вздрогнул от неожиданности, а потом мне стало весело. Глядя на это лысое чучело, я стал корчить рожицы и крутить головой, которая теперь напоминала мне колотушку, а длинная худая шея, торчащая из широкого воротника халата, была похожа на деревянную мешалку, которой бабушка сбивала тесто. Если не чучело, то лягушка – решил я, разглядывая свое отражение.

– Эй, мальчик!– услышал я за своей спиной голос медсестры, совсем забыв, что должен идти за ней.– Насмотрелся?– улыбалась она, не думая меня ругать.– Пойдем скорей в палату, я кровать твою покажу.

В палате стояло десять коек. На них лежали такие же мальчишки, как и я. Те, что были у дверей, повернули головы в нашу сторону: «Новенького привели!» Остальные даже не заметили нашего появления. Мне это показалось странным.

– Ляжешь здесь, – сестра подвела меня к кровати у самого окна.

Я робко присел на белоснежную простынь, перевел дух и украдкой принялся разглядывать моих соседей. Мальчишки, не обращая на меня никакого внимания, занимались своими делами. Один перебирал по губам пальцами и издавал звуки, очень похожие на конский топот, другой сосредоточенно склонился над стулом и раскладывал какие-то фигурки из спичек. Третий, что лежал на кровати в центре комнаты, смотрел, не отрываясь, в потолок и, казалось, не замечал происходящего вокруг. Глаза его были какие-то странные, неподвижные. «Может, это он спит вот так, с открытыми глазами?» – подумал я и тут же вздрогнул от неожиданности: этот паренек, которого я уже успел рассмотреть, и который был старше меня и этих мальчишек, резко и громко закашлял и сел на кровати. Прокашлявшись, он уставился на меня и долго смотрел, не мигая. Я уже было приподнялся с постели и хотел поздороваться с ним, но вдруг понял, что его глаза ничего не видят перед собой... «Да он же слепой!» – догадался я. Мне стало жутко. Я потихоньку поднялся с кровати и на цыпочках вышел в коридор.

Я в первый раз оказался вдали от дома, от знакомых, друзей. Мне не с кем было поделиться своими впечатлениями, не у кого было найти сочувствия и поддержки. И я стал разглядывать блестящие, очень четкие фотографии, каких я еще никогда не видел. На всех фотографиях были изображены глаза. Я догадался, что здесь, на этих плакатах и стендах рассказывается о разных глазных болезнях. Мне захотелось увидеть глаза с таким же недугом, как у меня.

Я нашел, стал читать и расстроился, потому что под одним из снимков было черным по белому написано, что если запустить эту болезнь, то человек обязательно ослепнет. Так было до революции в наших краях, когда простой народ жил в нищете, а теперь врачи победили эту страшную болезнь. Я постоял, подумал и вдруг сделал для себя неожиданный вывод, который меня приободрил: я просто счастливый человек, потому что не ослеп благодаря своему невежеству! И уже хотел было порадоваться, но вспомнил про операцию и опять сник.

В это время раздался голос уже знакомой мне медсестры. Она поочередно открывала двери в каждую палату и громко, весело выкрикивала:

– А ну, поднимайтесь, на ужин пора! На ужин, мальчики! На ужин! Побыстрее, побыстрее, мои хорошие, мои послушные!

От этих ее слов, от того, каким она говорила тоном, повеяло чем-то домашним. Я вспомнил мою бедную Карлыгайн, бабушку и слезы сами покатались по щекам. Пища в столовой была вкусной, у себя дома, после возвращения с улицы, я расправился бы с ней вмиг. Но здесь, я едва притронулся к еде и отодвинул тарелки и с первым, и со вторым. А тут еще эта раскосая женщина, которая стала расспрашивать у меня про болезнь, а потом рассказывать про операцию, которую ей предстоит перенести. Я не выдержал и ушел из столовой раньше всех.

Всю эту ночь я не сомкнул глаз: я боялся утра, потому что утром будет среда – день операций! «Хотя, бы ее перенесли на следующую среду», – лежа в постели, мечтал я. Но пришло утро, и после завтрака сестры забегали, засуетились и стали по одному направлять больных в операционную.

– Аканов, пошли!– торопливо позвала сестра слепого парня и взяла его под руку.

По всему было видно, что парень сильно переживал. Он медленно надел наощупь больничные сандалии и, тяжело вздыхая, поплелся за сестрой. Я заметил, как мелко-мелко дрожали у него колени.

«Зачем я только сюда приехал?– начал сокрушаться я и тут же попытался успокоиться:– А может быть, меня не поведут на операцию? Может быть, так вылечат?..» Эти мысли не давали мне покоя. Мне стало горько и одиноко, как еще никогда не было. Я лег на кровать и весь сжался в комочек, словно застывший на морозе воробей. «Вот люди мечтают, чтоб у них то-то и то-то в доме было,– рассуждал я сам с собой.– А мне ничего не надо, вот если б только обошлось без операции!» Это была моя единственная мечта.

Время в больнице до этой среды тянулось так медленно, что, бывало, намаешься от завтрака до ужина, не зная куда себя деть. А сегодня оно бежало, как хороший иноходец, приближая страшные для меня минуты. Казалось, вот только что сестра увела на операцию Аканова, а уже ведет его обратно. Несмотря на свою слепоту, он обычно свободно гулял по палате, по залу и коридорам, выходил на улицу. Сейчас он с помощью сестры еле передвигал ноги и трясся всем телом. Лицо его с красными набухшими веками невозможно было узнать.

Сестра уложила его в постель и остановилась у моей кровати:

– Пошли, Идрисов,– сказала она, будто приглашала меня на обычную процедуру, но я вздрогнул так, будто все мое тело пронзили неожиданно иглой.

Сестра смотрела на меня так строго, что я понял: мне не открутиться на этот раз. Я, все еще на что-то надеясь, поплелся за ней. Но в комнате, перед операционной, где она стала меня переодевать, понял – это все! Операции не миновать. И начал вдруг улыбаться,

подбадривая сам себя: «Что я боюсь? Эту операцию делают и взрослым и детям! Я что, хуже других? А если бы я был на фронте и попал к фашистам в лапы?» И я с геройским видом вошел в операционную.

– Вот это жигит!– заулыбались врачи.– Я, действительно, почувствовал себя смелым, забыв на миг все страхи. Я не вспомнил о них даже тогда, когда уже лежал на столе, когда надо мной зажгли огромную яркую лампу в блестящем колпаке. Но когда на втором столе, где делали операцию женщине, раздался дикий крик, даже вопль, непохожий на человеческий, и врачи, уже склонившиеся было надо мной, бросились умирать разбушевавшуюся больную, у меня онемели и руки, и ноги, в груди стало пусто, будто там ничего нет и только гуляет холодный ветерок.

Не помню, как я сполз со стола, как очутился за дверью операционной. И только очутившись на улице, остановился, не зная, что теперь делать. Если бы на мне не было этой больничной одежды, я сейчас же поехал бы домой, не задумываясь о том, что будет со мной потом. Или выскочила бы сейчас сестра и стала меня ругать, стыдить, а я воспользовался бы этим и, отказавшись от операции, уехал тут же обратно. Но этого не случилось. За мной никто не шел, словно все обо мне просто забыли. Я еще постоял на крыльце и поплелся в свою палату.

Не успел я еще закрыть за собой дверь, как все мальчишки повскакивали с кроватей и с шумом окружили меня:

- Тебе что, операцию не делали?
- Сбежал, что ли?
- Да ты не хитри!
- Рассказывай. Что случилось?

Никому не сказав ни слова, я ничком повалился на кровать и зажал руками уши. Ко мне больше никто не приставал с расспросами. Ребята просто перестали меня замечать. И только когда все пошли на обед, кто-

то позвал из дверей: «Пойдем есть!» Но я и на это ничего не ответил.

«Может быть, так все и кончится?» – размышлял я, оставшись один. Но тут на пороге показался сам Сергей Иванович! Мне стыдно было смотреть ему в лицо, и я низко склонил голову. Решил терпеть, как бы ни ругал он меня.

– Малыш ты мой, – Сергей Иванович погладил своей мягкой большой рукой мою голову и ласково посмотрел в глаза. – Ну, что ж ты так перепугался? – У меня сразу отлегло на душе. Говорил он мягко, спокойно. Но что я мог ответить на его вопрос? Мне было стыдно, я был виноват и снова опустил голову. А он, не обращая внимания на то, что я не отвечаю на его вопросы, продолжал так же ласково спрашивать:

– Твоя фамилия Идрисов, если я не ошибаюсь. Правильно? На этот раз я молча кивнул головой.

– Где работает твой отец?

На этот вопрос я не мог не ответить:

– На фронте без вести пропал.

– А мама?

– Мама умерла, – сглотнув подступивший к горлу комок, ответил я.

Сергей Иванович смутился оттого, что напомнил о моей беде, кашлянул в кулак и отошел к окну. Постоял там немного молча, подошел ко мне и снова стал гладить по голове, словно родного сына:

– Таковую операцию мы даже малышам делаем, а ты уже совсем большой, тебе ли бояться!

Я постеснялся сказать, что боюсь, и опять промолчал. Сергей Иванович и тут не обиделся:

– Поверь мне: твою болезнь нельзя так оставлять. Бельмо закроет и второй глаз. Эта болезнь сама тебя не оставит, понимаешь? Ты должен подумать и обязательно решиться.

Я опять промолчал.

– Давай договоримся,– Сергей Иванович приподнял мою голову и ласково посмотрел мне в глаза.– В следующую среду я буду сам тебя оперировать. Согласен?

– Сами?– не поверил я, потому что уже знал, что Сергей Иванович делал только сложные операции и на такую, как моя, у него не хватает времени.

– Сам,– заулыбался он.– Договорились?– и снова погладил по голове.– А теперь иди поешь, а то там весь компот без тебя выпьют!– и направился к себе в кабинет.

– Вот здорово!– обрадовался я, кувыркнувшись через голову на кровати, и побежал в столовую, шлепая сандалиями.

И я прошел через это испытание, которого так боялся! Теперь я радовался, словно жеребенок, вырвавшийся после долгой зимы на зеленую, залитую солнцем лужайку. Уже через несколько дней мне казалось, что я никогда не боялся операции. И видел я теперь, как прежде! Я перезнакомился со всеми больными, побывал во всех уголках и закоулках этого большого здания. На улицу мне пока не разрешали выходить, и я пристрастился играть в шашки и шахматы. Больница стала для меня такой близкой, как и мой аул. А наши сестры тетя Маня, Соня, Сара, Людмила Васильевна были теперь совсем как родные.

Слепого парня из нашей палаты звали Жуман. Теперь его трудно было узнать: он стал разговорчивым, оживился, потому что хоть и смутно, но видел после первой операции свет, различал перед собой предметы и ходил совсем как зрячий. И у Калимы, той самой раскосой женщины, что напугала меня своими криками в операционной, дела шли на поправку.

В один из августовских дней, когда после обеда наступил тихий час, и в больнице стояла тишина, мы с

моим соседом Жантасом укладкой играли в шашки. Вдруг за окнами, которые выходили на улицу, послышалось урчание остановившейся у ворот больницы полуторки. Мы высунулись с Жантасом в окно и глянули на приезжих, которые стряхивали с одежды пыль.

– Издалека приехали, сразу видно, – сказал Жантас.

– Значит, из аула, – добавил я. И тут все наши «спящие» повскакивали на ноги и высунулись в окна.

– Посмотри-ка! – крикнул кто-то из ребят, – они в больницу идут!

И тут я вдруг узнал свою бабушку!

– Моя бабушка приехала! – закричал я, забыв про тихий час, и, кое-как натянув халат, кинулся к выходу.

Всем в палате захотелось посмотреть на мою бабушку, и они потянулись за мной следом. Нарушая больничную тишину, мы с шумом пронеслись через весь зал, в конце которого один мой стоптанный башмак слетел с ноги далеко в сторону. Пока я сбегал за ним и снова водворил на ногу, шумная орава мальчишек вывалила на крыльцо и с любопытством разглядывала приезжих.

Увидев меня, бабушка с громкими причитаниями заплакала:

– Родной ты мой жеребеночек! Единственный ты мой! – Потом крепко обхватила меня руками и стала целовать в лоб, в щеки, в шею. Немного успокоившись, она потребовала: – А ну-ка покажи глаза! – И увидев их прежними: радостными, улыбающимися, снова заголосоила: – Ненаглядный ты мой! Это Трапез апрацию сделал тебе, я знаю!

– Операцию, бабушка! – подсказал ей кто-то из мальчишек, но она, не обращая ни на кого внимания, продолжала плакать и обнимать меня.

Услышав шум в неурочный час, Сергей Иванович вышел на крыльцо, чтобы выяснить в чем дело. Из-за его широкой спины выглядывали медсестры. Ребята

притихли, как провинившиеся школьники, и отступили в сторону. А я сказал бабушке:

– Вот Сергей Иванович! Тот самый, Трапезников. Бабушка, услышав это имя, пошла ему навстречу.

– Ой, здравствуй, сынок!– сказала она врачу, который был почти одного с ней возраста, обняла за шею и поцеловала в лоб.

Сергей Иванович покраснел, засмутился и не знал, что сказать, потому что не понял бабушку, говорившую от волнения на родном языке. И только после того, как Ырыскельды, которого я не сразу заметил, объяснил ему, что это за женщина, Сергей Иванович громко засмеялся.

А бабушка, не останавливаясь, все благодарит его и благодарит:

– Желаю счастья тебе, Трапез-сынок! Пусть никогда не уходит счастье из твоего дома! Пусть дети твои растут счастливыми! Это я сама во всем виновата! Из-за меня Болтай чуть не ослеп!– Она посмотрела на Ырыскельды, давая понять, что виновата перед ним. Тот улыбнулся краешком губ, а бабушка продолжала:– Это мою темную голову задурил проклятый мулла и лишил моего бедного жеребеночка света белого! Спасибо тебе Трапез-сынок, что спас моего Болтая.– И она переведа дух, спросила:– А как теперь, совсем выздоровел!

– Ребята, перебивали друг друга, перевели Сергею Ивановичу эти слова.

– Через десять дней можно уже выписывать,– улыбался Сергей Иванович довольный.

– Что сказал? Все хорошо будет?– озираясь на ребят, спрашивала бабушка.– Они перевели ей хором и радостно закивали.

– Спасибо сынок,– все повторяла бабушка, не находя других слов от волнения.– Теперь и помирать можно с чистой совестью! А то ведь я места не находила себе, когда увидела бельмо! Чтоб у этих проклятых мулл глаза

заволокло бельмом! Они дурачат нас, отравляют жизнь! Они сами как бельмо в глазу!

В назначенный Сергеем Ивановичем день меня выписали из больницы, и я к вечеру же добрался домой. Я так сильно спешил, наверное, потому, что никогда еще не уезжал далеко и надолго из дома. Я думал, что так соскучиться по дому, по аулу может только солдат, который несколько лет не бывал в родных местах.

И вот, очутившись дома, я готов был обежать всех соседей, всех друзей и знакомых. Но сделать этого не удалось, потому что весь аул, заслышав о моем возвращении, пожаловал к нам в гости. Люди шли с утра до поздней ночи, и молодые, и старые. Как будто не я приехал из больницы домой, а вернулся отец с фронта. Бабушка от счастья не находила себе места: она не ходила, а летала по дому, с радостными возгласами встречала гостей и хлопотала, хлопотала без устали. Для тоя она не пожалела последнюю овцу.

– Такую же овцу я отдала проклятому Шамшуали, когда он Болтая моего «лечил»! Сейчас мне ничего не жалко!– говорила она гостям и выкладывала на стол все свои запасы.

Соседи, мои друзья и просто знакомые с любопытством разглядывали меня, расспрашивали.

– Ты погляди! Даже не видно, где зашивали,– удивлялись одни.

– Да у тебя глаза красивее стали!– не то шутили, не то просто забыли мои прежние глаза, другие.

– Да подождите вы! Пусть лучше про операцию расскажет!

– Расскажи, сынок, Расскажи – шибко больно? А то мне говорят врачи, что аппендицит резать надо,– просила старуха Калия.

Я, как Ырыскельды, который собрал всех нас в день, когда вернулся с фронта, уселся поудобнее на стул и

принялся рассказывать о своих больничных делах, смешивая правду с выдумкой, потому что в доме собралось много моих сверстников, и мне очень хотелось перед ними выглядеть героем.

– Делают операцию в темной-претемной комнате,– начал я неторопливо, обведя собравшихся взглядом.– Чтобы ни один луч не попал туда.

– Даже с иголочку?– удивился один из малышей, с которым я когда-то играл в прятки и пропорол граблями себе ноги. Но на него зашикали со всех сторон:

– Не мешай!

– Тише ты!

– Только переступил я порог,– продолжаю я,– как голова у меня закружилась, пол зашатался... не знаю, что произошло со мной. Только чувствую, будто – в воздухе я! Куда-то лечу, но ничего вокруг себя не вижу... Очнулся, когда уже лежал на столе. Прямо передо мной, сверху, лампа электрическая с человеческую голову! И она – в фаре стеклянной. Глаза невозможно открыть! Подошел врач, великан такой, Сергей Иванович. На голове – белая, как снег, шапочка, а на лице повязка марлевая. Только глаза одни видны. А глаза у него хорошие-хорошие!

– Русский, говоришь?– переспросила старуха Калия.

– Трапезников,– произнес с гордостью.– Сергей Иванович. К нему даже из Омска приезжают и из других городов! Он всякие глаза лечит. У нас был в палате Жуман, совсем слепой, а когда я уезжал, он мое лицо, хоть и близко, но рассматривал. Сказал, что запомнит теперь.

– И он совсем ничего не видел?

– Совсем! А вот сделает Сергей Иванович еще раз операцию, он, как мы с вами будет видеть!– сказал я с такой гордостью, будто это я сам буду лечить слепого Жумана.

– А руки связывают?– пыталась все разузнать бабка Калия.

– Мне не связывали!– решил я показать свое героичество.– А женщине, которой делали операцию передо мной, железной цепью перевязывали! А я сказал Сергею Ивановичу, что и так терпеть буду,– решил я еще раз похвалить себя.– И терпел!

– Вот, слышишь?– спросила Шарипа у своей трех-летней дочурки.– А ты ревешь, когда тебе укол делают.

– Ну, а дальше что?– торопили меня сидящие.

– А потом Сергей Иванович погладил меня большими мягкими руками по голове, улыбнулся: мол, держись! И сказал сестре: «Спирт!»

– Это что, спирт больному дают?

– Нет, это лицо, веки промывают, чтобы грязь не попала. Девяносто градусов! Лицо аж горит!

– Ой-ей-ей, девяносто, говоришь?– цокнула языком бабка Калия, хотя навряд ли представляла, что это такое.

– А говорили, что лекарство есть, которое сначала убивает, а потом оживляет,– поинтересовался дед Кайсар, забыв как произносится слово «наркоз».

– В те годы наши старые люди, и не только они, а пожалуй все, кто не был на фронте, думали, что любую операцию делают под наркозом. Но я, чтобы не уронить себя в глазах собравшихся, вроде бы между прочим, сказал:

– Я сам просил, чтобы не усыпляли.

– Ах ты, что значит ребенок! Сам себя терзал!– не то почувствовала, не то осудила бабушка Калия.

– А наркоз десять лет жизни отнимает у человека!– пояснил кому-то Рахат.

– Что бы там ни было, а он вернулся жив-здоров и глаза целые,– сделал вывод старый Сакен.

– А врача как, говоришь, звали?– поинтересовалась Калия.

– Сергей Иванович Трапезников!

– Хороший человек!– и старухи начали расхваливать его на все лады.

Вот так, прибавляя к истинным событиям вымысел, я и закончил свой рассказ. А уже потом, за столом, я услышал новость о мулле Шамшуали.

Вначале ни я, ни бабушка не заметили среди гостей жену Шамшуали – Каткен. Бабушка, разбрасывая из большой чаши по дастархану свежие пышные баурсаки, вдруг увидела ее:

– А ты откуда здесь? Говорили же, что вы переехали в Омск?– недовольно уставилась она на Каткен.

– А вы что, разве не слышали?– удивились соседки.– Каткен, расскажи.

Каткен не стала отказываться. Она была из тех людей, которые умели и любили рассказывать.

– Чего только я не натерпелась в своей жизни!– специально для бабушки начала она.– Не повезло мне и с Шамшуали. Пять лет прожила я с ним и никак не могла понять, что же он за человек. Пока не сгорел дом Ырыскельды.

Бабушка удивленно посмотрела на гостью, но ничего не спросила. А та продолжала:

– В тот день погода была ветреная и мне нездоровилось. Шамшуали ходил вокруг меня, ворчал, ругался, что ему попалась такая жена. Я не выдержала, поднялась, приготовила емуужин и опять легла. Среди ночи проснулась от какого-то грохота. Шамшуали в комнате нет, я выскочила в прихожую и чуть не задохнулась от керосина. В темноте ничего не видать, но слышу, что кто-то шарится в прихожей. Я вскрикнула от испуга, а это – Шамшуали! Ну, чего, говорит, раскудахталась, как наседка? Иди спать! Я керосин здесь случайно разлил, всю канистру! Я к печке – за лампой и только хотела было зажечь ее, а он как треснет меня своей ручищей! Я так и свалилась тут же, у порога. Он как заорет: «Не смей огня зажигать!» Схватил меня и швырнул на кровать. Сам пошел в прихожую и долго там плескался у раковины. А когда пришел и лег в постель, от него все равно сильно пахло керосином.

Не успела я заснуть, как в окно кто-то сильно застучал и закричал: «Пожар! Пожар!» Я хотела соскочить с постели, но он запретил вставать и при этом добавил: «Всегда горит дом, который должен гореть!»

Наутро, когда соседи сказали, что сгорел дом Ырыскельды, я не сводила глаз с Шамшуали во время еды. И думала: «Это твоя работа!» Только не хватило у меня смелости сказать ему в глаза об этом. А потом мы за один день распродали в городе весь скот и уехали. Он даже не дал мне возможности попрощаться с соседями.

Когда мы проезжали рано утром мимо сгоревшего хозяйства Ырыскельды, Шамшуали со злорадством сказал: «Вот и наказал я тебя, несчастный! Теперь будешь ходить да оглядываться!»

– Почему ж ты не выскочила из саней да не рассказала все людям?– осуждающе посмотрела на нее бабушка.

– Ой, что ты! Да разве бы он выпустил меня из своих лап? Но бог покарал его! Там, где мы жили, Шамшуали лечил одну старушку и она умерла от его «лекарств». Вот теперь и сидит он за решеткой! Будь он проклят!

– Чтоб провалился он в черную бездну!

– Теперь не встанет он на нашем пути!– принялись проклинать его старухи. И пуще всех – бабушка.

Первое сентября. Только что взошло солнце и проснулась степь. Пробудился аул. На его окраине неторопливо бредет стадо. Пастух гонит его на пастбище. Машины, наполненные золотистым зерном, спешат в райцентр на элеватор. Механизаторы хлопчут у своих комбайнов в ожидании, когда солнце подсушит росу, и они поведут их по ниве. На фермах, на колхозном дворе – всюду началась работа.

И только одно большое белое здание на пригорке, залитом солнцем, еще не наполнилось голосами. Это

новая школа, и в такой утренний час ей еще рано распахивать двери для шумной, непоседливой ребятни. Но вот бежит подросток в белой рубашке и красном галстуке. Он радостно подпрыгивает то на одной, то на другой ноге, бросает вверх портфель, подхватывает его на лету и весело смеется. В три прыжка заскочив на высокое крыльцо, он распахивает двери, бежит через зал, входит в класс, останавливается на пороге и во весь голос кричит: «Здорово, ребята!» Пустое просторное помещение отвечает ему на приветствие. Он кладет портфель на первую парту, но вдруг, рассмеявшись, направляется к самой последней. «С таким ростом, – усмехается он, – я среди этих малышей дядей Степой буду»»

Оставив портфель, он мчится на улицу, чтобы встретить своих друзей, по которым так соскучился!

ПОСЛЕДНЯЯ БАЙГА КУЛАГЕРА

Уже перевалило за полдень, и жара начала понемногу спадать, когда участники скачек добрались до старта. Ребята сошли с коней и размялись, а айдаучи – погонщики – с большим трудом выстроили в ряд пятьсот лошадей. Строй развернулся далеко-далеко, а всадники, уже сидя на конях, еще раз проверили сбруи и снаряжение, не отрывая глаз от большого, с квадратный метр, платка в руке главного айдаучи. Кони стояли, нетерпеливо перебирая ногами, били копытами землю, ржали и грызли удила.

Платок поднялся вверх, повис в воздухе и резко опустился книзу. Пятьсот скакунов, словно наступившие пожаром, рванулись и, казалось, что свод небесный закачался и земля содрогнулась от гулко-го стука двух тысяч копыт, а чистый воздух помутнел от пыли, поднятой скачущей ордой. Живой клубок коней, как осенняя туча, гонимая бурей, понесся вниз к Ереймену, к озеру Кусак. Две тысячи копыт так заиграли по твердой земле, что казалось, на бурной реке прорвало плотину. Лавина, пенясь гривами, ринулась вниз, изгибаясь, словно сказочный дракон. Кони, как волны, растекались по желтой равнине. От стука тысячи сердец – у скакунов и мальчишек-всадников – земля гулко вздрагивала в такт.

За столбами пыли, опускавшимися на траву, были едва различимы контуры отставших лошадей. Но

большая их часть летела вперед, то сбиваясь вместе, то растекаясь поодиночке, а несколько сразу же вырвались и опередили остальных. Развевающимися на бегу хвостами кони как будто взбивали воздух в пену. Четыре смерча, вырвавшись в разных концах из строя, сблизилась и понеслись рядом. На гладкой, как доска, равнине эти четыре стремительных разноцветных пятна, горящих на солнце, были похожи на комья верблюжьей шерсти, окрашенные хной. Казалось, что позади них разверзлась земля, а из трещин вьется тонкий дымок...

Рядом скакали четыре мальчика в красном, зеленом, синем и желтом платках, стремя к стремени, бок о бок. Словно радуга после дождя, они изогнулись дугой и скрылись за перевалом.

Четыреста девяносто шесть лошадей, двигавшиеся плотной стеной к подъему, стали делиться на группы. Передние уже спустились в низину, а остальные только начали подъем, как вдруг далеко впереди, в следующей низине, взметнулись клубы пыли.

Четыре скакуна, которые мчались впереди всех, были Кулай-кок и Топай-кок Батраша, пегий из Алатау и Кокжуйрук из Нарына. Мальчик, сидевший на Кулай-коке, озирался, поблескивая злобными мышинными глазами. Обнаружив, что Кулагера¹ поблизости нет, он успокоился, но не отпустил поводья и шел стремя в стремя с Топай-коком. Этому их научили до скачек, ведь от двух лошадей гуще пыль.

Кулагер шел сразу за этой четверкой. Он держался на расстоянии, чтобы пыль до нее успела рассеяться, а задним было его все равно не догнать. Монке хотел было перевести коня вправо, на самый край, но не смог уловить, с какой стороны дует ветер, который к заходу солнца притих и на скаку был почти неощутим. Пыль, поднятая копытами, не рассеялась и долго висела над

¹Легендарный конь поэта, композитора Ахана-сери.

степью, как пуховая серая шаль. К тому же следом за Кулагером мчались еще с десятков коней. Они то вырывались наголову вперед, то отставали и держались позади. Некоторых из них Монке узнал. На вспотевшие крупы коней легла пыль, и стало трудно угадать их масть, чалый это или пегий, каурый или игрневый.

Монке сперва был недоволен своим конем, и в душу его закралось сомнение. Кулагер часто фыркал и будто сам себя придерживал. Монке хотел держаться в первом ряду, зажал было ему бока коленями, но Кулагер не прибавил ходу. Мальчику хотелось ударить камчой по крупу коня, но он помнил настойчивый наказ Ахана: только не вздумай бить камчой Кулагера!

Монке скоро понял, что эти скачки не имеют ничего общего с обычными, устраиваемыми между аулами, в которых он не раз участвовал. Тут нельзя было придерживать коня, а затем пустить его, чтобы вырваться вперед. В этом состязании выиграет тот, у кого хватит сил и выдержки на все шестьдесят верст. Каждый из пятисот коней, участвующий в этих скачках, – прославленный скакун в своем краю, всегда получавший там первые призы.

Монке то и дело озирался, чтобы определить характер местности, и по правую сторону увидел густые заросли чилика. Это означало, что они прошли тридцать верст и одолели половину пути.

Настроение мальчика поднялось, и вспотевшая спина выпрямилась. В голове его зазвучала горделивая песня Ахана. Кулагер разошелся, тело его словно удлинилось и стало легче. Конь рвал поводья, грыз удила, холка его откинулась назад, морда вытянулась, и, разрывая воздух, он летел вперед. Монке до этого слабо держал поводья, а теперь накрутил их на руку и стал придерживать коня. Кулагер, словно озлясь на мальчика, широко раскрыл пасть. Монке оглядел плотный ряд летящих слева от него коней и заметил, что хотя они и не сбавили хода, однако с крупов,

покрытых пылью, обильно стекает пот. Мальчик понял, что этим коням стало трудно бежать.

Постепенно Монке поотпустил намотанный на руку повод. Кулагер вырвался из ряда и полетел вдогонку четверке, опередившей их на значительное расстояние.

Монке с детства привык скакать на самых разных лошадях, но Кулагер его удивил. Когда лошадь бежит вскачь, то грива ее обычно шумит, и при каждом броске вперед в ушах всадника свистит ветер. У Кулагера шелковая грива вытянулась назад и неподвижно висела в воздухе, а встречный ветер ровно дул Монке в лицо. Волчий бег Кулагера был ровным, словно нить, пропущенная сквозь игольное ушко.

Вскоре Кулагер догнал переднюю четверку. Какое-то время Монке держался в хвосте Кулай-кока, потом потихоньку отпустил повод Кулагера, поравнялся с ним. Кулай-кок, несшийся с раздутыми ноздрями, краем глаз неодобрительно скопился на чужого коня. Черный мальчишка, в легких сапожках с длинными, до бедер, голенищами, тоже злобно смерил Монке и его коня взглядом. Он узнал Кулагера. Четверка лошадей была уже в черном поту, а на крупах заметны были белые хлопья пены. У пестрого коня пена слетала и с губ. Монке положил ладонь на спину Кулагера. Спина была горячеей, но не потной. Пот только-только начинал выступать.

Мальчик, скакавший на Кулай-коке, взглядом подал знак всаднику Топай-кока, и тот, вырвавшийся вперед, зашел Кулагеру справа. Они стали с двух сторон зажимать Монке.

Монке улыбнулся мальчику с Кулай-кока. Они обменялись взглядами. Смуглый мальчик впивался глазами в Монке, дыхание его было прерывистым, и он с радостью бы застрелил соперника, если бы было чем. Глаза его сверкали от ярости.

Они долго скакали рядом, враждуя взглядами. У черного мальчика во всей вселенной был сейчас

только один враг – Монке. В глазах этого ребенка, скакавшего на коне Батраша, не проглядывало ничего детского. Весь его облик выражал лишь одно желание: хоть бы тебя постигла божья кара и конь твой споткнулся и сломал себе шею! Монке чувствовал его вражду, но был уверен, что Кулагер только сейчас разошелся и всех обгонит. Тот, кто побеждает, всегда добрее. Взгляд Монке говорил сопернику, что незачем ему желать зла: «Я все равно тебя обгону, а ты отстанешь. Хоть лопни, а это так. Еще немного, и ты не увидишь даже моей пыли».

Хоть дети только дети, но на скачках они соперники. Неприязнь к сопернику, зависть к победителю – все это в самой природе всякого состязания, его непреложный закон.

Пять скакунов мчали рядом, не разделяясь. Четверо из них были уже в белой пене, и всадникам приходилось то и дело наклоняться, чтобы вытереть лошадям глаза. Монке положил ладонь на шею Кулагеру, она была мокрая. Под потником тело пылало жаром, да и колени и ляжки нагрелись и стали потеть. А с остальных четверых лошадей встречный ветер срывал с боков хлопья пены.

Двое мальчиков на конях Батраша сначала робели перед Монке, который был старше их, но затем стали все сильнее прижимать его с боков. Стремя Топай-кока со звоном ударило о стремя Кулагера. Десятилетний мальчик явно продел ногу между сырмятными лентами, на которых держалось стремя, чтобы задеть Кулагера. Монке сделал вид, что ничего не заметил. Командовал наскоками на Монке мальчик, скакавший на Кулай-коке. Он угрожающе помахивал камчой с медной головкой на черенке – враг, да и только!.. Будь вместо Монке их сверстник, эти двое совсем зажали бы Кулагера с обеих сторон и огрели камчой. Батраш научил их такой грубой уловке. А в десяти шагах, вровень с ними скакал на пегом коне легкий, кроткий на вид мальчишка. Ему не было дела до четверых, ненавидевших друг друга соперников. Этот всадник

был занят самим собой, брови его были нахмурены, и, схватившись за луку седла, он неотрывно глядел вперед. Монке разглядел, что это была девочка, одетая мальчиком, – девочка из племени уйсунь.

Монке только теперь узнал и черного мальчика. Это был сын Батраша, очень похожий на отца, его глаза глубоко сидели у самой переносицы. Желая отомстить за обиду, которую ему нанес Батраш, Монке крикнул:

– Эй, бала, твой конь устал! Не мучай зря ни себя, ни его! Не гони, а то у обоих легкие почернеют!

Мальчик побагровел, но, стиснув зубы, молчал. Только камчой замахнулся. Хотел было ударить, но не решился, понимая, что Монке сбросит его тогда с седла.

– Не сердись, я сейчас уйду!– крикнул Монке, наклоняясь к уху мальчика, и огляделся. Впереди, в трех-четырёх верстах, чернела ложбина Кок-узек.– Иа, сят! Удачи вам!– закричал Монке.– Ну, прощайте!– И прижав колени к крупу коня, ринулся вперед.

Кулагер летел, стелясь над землей. За ним, извиваясь, тянулось облако пыли. Четверо мальчиков, как по команде ударили коней камчами и полетели вихрем, голова в голову. А Кулагер, легко оторвавшись от них, пропадал черной точкой вдали, оставляя за собой лишь поднятую его копытами пыль.

Глаза Монке заслезились, он наклонился вперед и почти лег на седле, крепко держа повод и тесно прижимаясь к коню. В ушах его свистел ветер, и он ничего не слышал, кроме дробного стука копыт.

Опередив четыреста девяносто девять лучших степных скакунов, Кулагер, словно летящая комета, начал стремительно спускаться в лощину Кок-узек.

У подножья Ереймена в напряженном ожидании стояла толпа. Люди вглядывались в даль. Слышались возгласы:

– Показались!

– Кони, кони!

– Пыль столбом!

Все повскакали с земли и засуетились. Никто больше не обращал внимания на последних борцов – двух молодых парней, продолжавших схватку. Человек сто вскочили на коней и устремились туда, откуда должны были появиться участники скачек. Поставленные для охраны порядка могучие солдаты ояза с толстыми плетями в руках стали отгонять людей назад, наезжая конями на толпу.

Вечерело. Зрители, оглашавшие округу своим ревом, теперь поутихли. Приставив ладони к глазам козырьком, они продолжали вглядываться в даль.

С высоты Ереймена была хорошо видна глубокая и плоская лощина. За ней виднелись десяток оврагов, ручьи, кусты и камни. На косогоре, по ту сторону лощины, появилась тонкая полоска пыли и стала быстро расти.

Люди в толпе, перебивая друг друга, выкрикивали предположения об исходе скачек и пожелания участникам, которых они хотели видеть победителями. Называли Кулай-кока, Казмойына и других коней, но чаще всего звучало имя Кулагера. Все это делалось наугад, никто еще не мог различить коней. Но когда оторвавшаяся ото всех черная точка приблизилась к Кок-узеку, Ахан узнал своего коня. Да, это был он, Кулагер, его бег, его неизменная летучесть. Чем ближе была цель, тем быстрее он несся. Шлейф пыли, тянувшийся за ним змейкой, упал в Кок-узек, и конь скрылся из глаз сери, стоявшего с пылающим от волнения щеками.

Но как только пыль рассеялась, стало видно, что четыре коня спустились рядом в Кок-узек. Люди теперь волновались пуще прежнего. Задние напирали на передних, толкали друг друга плечами, вытягивали головы и чуть было не смяли шеренгу солдат ояза, удерживающих их на месте.

По мере того как выскакивали из-за горизонта группы лошадей, одно облако пыли сливалось с другим. Раскаленное докрасна солнце как-то сразу скрылось, и все померкло, словно затянуло серой пеленой пыли. Запад, догорая, еще тлел алым огнем. Небо пылало закатными лучами, уже не падавшими на землю. Исторгая черный дым, глубокая лощина кипела, словно исполинский казан.

Спустя какое-то время из лощины, словно лисьи уши, возникла четверка скакунов. Толпу снова охватило волнение:

- Ай, а где тот одинокий конь?
- Шел впереди, куда девался.
- Что случилось?
- Споткнулся?
- Упал?
- Отстал?
- Вон он...
- Нет, это не он!
- Беда случилась!..
- Беда!

Когда Ахан увидел четырех скакунов, на спине у него выступил холодный пот, дыхание стеснилось, ему не хватало воздуха.

«Апырай, что же случилось? Может, идет среди этих? Но нет, ни один не похож. Где же мой Кулагер? Где светоч глаз, где крылья мои? Где? Какая тебя подстерегла беда? – пронеслось в его голове. – Апырай, что это сердце так забилося? Рвется вон из груди. Спокойней, Ахан спокойней... Что это? Мир рушится?! Потерпи, Ахан, потерпи. Отчего вдруг потемнело небо? Где – земля а где – небо? О чем шумит народ? Зовут Кулагера!.. крыло мое, ангел мой, Кулагер!..»

Четверо скакунов из последних сил рвались вперед. Они мчались голова к голове, но под балкой финиша один из них проскочил раньше других. С боков его

хлопьями летела пена, ноги шли вразброс, так он выбился из сил. Сын Батраша истошно вопил:

– Тортаул, бегайдар-ар!¹

Это он первым проскочил на Кулай-коке, голой пяткой колота коня по легким.

– Бахтияр, Акшабдар!² – это второй пришла девочка-уйсунка.

Дорога, по которой мчались скакуны, потонула в суете и пыли. Распаренные, охрипшие от крика участники скачек до глубоких сумерек проносились по ней под возгласы своих сородичей. Но никто не крикнул: «Каракай!» – родовой клич, которым обычно встречали Кулагера. Раздались возгласы:

– А где Кулагер?

– Я тоже ставил на Кулай-кока!

– А Кулагер!

– Кулагер твой остался кизяк собирать.

– Ах-ха-ха!

– Да ну... Беда с ним, не иначе...

Ахан ничего не видел и не слышал. Уши его будто заложило, глаза застлала пелена, в голове шумело, он отпустил поводья коня и помчался прямо на закат.

Из-за горы Ереймена выскочила огромная туча и раскрыла свои крылья, как исполинский беркут, готовый подхватить людей вместе с конями. Стало душно. Чувствовалось приближение дождя. Уже совсем стемнело, и на рыхлую землю, затопанную копытами пятисот лошадей, словно слезы акына, стали падать с неба теплые капли.

Монке скакал впереди всех, и попытался придержать Кулагера у спуска в овраг. Несясь по краю размытой осенними паводками дороги, перепрыгивая через ямы и ухабы, Кулагер заметил справа от себя словно из-под земли выросшего всадника на черном коне. Но, увидев его, Кулагер не испугался. На байге

^{1,2}Родовые кличи.

всадники часто приставали в пути к соревнующимся и, проскакав немного рядом, «взяв знак», отставали.

– Подними поводья, подними!– услышал Монке гнусный крик человека, скакавшего рядом с ним.

Монке не поверил своим глазам: чужак, кажется, протянул руку за поводьями Кулагера! Но Монке его неправильно понял. Рука, протянутая к Кулагеру, оказалась секирой... Она поднялась, блеснула в воздухе и с силой ударила Кулагера по голове возле уха. Кулагер бешено мотнул головой, из глаз его посыпались искры, и он на полном скаку рухнул наземь. Он даже не почувствовал, как с него слетел Монке. За всю свою жизнь конь никогда не спотыкался, ни разу не падал. А теперь ноги его заплелись. Но где Монке? Жив ли бедняга?

Кулагер вскочил и отряхнулся. Он не заметил, как из пасти его вырвалось громкое ржание. Раздирающий душу вопль коня огласил лощину. Поодаль от него с трудом поднимался Монке. У Кулагера дрожало все тело; волоча поводья, он сделал было шаг к мальчику, но снова упал. Сел на задние ноги и опять повалился. В голове гудело, земля под ним вздыбилась и закружилась. В затуманенных глазах мелькнуло синее, как лед Есиля, небо и навалилось на него. А потом небо стало багровым, и все потонуло в крови. Кровь струилась со лба Кулагера, застилала его глаза. Из его горла снова вырвался яростный крик.

Но вот конь услышал дальний топот копыт. Но ни один из скакунов, ни один из всадников ни на миг не задержал своего бега, увидев лежащего Кулагера. Перескакивая через него, они без оглядки мчались дальше.

«Что же это? Как?– пронеслось в голове Кулагера. Когда у воробья падает из гнезда птенец, подмыв под себя крылья, всадник соскакивает с коня, поднимает птенца и кладет обратно в гнездо. Неужели я, Кулагер, хуже воробья? Да это скачут дети, что с них спросишь?.. Жаль только, что они прискачут раньше меня...»

Кулагер попытался снова подняться, но занемевшее тело не подчинилось ему. Он с трудом поднял голову и заржал. В последний раз заржал Кулагер. Голова его упала в густеющую лужу его собственной крови. Теряя последние силы, Кулагер снова, уже как в тумане, пытался что-то вспоминать... А мимо него с топотом пролетали кони.

«Где хозяин?– пронеслось в голове умирающего коня.– Дорогой мой хозяин ждет меня, не дожидется... Неужели я не смогу больше скакать? Я только-только набрал полную силу, и шаг мой стал широк, как ни у кого. Ведь как привольно нестись по степи, споря с резвыми скакунами. Молнией проскочить перед толпой, услышав ее восторженный рев, – какая же это радость! Пусть ты готов упасть от усталости, но крики людей, их восторг поднимают тебя, как на крыльях, хоть снова скачки. Эх, человеческий голос! Какая дивная, сладкая у тебя власть...»

Но как же мог человек зарубить коня на скаку?.. Секирой? Он взмахнул и ударил ею наотмашь. Так жестоко... Человек может так поступить со степным хищником, со своим врагом и врагом его скота... Но с конем? Если конь дикий или ленивый, его, правда, бьют в наказание камчой. Зато потом дают корм и поят. Однажды он видел под Караталом, как несколько человек кружили с ножами возле лошади, лежавшей, задрвав все четыре ноги, распарывали ей брюхо, разделявали на части. Как ее убили? Кулагер этого не знал. Ахан тогда его увел, чтобы конь не видел крови.

Человек всемогущ, человек учит животное, как ему жить. Когда Кулагер был жеребенком, на урочище Малый Карой он пасся всегда один. Он полеживал в стороне от табуна на белом снегу, подставив лоб ветру. Дети иногда пытались накинуть на него курук. Среди большого табуна коня поймать легко. Но скакавший отдельно жеребенок не давался в руки. С утра до вечера он изматывал детей, которые гонялись за ним, и,

наконец, оставив их далеко в степи, возвращался в свой табун. Взрослые остерегали детей, чтобы они не гонялись за жеребенком, не то он совсем одичает. Видя других лошадей под всадниками, пегий жеребенок боялся, что и на него сядут верхом.

Тогда он был тайем – двухлеткой. Но вот и настал его час: табунщики поймали его хитростью, силой надели на голову уздечку и, пригнув оба уха к земле, посадили на него верхом жигита. Жеребенок брыкался, подпрыгивал, старался сбросить с себя человека, сидевшего на нем без седла. Он пробовал даже упасть на спину. Но табунщик острым бичом стегнул его несколько раз, не выпуская из рук длинного волосяного аркана, и снова посадил жигита. Еще никогда до этого не бил жеребенка человек. А жигит, крепко обхватив его ногами, вцепился руками ему в гриву и не собирался отпускать. Под мышками стало щекотно, и жеребенок стал носиться по кругу, натягивая волосяной аркан. Когда у него закружилась голова, аркан отвязали. Почуввав свободу, тай визгливо заржал и без оглядки помчался в степь. Мать его, серая кобылица, пасшаяся в косяке, подняла голову, услышав его крик, негромко всхрапнула, словно утешая сына: ничего, мол, мой баловень, такова уж наша лошадиная доля. И вновь стала щипать сочные травы.

Освободившись от первого седока, тай как безумный скакал по степи, носясь с одного холма на другой. Когда солнце поднялось над головой, из-под густых зарослей таволги выскочила косуля, отбившаяся от стада, и пустилась бежать. Тай, у которого на губах еще материнское молоко не обсохло, – ему давали сосать дольше, чем обычным жеребяткам, – сразу забыв о недавней ноше, о ненавистном седоке, долго по-детски состязался с ней в беге. Но косуле наконец это надоело, она круто свернула и скрылась в зарослях кизила, а разгоряченный тай понесся дальше. Из своих гнезд поднялись

и низко полетели итала – гуси, – жеребенок долго мчался вместе с ними, и лишь когда гуси взметнули ввысь, тай, не сбавляя бега, понесся к аулу.

Покачиваясь от усталости, он появился там лишь к вечеру, когда люди садились ужинать. Дня через три-четыре он уже присмирел. Однако к уздечке так и не смог привыкнуть. Терпкий вкус железа во рту был ему противен и он еще долго со скрипом жевал удила и, не зная, куда девать язык, широко разевал пасть. В конце концов он привык и к этому. Табунщики проявляли к нему особое внимание и холили его. Если кто-нибудь на него садился, то погонял только коленями, и его никогда не били камчой. Нет, человек добр, очень добр! – считал Кулагер.

Судьба его решилась, когда он стал кунаном – трехлеткой. Из-под пегой шерсти на спине стали пробиваться золотистые островки, и теперь его стали звать не кула-тай, а кер-кунан, чальный, а потом и Кулагер – пегий с чалым. Однажды пришел сынши – знаток и ценитель лошадей – по имени Ельторы, долго разглядывал его и спереди и сзади, поднимал ему ноги, осматривал копыта, гриву и хвост, цокал языком и, чтоб не сглазить, сплевывал. После этого нашлось много желающих заполучить Кулагера себе.

В конце концов его нынешний хозяин Ахан купил его у человека по имени Шакетай и отдал за коня немало.

Новый хозяин был доброй души. Он лелеял кер-кунана, как сына. Дома, в Каратале, он выкопал для него специальный колодец. В знойные летние дни Ахан не поил коня теплой озерной водой, а давал ему студеною прозрачную колодезную, поднимая ее бадьей. Каждый день водил он коня на озеро Сары-коль, купал, мыл его мылом и расчесывал гриву и хвост.

Коня сперва, отпуская пасть, спутывали или стреножили. Потом его приучили к хозяину. Впервые вкус сахара он узнал из рук Ахана. Вскоре, услышав его

голос, кер-кунан мчался к нему и начинал с ним играть. Осторожно шевеля губами, чтобы не причинить ему боли, он кусал уши хозяину, хватал его борик, убегал. Конь привязался к хозяину всей душой. Тогда же он стал участвовать в аульных скачках и всегда приходил первым.

Зима выдалась снежная. Кулагер теперь стал доненом – четырехлетней. Хозяин построил для него отдельную конюшню из березы и обнес ее стеной из снежных глыб. Целые дни они теперь проводили на охоте, откуда Кулагер возвращался весь в черном поту. Чтобы конь не заболел чесоткой, хозяин привязывал его на лютom морозе с высоко задранной головой, а за полночь заводил в холодную конюшню до утра. Ахан сам не спал в такие ночи и часто приходил вытирать иней со спины Кулагера, снимать с его ноздрей наледь, расчесывать заиндевевшую гриву и хвост. А когда в теплых курятниках, хлопая крыльями, начинали кричать петухи, сам выводил коня на водопой, бросал ему корм на снег, накрывал толстой теплой попоной, ласково хлопал по шее и только тогда уходил спать...

Летом Кулагер совершил свой первый дальний переход и участвовал в больших скачках, в байге. Конь пришел первым, но испугался людей на финише, с криками восторга подбежавшими к нему, и ускакал в степь. На быстрой черной кобылице Ахан пустился за ним вдогонку, подзывал его свистом, но Кулагер, не слушаясь хозяина, продолжал мчаться прочь. Ахан рассердился на коня. Но когда хозяин его настиг, Кулагер, дрожа всем телом, стоял, боясь, что его станут бить камчой. Однако Ахан и тогда его не ударил, а только огорченно пожурил:

– Эх, ты, крылышко мое, разве можно так пугаться людей? Разве я тебя этому учил?

Потом Ахан забыл о проступке коня. Кулагер стал уже бесты, то есть достиг пятилетнего возраста. На тех первых больших скачках его прозвали Уркеккер –

пугливый пегий. Но это был первый и последний его испуг. С тех пор он не пугался ни одинокого человека, ни шумной толпы.

Кулагер хорошо знал свою кличку. Он не раз слышал ее от хозяина и усвоил, что это его имя, хотя Ахан, лаская его, называл и всякими другими именами: мой чалый верблюжонок, плавный ход, сказочный конь, но как он его ни окликал, Кулагер сразу подходил к нему и клал голову хозяину на плечо.

Какие чудесные песни посвящал Кулагеру его сери! Когда Ахан верхом на нем пел своим мягким, проникающим в душу голосом «Манмангер», конь раскачивал его в такт песне, помахивая хвостом, и шел особенной походкой.

Хозяин надевал на коня красивую сбрую и ездил по аулам, где жили красивые девушки. Тех, с которыми был знаком Ахан, Кулагер безошибочно узнавал. Они радовались коню, обнимали его за шею и, подражая хозяину, нюхали его лоб. Они привязывали его челке талисманы – перья филина. Как ни льнули девушки к Ахану, ему, оказывалось, с ними не везло. Кулагер судил об этом по его насупленным бровям. Но как бы ни горевал хозяин, как бы он ни был рассержен, он никогда не вымещал своей досады на коне, никогда его не бил. После того первого раза, когда он отведал камчи, больше этого он не испытывал и начисто забыл, что такое боль от удара. Вначале конь пугался, видя, что в руках хозяина взметнулась камча, и бросался вскачь, а потом привык. Он скоро понял, что хозяин носил камчу только как украшение. Все желания Ахана Кулагер угадывал по малейшему движению его колен, никогда не причинявших ему боли. Вот как добр человек! Для коня нет более близкого друга, чем человек.

Так что же случилось теперь, откуда пришелся удар по голове? Как мог человек так поступить?

Может быть, в него ударила молния? Несколько лет назад возле Жыланды на глазах у Кулагера погибла

кобылица. Раздался страшный грохот, небо расколосось, все вокруг на мгновение стало белым-бело, и красная кобылица, что паслась под дождем, тут же рухнула наземь. Жеребенок, который прятался под ее брюхом, остался жив и, взвизгнув, в ужасе бросился бежать.

Но ведь сегодня небо было ясным... Откуда же могла взяться молния? И все же человек так не мог поступить. Ведь, не боясь нависших копыт, он, рискуя жизнью, разнимает двух дерущихся жеребцов. Кулагер твердо знал, что человек не способен на коварство, что он рожден, чтобы делать животным добро...

Эти мысли беспорядочно проносились в голове Кулагера. Перед его затуманенным взором обрывками возникала вся его жизнь. Монке очнулся и, хромя, подошел к коню. Он уткнулся в него, словно жеребенок. Мальчик разорвал на себе рубашку, которую ему по дороге купил Ахан и приложил ее к виску Кулагера, пытаясь остановить кровь, и рыдал, как верблюжонок. Дыхание Кулагера стало прерывистым. В груди послышался хрип. Ливень, пронесшийся над степью, смыл с его глаз кровь, и Кулагер в последний раз взглянул в темное небо. Он попытался напоследок заржать, призывая Ахана. Но хотя губы его шевелились, звука уже не было. Его сковало, и он стал деревенеть.

Издали донесся конский топот, а потом Кулагер у самого уха все же услышал дрожащий голос хозяина:

– Карагым! Канатым! Свет! Крыло мое!

Кулагер через силу поднял голову и подставил морду рукам хозяина, который кубарем скатился с коня и опустился перед ним на колени. Одежда на Ахане была мокрой, будто вымочена слезами, струившимися из его глаз. Кулагер пытался заржать. Он хотел сказать: «А, добрался, нашел меня... Не оставил меня одного в степи, успел... Что ж, настигла меня смерть... Теперь береги хоть себя...»

Однако на этот раз из его губ не вырвалось ни звука, они только слегка пошевелились и замерли, полуоткрытые. Но Ахан все понял. Ахан услышал то, что на прощание хотел ему сказать Кулагер...

Судорожно дернулись копыта. Кулагер вытянулся и замер. В открытых глазах поблескивала кровавая слеза, так и не успевшая скатиться. Эта слеза коня дрогнула и будто ожила, когда на нее упала слеза Ахана. Сери глухо вскрикнул и в отчаянии закрыл безжизненные глаза своего верного друга, с которым десять лет был неразлучен.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ ОРЛА КАРАТОРГАЙ

Ахан проснулся от громкого птичьего писка. Узнал сразу по голосу: это верещал старый беркут его Караторгай. Ахан молчал, глубоко задумавшись о чем-то. Вот беркут еще раз пролетел над кошом, продолжая пищать. Еще круг..

На этот раз он коснулся коша¹ крылом и больше уже не возвращался. «Сесть не может. Бедный Караторгай состарился, стал немощным. Усох весь, съежился, силенок теперь у старого орла, небось, не больше, чем у кобчика. Птица старится подобно человеку: прежде всего глаза теряют блеск и остроту, мускулы, когда-то налитые и эластичные, становятся дряблыми, жилы слабеют. С потерей сил, переливавшиеся когда-то перья редуют, становятся тусклыми, торчат как попало. Нынче беркут толком и не слинял, как раньше. Мертвый пух не выпал полностью до самой осени. Крылья облезли, хвостовые перья стали совсем жидкими, будто беркута общипали...»

Теперь грозная когда-то птица, без колпачка на клюве, целыми днями прыгала, как сорока, на двух ногах возле очага, поклевывая отброски пищи.

¹Кош – маленькая юрта-палатка.

Иногда, словно боясь света, забивается в самый темный угол коша, за ручной сундучок и долго лежит там, пока Ахан не вытащит его на свет. И это беркут, чей размах крыльев был намного длиннее размаха человеческих рук!

Сегодня Ахан тоже посадил беркута на край повозки возле коша. Теперь он не то, что в былые годы, не постукивает грозно клювом, не взмахивает крыльями, пытаясь взлететь. Если он раньше, паря под самым куполом небес, похожий на точку, мог безошибочно разглядеть пуговицу на земле, то теперь, подобно подслеповатому старцу с бельмами на глазах, лишь смутно различающему то, что находится перед самым носом, Караторгай тянет шею к земле, пытаясь что-то разглядеть, но, боясь спрыгнуть, крепче сжимает пожелтевшими когтями деревянный выступ повозки и засыпает. Потускневшие влажные глаза его то закрываются, то открываются и вдруг он испуганно вздрагивает и поспешно поправляется как петух, сорвавшийся с насеста. Посидит, лениво уставившись в одну точку в каком-то забытии и опять задремывает. Неспособную уже самостоятельно взлететь жалкую птицу Ахан сегодня тоже снял с телеги и, покачав, подбросил с рук повыше, чтоб она хоть немного размяла крылья. Беркуту, повисшему в воздухе, невольно пришлось махать крыльями и вскоре он поднялся в небо. И хотя взмыл он не так высоко, как делал раньше, Караторгай расправил крылья и, паря как коршун, стал делать большие круги. Это тоже обычное занятие для него. С наступлением вечера снижается и возвращается к кошу.

«Должно быть, крылья устали у бедняги, но сесть боится, уже не раз садился неудачно, вот и пищит со страху. А сейчас, наверное, опять набрал высоту».

Прошло время, достаточное для того, чтобы вскипятить молоко. Ахан лежит и молчит. Как далекий мираж перед его глазами проплыли дни молодости, когда он

вел жизнь сери, веселую и беззаботную и напропалую охотился с этим беркутом, подаренным ему Алибеком. Как постарел Караторгай! Эта мысль постоянно вызывала у Ахана в душе печаль и огорчение. Где-то в глубине памяти жила некая мелодия, которую он забыл уже давно. Но вот услышал он крик орла, и она вновь всплыла. Причем ни начала у нее, ни конца, а просто как навязчивая тень песня: «Ты кричишь, бедняга, не в силах приземлиться...» И все, на этом песня обрывается. На сей раз она, кажется, нежная, плавная, издали накатила на певца, едва трогая печальные струны сердца, и опять рассыпалась, исчезла. Иногда она появляется неожиданно и кажется Ахану чужой, уже слышанной от кого-то и тогда его сердце равнодушно молчит. Но бесследно песня эта не исчезает, нет-нет да пролетит, обдав грудь тихим веянием как крыло летучей мыши в ночи. «Ты кричишь над землею, бедняга...» Ну, а дальше что?!. Ахан разозлился. Его бесило, что эта бессмысленная, бесполезная мелодия с какой-то строкой слов никчемной вертится в голове, и он никак не может от нее избавиться. Так злятся на старого друга, которого ждешь один в степи, а он не идет, хотя и обещал быть.

Ахан ворочался с боку набок, песня эта жгла его, как уголек, попавший за пазуху, и вдруг он услышал резкий орлиный клекот примерно на той высоте, где сейчас мог летать Караторгай. И такой же молодецкий и грозный какой издавал Караторгай, когда был ухожен и молод. Четкий и властный звук, который, казалось, разрезал осеннее чистое небо, как клинок. Ахан не заметил, как вскочил и выбежал наружу. Сердце сжалось – не то от страха, не то от радости. Если бы беркут, собрав все силы, решился на свою последнюю орлиную охоту, то как Ахан порадовался бы за старого друга!.. А боялся он другого: истинные орлы, прощаясь с хозяином перед своей смертью, издают именно такой звук...

Нет, на этот раз клеток издала другая птица. Откинув голову, Ахан всматривался в глубокое небо и увидел, что к Караторгаю стремительно подлетела незнакомая птица, слегка коснувшись его крылом и тут же, по кривой, легко взмыла вверх. «Совсем юный птенец орла. Дикий, должно быть», решил Ахан. Орленок – точь-в-точь как Караторгай в молодости – с громким треском складывает крылья в вышине и стрелой падает вниз и в тот же миг, словно выгнувшись, набирает высоту. Орлы играли в такой вышине, что снизу казались двумя родинками на лице небес.

Увлекаемый юным собратом Караторгай изо всех сил старался не отстать от него и они удалялись все больше в сторону леса...

Тихий полдень. В степи ни ветерка. На глади Косколя даже ряби нет. Молчат и птицы. «Должно быть, вернулись с мест кормления и теперь на заводях в середине озера тихо выцеживают водоросли». Лишь несколько птиц – кезкуйруки и куладыны – кружат над своими гнездами, оберегая птенцов.

На ближнем берегу сидит Ыбан. Голая спина его поблескивает, когда он наклоняется вперед и откидывается назад. «Стирает, бедный мальчик». Ахан не спеша подошел и остановился позади него. Глухонемой сын его не услышал, как он подошел. На берегу, на траве с усыхающими стеблями лежат несколько мокрых рубашек – Ахана и Ыбана, старое, вылинявшее шелковое одеяло.

Ыбан стал тащить из чистой воды, налитой в широкий астау (корыто) толстое одеяло, подбитое шегренем. У худого, невеселого с лица мальчишки и движения ленивы. Он стал выжимать одеяло своими тонкими пальцами – не хватает силенок. Ахан молча взял одеяло за другой конец и они вдвоем выкрутили его.

Когда вышел из коша, Ахан заметил нескольких проезжих, огибающих озеро: три телеги, одна из них крытая повозка, в сопровождении десятка всадников.

Они ехали по бездорожью, подминая густой типчак, и Ахан, решив, что это заплутавшие путники, не обратил особого внимания. Теперь же он увидел, что они обогнули озеро и неподалеку, на крутом склоне косогора распрягают лошадей.

Трое, вышедших из крытой повозки, направились в их с Ыбаном сторону. Женщина, мужчина и мальчик лет пяти. «Что за люди? Откуда-нибудь издалека, видно из тех, кто не знает Ахана и что не слышал, что на этом озере водятся пери и всякая нечисть. Знали бы, бежали, сломя голову, не то что делать привал, распрягать лошадей...»

Ахан в последнее время неохотно встречался со случайными проезжими, как человек, который и впрямь прячется от глаз людских, чувствуя за собой груз тяжких провинностей перед ними. Он уже привык к молчаливой беседе с безъязыкой степью, озером, деревьями, к разговору жестами с глухонемым сыном Ыбаном и другого общения ни с кем не искал. Может быть, поэтому он не поднял головы, когда путник приветствовал: Ассалау магальяйкум!– и продолжал с сыном выкручивать одеяло. От человеческого голоса, не слышанного им давно, его будто даже передернуло. Только когда услышал женский голос, произнесший:

– Если вы позволите, мы бы хотели взять питьевой воды у вас в коше для чая, чтобы пообедать с дороги,– у Ахана с темечка до пят мороз прошел.

«Какой знакомый голос! Но чей? Он слышал его совсем недавно, он слышит его каждый день, и вчера, и сегодня. Поразительно близкий, родной голос. Когда Ахан поднял голову, то лицо его стало бледнеть как линиярое одеяло, конец которого он держал в руках и с которого еще струилась вода. Он обмер, глядя на молодую симпатичную женщину в белой шелковой шали, длинная бахрома которой рассыпалась поверх легкого чапана. Она тоже окаменела словно перед ней явился призрак. Второй путник поперхнувшись на

полуфразе, бросал быстрые недоуменные взгляды то на женщину, то на обросшего мужчину, у которого бледность проступала даже через бороду и усы.

– Ахан-ага... Это – вы?! Боже мой!– одновременно с дрогнувшим, едва слышным голосом молодой женщины, из глаз ее выкатились две крупные слезинки.

Это была Актохты. Разве думала она, что свою первую любовь, знаменитого сери, который с толпой таких же певцов, музыкантов вольно разъезжал по аулам, ставшего гордостью всей казахской степи, порой капризного, даже высокомерного, такого требовательного в еде, одежде, чистоплюя и князя во всем, жигита из жигитов, боготворимого ею и давшего такое счастье ей в жизни Ахана встретит в безлюдной степи за стиркой полуистлевшего одеяла?!

Стараясь скрыть слезу, она взяла за плечи испуганно уставившегося на мать мальчонку и слегка подтолкнула его вперед:

– Жайляу-тай, жеребеночек мой, поди поздоровайся с дядей. Это – Ахан-ага!..

Сама молча подошла к Ыбану и поцеловала его в лоб. Спутник ее, поклонившись, подал руку Ахану. Это был Жалмухан.

«Почему она замолчала? Почему женщина плачет? Родственники?.. Или двум путникам просто жаль их с отцом – таких одиноких в этой глухой степи?!. А, может, кто-то из них провинился перед другим. Все это было непонятно Ыбану, неосведомленном о многом из жизни своего отца и маленькому Жайляу, для которого пока недоступно что такое судьба и какую она может сыграть с человеком злую шутку. Когда чужая, незнакомая женщина, приобняв ласково поцеловала Ыбана в лоб, то мальчика, знавшего ласку бабушки, но не знавшего материнского объятия, будто всего обдало незнакомой ему и в то же время как бы испытанной когда-то волной нежности, сердце застучало и кровь быстрее побежала по жилам. Жайляу, приученный, как только

заговорил, отдавать приветствие старшим, протянул ручонку Ахану со словами: «Ассалау магалайкум, ата!», а когда бородатый дедушка произнес: «Расти большим!», взял на руки, погладил по головке, то малыш, нисколько не чурясь незнакомца, обнял его одной рукой за шею, будто знал его давно.

Молчание нарушил Жалмухан:

– Пойду к жигитам, скажу, чтоб казан поднимали да огонь развели. Идем, Жайляу-жан!– и он, взяв за руки сынишку, как две капли похожего на него, но с нежным, как у девочки, румянцем на щечках, направился к своим спутникам. Ахан проследил взглядом, как малыш, переваливаясь с ноги на ногу, поспешает рядом с отцом.

Ахан повернулся к сыну:

– Мы ведь тоже дом все-таки, а Ыбан-жан?– и сделал знаки ему, тот в ответ тоже задвигал пальцами, губами, показал на язык. Ахан, кивая головой, быстрыми жестами сказал еще что-то на языке Ыбана: «Положи в бакыр всю сушеную и вяленую дичь, если мало, возьми турумтая и пройдишь по озеру, может, в силки что-то попало!»

Актохты засучила рукава и подвинула к себе медный таз.

– Несите, что там еще есть постирать,– сказала она, бросая в воду еще не постиранное из белья и, взяв в руки черное круглое мыло, сваренное из трав, принялась быстро и ловко стирать...

Два человека, которые некогда с нетерпением ждали часа свидания, а оказавшись, наконец, вдвоем наедине, бросались друг к другу в объятия и стояли подолгу, не в силах разжать рук, теперь молчат. Как они близки и как далеки друг от друга. Сколько минуло лет, какие печальные годы пролегли между ними! Сколько бессонных ночей провели они мечтая хотя бы еще раз, пусть самый последний раз в жизни, встретиться наедине и излить душу друг другу?!

И вот они вдвоем, и рядом – никого. И что же? Где слова, которые они, как в горячке, повторяли, чтобы потом сказать друг другу при встрече? Или всякая влюбленность кончается отчуждением? Или же это признак того, что их чувство угасло с возрастом, что пережитое осталось в прошлом, бывшее быльем поросло? Какой теперь толк от душевных излияний, сердечных признаний. Кому от этого теплей? И Ахан, и Актохты, должно быть, оба думали об этом...

Путники, намеревавшиеся подкормить лошадей, пообедать самим и двинуться дальше, остались на вечер. Поскольку хозяином одинокого коша оказался не кто-нибудь, а Ахан-сери, Жалмухан решил, что непристойно с его стороны спешить словно соседке, прибежавшей за угольком для растопки печи, и велел зарезать взятую с собой жирную овцу, снять с арбы одну из привязанных к телеге сзади кожаных мешков с кумысом и доставить к кошу.

Ыбан, соскучившийся по людям, был в восторге оттого, что путники остановились на несколько часов и, выполнив все порученное отцом, достал с насеста, устроенного в темной повозке кобчика, с двумя-тремя ребятишками из проезжих, отправился на озеро. Они вошли в густые камыши и пошли, стуча громко в дабыл. Вскоре одна из утиных стай, спокойно плававших на заводи, испуганно поднялась в небо. Следом взмыл в небо отпущенный с петлей на ногах, шыжыма, кобчик. Чуть откинувшись на спину, прижав голову, он врзался в самую середину стаи суетливых чирков, в мгновение ока короткими ударами клюва в ключицу, сбил двух-трех уток. Меньше чем через час Ыбан с новыми своими дружками принесли пять-шесть уток, быстро распотрошили и бросили в отдельный чугунок с водой, уже стоявший на огне.

Среди спутников Жалмухана не оказалось прежнего коневода его Кулмака, совсем другое поколение, молодая поросль сопровождала их с женой в дороге.

Эти юные жигиты лишь понаслышке знали историю Ахана с Актохты, если спросить, толком рассказать что-либо о них не смогли бы. Ахана до этого не видели и песни его только слышали, когда кто-то пел в ауле, а сами спеть не могли. Они больше знали другого Ахана – того, что тронулся умом от одиночества в глухой степи, того, кто с водяными девушками-пери прогуливается вечерами вдоль озера, играет с ними в веселые игры.

Вот почему они за ужином все больше молчали, искоса и с опаской поглядывая на Ахана. Они долго выискивали в его жестах, поведении признаки сумасшествия: если в него бес поселился, то где он сидит? Где пери, которая вскружила ему голову?! А если он нормальный, хотя бы днем, то как было бы здорово послушать его пение! Но просить об этом они не смеют, да и боятся. Жалмухан тоже поглядывает на сидящего молча, в тяжелой задумчивости, акына и тоже робеет обратиться. Угадав желание сидящих и поняв их состояние, Актохты, разливавшая сурпу, взяла на себя смелость заговорить с сери:

– Ахан-ага, вы ребят этих не знаете, наверное, незнакомы с ними. Это аульная молодежь, подрастающая в последние годы. Вас они раньше не видели. Иные если и слышали о вас, то только дурное, всякие глупые сплетни, не обращайтесь на них внимания, – Актохты повела речь издали, осуждая аульных сплетников и ограждая Ахана от досужих вымыслов. И заключила свои слова просьбой. – Сколько уж лет не слышим мы хорошей песни, теплого душевного голоса! Пусть бы и ребята послушали своими ушами, посмотрели своими глазами как вы поете, спойте что-нибудь, если вам не трудно!..

Ахан поднял голову и повернулся к Актохты. По словам, по внешности своей она не была похожа на ту, прежнюю: не Актохты, подобная голубоватой из белых лебедей, сидела перед ним, а зрелая, слегка распол-

невшая Актохты, напоминающая теперь гагару с малыми птенцами. Степенная мать, достойная дать наставления молодым, сказать им решающее слово. Но по голосу это была прежняя Актохты, которая своим девичьим голосом, глядя с лаской и нежностью в глаза своему сери, могла просить: «спой для меня, для меня одной на всем белом свете!» Та самая Актохты, которая, прощаясь со слезами на глазах, говорила: «Спой мне песню обо мне, чтобы я могла взять ее с собой в чужой и постылый для меня край, чтобы хоть она согревала мне душу, не давая духом пасть совсем!..»

Ахана охватило волнение. Вместе со звуками голоса Актохты в его душе полилась вновь мелодия, не дававшая столько времени ему покоя: «Караторгай... с трудом отрываешься ты от земли...»

– Глядите, глядите, какой-то карагуш летит прямо сюда!

Словно угадав желание своего хозяина Караторгай, паривший сегодня в небе дольше обычного, возвращался к кошу.

– Эй, да он в своем уме?! – удивленно восклицали жигиты, но потом они сообразили, что к чему, беркут снизился до того, что чуть брюхом не коснулся земли, и отчаянно запищав, опять поднялся в небо. Развернувшись он еще раз попытался сесть, но едва коснувшись высокой травы, запищал громче прежнего и опять взмыл вверх. На этот раз он вознесся высоко и, паря, стал кружить над станом.

– Смотрите, смотрите, – воскликнул кто-то из парней. – Как блестит и переливается его брюхо!

– О, Алла! – удивились остальные.

Солнце клонилось к закату и его лучи, снизу осветившие сизоватые крылья орла в полете, преломляясь в капельках влаги, сверкали красным, зеленым словно жемчуга.

– Это кораллы, маржан-кораллы! – сказал Ахан.

– Мар-жа-ан?!

– Да, у моего Караторгая на каждом из перьев по кораллу,– со вздохом проговорил Ахан. Ему совсем не понравилось, что старый беркут летал сегодня слишком долго. «В последний раз, пожалуй»,– подумал он еще с грустью. Его предположение оказалось верным. Караторгай, которого Ахан бывало, на дню несколько раз поднимал во время охоты то на волка, то на лисицу и который при этом не знал устали, теперь был в полном изнеможении. Капли влаги, блестящие под его крыльями, переливаясь в лучах солнца, были не что иное, как капли пота, струившиеся с тела старого беркута. Хозяин птицы и кусбеги безошибочно определил это. Но как акын он не мог сказать иначе: «это – кораллы!» Последний пот, пролитый дряхлым беркутом в состязании с молодым беркутом, чему он отдал все силы, без остатка, был достоин такого возвышения в глазах юных лоботрясов.

– Вы сказали – Караторгай?– оживился Жалмухан, глядя на небо. Уж не тот ли это самый, которого еще орленком вам подарил Алибек? Я тоже поначалу принял его за коршуна. Какой он стал маленький!

– «Конь отошал – кляча, жигит отошал – скелет», как говорится в народе. А если птица одряхлела – чучело. Это как раз о Караторгае сказано, он стар уже и немощен. Вот летает, а сесть не может, потому и пищит.

– Сесть не может, говорите?

– Разве не слышали выражение: «крылья у птицы для полета, а хвост – для посадки»? Сейчас у Караторгая на хвосте нет ни одного перышка. А у птицы без хвоста опоры нет. Он уже садился на грудь, его подбрасывало и переворачивало по земле несколько раз. Теперь он боится. Таков и человек, если он не нашел опоры на земле. И несет его, и кувыркает как только возможно...

Ахан вздохнул и умолк. Актохты с повлажневшими глазами смотрела то на беркута, то на его хозяина.

Солнце уже село. Вдруг раздался резкий отчаянный крик орла, парящего в поднебесье. На этот раз Ахан не мог ошибиться: это кричал Караторгай! Он с диким воплем вскочил с места:

– Ушел, ушел! Бедный Караторгай! Прощай, мой гордый орел!– Ахан воздел обе руки к небу. За ним испуганно вскочили и другие. Дикий вопль Ахана в сумерках не мог означать ничего другого, кроме того, что у него начался приступ болезни.

Караторгай издал прощальный крик и исчез в темнеющей выси, держа направление в сторону далеких отсюда гор Кокше.

– Домбру, подайте мне домбру!– крикнул Ахан в том же возбужденном состоянии.– Она в коше, возле сундука.– Ушел, ушел! Нет больше Караторгая. Беркут мой, из малого птенца выросший у меня на руках в белоплечего орла! На какую скалу падешь ты с высоты, чтоб разбиться насмерть? Прощай, прощай, птица моя, радость юности моей! Хорошая собака тоже своей смерти никому не показывает. Ты же у меня истинный орел, Караторгай мой! Прощай!..

Тьма опустилась на землю Кокше и становилась все гуще, обещая тихую безветренную ночь. Задумчиво перебирая струны домбры, печальный Ахан долго сидел что-то напевая без слов, потом вдруг запел своим приятным мягким голосом песню, которая поплыла в тишине словно парящая птица, пролилась струями тонкого шелка:

Улетает вдаль Караторгай,
Под крылами его кораллы сверкают...

Исполнив эти две строки протяжно, с чувством, Ахан сделал паузу, затем продолжал:

Росли мы вместе сызмальства с тобой,
Как же случилось, что я потерял тебя?!
Караторгай, взлетел ты с трудом,
Пищишь ты, бедняга, на землю не спускаясь...

(подстрочный перевод)

Чистая, прозрачная и в то же время глубокая, как волна озера Косколя, поднятая вечерним свежим ветром, мелодия мягко накатывала на слушателя, ласкала и укачивала. Порой казалось, что песня, подобно самому Караторгаю, мерно взмахивает крыльями в вышине, облетает земли Кокше, и летит дальше, и звучит теперь уже надо всей казахской степью, не зная устали, и находит в каждом сердце отклик. А сидящие рядом слушали млея, грудь сжималась от необъяснимой боли и тоски. Ахан пел несколько растягивая каждый слог, наполняя его чувством и некой тайной, голос его был гибок и упруг, словно ветка таволги. Казалось, это исповедь человека, который по воле судеб потерял друга, тепло чьих объятий хранит еще грудь, любимую, чья нежность еще согревает истомленную душу его; он простирает руки к ним, протягивает сердце на ладони, но, увы, поздно. И оттого в песне слышна печаль растаявших грез и мечтаний, несбывшихся надежд, грусть прощания с молодостью, боль утрат. И все же за вздохом тяжким о былом чувствуется светлое пожелание счастья и добра тому, с кем разлучила судьба...

Такие чувства и мысли увозили с собой нечаянные гости Ахана, тронувшиеся в путь далеко за полночь. Еще долго звучала в их ушах эта берущая за душу песня одинокого акына. Актохты, глядя из оконца фаэтона на залитую лунным светом степь, вновь и вновь переживала встречу с дорогим ее сердцу сери. И была страшно огорчена, раздосадована тем, что ни единым словом, ни жестом не выразила участия или сочувствия в его судьбе изгнанника, проводящего свои дни у пустынного озера в обществе несчастного сына, лишённого слуха и языка. «Чем ответили люди акыну, который в песнях своих воспел всякого в эль, кто красив душой и телом, посвятив чуть ли не каждому из них песню, как тумар и теперь увековечив их имена в устах поколений, чем?! Ничем, кроме того, что

добавляли к его бедам и горестям больше горя и печали. Оказалось, мы бессильны утешить кого-либо или доставить радость. Чем меньше остается друзей у акына и тех, к кому питал нежность и страсть, тем глуше голос акына, тем реже слышна песня его. Вот и последняя память о безмятежной молодости, о годах веселых игр. Песен до утра, скачек и удалой охоте с ловчими птицами – Караторгай – покинула Ахана навсегда. Живая нить, что связывала его с прошлым, оборвалась. Что может отныне вдохновить сери на новую песню? Бедный Ахан-ага. Бесценный ага. Чей талант и щедрость души неповторимы. Кому судьба даровала столько достоинств и кого подвергла стольким испытаниям! Суждено ли мне свидеться с тобой еще? А если да, то какой с меня прок? Чем утешу и порадую тебе сердце? Единственное, что смогу – разнести песню твою по аулам, пусть твой «Караторгай» парит над ними в вышине, не падая... Лучшие песни ты дарил лучшим певцам для исполнения, таков был твой обычай. Но нет теперь друзей твоих рядом с тобой. Потому я присваиваю себе право исполнения твоей песни, первого после тебя, среди народа твоего. Не бойся, не испорчу я твоей песни ни в чем, ни в словах, ни в мелодии. Ибо буду петь не я, не голосом буду петь, а сердцем. Ты ведь сам говорил, Ахан-ага: сердце никогда не лжет. И научу детей своих песне твоей, и их детей. Это все, что я могу сделать ради тебя, незабвенный мой Ахан-ага! И ехала Актохты, напевая сердцем песню Ахана в ночной степи, и слезы бесшумно скатывались по белым ее щекам...

Жалмухан же с жигитами чинно ехал впереди, они увозили с собой не только мечту сери – Актохты, но и песню его «Караторгай», исторгнутую сердцем акына в предзакатный час...

А старый беркут все летел и летел, но в кромешной тьме не мог определить, как быстро он летит. Сердце старое все торопит его куда-то, тянет вперед и ввысь. Сколько уже пролетел? Он не знал. В глубине про-

хладных небес он только один. Сегодня его дыхание будто открылось заново, будто вернулись в него мощь и сила, что были в молодости. Да и глаза словно обрели былую зоркость. Он пролетел над многими холмами, темневшими внизу будто горбы вываливавшихся в куче золы верблюдов, и с рождением полной луны появились наконец горы Кокше. Под орлом проплывали склоны, густо покрытые сосновыми лесами, чаши озер, бьющие тихой волной о берега. Вот показался Ок-Жетпес¹, вершина его острая как пика, вонзилась в небо. Желторотым птенцом он днями полеживал на одной из таких скал, в каменной нише, жадно раскрывая и беспомощно щелкая клювом и ожидая мать-орлицу. Человек, перевязанный арканом в поясе, поднялся на кручу, сунул орленка в мешок и унес... Возможно, что Караторгай именно из этих мест?! И родина его – Ок-Жетпес?!

Караторгай стал кружить вокруг этой одиноко стоящей скалистой горы. И с каждым кругом он поднимался все выше и выше. И чем выше, тем осеннее небо становилось холоднее, придавая бодрости орлу. В какой-то момент его взгляд упал на журавлиный клин внизу. Опытный старый журавль вел за собою стаю, то и дело подавая голос, стая вторила ему курлыканьем – они летели на юг, в теплые края. «Эх, жизнь! Ты, оказывается, – песня!..»

Караторгай опять остался один. Одинок и Ок-Жетпес, чей каменистый лоб отражает лунный свет. Стоит он особняком от других вершин.

Орел только теперь понял, что страшно устал. И поверил окончательно в то, что он в самом деле стар и дряхл. Почувствовал: он уже не поднимется выше, крылья устали, а если поднимется – закружится голова.

В следующий момент сердце его сжалось и забилося с бешеной силой. Беркут издал потрясший воздух крик

¹*Ок-Жетпес* – красивая высокая скала. В переводе – *Не доступный стреле*.

и собрал последние силы. Затем он еще шире расправил крылья и вновь сложил их с таким шумом и треском, что, казалось, разорвались небеса, и заструился вниз по направлению к одинокой вершине Ок-Жетпес. Из старых глаз текли слезы, беркут разрезал лбом холодный воздух, свистевший на очень высокой ноте, и звучавшей словно последняя песнь жизни. Темным продолговатым камнем, пролетев мимо бледных звезд, Караторгай с огромной силой ускорения, полученной с небесной высоты, врезался в одну из скал Ок-Жетпеса.

ПЕЧАЛЬ ПОЭТА

Этот день выдался для Ахана неудачным, он до сумерек бродил вдоль озера и расстроенный, опустив голову, шагал к кошу. Подойдя поближе, поднял голову и остановился как вкопанный: перед земляной печью сидел огромный детина с густой бородой, с красноватым лицом и спокойно помешивал угли кочергой. Во рту трубка, из которой валил дым. Только подойдя поближе, Ахан узнал незваного гостя: это был старый цыган, вождь табора – отец цыганки по имени Салуа.

После обмена приветствиями, старик, сидевший с озабоченным видом произнес:

– Сын ваш спит, должно быть, не услышал как я подошел.

Старик замолчал. Казалось, он не решается заговорить о чем-то, из-за чего и пришел сюда. Не поднимая глаз на Ахана, переломил березовый сук и бросил в огонь.

– Мальчик, если бы даже не спал, не услышал бы ничего... С чем пожаловали, на ночь глядя. Или просто на огонек зашли?

Старый цыган поднял голову и испытующе поглядел на Ахана. Карие глаза влажно блестели. От старости?

– Кто же в такую пору просто на огонек заходит?.. Когда Салуа уходит к тебе, мне нет ни сна, ни отдыха.

Я встаю и иду за ней и брожу вдаль, поджидая ее. Когда она возвращается, следом возвращаюсь в табор и я. Может быть, поэтому никто не подозревал, что мы исчезаем куда-то на ночь. А в последнее время... – старик потягивая трубку, уставился на огонь. Состояние дочери я понял сразу же, после вашей встречи той ночью. Но что я мог сделать: запретить встречаться с тобой?.. Она тоже не виновата... несколько лет назад нам пришлось остаться на зиму в ауле Сулеймена. Дочь у меня и до этого хорошо говорила по-казахски, а там сошлась с девочками, стала ходить с ними на гуляния. Тогда-то она научилась петь твои песни... Поет все твои песни, да еще как!.. Наверно, тогда и влюбилась в тебя, за глаза... Потому, когда встретила, вовсе голову потеряла... Ты потерял свою птицу, а нашел мою дочь...

Старый цыган умолк, печально глядя на огонь. Ахан поставил треногу, повесил чайник с водой над пламенем. Старик покачал головой, мол, не стоит беспокоиться. Ахан промолчал, ожидая конца разговора.

– Я мог бы в открытую поговорить с дочерью... Но нельзя. У нас есть свои законы, свои обычаи. Нарушить их... нет, нельзя. К тому же, я дал клятву...

Старик вновь помолчал, словно решаясь, и, не глядя на Ахана, продолжил: – А тебе я вот что хочу сказать... Оставь мою дочь в покое, Ахан. Все равно вам не быть вместе. Не судьба... В последнее время люди табора пронюхали что-то о ночных уходах Салуи. Я не хочу, чтобы с вами с обоими случилась беда, поэтому предупреждаю... Допустить такое с моей стороны, зная об угрозе, было бы непростительно. Духи предков не простили бы. Придет на свиданье, скажи ей об этом. Я не могу... Скоро снимаемся отсюда... Далеко уезжаем. Насовсем...

– А куда это – далеко? – встревоженно вскинул голову Ахан. Салуа говорила, что уезжают скоро, но куда – не сказала. Да и не знает, наверное.

– О-о, это очень и очень далеко. Отсюда особенно далеко. Сколько лет будем идти, пока доберемся – неизвестно. Но доберемся, – у старика глаза будто радостью засветились, достав головешку, он прикурил свою трубку.– Слышал про такую страну – Англия? Она, наверное, такая же большая как Россия. Там есть город Эпльби. В том городе каждый год весной, в пору вашего отамалы, в последнюю неделю марта проходит невиданная ярмарка, удивительная тем, что она целиком и полностью – цыганская. И покрупнее, пожалуй, чем ваши знаменитые Куяндинская, Атбасарская ярмарки, намного крупнее. Потому что туда съезжаются бродячие цыгане со всего света. Старики, которые там побывали, говорили: посмотрел такую ярмарку, помирать можно. Где еще такое увидишь? Целую неделю под чистым небом на зеленом лугу, на мраморных плитах идет шумное веселье, поют и пляшут все ночи напролет, бочками льется вино, все угощают друг друга, обнимают, целуют, спорят, рассказывают разные истории, меняются диковинными для другого предметами или продают, золотая монета англичан – соверен – сверкая на солнце, переходит из рук в руки, устраиваются бега, ставят на лучших скакунов, который первым прискачет?! Да, на такое стоит посмотреть!

– А когда ярмарка закроется?– с надеждой о возвращении Салуи к берегам Косколя спросил Ахан, хотя тут же понял, что напрасно.

– Разъедемся, кто куда. Мы же – вольные птицы. Кто не понимает, те считают бродягами, скитальцами. Кто понимает, те говорят: вот дети природы, свободные птицы...

– Мы, казахи, тоже кочуем, но знаем когда и куда. А если бы весь род человеческий стал бы вот так как вы... скитаться по всему белому свету – что бы тогда получилось?!

– А-а, тогда было бы здорово!– у старика глаза вспыхнули от восторга.– Ахо, ты только подумай: на

небе солнце – одно, и луна – одна. Они светят для всех людей на земле. И земля на всех одна. Но почему она не общая? Как луна, как солнце?! Вот ваши баи – чем больше у них скота, тем больше пастбищ забирают себе, и дрожат от алчности: еще, еще! Если бы могли достать, то поделили бы между собой и солнце, и луну, как черную, степь... А мы хотим, чтобы все на земле было общее – и вода, и травы, и горы, – чтобы каждый человек мог пользоваться всем, что дают реки, озера, деревья, земля. Потому мы против границ – они только мешают. Всем, кроме нас. А мы так и будем переезжать из одного края земли в другой, кочевать всю жизнь. У нас лишнего добра или скота не бывает. Лишнее добро делает человека жадным, алчным до ненасытности.

– Но как же с вашей любовью к свободе, к вольной жизни рядом ходят обман, надувательство, хитрость, воровство?! – спросил Ахан и его глаза вспыхнули гневом.

С лица старика сошла безмятежная мечтательность, он нахохлился, стал молча и с силой мять зажатую меж пальцами трубку, будто хотел на ком-то сорвать зло, потом перевернул и, прикрыв мундштук огромными ладонями, несколькими громкими хлопками вытряхнул еще не совсем остывший пепел от табака.

– Всяких плутов, проходимцев, хитрых обманщиков из своей среды казахи называют цыганами, – старик, немало проживший среди казахов, не ошибался. – Но одного вы не знаете: цыган никогда не станет обманывать цыгана, он обманывает других. Потому что если это не сделает цыган, все равно кто-то из них обманет другого. И поэтому мы никогда не прочь оставить в дураках тех корыстолюбцев, которые жалеют солнце и землю для других. Это – способ выживания. Природа одарила нас талантом к песне, музыке, танцам и это – наша радость, но и хлеб наш насущный. И потом, мы молодых с детства учим жить, учим выживать, иначе их сама жизнь будет потом

больно бить плеткой, им уже никогда из-под нее не уйти. А все потому, что вокруг нас жадные и злые собственники... Пока на земле существуют еще свободные земли, чистые и никем не присвоенные озера, пока жива вольная природа, живы и цыгане. А когда вся земля будет поделена между людьми, когда у гор, рек, лесов объявятся владельцы, хозяева, когда небо станет с овчину и некуда будет отступить – в тот день и цыган умрет, угаснут костры наших таборов и исчезнут вольные дети природы...

– Думаю, что до этого далеко... Но скажите, вот воля волей, и тут же иной раз творится насилие – как это понимать?

– Это какое еще насилие? Да, мы можем обмануть, но никогда над человеком не творим насилия. И даже наш обман в общем-то безобиден, он не приносит жестоких страданий никому. Это примерно как обмануть ребенка, свое дитя.

Старик умолк. Блики огня от очага играли на его лице, но он был хмур и невесел. Ахан протянул ему пиалу с горячим чаем. Он попил тонкими глотками, нехотя, словно тянул конский волос, затем перешел к спокойной, несколько отчужденной и, видимо, не очень приятной для себя беседе.

– Ты – настоящий жигит, Ахан?

– Думаю, да.

– Тогда верю, что ты умеешь держать слово. Пусть то, что я скажу, останется между нами. Салуе можешь сказать, но только не сейчас...

– Теперь мы с ней уже не свидимся...

– Может, так оно и лучше...

Старый цыган посидел молча, потом начал взволнованный рассказ о событиях двадцатилетней давности, переживая так, будто это случилось вчера.

...Когда-то на землях Семиречья между двумя племенами разгорелась великая тяжба, подобная историям Енлик и Кебек, Калкаман и Мамыра.

Дело дошло до взаимных набегов и даже кровопролития. Но кончилось это тем, что повинившаяся сторона уплатила аип в огромном количестве скота и взамен требуемой жесир – невесты, вдовы отдали в откуп совсем юное дитя, чуть ли не с колыбели. Старик-цыган был тогда старшим в таборе. А один из баев стороны, победившей в тяжбе, вел дружбу с ними, обменивал коней и прочее.

А у цыганского парня в ту пору был под седлом черный как пияка аргамак, которого тот бай давно мечтал заполучить. Словом, кончилось тем, что обменивал маленькую девочку на вороного скакуна. Отдал ее мне, чтобы сказать враждебной стороне будто их подарок он отдал цыганам и тем еще раз унижить их гордость. А я почему пошел на это?! Скажу честно: во-первых, у нас с женой не было ребенка и я решил: пусть у нас будет дочь, во-вторых, я решил помочь этой несчастной, избавить ее от издевок и страданий, которые она наверняка будет испытывать в доме бая, пока не станет невестой, словом сделать ее вольной дочерью табора... Девочка в ту пору только-только начала говорить, имя свое с трудом выговаривала: «Салуа». Ну мы так и прозвали ее – Салуа. Оказалось, полное, настоящее-то имя «Саруар». Перед вождем табора обратили ее в нашу веру, стали учить нашим обычаям и поклялись никому никогда не говорить, что она – не цыганка, а дочь казахов... С тех пор прошло двадцать лет. Двадцать лет мы кочуем по землям казахов, узбеков... Выросла наша Салуа, поет, и пляшет не хуже любой цыганки, ни по походке, ни по повадкам не отличить от других девушек табора, разве что обличем чуть-чуть иная. Многие молодые парни заглядываются на нее. Они не знают историю ее появления в таборе. А старшие, кто знает, не желают, чтобы их сын женился на ней. Но и причину объяснить детям не могут – клятву-то нельзя нарушать...

Старик печально ссутулился и умолк. Молчал и Ахан. Эту историю он слышал от самой Салуы. В ту же ночь, когда его, заблудившегося в лесу, она взялась проводить до Косколя. Глаза на правду ей открыла одна старушка-цыганка перед самой своей смертью. С тех пор Салуа не находила себе места и долго плакала перед Аханом, изливая свою печаль.

– Как же случилось, что вы, желая дать Салуе волю, избавить от страданий, подвергли и себя, и ее еще большим страданиям?!

– Да, даже не знаю, долго ли мне еще терпеть такую душевную муку. Салуе нынче двадцать два. Тяжко, тяжело бедняге, вижу! Но раскрыть тайну не могу, ни я, никто другой не может, ибо это нарушение клятвы. А за это у нас – смерть... Все наше единство, сплоченность в том, что мы умеем беречь тайну, держать слово, и быть верными данной клятве... Да, ты правильно сказал: наша свобода в чем-то основана на жестокости. Но так устроен мир. Вся природа на этом держится!

Когда ночной гость стал уходить, Ахан-сери подарил ему черную свою повозку и сбрую к ней с серебряными накладками, но старый цыган стал упорно отказываться от такого дорогого подарка.

– Перестаньте, Ахан, я сюда не за подарками шел, а горем своим поделиться.

– Старина, это я не вам дарю, а Салуе. Пусть на чужбине она нет, нет да и вспомнит о родных степях наших. Если не возьмете, то я сам доставлю!..

Только после этих слов старый цыган завел своего коня между дышлами повозки и стал запрягать, сняв свое седло. Хомут и вся сбруя Кокбесты пришлось точно в пору цыганской лошади...

Стоял ахрап, октябрь месяц. С наступлением вечера метелки камыша покрываются инеем и с Косколя веет стужей. Весь птичий род занят хлопотами, нет той безмятежности, что царила летом. Вся ночь напролет птицы крикают, пищат, фыркают, свистят, гогочут,

кричат. У молодых уже давно окрепли крылья, пух уже сваялся чуть ли не в кошму, птицы, чуя приближение зимы и будто желая сбросить лишний жир перед дальней дорогой, все чаще проносятся по-над водной гладью, касаясь ее крыльями, как бы разминая ключицы и перья. Иные уже улетели на юг. Одни летят ночью, другие – днем. И птичий гомон над озером совсем не тот, что стоял раньше, когда пары вили гнезда, выводили птенцов, кормили, учили летать. И взрослые птицы с еще более потемневшими за год крыльями, и первогодки поют одну и ту же песню – песню прощания с родными местами. И потому всю ночь слышны на Косколе вздохи и птичий плач по его зеркальной глади, по его чистым прозрачным струям, тенистым камышам, даже тине с мягкими водорослями.

Ахан сидел с наветренной стороны земляной печи, в которой билось и падало плашмя высокое пламя, и слушал печальную ночную песню озера, различая каждый звук и каждый шорох и толкуя их по-своему. Но вот со стороны Косколя послышалась песня, ставшая милой его сердцу, и он встрепенулся. Это даже была не песня, а один и единый протяжный звук, ясно различимый среди многоголосья птичьего прощального хора, высокий и печальный, будто голос одинокой струны на домбре, затрепетавший на самой высокой ноте и вот-вот готовый оборваться. Сколько часов он уже ждал этого пения, сжимающего душу, боясь, что оно оборвалось и никогда больше не зазвучит над озером...

Да, видно, пришла пора и Ахану прощаться со всем тем, что так стало дорого его сердцу этим летом.

Это была она, Салуа, ночная пери, озерная русалка, что голосом сирены вызывала Ахана к озеру. Его белая птица, с которой судьба свела акына в эдакий глухомани. Да, в ту ночь он потерял сизого орла своего Кокжендета, он мчался за ним на коне и кричал, обратя лицо в небо, но птица не услышала его. Тогда-то он, усталый, разочарованный всем на свете, набрел на

большой и яркий костер в ночи, где вокруг высокого пламени пели, плясали, веселились цыганские девушки в ярких платьях, изгибая стан как вольные кок-кутаны (цапли), кружились, обгоняя подруг, в каком-то неистовом танце ликования. И среди этого букета колокольчиков, прижимавшихся к земле под напором степного ветра и выпрямлявшихся вновь, он увидел нежно пламенеющий степной тюльпан. Эта была Салуа. Она проводила его до Косколя, а потом стала приходиться на озеро каждый вечер. Душой она была ясной как чистое небо, объятия ее трепетны и страстны, поцелуй легок и свеж как ветерок! Она любила купаться ночью, под луной. На водной глади, где играли блики дальних звезд, отражался изгиб ее стана, девичьей груди – два анара подрагивали, она, не стесняясь, поднималась из воды, обнажая стройное матовое белое тело, закидывала за плечи длинные черные волосы, обдавая Ахана серебряными брызгами, и звонко смеялась. Вся она была естественна и прекрасна, как береза под струями дождя, бесхитростна как сама природа. И потому каждая встреча у озера, каждое свидание с ней стоило для Ахана тысячи других! Теперь же он увидел, что это также преходяще и временно как года птицы: прилетели весной, лето минуло – прощай!

Вот и настала осень. Пришло время проститься с последним погожим днем минувшего лета, с последней радостью отзвеневшей молодости. Должно быть, так.

Раньше Ахан летел к озеру как на крыльях, заслышав голос своей водяной пери. Теперь же он идет словно по зыбкому мосточку, который вот-вот где-то посередине переломится.

Салуа обычно оставляла своего вороного скакуна масти летней ночи, приученного к ее свисту, на косогоре пощипать траву. Сегодня же она стояла, поглаживая гриву коня, печально опустив голову. Заметив Ахана, она тряхнула волосами, лоб ее сверкнул будто месяц из-за черных туч и она побежала ему навстречу. Подбежав,

она молча обняла и прижалась к нему. Тянет белую шею, как лебедь-шипун, что прощается с родным краем, с четой своей, вздыхает горестно. Ахан тоже молча обнял ее, прижался щекой к ее щеке и ощутил слезы и тяжкие как свинец. Он целовал ее и ловил слезы, будто хотел испить, вобрать в себя всю девичью печаль...

– Ну вот, Ахан-ага... Я пришла проститься с вами... сказать «Прощай!» Завтра табор снимается... Далеко уезжаем, очень далеко... удастся ли еще встретиться... когда-нибудь... – у Салуы задрожали плечи, она зарыдала в голос. Никогда раньше Ахан не видел, чтобы его веселая и всегда звонко смеющаяся «цыганка» так горько плакала. Он не знал как ее утешить. Еще раньше он как-то говорил ей: «Давай будем вместе, уедем, вместе испытаем что пошлет судьба!» Но это было, пожалуй, больше воспоминание о годах, когда он был молод и силен, а не реальное предложение. «Нет, Ахан-ага, – ответила тогда Салуа, – не могу я оскорбить чести человека, ставшего мне вместо отца, пойти против его воли. Того, что встречалась с вами, вот так хватит для меня. Теперь не мучьте ни меня, ни себя. Разойдемся без ссоры!» И запретила ему больше говорить об этом...

Салуа резко подняла голову. Слегка отстранясь, она долго, будто хотела вспомнить, внимательно посмотрела на его лицо и вновь рывком обняла его:

– Ну вот и все, Ахан-ага! Прощай... Надо идти, иначе до беды недалеко. Наши уже подозревают кое-что. Прощай, ага. Не судил нам бог быть вместе с самого начала. Но где бы я ни была, я буду помнить родину свою и сери родной земли – тебя. Что я больше могу поделаться?! Прости меня, Ахан-ага, прощай!

Салуа выскользнула из объятий Ахана и исчезла во тьме. Послышался издали ее тонкий свист, подзывающий коня, и вскоре быстро удаляющийся конский топот.

Ахан одиноко стоял в темной степи, не в силах ни позвать ее, ни поскакать вдогонку. Опустело все вокруг, темнеют лишь остовы, будто ушли все соки всего живого. Даже водная гладь озера с песчаным дном, раньше сверкавшее как зеркало лунными ночами, когда Салуа плескалась как дитя, лежит теперь как затаившая угрозу бездонная пучина. А степь, всегда встречавшая их зеленой травой-муравой, цветами, свежим ветерком, где было спето столько песен, теперь пустынна как такыр, над которой играют клубы пыли. Небосвод, свидетель их нежных поцелуев, сладких как мед, укрывавший много раз их как купол от сторонних глаз, теперь темен и холоден.

– Похоже, будто эта темень навек поглотила и Саруар, с малых лет вскормленную старым цыганом...

Тьма в степи хоть глаз выколи. Тихо.

Жировая лампа, стоящая на резной костяной подставке возле порога коша, дает лишь тусклый свет вокруг себя. Углы коша зияют темнотой. Темнея, как один из углов коша, сидит в одежде Ахан, молчаливый и угрюмый как тень. Не отрывая глаз от чадающего, колеблющегося узкого как змеиное жало коптилки, он то и дело задремывает. Потрескивающий огонек медленно угасает. Тогда Ахан встает с места и подвигает к фитилю, скрученному из шерсти, почерневшему и обуглившемуся в месте горения, тонкий кусочек гусиного жира. Издав громкий треск, лампада разгорается опять.

Уши Ахана – наружу, он постоянно прислушивается что там, в степи. Некоторое время назад казарки долго гоготали, будто спорили о чем-то. Потом разом умолкли. Спят, видно, перед отлетом в дальний путь.

Ахан резко вскинул голову. Ему послышался слабый стон – оттуда, где под двумя одеялами лежал Ыбан. Это

был не плач, не жалоба или просьба, немой мальчик полежал, поскуливая как продрогший щенок, а потом залопотал что-то быстрое неясное человеческому слуху, но резкое, будто заспорил с кем-то во сне. «Бисмилла. бисмилла!» – прошептал Ахан, неизвестно к кому обращаясь, и попытался поправить сползшее одеяло, но мальчик, будто разозлившись на него, вовсе отбросил одеяло. Ахану с трудом удалось уложить его обратно в постель, придавив силой за плечи. Больной ребенок, вскинув руки, безумно сверкал глазами и все восклицал в горячке что-то.

– Жеребенок мой, ложись, ложись, сейчас, сейчас тебе станет лучше – повторял Ахан, хотя знал, что ущербный сын не слышит его. Но жестами в полумраке он тоже ничего не мог объяснять. Темно, да и не состоянии Ыбан уловить что-нибудь, рвет на себе одежду. Ахан постарался силой закутать мальчика в одеяло и, прижав к постели, стал ласково гладить, пытаясь успокоить, повторял: Сейчас, сейчас!

Жировая лампада затрещала сильнее, чем раньше, желтое пламя постояло как на весу и стало медленно таять, уменьшаясь как глаз филина, отходящего ко сну, и вскоре потухло совсем.

В коше установилась крошечная тьма. Опасаясь, что Ыбан опять проснется в испуге, Ахан разделся и лег с ним рядом...

Вот уже неделя, как Ыбан не встает с постели. На пронизывающе холодном осеннем ветру мальчик целыми днями, от зари до зари бегал вдоль озера, проверяя расставленные на птиц силки и однажды слег как подкошенный. Не то донельзя промочил ноги, не то легкие простудил – вначале покашливал слегка, а на другой день его стал бить озноб и он уже не вылезал из-под одеяла. Потом его стало бросать в жар, он скидывал одеяла, одежду, и опять, скрючившись, ложился в постель, ища тепла. Должно быть, эта была лихорадка.

В эти дни, как назло, круто изменилась и погода. Небо затянули плотные низкие облака, сквозь которые ни разу не пробилось солнышко. Над озером гуляли холодные ветры, срывая последний пух с камышовых свечей, валя целыми снопами пожухший курак, завывая в зарослях караку? Даже кияк, росший на мелководье редкими кустиками, как волос на голове бритого, и тот свистел и изгибался словно змея, собравшаяся напасть. И всю ночь над Косколем стоят вой и стенанье ветра, будто там собрались шаманы-баксы со всего света и устроили свой шабаш, вызывая игрой на кобызах, сырнях, сыбызги и на всяких свистящих, дудящих, гремящих инструментах злых духов со дна озера.

Постепенно накатили настоящие холода. После нескольких суток осенних черных ветров – караша – вдруг становится тихо и начинают падать снежинки. Словно сговорившись в одну из ночей снялись с озера и исчезли стаи уток. Не слышно ни зова гусей, ни журавлиного курлыканья. Иногда мимо коша пролетали трусливые ночные птицы – окпак. Теперь и их не стало слышно, улетели тоже в теплые края, должно быть. Стало голо и пусто на озере и в степи вокруг, будто огромный змей вылизал своим жалом все. А ведь недавно только здесь шумел птичий базар, не менее веселый и радостный, чем ярмарки Куянды и Атбасара, знаменитого на всю степь. Теперь голый такыр да и только.

Кончились и запасы птичьего мяса, которые они успели с сыном сделать. Лишь недавно Ахан сварил двух-трех чирков в ведре и весь день отпаивал Ыбана бульоном. Показав жестом, чтобы не открывался и лежал спокойно, пока он вернется, Ахан вышел из коша и направился к озеру. Он долго бродил по берегу, встретив за весь день над всем озером из летающих лишь чибиса и двух-трех лающих птиц – трясогузок. Вода местами покрылась наледью, кое-где еще оставались чистые пространства. Он до вечера по два раза

обошел силки, расставленные днями назад. Нигде ни птицы, все лежат пустые.

Отчаявшись совершенно, Ахан решил изловить двух трясогузок, которые болтая головками, трясая хвостиками, копошились то там, то тут в полузамерзшей глине. Но и они, видно, решили поиздеваться над старым охотником, который в доброе время на них и не взглянул бы. Да и сами они раньше могли сесть прямо возле ног и заниматься своими делами, уверенные, что их не тронут. А тут – кинь шапкой, прикроешь, так нет, посидят, уставившись глазками-зернышками, потяв-кают по-собачьи, а как только Ахан размахнется длинным бичом, прихваченным на всякий случай, тут же взлетают, пискнув с насмешкой: «Тьфу, шайтан!»

Разозленный на неудачный день и думая о том, что неплохо бы больному мальчику хоть немного сурпы горячей отварить, Ахан принес из коша двуствольное ружье, подарок покойной жены Урхии с серебряными накладками. В нем собственно оставался один патрон, заряженный на волка – на всякий случай оставленный Аханом. «Охотничек!» – горько усмехнулся Ахан, целясь в шаукильдека. Вместо волка целишься в воробья!..

Раздался выстрел. Ахан поднял голову: над озером испуганно крича, поднялись коршуны, чибисы, вечно вдовы, кез-куйруки, куладына. «Поспешил!» – подумал Ахан и сплюнул в сердцах. Но особенно горько пожалел он, что выпустил последний патрон, когда увидел вдаль, где-то в середине озера стаю казарок – должно быть последних. А ведь он недавно слышал их голоса и как мог забыть... Он с ненавистью глянул на растерзанное, разлетевшееся на мелкие кусочки тельце шаукильдека (кулика) вскинув пустое ружье на плечо, побрел домой...

Ночь выдалась особенно морозной. Утром, подойдя к озеру, Ахан обнаружил, что большая часть поверхности воды, еще вчера густой и словно клейкой,

сегодня прочно замерзла. Это его обрадовало и вселило в него надежду. Ступая осторожно, он подобрался поближе к середине, прячась за кустами камыша и куги. Глубокий участок озера еще не взялся льдом, лениво катил темные волны. На воде сидел целый выводок казарок. Человека, подошедшего с подветренной стороны из-за кустов, они не заметили. Посидят на воде, у края льда, сбившись в тесную кучку, потом плывут в другую сторону на открытое место.

Такое чудо Ахан наблюдал впервые. Весь птичий род уже давно улетел в теплые края, не считая местную мелочь, зимующую дома, а этот выводок казарок все еще здесь. Присмотревшись, он понял почему и изумился. Нет, они не искали водоросли, как это делали летом, а прощались. Это Ахан понял по их поведению: сбившись в кучу, там, ветра было меньше, они подолгу простаивали, изогнув шеи и расправив крылья и сложив их на самую крупную среди них птицу – гусыню, словно обнимая ее. Та сидит молча, печально изогнув шею или кладет голову на спину птенцов издает тихие звуки, будто жалуется на свою судьбу. Вскоре стая опять пускается в прощальное плавание.

Наметанным глазом охотника с ловчими птицами Ахан определил сразу: у казарки-матери подбито одно крыло. Скорее, она летом потеряла крыло, спасая гнездо свое от налетевшего сокола. Куда ей теперь с одним-то крылом? Пусть даже поднимется, но далеко ли улетит?! Остается одной зимовать на этом озере и, если повезет пережить холода, не попасть в лапы волку или лисице, дожидаться возвращения весной родных птенцов. Но такое бывает редко. Птенцы тоже будто чувствуют это и до последнего держатся рядом с матерью. А заводь все уже, лед наступает кольцом. Вот-вот птенцы оставят мать-калеку... «Чем не судьба человеческая?! – тяжело думал Ахан, глядя на эту печальную стаю. – Умереть одиноко на этом пустынном острове, может ли быть горше судьбы?!»

Ахан было покинул свою засаду, чтобы идти дальше вдоль берега, но был остановлен громкими встревоженными криками казарок, будто на них напал ястреб или вдруг налетела буря: окружив мать, они плавали и часто били крыльями по воде, издавая дикое гоготанье. Ахан вспомнил о больном и голодном сыне в коше, хотел уйти, но все же решил посмотреть, чем кончится птичий переполох на безлюдном озере и вновь притаился за камышом.

Продолжая громко кричать, гуси вдруг с шумом оторвались от поверхности воды, и одна за другой устремились в небо. Мать-казарка вначале сидела словно в оцепенении, но когда заметила, что стая набирает высоту все более вытягиваясь вереницей, она коротко вскрикнула, отчаянно замахала крыльями и побежала по воде, от полученного ускорения даже немного поднялась в воздух, но ее повело вдруг вбок и вскоре она грузно шлепнулась обратно в воду. Стая же, заметив ее попытку присоединиться, стала кружить над озером, не улетая прочь. Подбитая казарка молотила здоровым крылом и своей култышкой по воде, бежала то в одну, то в другую сторону заводи, но все кончалось прежним: падением в воду. Она вставала и вновь воздевала крылья к небу, как калека руки, будто умоляла: «Не оставляйте меня, птенчики мои, возьмите с собой!..» У Ахана от жалости сжалось сердце. А ведь еще несколько минут назад он был не прочь схватить эту казарку, чтобы сварить себе и сыну жирного бульона...

Лежа в темном коше в обнимку с сыном Ахан снова вспомнил об этой казарке. «Все равно ведь замерзнет, околеет... Лучше поймаю-ка ее как лед покрепче настынет... Гусиный бульон поможет Ыбану стать на ноги. А жиром кош по ночам станем освещать, лампадку сделаем. Уже второй день как у Ахана с сыном маковой росинки во рту не было. «А стая еще не улетела, вернулась к старой казарке. Но улетит. Лед все толще и синее. Совсем небольшой омут чистой воды остался...»

Еще под вечер Ахану показалось, что лихоманка оставила бедного мальчика, жар будто спал, Ыбан как-то воспрянул духом и даже попросил жестом кушать. Для отца, обрадовавшегося тем, что сынок стал поправляться и уже вознамерившегося сниматься с места, забыв о голоде, это был удар. Ахан даже покраснел от стыда: что может быть унижительней для здорового мужчины, если он не способен накормить единственного сына, да еще после болезни?!

Ахан отвернулся. Ыбан понял все и больше не стал канючением беспокоить своего беспомощного отца, и лег, отвернувшись к стенке и укрывшись с головой. Отец испугался как бы его чадо не угасло подобно тому последнему пламени лампад, но куда идти на ночь глядя?! Пешком в дальний аул, спеть, сыграть на домбре, чтобы дали кусочек лепешки?! Стыд-то какой...

Ахан теснее прижал сына к себе. Худящее тело Ыбана обжигало его. Задумавшись о себе, о том, что он может потерять единственного родного человека на свете, Ахан сам словно впал в горячку и между горестными вздохами у него вырывались внятные восклицания, в которых он не то проклинал кого-то, не то оправдывался перед кем-то. «О, создатель, что ты еще уготовил для меня? Какие тяжкие испытания, муки и страдания?! До каких пор ты будешь терзать душу мою?.. Пусть бы душу, да чести и гордости моей не трогал! Чем я пред тобой провинился, чем не угодил, что ты всю жизнь преследуешь меня? Разве я сделал другому зло, перешел кому дорогу? Творил насилие, произвол?! Кому-кому, а тебе, если ты есть, это ведь известно доподлинно! Ты преследуешь меня с того дня, когда хватаясь за гриву, сел на коня... Мало было тебе Батимы, так ты забрал в сырую землю любовь мою Урхию. Поразил ты стрелою смерти и Айберген, зеницу ока моего, продолжателя моих песен. Ненасытен ты, я знаю, но отчего только ко мне? То

уводишь из-под рук страсть души моей. До скакуна из-под седла. Друзей моих косишь, что были рядом на моем пути, ни справа, ни слева не оставляя никого. Поссорил с братьями родными, с аулом, родом, со степью и с народом, сделав всех чуть ли не врагами кровными. И отчего передо мной всегда разверзаются хляби. Из которых коня не напоить, пучины, которые не переплыть. Скалы, где тропы не проложить?! Наградив меня даром певца с чистым голосом и нежной душой, ты не забыл капнуть на кончик языка яду, наполнив душу сладкою мелодией, подмешал в нее и горечи. Уж лучше сотворил бы ты меня глухим и слепым, безъязыким, чтобы я не замечал красоты в лицах, благородство в душах, не пел о жизни вольной, крылатой? Я б не ведал ничего и не слышал, и был бы счастлив... не создал отчего меня ты жестоким тупицей, невежественным и мрачным самодуром? Тогда я топтал бы все нежное ногами, кривое делал прямым, прямое – кривым, ломал, крушил, пил слезу людскую как водицу, а их горе и печаль доставляли бы мне наслаждение! Или бездумным кеще, для которого все едино: что день, что ночь; что черное, что белое; что люди, что скот хвостатый; для которого нет ни прошлого, ни будущего... Или последним из дураков бесчувственных, чтобы не ведать ни зла, ни добра, не различать ни нежности, ни жестокости! Отчего ты создал меня акыном и сери да еще в такую пору, когда вокруг холод, мрак и насилие?! Кто согрел меня теплом, кого я согрею?.. Кто мне путь укажет или я кому? Кого я защитил? Если ты дал мне глаза лишь для того, чтобы на закате жизни я терял их блеск при тусклом свете лампы в коше, в пустынной степи, а острый язык для того, чтобы шонжары, в кого я вонзил стрелы слов, чтобы тьма их ставила на каждом моем сети и ямы рыла, то стоило стараться?! Да, ты удивительный мастер: вложив душу непокорную в создание свое, делаешь все, чтоб согнуть его в бараний рог; вложив песню в уста ему, подрезаешь крылья, дав

сердце и страсть, подаришь такую судьбу, где больше слез и горя, чем радости и счастья. Нечего сказать: непревзойденный мастер, да-да!..»

Ахан проснулся от тревожного крика гусей на озере. Из-за шегреневого одеяла, которым завешана дверь, пробивался тусклый и странный свет – должно быть идет снег... Ахан долго лежал в постели, прислушиваясь к голосам казарок, представляя себе ясно, что творится там, на Косколе, в этот предраассветный час...

...В который раз стая уже облетает озеро и в который раз возвращается, не в силах оставить одинокую казарку посреди узкой полоски воды, крепко затянутой льдом. Сколько раз она устремлялась за ними и падала по кривой дуге вниз... Наконец, описав прощальный круг, стая повернула на юг. На ходу выстраиваясь вереницей... Их голоса доносились еще долго, все тише и тише, пока совсем не поглотила заснеженная даль небес... Выводок улетел, а мать гнездовья, как и вчера, била крыльями по тяжелой воде и отчаянно голосила вслед. «Птицы, оказывается, тоже могут плакать и молить судьбу...» О чем? О пощаде?! Вот она жизнь: защищая пушистые желтые комочки, какими были ее детеныши, казарка при этом лишилась крыла... А они оперились, выросли и вот покинули не только гнездо, но и ту, что дала им жизнь, оставили одну в охваченном льдом озере, над которым валит хлопьями снег. А что они могут сделать? Чем помочь?.. Таков неумолимый ход жизни: одни умирают, другие приходят на их место...

Смертно все живое. Но кто как умирает?! Ужаснее, чем смерть этой обреченной птицы и трудно себе представить. Она как бы еще полна сил, она и сыта – зоб ее полон корма, глаза еще смотрят на белый свет, но вокруг нее все плотнее сжимается кольцо льда, постепенно, не спеша, отбирает у нее малую часть воды, с кугой, которая еще жива, шевелится под телом казарки, но иглы-льдинки со змеиным

шипением надвигаются на птицу, схватывают перья, холодом вонзаются в грудь, вот перья хвоста уже вмерзли в лед и никакими усилиями отяжелевших крыльев не вырваться из этого силка, тем более, что ноги с красными лапами уже ничего не ощущают, безжизненны... Когда ледяной холод пронзит сердце, казарка откинёт головку на длинной шее, и тогда все – конец ей...

Ахана вдруг забил озноб, будто не казарку зажали льды на озере, а он сам вмерз в какой-то страшный прорубь с голубоватой толщей льда вокруг. Как она жестока, эта жизнь, а?! – думал он в каком-то смятении. – Точно вот этот холодный бездушный лед, он ведь никого не пощадит, хотя знает, что с весной, останься казарка жива, с новым прилетом птиц она заживет новой жизнью, возможно, с теми же своими птенцами, вынужденно покинувших ее... Не дай бог споткнуться в этой жизни, дать слабину – заживо поглотят: тот же лед, та же вода, та же земля, засасывая все глубже...

Одинок торчащий в безлюдной степи под падающими хлопьями снега кош Ахана тоже похож на замерзающую в воде казарку. А первая пороша все сыплет с неба и сыплет не спеша. А куда ей торопиться? Все равно заровняет с землей... обметав белым бураном...

«Нет, надо уходить из этих мест. Немедля уходить! Течению жизни еще ни один человек, ни одна душа жизни не смогла противостоять. Да и невозможно. Только подчиняться надо порядкам, заведенным ею, ее натиску. Вон даже птицы улетели на юг, в теплые края своего обитания. Покинули родные гнезда, места, где вылупились на божий свет, где росли и возмужали... Но куда идти Ахану с больным ребенком, где искать приюта? У дальних родственников? Просить угла, местечка у холодного порога?! Ныне такая родня пошла, что лучше чужому поклониться. Свой, если сделает доброе дело, всю жизнь попрекать станет, до самой могилы будешь чувствовать себя обязанным за

кусоч хлеба. И не избавиться вовек от молвы: «Воскресил Ахана имярек из мертвых, сумасшедшему разум вернул!..» Что же получается: надеяться на чью-то милость как нищему-калеке, заглядывать в глаза и на движения бровей и жить собачей жизнью?! Только это остается? А честь, а гордость?! Где все это?! Да, в моем положении... не до жиру, быть бы живу. И до гордости ли тому, кого ждет голодная и холодная смерть в одиноком коше в глухой завьюженной степи?! Больше всего жаль Ыбанжана. Неужели он для этого родился на свет? Промыкаться глухонемым сиротой несколько лет и умереть мальчишкой на руках у здорового, но беспомощного отца?! Это ли не насмешка судьбы?.. Над ними, над обоими: и отцом и сыном! Нет, не дам умереть. Даже птица ради детеныша крыло свое отдала. Неужели человек хуже?..

Одинокая казарка устала, должно быть, за ночь оплакивать свою судьбу или просто смирилась с ней – лишь изредка подает голос. Сунула голову под единственное свое крыло и покорно ждет, наверное, своей смерти, подползающей словно змея...

Ыбан тихо застонал, прижавшись к груди отца, зачмокал губами. Пить видно, хочет, все тело еще горит. А есть не просит, второй день... Потянувшись за ковшиком с водой, Ахан вдруг ощутил другой рукой что-то мокрое на груди Ыбана... Слезы!.. Но чьи – сына, плакавшего тайно под одеялом, или отца, плакавшего над сыном, не заметившего как горючие капли сбегают по бороде?! Это знает только уходящая ночь...

Первый снег этой зимы, густо, сплошной стеной поваливший под утро, укутал всю кокшетаускую степь сплошным толстым слоем пороши. Он и сейчас еще падает хлопьями, но редкими. Тихо и безветрено, ни звука окрест. Молчит степь бескрайняя. От коша, одиноко торчащего на косогоре у озера Косколь, тянется глубокий, местами по колено, след одинокого человека, который, разрезая порошу, прокладывает

себе путь на восточный склон ложбины, за которым у самого горизонта темнеет лес.

Кто же, этот безмолвный путник, бредущий по безмолвной степи, неся на спине безмолвного сына своего? Да, это Ахан. Оставив в темном коше домбру свою, что тридцать лет была спутницей его жизни, ружье – свидетеля многих охот на волков и лисиц, простившись с родными местами и несбывшимися мечтами, с годами горячей юности, он уходил в поисках новой жизни, манящей как мираж в летний зной...

СОДЕРЖАНИЕ

М. Жапанова. Предисловие.....5

ДОМ В СТЕПИ. РОМАН

Пролог.....7

Глава первая.....11

Глава вторая.....56

 Первая песнь старого Кургеря.....69

Глава третья.....81

 Вторая песнь старого Кургеря.....103

Глава четвертая.....124

 Третья песнь старого Кургеря.....159

Глава пятая.....169

 Четвертая песнь старого Кургеря.....187

Глава шестая.....200

 Пятая песнь старого Кургеря.....208

Глава седьмая.....223

 Шестая песнь старого Кургеря.....239

Глава восьмая.....257

Глава девятая.....275

 Последняя песнь старого Кургеря.....297

Эпилог.....318

ПРОЗРЕНИЕ. ПОВЕСТЬ.....326

РАССКАЗЫ

Последняя байга Кулагера.....425

Последний полет орла Караторгай.....441

Печаль поэта.....456

Литературно-художественное издание

Серия

“БИБЛИОТЕКА КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ”

Сакен ЖУНУСОВ
ДОМ В СТЕПИ

Редактор *А.Кадикенова*

Технический редактор *С. Бейсенова*

Компьютерная верстка *А. Кадикеновой*

Корректор *К. Айдарханкызы*

Разработка суперобложки
дизайнцентра издательства «Аударма»

ISBN 9965-18-331-7



ИБ №350

Подписано в печать 04.07. 2011 г. Формат 84x108¹/₃₂.

Гарнитура. "NewBaskervilleCTT". Печать офсетная. Усл.печ. л. - 25,2

Уч.-изд. л. - 22,00 Тираж 3000 экз. Заказ №

Издательство "Аударма"

010009, г. Астана, ул. Г. Мусрепова, 5/1, ВП-2